05
Н68Я

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1965 N 3

Иностранная литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ

МИГЕЛЬ ОТЕРО СИЛЬВА — Пятеро, которые молчали 5

ПИТЕР АБРАХАМС — Венок Майклу Удомо (Продолжение) 102

СТИХИ

Л. ТУДЭВ — Стихи о родине 3

ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ 92

КРИТИКА

В. ДНЕПРОВ — Устарело ли классическое искусство? (Из опыта западного романа. Окончание) 186

И. АНИСИМОВ — Эстетика Бехера 205

ЧТО ЧИТАЮТ СЕГОДНЯ

С. ЛУРИ — США: новые книги, новые читатели 220

3

МАРТ

1965

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
Москва

ОТКЛИКИ, ВСТРЕЧИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Л. НОВИЧЕНКО — В Будапеште за «круглым столом»
Т. МОТЫЛЕВА — Живой с живыми 223

ПУБЛИЦИСТИКА

АРНОЛЬД КЕТТЛ — Английская интеллигенция и марксизм 230
МИРОСЛАВ ГОЛУБ — Ангел на колесиках (Главы из книги) 237

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

О. КОВТУНОВИЧ — Египетский скульптор Махмуд Мухтар 248

КАЛЕНДАРЬ «ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

ОГОНЬ РОМАНТИКИ РАЗГОРИТСЯ СНОВА (Неопубликованное письмо Шона О'Кейси) 254

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

А. Петриковская — Дерево крепкой породы. ◇ Н. Смурова — Дверь в новую жизнь. ◇ Л. Фейгина — В борьбе за власть 258

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

Людмил Стоянов — Главная тема — современность. ◇ Н. Соколовская — Это не стало прошлым. ◇ Р. Орлова — «Скоро, в одно прекрасное утро...» ◇ В. Иваше-ва — Завершение трилогии. ◇ Эраклио Сепеда — Росарио Кастельянос рассказывает 263

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

271

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

(Хроника) 272

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

288

На обложке рисунок румынского художника ДАНА ЧОКИ.

Л. ТУДЭВ

Стихи о родине

Авторизованный перевод с монгольского
ЯКОВА БЕЛИНСКОГО

Песня земли

Кукушка кукует в дремучем лесу на суку,
Ручей сквозь ущелье струится серебряным смехом,
И ветер целует листву на лету, на бегу,
И скалы немые на крик отзываются эхом.
И песни степей, и напевы суровые гор
В единый, безбрежный и светлый сливаются хор.
Звенит соловей, рассекая полночную тишь,
И реки бормочут в ночи на наречии странном,
И голосом птичьим разбужен полночный камыш,
И в дальней глуши слышен голос олений гортанный.
В разноголосье природы как будто и нет новизны,
Она не боится ничуть повторений,
Все те же напевы звучат от весны до весны
Для всех поколений.
И все же они никому не наскучат вовек,
Пусть каждому эти напевы знакомы —
Младенцу в коляске и старцу, чьи волосы — снег,
Знакомы, как стены родимого дома...
Так песнь материнская льется в тиши, не смолкая,
Для сына, влюбленного в зори монгольского края...

Гора

Седая голова планеты древней нашей,
Колонна, на которую оперся небосвод,
В тебе — источник рек, ты — каменная чаша,
Ты — великан, что облака пасет.
Горда твоя вершина, непреклонна,
Над нею только синева и тишь,
Твои стопы — крутых отрогов склоны.
Ты ни пред кем колен не преклонишь.
С гранитной кручи, с высоты надменной
Ты смотришь вниз, угрюмый исполин,
На жалкий мир, ничтожный, мелкий, бренный,
Таким порой он кажется с вершин.
Захочешь — в клочья изорвешь ты тучи
И, как коня, стреножишь вихрь летучий...

И снова над вершиной непреклонной
Царят, как прежде, синева и тишь...
Твои стопы — крутых отрогов склоны.
Ты ни пред кем колен не преклонишь.
Но на уступах, в небо устремленных,—
Упрямый жгут протоптанной тропы,
И на челе, на глыбах раскаленных,—
След человечьей маленькой стопы.

Разговор сердец

Мы с тобой говорим без слов.
Если молчат уста,
Открыты глаза.
Если закрыты глаза,
Говорят сердца.
А сердце не может молчать,
Сердце нельзя закрыть.
Сердец разговор —
Что перед ним слова?
Его сокровенный смысл
Разве взглядами передашь?
Сердец разговор
Совсем не слышен другим.
Сердец разговор
Мы молча с тобой ведем...

Песня, у которой не будет конца

Эту песню я запел позавчера,
Эту песню и вчера я пел с утра,
Эту песню и сегодня я пою,
Эту песню бесконечную мою.
Эту песню завтра тоже буду петь,
Эту песню послезавтра пропою,
Этой песне век звучать и не стареть,
Эту песню все поют в родном краю.
Этой песней дед воспел свою мечту,
Эту песню мой отец пропел за ним,
Эту песню подхватил я на лету,
Эту песню передам и я другим,
Эту песню запоют мой сын и внук,
Эту песню внука внук с собой возьмет,
Эту песню запоет далекий друг,
Эту песню понесет с собой народ.
Эта песня — с ней шагать мне суждено,
Эта песня — наши в ней стучат сердца,
Эта песня и земля моя — одно,
Этой песне потому и нет конца.
Эта песня не погаснет, не умрет,
Этой песне всю любовь я отдаю,
Этой песней славлю свой родной народ,
Этой песней славлю Родину свою!

МИГЕЛЬ ОТЕРО СИЛЬВА

Отеро, которые молчали

РОМАН

Перевод с испанского
В. КРЫЛОВОЙ

Посвящается Марии Тересе

Тетрадь первая

"YVC-ALI"

Самолет «YVC-ALI» шел над пустынной саванной. Прильнув бескровным лбом к стеклу иллюминатора, Врач жадно ловил взглядом бегущие внизу луга, словно хотел навсегда запечатлеть их в памяти. С тех пор как ему вернули очки, мир опять обрел для него формы, рассеялся туман, скрывавший людей и предметы.

Из рукавов пиджака горестно выглядывали кисти рук — бледные, изглоданные зубцами наручников, истонченные в запястьях. Даже здесь, между облаками и небом, его правую руку, наиболее пострадавшую, цепко держал один из тех когтистых браслетов, что вот уже сколько времени сдавливали и рвали его тело. Со стального кольца свисала короткая цепочка, прикрепленная к такому же кольцу на руке второго заключенного, соседа Врача по креслу.

Это был Парикмахер. Никогда ранее не пересекались судьбы этих людей, сведенных теперь в пару с помощью металлических колец-близнецов, предназначенных для рук одного человека. Минуты две-три Врач вглядывался в опухшее лицо своего спутника, пытаясь распознать в нем чьи-нибудь знакомые черты, но это было бесполезно, и он снова стал следить за плывущей внизу саванной. Парикмахер — бакенбарды начала прошлого века и ковбойка в крупную клетку по последней моде — не замечал Врача, не видел иллюминатора Его взгляд не отрывался от кабины пилота, его настороженные уши улавливали даже чуть слышные звуки. Впервые в жизни он поднялся в воздух и, по правде говоря, чувствовал себя прескверно. При каждом провале самолета в воздушную яму он испуганно хватался свободной рукой за подлокотник: ему казалось, что он падает в бездну, и от этого ощущения и от страха у него судорогой сводило живот.

Позади, в двух креслах, сидели еще двое мужчин, точно так же скованные одними наручниками. Ближе к окну находился Журналист — рыжеватая бородка иконописного Иисуса и демонический профиль Харона у руля челна с обреченными. Он помнил наизусть здешние виды и пейзажи — так часто приходилось ему летать этим путем в дни свободы. И сейчас он лишь изредка поглядывал в иллюминатор, насвистывая сквозь зубы мелодию старинной мексиканской песенки («Если с другим ушла бы Аделита...»), порой же, наклоняясь, что-то говорил своему «напарнику», Бухгалтеру, который был ниже его на целую голову.

Бухгалтер — невысокий, широкоплечий и коренастый, словно портовый грузчик,— был совсем сед, однако седина, и это легко угадывалось, не соответствовала его возрасту, а появилась, видимо, сразу и преждевременно. Журналист и Бухгалтер принадлежали к соперничающим политическим партиям, даже когда-то враждовали между собой. Однажды воскресным днем при подсчете голосов в избирательной комиссии они, разделенные лишь узким столом, едва не пустили в ход кулаки. Теперь же они очутились рядом в этой летающей алюминиевой галере, плывущей по небу навстречу неизвестности. Их связали цепью, как связывают за рога двух быков одной упряжки: лишили возможности хотя бы отодвинуться друг от друга. Поэтому ничего другого им не оставалось, как забыть прежние распри. Первым же взглядом они заключили перемирие, и Журналист, как бы скрепляя его, сказал сочувственно:

— Да, постарел ты, кум!

В самолете летел еще один, пятый по счету, узник. Капитан — штатский костюм не скрывал военной выправки, сквозившей в манере держаться, в посадке головы,— занимал место у кабины, справа от прохода. Парикмахер сразу узнал его по фотографии в газете. С Капитаном был хорошо знаком лишь Журналист: вместе они участвовали в антиправительственном заговоре. Именно по этой причине они даже не кивнули друг другу, встретившись у тюремных дверей, а в полете ни разу не переглянулись. Подобно Врачу, Капитан с каким-то набожным чувством созерцал земные пейзажи, хотя что-либо видеть ему было труднее: крыло самолета закрывало добрую половину горизонта. Напарника Капитану не нашлось, и агенты прикрепили свободное кольцо его наручников к подлокотнику кресла.

В иллюминаторе Врача виднелась бесконечная саванна, однообразие которой порой нарушалось какими-то причудливыми желтеющими кругами и эллипсами, пятнами болот, окольцованных плотной темной зеленью. Вот по дороге медленно прополз автомобиль размером с насекомое. И снова тянулась пустынная одноцветная, унылая равнина.

Пятерых заключенных сопровождали пятнадцать агентов Сегурналя *. В этих молодых парнях, опрятно одетых и тщательно выбритых, было тем не менее что-то отталкивающее, как в пресмыкающихся,— недаром в народе их прозвали гадами. Одни из них сидели на свободных местах, другие стояли в проходе. Начальник конвоя, однорукий, постарше остальных, крепко запомнился Парикмахеру: во время допроса и пыток он особенно изощрялся в зверствах, млея при виде чужих страданий. Он сидел, прислонясь к стенке кабины летчиков, и курил сигарету за сигаретой. Время от времени, не расставаясь с сигаретой, он вынимал из кармана зеркальце и озабоченно рассматривал ячмень на глазу.

Было около пяти часов пополудни. Безоблачное небо отливало голу-

---

* Сегурналь — служба «национальной безопасности» («сегуридад насиональ»), охранка *(здесь и дальше примечания переводчика)*.

бизной, серебром и золотом. Отражаясь от крыла самолета, солнечный луч бил в глаза Капитану, заставлял отводить взгляд от окна. Внизу раскрыла створки гигантская устрица: с перламутрово-студенистым нутром и острыми полукружиями зелени по краям лагуна будто дышала, отблескивая под солнцем.

На рассвете как раз этого дня в камеру, где лежал в тяжелой дреме, облепленный мухами, Парикмахер, ворвался сквозь решетку громкий голос дежурного:

— Выходи! С вещами!

Крик повторился перед камерой Журналиста, перед камерой Врача, перед камерой Бухгалтера. Но только после полудня эти четверо переступили порог тюрьмы, где их содержали после пыток. Капитан присоединился к ним у ворот — его привезли на джипе из старинного форта на берегу моря.

Они еще долго стояли у тюремной стены, держа в руках свои более чем скромные пожитки — узелки и свертки с самым необходимым: брюки, рубашка, трусы, пара носков, полотенце, мыло. Перед ними выстроилась охрана с винтовками и автоматами. Поодаль расхаживали полицейские агенты с пистолетами в руках. Операцией руководил офицерик, он пыжился и важничал, воображая себя полководцем на поле брани.

— По машинам!

Пятеро заключенных, двенадцать вооруженных конвоиров, один агент с каким-то деревянным ящиком в руках вошли в автобус. Рядом с каждым узником сел охранник. Семеро других охранников встали между боковыми скамьями. Полицейский агент примостился на край ящика. Офицерик нырнул в джип, устроился справа от шофера и, выглядывая оттуда, продолжал командовать:

— Три пикапа — в арьергард!.. Автобус — за мной... Сигналы отставить...

Джип указывал путь между безликими домишками пригорода. Миновали трубы фабрики. Выехали на широкую дорогу — сперва она вползла на холм, потом, спустившись, влилась в просторную авениду, вдоль которой стояли навытяжку вековые деревья. Внезапно, как перепуганная корова, из переулка на авениду шарахнулась мотоциклетная коляска прачечной.

— Стой! — завопил лейтенантик со своего дозорного поста.

Колонна, скрипнув тормозами, резко остановилась. Из задних машин выскочили агенты с автоматами на изготовку. Окаменев от ужаса, рассыльный, иммигрант-португалец, не мог сдвинуться с места или хотя бы выговорить слово. Он, похоже, даже не дышал, пока офицерик, сообразив наконец, что перед ним не террорист с бомбой, а всего лишь рассыльный с выстиранным бельем, не приказал колонне продолжать путь по кольцевой дороге к аэропорту.

На взлетной дорожке их уже ждала эта огромная птица с двумя моторами и бьющими в глаза черными буквами по борту: «YVC-ALI». Офицерик не щадил горла, не скупился на воинственные выкрики, чтобы в должной форме завершить ответственнейшую операцию,— он был так горд, неизмеримо горд руководить ею! За тарелкой супа, и, быть может, уже сегодня вечером, он поведает об этой миссии своей молодой жене, и та откроет рот от восхищения: «Ты знаешь, сегодня я переправлял пятерых опаснейших политических преступников из Кáрсель Модело * в аэропорт...»

Последним поднялся в самолет агент с ящиком. Пока пилот прогревал моторы, он деловито открыл ящик, вынул наручники и, не говоря ни слова, даже ни на кого не глядя, надел их на руки арестованным.

* Карсель Модело — «образцовая» тюрьма для политзаключенных в окрестностях Каракаса.

— Пояса застегнуты, можно лететь,— усмехнулся Врач, когда металлический щелчок соединил его руку с рукой Парикмахера.

— Разговаривать громко запрещено! — Начальник конвоя бросил на Врача угрожающий взгляд.

— «Разговаривать громко запрещено»,— передразнил Журналист, склонившись к уху Бухгалтера.— Что за кретин! Знай свое полицейское дело, он должен был бы сказать: «Разговаривать шепотом запрещено!»

Все это происходило до того, как поднялись в воздух. А теперь уже более часа они летели на юго-восток. В иллюминатор Капитана уже видны были черепичные крыши домов и зеленые пятна садов, замелькали выходы серой гранитной породы в окрестностях, появилась человеческая фигурка верхом на лошади, державшая путь к югу.

— Это Матурин,— громко, не обращая внимания на запрет, сказал Капитан.— Очевидно, нас везут в тюрьму Сьюдад-Боливара.

Экипаж «YVC-ALI» состоял из пилота и его помощника. Им обоим хотелось как-то выразить свое сочувствие заключенным, подчеркнуть, что отнюдь не по доброй воле они везут их закованными в своем самолете. Помощник пилота в синей летной форме вышел из кабины с приготовленными сандвичами на подносе и направился к узникам.

— Назад! — остановил его начальник конвоя.— Общаться с арестованными категорически запрещено.

Он загородил проход, сжимая своей единственной рукой пистолет. Летчик смерил его презрительным взглядом, не торопясь повернулся и вошел в кабину с нетронутой пирамидой сандвичей.

На гладкой равнине темнели распластанными пауками небольшие рощицы. Впереди светилась нежно-зеленой травой плоская возвышенность, по ее ровному откосу стекало золото предвечернего солнца. У юной саванны будто приподнялись холмики-груди. По подолу ее скользнула влажная ящерица; Врач не мог определить, ручей это или блеснувшая на солнце кремнистая тропинка.

— Ни разу в жизни не видел Ориноко,— вымолвил Врачу Парикмахер, не отрывая глаз от сигнальных надписей, которые советовали им, словно вольным в своих поступках пассажирам: «Застегните пояса», «Не курите».

— Хотелось бы взглянуть на Ориноко,— почти в ту же минуту сказал Бухгалтер Журналисту.

И Врач, и Журналист с радостью уступили бы соседям места у иллюминаторов, но цепочки наручников не позволяли пересесть. Из дальней тучи свисало серебристое упругое кружево — там шел дождь. Дождь какой-то обособленный и высокий — этакая призрачная башня, раскачиваемая ветром.

— Мы уже близко от реки,— пояснял Врач Парикмахеру.— Я тебе скажу когда. Ты придвинься ко мне, наклонись и увидишь.

— Что за удовольствие смотреть на нее сверху? — одновременно говорил Журналист Бухгалтеру.— Хочешь познакомиться с Ориноко, поезжай по ней на пароходе. Отсюда она ничем не отличается от обычной грязной речушки.

«YVC-ALI» врезался в гору хлопка — в кучевое облако, плывшее навстречу. Стекла иллюминаторов заволокло белым, самолет затрясся на невидимых ухабах. Парикмахер вцепился рукой в сиденье.

— Черт тебя дери! — с досадой выругался он.— Еще согрешишь тут со страху... прямо на головы ангелам!

Но самолет уже вынырнул из облаков, внизу после равнины показались первые горы. Река возникла огромной, тусклой лентой с пятном рыбацкой деревушки. Целый мир мутной воды взмыл косо к шедшему на снижение самолету. Две скалы на стрежне качнули мшистыми

боками. Мелькнула моторная барка с флажком на корме. А самолет уже летел над другим берегом. Великая река появилась так внезапно и так быстро исчезла, что Журналист даже почувствовал нечто вроде жалости к своему напарнику:

— Я же тебе говорил, дружище. Бог создал реку Ориноко не для того, чтобы над ней летали в самолете, а чтобы плавали по ней в лодках.

Самолет снижался над разбросанными ранчо, над могучими деревьями, над яркой зеленью трав. Почти под колесами пронеслись черепичные, в мазках плесени, крыши города, взбиравшегося по склону горы, которую венчало ослепительно-белое кладбище. Как бы не доверяя земле, самолет притронулся к ней колесами раз, второй, третий, затем пробежал, недовольно подпрыгивая, и наконец остановился посреди импровизированного летного поля, обнесенного колючей проволокой.

В иллюминаторы видно было, как под цинковым навесом забегали охранники и полицейские агенты в штатском. Первым спустился по трапу Капитан, уже без наручников. На ходу он обернулся к следовавшему за ним Бухгалтеру и вкратце его информировал:

— До тюрьмы совсем близко.

До тюрьмы действительно было не более трехсот метров утрамбованного песка. Это расстояние они проехали в крытых грузовиках — под прицелом винтовок и автоматов. Когда въезжали в тюремный двор, над высокими серыми стенами опускались сумерки, не видимая в кроне далекого дерева, застонала лесная голубка.

Все спустились на землю. Начальник конвоя первым прошел в тюремные двери и зашагал вдоль полутемной крытой галереи. В середине галереи, рядом с небольшим садиком, где среди стелющихся растений возвышалось корявое апельсиновое дерево, был вход в контору начальника тюрьмы. В ожидании вновь прибывших царь и бог заключенных сидел за канцелярским столом, держа перед собой раскрытую книгу в черном переплете. Рядом — только протянуть руку — на отдельном столике лежал пистолет. Пахло винным перегаром.

Однорукий по всей форме передал арестованных, отныне выходивших из-под его надзора. Он шагнул к столу и не без торжественности вручил начальнику тюрьмы длинный пакет — из тех, что называются официальными.

Начальник тюрьмы — пожилой, мужиковатой внешности человек — приказал арестованным назвать свои имена. Слушая, он старательно и неторопливо заносил их в раскрытую черную книгу.

— Сальвадор Валерио,— сказал Врач.

— Эухенио Рондон,— сказал Журналист.

— Луис Карлос Тоста,— сказал Бухгалтер.

— Николас Барриентос,— сказал Парикмахер.

— Роселиано Луиджи,— сказал Капитан.

Однорукий не без умысла подчеркнул:

— Разрешите доложить, сеньор, все пятеро — очень опасные заговорщики.

Начальник тюрьмы расплылся в бессмысленно-насмешливой улыбке, пегнущейся рукой провел по пистолету:

— Посмотрим, останутся ли они здесь такими...

Появилось шестеро одетых в форму охранников, они и вывели заключенных из конторы, поспешно провели их в помещение тюрьмы — каждого со своим узелком, каждого со своими израненными запястьями, каждого со своим голодом и жаждой.

Ночь вычернила листву апельсинного дерева и серые стены. Шаги охранников и пятерых заключенных удалялись по длинной, темной галерее. Где-то в глубине вспыхнул свет, лязгнул засов, распахнулась решетка.

БУХГАЛТЕР

К тому времени, как Бухгалтер начал рассказывать свою историю, заключенные провели в камере три дня и три ночи, не видя дневного света, кроме того скудного, что сочился из двух продолговатых ламп под потолком. В первый же вечер, едва за ними закрылись двери тюрьмы, на смену охранникам явилось четверо агентов с молотками, гвоздями и огромными листами картона. Торопливо — им приказано было закончить работу до отбоя,— агенты принялись забивать картоном окно, дверь и вентиляционные отверстия, стараясь не оставить малейшей щели, через которую могли бы сюда проникнуть дуновение свежего воздуха или отражение дневного света. Но на этом дело не кончилось. Несколько минут спустя перестук молотков послышался с другой стороны — в верхней части стены камеры, выходившей в просторный тюремный двор,— и это означало, что они, должно быть взобравшись на лестницу, закрывают картоном слуховые окна. Поначалу пятеро заключенных не придали особого значения этой операции — может быть, потому, что была ночь и освещение в камере после того, как ее обили картоном, не изменилось. Но прошли какие-то часы, и когда для всего мира взошло солнце, озарив людей и предметы, а они, находясь в каких-нибудь десяти пядях от этого мира, по-прежнему едва различали жесты и лица друг друга, заключенные в полной мере оценили зловещее предназначение плотного картона и усердного перестука молотков.

В камере они обнаружили пять железных коек: четыре по углам и пятая, придвинутая спинкой к внутренней стене,— посередине. Четверо заключенных, первыми вошедшие в камеру, машинально направились к койкам в углах, и само собой получилось так, что Врач, последним переступивший порог нового жилища, занял позицию в центре — как бы на командном пункте. Если приглядеться, его место было не хуже и не лучше остальных: такое же узкое ложе, такой же тощий матрац.

Утром, едва открылась дверь, пропуская двух поваров итальянцев с баком похлебки, раздался требовательный голос Капитана, обращенный к агенту, стоявшему у двери:

— Вы, где здесь сортир?

Агент молча повел его в соседнюю камеру, примерно такую же по площади, как и первая, но занятую умывальниками и унитазами. Волна тяжелого и острого зловония ударила Капитану в нос и заставила его приостановиться на пороге.

По одну сторону от решетчатой двери тянулся ряд писсуаров, распространявших отвратительно-кислый запах. По другую — шесть вмазанных в кирпичную стену цементных раковин, в них арестанты умывались, мыли посуду, стирали носки. Прямо перед входом зияли проемами четыре неодинаковые по размерам кабины: две с унитазами, на которые нельзя было сесть — не было сидений, две с заржавленным душем, нависшим прямо над сточной трубой.

Капитан невольно вспомнил свой флакон одеколона, темный сфероид английского мыла, махровый, в красных цветах халат, сверкающую кафелем ванну в легком облаке пара, всю свою удобную, безукоризненно чистую холостяцкую квартиру... Он поспешил тут же подавить это так некстати всплывшее воспоминание и, не видя иного выхода, подавляя отвращение, решительно направился к унитазу без сиденья, затем — к ржавому душу.

Завтраком была самая отвратительная стряпня: овсяное месиво, в котором жучков-долгоносиков было больше, чем овса, к тому же водянистое, как отвар для больного, ломтик черствого хлеба и мазок плохого

масла, точнее — маргарина, а еще точнее — желтоватой смазки неизвестного состава. Получив свои миски из рук поваров итальянцев, заключенные сели на койки — собственные колени служили столом.

— Да, надо быть такими голодными, как мы, чтобы решиться проглотить эти отбросы...— проворчал Журналист.

— ...и пережить то, что мы пережили,— добавил из своего угла Парикмахер.

Напоминание о перенесенных пытках. Каждый из пятерых еще чувствовал их на себе, каждый еще не оправился от моральных потрясений и унижений, у каждого на теле оставались следы побоев и ранений. Быть погребенным в чреве этой мрачной тюрьмы означало в известном смысле облегчение участи человека. Теперь они — не подследственные, которых подвергают мукам, чтобы вырвать у них признание, а всего-навсего заключенные, уже сказавшие то, что могли сказать, или ничего не сказавшие и ныне ожидающие лишь одного: когда наступит конец долгого срока заточения в тюремных стенах.

В полдень им дали, помимо двух ложек недоваренного риса и кружки мутной кофейной бурды, немного макарон, до того отвратительно приготовленных, что с трудом верилось в итальянское происхождение варивших их поваров. Вечерняя еда заключалась в кусочке чего-то мясного, скорее мясных отбросов, с прокисшей картошкой и ломтиком хлеба.

— Не повар, а, должно быть, военный преступник,— высказал свое мнение Врач, разглядывая миску с макаронами. Он и не подозревал, что говорит истинную правду: четырнадцать лет назад Дженаро Мангани бежал из Италии именно как военный преступник.

Тошнотворная пища, омерзительная уборная, тусклый свет, вечная озлобленность повара Дженаро — эти столь непосредственные и столь касавшиеся всех беды оставались почти единственной, неизменной темой для разговоров, пока Бухгалтер не рассказал свою историю. Да и о чем другом могли они говорить в те первые дни? Их не связывали никакие прежние узы, воспоминания или отзвуки прошлого. Парикмахер был совершенно неизвестен четверым его нынешним товарищам. Капитан и Журналист общались друг с другом, но как? Перебросились в общей сложности десятком фраз насчет былых конспиративных дел. Бухгалтер, Врач и Журналист, правда, были давние знакомые, однако ранее, при встречах в общественных местах, друг в друге они видели отнюдь не друзей, а соперников, противников, разделенных политическим антагонизмом, различными взглядами на тактику борьбы.

Обстановка начала меняться с четвертого дня, когда Бухгалтер повел рассказ.

— Я возглавлял в партийном аппарате группу специального назначения,— сказал он, отвечая на вопрос Врача.

Перед этим они наспех, чтобы не поддаться приступу тошноты, проглотили вечерний рацион, и Бухгалтер, очередной дежурный, вымыл в соседней камере посуду. Сейчас, лежа на железной койке, он отвечал на вопрос Врача. Заинтересовавшись ответом, Врач присел к нему на койку, отогнув в ногах угол матраца. Подошли и остальные, услышав слова Бухгалтера, и стояли неподвижно и долго, пока не кончился рассказ.

— Группу специального назначения? — недоуменно переспросил Врач.

— Да, специального назначения,— не без гордости повторил Бухгалтер.— Мы же готовились к вооруженной борьбе с диктатурой. Добывали винтовки, пистолеты, учили своих людей владеть оружием. Мы устанавливали контакты с военными — кое-кто из них был готов выступать с нами.

(Эти люди — конечно, мои товарищи по камере, но и только. К моей партии не принадлежат. Нельзя этого забывать. Пусть не ждут, что я стану выворачивать перед ними душу наизнанку. Подпольная работа. Все началось когда? Когда я уже переехал в Каракас, и то не вдруг. А до этого — без малого полжизни. Родное селение. Глушь. Провинция. Служил продавцом в лавке. Все и развлечения-то — воскресные петушиные бои да столичные газеты недельной давности. С некоторых пор заметил, что в газетах все громче стали поговаривать о демократии, о свободе, о политических партиях, о каких раньше и не слыхивали, о новых горизонтах в истории страны. Горизонты. Эти-то горизонты и смутили мне душу. В нашей дыре слово «горизонт» скажешь разве что в шутку или в насмешку. Потому я не долго думая решил уехать в столицу. Можно сказать, бежал тайком. Долгие проводы — лишние слезы. Даже с родным отцом не простился, уже не говоря о вдове дона Агапито, а она, бедняжка, так радушно открывала мне в полночь свою дверь. Да-а, выскреб из медного сундучка свои сбережения, сел в попутную машину — зелеными бананами была гружена,— и был таков. В Каракасе у меня зацепка: крестный отец, старый коммивояжер. Бывало, наезжал к нам в селение, непременно заглядывал в мою лавку. Все обещал подыскать местечко в столице, если случится в том нужда. Скажу больше — подбивал. Войдет, бывало, довольный, сытый, улыбка во все лицо — с первого взгляда видно, везет человеку. «Махнем со мной, крестник! Верное слово, не пожалеешь!»)

— На складе у нас хранилось больше двадцати пистолетов, несколько винтовок. Холодного оружия, того насобирали — не счесть,— продолжал вслух Бухгалтер.— Но особой нашей заслугой были бомбы. Сами навострились делать. Даже собственную конструкцию изобрели. Этого специального типа у нас накопилось больше трехсот. Да плюс еще примерно двести зажигательных. Не преувеличиваю. Итого — сотен пяток...

(Грузовик остановился перед постоялым двором около Каракаса. Там я и нашел кров на первое время. С адресом в руках иду разыскивать крестного. Конечно, с непривычки плутаю. С кем из приезжих этого не бывает, тем более в Каракасе. Наконец нахожу дом, указанный в адресе, но там мне говорят, что крестный сменил квартиру, а когда я прихожу на другую квартиру, то оказывается, что и оттуда он съехал, а куда — никто не знает. Наверно, ищет в провинции покупателей, думаю я. Что ж, придется устраивать свою судьбу без посторонней помощи. Разворачиваю газету, купленную по дороге, и первое, что вижу,— объявление в рамке: «Требуется бухгалтер со знанием английского и машинописи». Я прикинул в уме: бухгалтерия для меня темный лес, из английского в памяти застряла еще со школьных уроков от силы сотня слов. Теперь машинка. В лавке я изредка садился за разбитый «ремингтон» без буквы «ñ», хозяин читал по слогам описи товаров, а я эти описи долбил одним пальцем на машинке. Вот и все. Так что сальдо явно не в мою пользу, по всем статьям не дотягиваю. Подумал, погадал... А если все же рискнуть? И решился. Вырезаю объявление из газеты. Отправляюсь в контору. По лестнице поднимаюсь на второй этаж. Темно. Пахнет турецким табаком. У окошка, за столом, среди вороха бумаг сидит усатый ливанец, представитель автомобильной фирмы «Diamond T.». Даже не ответив на мое приветствие, он сразу спрашивает, знаю ли я английский, машинопись и бухгалтерское дело. Я говорю уклончиво: знаком, мол, со всем этим, хотя назвать себя специалистом не решился бы. Тогда он задает второй вопрос: как насчет спиртного? Ну, тут уж я похрабрел. Никогда, говорю, с само-

го рождения не тянуло к рюмке, привычек нет таких. Вижу, ливанцу мой ответ — словно елей на душу. Сразу обмяк. Грустный такой, даже слезу чуть было не пустил. «Подумай,— говорит,— пришлось уволить хорошего бухгалтера! Толковый был, опытный, а вот, поди ты, запил горькую и... какой из пьяницы работник? По объявлению приходят наниматься, сегодня утром уже заходило несколько человек. Но что с ними делать — от всех еще с порога перегаром разит! Так всем и отказал...» Мой трезвый вид, очевидно, поразил его. Даже знания мои проверять не стал, ни одного вопроса больше не задал. Велел приступать к работе. Как просто, оказывается, можно порой стать бухгалтером!)

— Основу нашей бомбы составляла взрывчатка,— продолжал Бухгалтер с наивным тщеславием умельца.— Ею мы начиняли кусок металлической трубы, а труба-то с надрезами по всей поверхности, вроде ананаса. В верхнюю часть трубы ввинчивался детонатор: пружина, ударник, ружейный патрон. Детонатор с предохранителем выступал из трубы, вроде как цоколь электрической лампочки. Взрывалась эта штучка от удара, когда боек бил по пистону. То есть должна была взрываться. Горько признать, бомбы наши если и принесли кому урон, то лишь нам самим. А вот как это случилось. Первое покушение на диктатора мы приурочили к торжеству на площади, у подножия памятника — нам известно было, что диктатор собрался выступить там с речью. Казалось, рассчитано и предусмотрено было все до последней мелочи. Оставалось лишь подвезти несколько бомб к месту покушения. И вот накануне двое наших парней, которым было поручено упаковать бомбы для перевозки, случайно сместили на одной из них предохранитель. На беду, она выскользнула из рук, грохнулась и... Да, сделаны были они неплохо: взрывом пробило брешь в стене дома, где это случилось. А уж что было внутри, и говорить нечего. Один из товарищей скончался тут же. Другой, когда на взрыв прибежали полицейские, лежал в луже крови, живот разворочен — одним словом, агонизировал. Полицейские, не теряя минуты, начали его допрашивать, и на все вопросы он отвечал. Не в своем уме был, уже не понимал, с кем говорит. Назвал все имена и явки, какие знал. Так наша группа специального назначения была разгромлена. Вот почему я здесь.

(Хотя, по утверждению ливанца, мой предшественник пил беспробудно, но надо отдать ему должное, бумаги он содержал в порядке и балансы подбивал — точнее быть не может. На первых порах я просто-напросто копирую его отчеты, а если случаются какие трудности, то и своим умом дохожу, большого соображения тут не надо. Так что уже в скором времени дела у меня идут как по маслу. Нужда в английском возникает, лишь когда приходят письма из Чикаго, штат Иллинойс, от фирмы «Diamond T. Motor Truck Company». Но, к счастью, письма эти коротенькие, похожие друг на друга, к тому же в них больше цифр. Я раз-другой нырну в карманный словарик, и перевод готов. Вначале мой патрон требует, чтобы и ответы на них я писал по-английски. Но это уже свыше моих сил, даже с таким костылем, как словарь. И тут я насел на ливанца. Ведь если у нас, говорю я ему, в маленькой конторе имеется переводчик с английского на испанский, то у такой солидной фирмы, как чикагская «Diamond T.», и подавно есть переводчик с испанского на английский, и наверняка не один, а несколько. Переубедил-таки усача. Что до машинописи, то тут я и не пытаюсь хитрить. Ливанец усадил меня рядом с собой и все время посматривал поверх очков в мою сторону, пока я разыскивал нужные клавиши и тюкал по ним одним пальцем. Весь первый день он хмурит свои дремучие брови, но потом примиряется с этим судорожным поклевыванием, и если я медлю дольше,

чем надо, на его лице появляется лукавая улыбка: он уже знает, что я потерял букву «q»).

— Когда полиция арестовала нескольких членов нашей группы, я понял, что со дня на день придут и за мной. Я решил перебраться к знакомому адвокату: он ходил у нас в сочувствующих. Дом его был вне подозрений. У нас с обитателями дома был уговор: чуть только они заподозрят слежку или увидят поблизости полицейских, так сразу же зажигают на фасаде дома два электрических фонаря. Фонари были сильные, как маяки, и свет их виднелся сквозь сад издалека — так что вовремя мы могли свернуть, не входя в опасную зону. В то утро фонари не светились. Мы с товарищем спокойно подъехали на машине к ограде сада, поднялись по ступенькам к входной двери, товарищ мой отпер ее своим ключом... В холле нас дожидались пятнадцать агентов Сегурналя, вооруженных до зубов. А хозяева дома, адвокат и его жена, застигнутые врасплох ночным налетом, сидели в спальне под дулом пистолета.

(Мне стало легче, как только я окончил годовые коммерческие курсы. Теперь я — настоящий конторский служащий, бухгалтер с дипломом. Английский мой словарь заметно пополнился. Правда, дурная привычка печатать одним пальцем осталась, но я делаю это до того проворно, что со стороны меня можно принять за опытную машинистку. В остальном житье-бытье мое идет по-прежнему. Принимаю счета фирмы «Diamond T.», оформляю на ее имя новые заказы. Никаких особых происшествий, все тихо-гладко. И вдруг в один прекрасный день вся моя жизнь перевернулась. Долго не было событий, так вот теперь нагрянули все разом, будто по сговору. Как-то взбрело мне в голову пойти на митинг, он происходил на арене для боя быков. На улице увидел плакаты, зазывные надписи — все на митинг! — ну, и пошел. Прихожу. Народу — тьма тьмущая: и на арене, и в ложах, и все ряды забиты. Поднимаюсь на самый верх к парапету. Сел, огляделся. Над головой звезды, за спиной, внизу, улица шумит. Рядом — чуть не локтем касаюсь — молоденькая сеньорита в голубом платье. Черные ее глаза то сочатся медом, то вспыхивают двумя огоньками. Потрясающие глаза! Девушку опекает мамаша, но это не мешает ей откликнуться на мои расспросы. Сперва я хожу вокруг да около, а потом решаюсь узнать ее имя и адрес. Она охотно дает то и другое и, плутовка, делает вид, что не замечает, как накаляется ее мамаша: тоже, болтать с первым встречным! Тем временем на арене выступают друг за другом ораторы. Но вот, уже за полночь, на трибуну поднимается известный поэт. Вмиг десять тысяч глаз повернулись к нему, все смолкло вокруг. Поэт говорит не громко, но с таким чувством, такие волнующие слова, что на глазах моей соседки блестят слезы, и, что самое неожиданное, на моих — тоже, и я то и дело поворачиваюсь к парапету, вроде бы любопытствую — что там, на улице. Потом оратор вставляет в речь какую-то забавную историю, и мы оба смеемся. В заключение он снова говорит о страданиях наших безземельных крестьян, о детях, лишенных школ, о притеснениях рабочих. Его речь до того меня растрогала, что я готов записаться в его партию. Как только кончается митинг, я подхожу к негру с белой нарукавной повязкой — он стоял у выхода, наблюдал за порядком — и спрашиваю, как стать членом партии. Он подсказал мне адрес, куда обратиться, и я записываю этот адрес рядышком с адресом и именем девушки в голубом платье, с черными глазами, в которых и мед, и жгучий огонь. Два ряда цифр и слов, нацарапанных на обратной стороне листовки, сухие цифры и слова. А сколько же в них смысла, боже мой! Судьба моя — в них, ни больше, ни меньше. Завтра с этой листовкой в руках я приду в помещение партии и поставлю свою подпись на заявлении о приеме, а пол-

часа спустя позвоню в домик со старомодным входом на узкой улице в квартале Сан-Хосе, и для меня — предсказывает сердце — начнется новая жизнь).

— К подъезду Сегурналя то и дело подкатывали джипы. Охранка вела повальные аресты — и всё наших... наших подвозили. Одних арестовали со слов смертельно раненного бомбой парня, других шпики выследили, третьих выдали первые арестованные — кое-кто из них не выдержал пыток. Моей личности в первый момент не придали должного значения. Обыскали, правда, тщательно. Потом спросили имя — я назвался вымышленным — и бросили, словно куль с мукой, на каменный пол в одной из подвальных камер. Камеры тесные, сырые — пещеры какие-то. А в каждой — по меньшей мере человек пятнадцать. Теснотища такая, что мы как сели вплотную друг к другу, так и сидели весь день и всю ночь. Рано утром агенты с пистолетами и автоматами в руках вытолкали нас в коридор, построили цепочкой и отвели в просторное помещение на верхнем этаже. Тут я подсчитал заключенных. Шестьдесят человек — точно! Всех нас раздели, оставили в чем мать родила, защелкнули на скрещенных за спиной руках стальные наручники, построили рядами на три метра друг от друга и подали команду стоять смирно. Между рядами расхаживали агенты — теперь у них в руках были сабли. Чуть кто из нас пытался переменить позу, к нему подскакивал агент, грозил, бил, издевался всяко, как только мог. Шеф политической бригады — метис, глаза полосатые, кошачьи и лицо, как у кота, круглое, пухлое, лоснится, голос нахальный, с этакой бодрой издевочкой,— сидел верхом на стуле у боковой двери. Сидел и выкрикивал, будто бичом стегал: «Чтобы есть... пить... и спать, надо... говорить! Кто... не будет... говорить, тому... крышка!»

(Сердце не обмануло. С митинга на арене боя быков началась для меня новая жизнь. Я много работаю в комитетах партии, в рабочих кварталах. Изучаю программу — она мне все одно что катехизис, благоговею перед ней. В несколько месяцев люди меня узнают, уважение проявляют. На митингах я, правда, не выступаю, обошел бог ораторским талантом. Статьи в газеты не пишу — этих способностей мне тоже не дано. И все же работа моя не последняя, больше того, нужная и важная, если заглянуть в корень дела. Я веду учет членов партии и партийных взносов, слежу, чтобы в ячейках регулярно проводились собрания. Друзья у меня появляются. Среди них есть даже видные люди, образованные, университеты кончали. А есть и такие же простые, как я, рядовые по происхождению и образу жизни. Да, мы разные. Но мы едины, как семья. Это семья самых честных и способных людей, мужчин и женщин. Нас обвиняют в сектантстве. А кто обвиняет-то? Кому не выпало счастье принадлежать к нашей партии! Так пусть себе обвиняют. Я твердо знаю: мы — лучше других, мы — самые достойные!)

— Так мы стояли уже несколько часов — шестьдесят человек, все голые, со скованными руками, беззащитные,— продолжал свой рассказ Бухгалтер.— Ни сдвинуться с места хотя бы на дюйм, ни переступить с ноги на ногу нам не давали. Агенты следили за каждым, и чуть кто шелохнется — того наотмашь били плоской стороной клинка по спине. Шло время. Тело наливалось болью, поясницу точно кто рвал когтями, позвонки отяжелели, как свинцовые кольца, ноги дрожали, будто после долгой болезни. Без капли воды, без крошки хлеба мы стояли весь день и всю ночь, потом еще день и еще ночь. Стояли и молчали. Метис уходил отдыхать, возвращался, опять садился верхом на стул и выкрикивал: «Чтобы есть... пить... и спать, надо говорить... сукины... дети! Кто... не будет... говорить, тому... крышка!» Брань агентов и удары клинков о спи-

ны уже не прекращались: кто-нибудь да не выдерживал стойку «смирно», шатался от усталости, жажды и ломоты в пояснице.

(Мою черноглазую зовут Мерседита Рамирес. Влюблены мы друг в друга по уши и, как говорят, до гробовой доски. Вот и сейчас Мерседита сидит рядом со мной на скамье в парке. Я целую ее в глаза, в губы, не слушая ее испуганного голоса: «Осторожней! Кругом люди!..» Какое мне дело до людей, до всего света! Мы прощаемся в коридоре ее дома. Я обнимаю девушку, и в глазах ее вспыхивают огоньки, у меня даже сердце замирает. Решено: я женюсь. Но прежде надо потребовать от представителя фирмы «Diamond T.» прибавки к жалованью. Он, конечно, согласится. В случае чего ливанца и припугнуть удастся. Его слабое место мне хорошо известно: он впадает в панику при одной мысли, что может потерять такого опытного, как я, бухгалтера, и к тому же трезвенника. Как-то субботним вечером мы венчаемся в приходской церкви Сан-Хосе. Видные деятели нашей партии не отказали нам в чести, пришли на свадьбу, пришел даже знаменитый поэт. Держа бокал с шампанским, он прочитал стихи в честь новобрачных... Растет наша партия... Крепнет любовь Мерседиты Рамирес. Не зря мне предсказывали столько блаженства две капли меда в ее глазах. Я счастлив, я благословляю день, когда мне пришло в голову покинуть родное селение, залезть в кузов грузовика и отправиться на поиски судьбы в Каракас. Мерседита Рамирес, вся в белом, шепчет: «О чем думаешь?» Я отвечаю без запинки: «О моей женушке!»)

— Уже семьдесят два часа подряд продолжалось это страшное, жестокое представление. И без того было тошно, а тут еще прибавилось зловоние: даже по нужде нам не разрешали сойти с места. И вдруг я подметил, что четверо или пятеро арестованных начали сдавать. Губы у них дрожали, по щекам скатывались слезы. От меня глаза отводят, а на палачей смотрят моляще, недостойно. Надо было немедля что-то предпринимать, чтобы эти парни не заговорили. Партия итак понесла тяжелый урон, а теперь нависла угроза катастрофы. Руководитель группы специального назначения — это, значит, я — был среди них главным. Кому же, как не мне, и подумать обо всем? И я решился на крайнюю меру — другого пути не было. На исходе третьей ночи, улучив секунду, когда агент отошел от меня на несколько шагов, я шепнул рядом стоявшему, что всю вину беру на себя. Мои слова полетели по цепочке. Только бы никому не вздумалось опровергать мое заявление: кроме меня никто не знает о подготовке покушения на диктатора. Никто — и все пятьдесят девять человек избавятся от пытки. «Хватит и того, что умрет один»,— сказал я себе.

(Беда вторгается в мою жизнь так же неожиданно, как когда-то счастье. Моя жена, Мерседита Рамирес, понесла с первой же ночи, оба мы, радостные и довольные, считаем месяцы, недели, дни, часы, отделяющие нас от рождения нашего ребенка. Едва начались схватки, я отвожу Мерседиту — бережно, словно святые дары,— в клинику знакомого врача, члена нашей партии. Пока ее везут на каталке по коридору, она через силу улыбается мне, подбадривает. Я сажусь в приемной, беру в руки спортивный журнал. Развязки жду спокойно, уверен, что все обойдется гладко. У Мерседиты хорошее здоровье, беременность протекала нормально. Но проходит два с лишним часа, журнал прочитан от корки до корки, даже объявления изучены, а развязка все не наступает. В приемной пахнет дезинфекцией и, как мне кажется, болью. Но я беру себя в руки — врач предупреждал, что первые роды не бывают скорыми и легкими. Наконец-то выходит врач — у меня темнеет в глазах. Он весь в белом, руки висят, сгорбился. Голос усталый и вроде бы виноватый.

«Подготовьтесь к худшему...» — «К худшему... что это значит?...» Чувствую, что стоит рядом смерть моей жены, Мерседиты Рамирес, весь мир собой заслонила. Далеко, откуда-то со дна пропасти, доктор бормочет: «Редчайший, почти неповторимый случай... медицина бессильна... Поделать ничего нельзя...» Беда не приходит одна... Через три недели после смерти Мерседиты вспыхивает мятеж высшего офицерства, они захватывают власть, как всегда бывает в нашей несчастной стране. На партию обрушиваются репрессии. Надо уходить в подполье. Но прежде я хочу попрощаться с ливанцем. Очень мы привязались друг к другу, в нем я видел отца, он плакал вместе со мной на похоронах, плакал настоящими слезами. От ливанца я узнаю, что полиция уже побывала в моем доме. Громили все, что под руку попадалось, звери. Столик Мерседиты, кровать Мерседиты — все разбито в щепы. Мебель мы в кредит покупали, еще и не оплатили полностью. Ну, теперь уже все равно! Только вчера Бухгалтер был самым счастливым человеком на свете, и вот теперь он — добыча, за ним охотятся ищейки с пистолетами, рыскают по его следу по всем глухим закоулкам города. Кладбище и то они держат под наблюдением — вдруг придет положить на могилу жены букетик цветов, сказать ей несколько словечек любви.)

— Все пятьдесят девять приняли мое предложение. Правда, кое-кто не так-то охотно: понимали люди, что от мук избавятся ценой моей смерти. Но в конце концов я старший, и они обязаны подчиниться. Мое заявление все подтвердили перед шефом политической бригады. Одного за другим их выводили за дверь, чтобы вернуть в камеры подвала. Я остался один посреди огромного зала. Держусь из последних сил — руки скованы сзади, к полу тянет, мочи нет. А настоящий допрос только теперь и начинался. Теперь агенты знали, из кого надо вытягивать секретные сведения. Пинками меня загнали в грязную камеру, где обычно допрашивали уголовников. Описывать ее не буду, ведь вас допрашивали, наверно, там же?

— «Ринговая»? — спросил Парикмахер.

— Она самая. Едва переступил порог, как начали бить по спине клинками плашмя. Семь агентов били, а восьмой — с блокнотом и карандашом в руках — выплевывал вопрос за вопросом: «Где спрятаны остальные бомбы?» «Где скрывается Карневали?» После каждого «не знаю» удары и оскорбления учащались. Я крикнул: «Остановитесь! Дайте сказать!» Палачи притихли. Тогда я заявил: «Покушение на диктатора — моя личная идея. Даже руководство партии я не поставил в известность. Помогали мне два парня, погибшие при взрыве. Остальные арестованные ни при чем. О плане покушения они и знать не знали. Встречались со мной в последнее время только по вопросам партийной пропаганды. О покушении никто не знал». Агент записал мои слова в блокнот, и с той минуты меня били не переставая. Дежурные менялись два раза в сутки. Днем били одни, ночью другие. Все больше молодые парни, лет что-нибудь около двадцати. В такие годы сердце у человека еще не зачерствело, жалость понимает. А эти... все-то человеческое сгубила в них подлая служба! Я даже не слушал, что они спрашивали. Горло мое пересохло, словно стеклом толченым набито, и я только хрипел: «Не знаю!» «Не знаю!» «Не знаю!»

(Наша партия оказалась неподготовленной для подпольной борьбы. Живу я, как заяц в лесу, скачу от пристанища к пристанищу. День — у друга, день — у знакомого. Люди эти не всегда надежные. От политики далеки, целей борьбы не понимают, опасностей побаиваются. И уж непременно в таком доме найдется человек — жена, теща, тетка, брат, — которому ты как кость в горле.

Ты для него подозрительный, из-за тебя он сна лишился, так на кой ты черт ему нужен? Этот человек не донесет: он не доносчик, а главное — боится навредить себе и своим ближним. Но он делает все, чтобы ты ушел восвояси. Он громко жалуется на нехватку продуктов. Войдет с улицы и начнет говорить о каких-то типах, которые, как он уверен, ведут за домом слежку. Поговорит по телефону и потом заявляет, что знакомые якобы предупредили его о налете полиции. Одним словом, тебя окружает глухая враждебность, и выносить ее очень трудно. Скитания привели меня в скромную квартирку любовницы одного друга, нашего человека. Думал, хоть здесь отдышусь. Квартирка на третьем этаже, о двух комнатах. Одну занимает почти целиком двухспальная кровать, в другой устроено что-то вроде приемной. Здесь, в приемной, хозяйка и вешает для меня гамак. Мой друг приходит, чтобы переспать с этой сорокалетней дамой, а она, не только в самом соку, но и ревнива до бешенства, по ночам донимает его слезами и упреками даже за пустячное опоздание. Конечно, мое дело — сторона, живу себе. Но вот однажды ночью слышу через дверь, как женщина грозит моему приятелю: «Если я узнаю, драгоценный, что ты меня обманываешь, я тут же донесу на этого типа. Посмотрим, что тогда ты запоешь!» Разумеется, не дожидаясь рассвета, я беру туфли в руки и в одних носках спускаюсь по лестнице.)

— Два дня подряд меня били. Я по-прежнему молчал. Тогда они решили пытать меня холодом. В камеру вплыл огромный брус льда, что-то больше метра в высоту. Я прикинул: в ширину человек уместится на нем вполне, длины же не хватит на голову и ступни ног. Точно так и вышло, когда меня голого, со стянутыми за спиной руками бросили на этот брус. Сперва я почувствовал липкий холод, затем сухое жжение, наконец колючую боль. Казалось, будто лежу я на кактусах и в тело вонзились тысячи шипов. Но потом спина и ноги омертвели, и я уже ничего не чувствовал, кроме жуткой рези в запястьях. Все эти дни наручники впивались зубцами в мясо, рвали его в клочья. А теперь, когда я лежал на руках всем телом, зубцы достигли уже кости — так углубились раны. Трижды я терял сознание и падал с бруса на пол. Агенты ждали, когда я приду в себя, и снова укладывали на ледяной помост. А пока укладывали, старались еще ударить плоской стороной клинка. И это было во сто крат больнее, чем раньше. Обмороженная кожа, она ведь очень чувствует боль. Уже пять суток я не ел, не пил. Однако голод и жажда все же не так донимали меня, как боль в руках. Что говорить, я думал и о хлебе, и о воде, но не тянуло меня к ним. Я еще, помню, тогда вроде открытие для себя сделал: кончаются в человеке жизненные силы, и он перестает чувствовать голод. Наверно, в науке закон такой выведен. Так что все как-то шло мимо, не задевая меня. Вот только боль в запястьях преследовала да еще доносились выкрики моих палачей. Выкрики эти раздавались откуда-то издалека, будто из-за перегородки клинков, которыми меня били: «Где спрятаны бомбы? Где скрывается Карневали?» Мне уже не хватало дыхания, чтобы вымолвить: «Не знаю». Я только головой мотал.

(Хотелось бы рассказать еще об одном случае, но, пожалуй, не стоит. Да разве можно: эти люди — чужие мне, они из других партий. Лучше смолчать. Смолчать о том, как в один из дней меня вдруг перестали пытать, стащили со льда, сняли наручники и приволокли под руки в соседнюю комнату. Там сидел человек — как я узнал потом, его пытали в другом крыле здания. У него — как и у меня, наверно,— в глазах смертная мука, страх безумный. Мы долго смотрим друг на друга, и наконец я узнаю под страшной маской знакомое лицо. Ведь этому товарищу я передавал готовые

бомбы. По внешнему виду ясно, что воля его сломлена и он уже начал выбалтывать то, о чем говорить нельзя. При мне агенты возобновляют его допрос: «Это тот человек, о нем вы говорили?» «Да, этот человек...» — отвечает он и глаза от меня отводит. «Это он поставлял бомбы?» «Да, это он поставлял бомбы...» — хрипло повторяет он. «Где вы доставали взрывчатку? Где находится мастерская?..» Мне становится страшно: ведь если допрос не остановить сейчас же, сию же минуту, то он приведет... Я кричу: «Ложь! Он все врет!» Палачи умолкают. А я продолжаю кричать: «Этот тип — никакой не заговорщик. Он подлец, трус! Он хочет отомстить мне: я увел у него жену!» Собрав остатки сил, я вырываюсь, делаю вид, что пытаюсь вцепиться ему в горло. Агенты встают между нами, бьют меня кулаками, но я все же успеваю перехватить его взгляд. Это взгляд человека, который вдруг очнулся, прозрел. Агенты швыряют меня в сторону, бросаются к нему, тормошат, наседают с вопросами, чтобы не дать ему одуматься, не упустить момент. «Говорите! Отвечайте! То, что он сказал о женщине, выдумка? Да? Выдумка?» Он проводит рукой по лицу, будто просыпаясь от страшного кошмара, и выдавливает из себя сквозь одышку: «Нет... не выдумка... Я не получал от него бомб... Он отбил у меня женщину... Правда это... Я хотел отомстить... наговорил зря...» Потом набирает воздух и говорит решительнее: «Больше я ничего не знаю...» Его выволакивают из комнаты. Конечно, его еще будут пытать, но я уверен, что теперь из него не выбьют больше ни слова.)

— Я не ходил по большой нужде с того дня, как меня арестовали. «Сколько же прошло дней?» — силился я вспомнить и не мог, память отшибло. Однажды на рассвете, заслышав шаги палачей, я вдруг почувствовал, что легко могу сойти с ума. С этой минуты одна забота бередила мне сердце. Если в самом деле я сойду с ума и начну говорить бесконтрольно, то что толку в моем теперешнем молчании? Пропадет все попусту. Тогда я все могу им выложить: и где гараж, который мы приспособили под склад бомб, и в каком тайнике отсиживается Карневали, и где какие у нас ячейки. Если, не дай бог, такое со мной случится, то просторные залы второго этажа, тюремные камеры в подвалах Сегурналя, пожалуй, не вместят всех людей, чьи имена хранятся в моей памяти, хранятся под семью замками. И я дал себе зарок: на пытках не открывать рта, даже «не знаю» не говорить. Если твердить без конца одну и ту же фразу, то и с этого может начаться бред. В то же утро я нарушил свою клятву. Перед агентом, у которого в руках был блокнот, я продиктовал целую речь о свободе и справедливости. Вот только жаль, руки скованы за спиной. С жестами-то оно вышло бы резоннее. Никогда я не был хорошим оратором, но как-никак это мое первое публичное выступление прошло с успехом. Агент смачно плюнул мне в лицо, но какие-то слова мои записал, а когда я кончил, он дал мне такую оплеуху, что сбил с ног. Им пришлось повозиться, чтобы поставить меня снова вертикально. Не помогали ни пинки, ни удары. Я прижимался к цементному полу и твердил в тупом отчаянии: «Дайте уснуть! Дайте уснуть!»

(Мой мозг перестал работать нормально, я это ясно осознаю. Но это меня и успокаивает: раз я понимаю, что свихнулся, значит, я еще не совсем свихнулся. С малолетства я был беспамятливым. А тут вдруг приходят на ум такие мелочи детства, что только диву даюсь. Вспомнил имя моей школьной учительницы — Росальвина, имя автора моего букваря — Мантилья. Человек я скромный, не бог весть каких талантов, а в голову приходят всякие возвышенные мысли, умные фразы. Пока был в своем уме, ничего похожего со мной ни разу не случалось. Кажется, будь сейчас при мне перо и бумага, я запросто сложил бы поэму на смерть Мерседиты Рамирес.

А может быть, даже и портрет ее нарисовал бы. Нарисовал бы лихорадочными черно-красными мазками. Но в мыслях я уезжаю в родной городок. Иду по улицам, прохожу из конца в конец. Недостроенная церковь — мимо, статуя Боливара — мимо, глинобитные домишки — мимо. Вот она, река. Тут водятся шаловливые форели, выглядывают из воды. Я ныряю и хватаю самую жирную. Она бьется у меня в руках, изодранных наручниками, и говорит человечьим голосом. Я слушаю, как будто так и надо: животные частенько беседуют с сумасшедшими! Я не отвечаю форели: боюсь проговориться о том механике, который предоставил нам под склад свой гараж. Агенты бьют меня и здесь, на берегу реки, и все норовят оттолкнуть к кустарнику, подальше от воды, чтобы я не достал ее губами. Я выпускаю из рук форель и реву, словно дикий зверь: «не знаю», «не знаю», «не знаю», «не знаю», «не знаю». Пять раз подряд, сто раз подряд, пока агенты, оглушенные ревом, не отступают прочь. Я вот-вот заплачу — а может быть, уже плачу — от страха, что сошел с ума. Безумные не всегда городят несусветицу, подчас и дело говорят, но, боже мой, разве они выбирают, что сказать?)

— Я как-то не заметил, что пытки прекратились. Пошатываясь, я стоял один посреди камеры — голый, превращенный черт знает во что. Почему они меня не прикончили? Может быть, в университете или в рабочих кварталах начались волнения, когда стало известно, что меня пытают много дней и вот-вот я умру? Кто знает. Но только однажды вечером в камеру большими шагами вошел шеф политической бригады, постоял с минуту, глядя блудливыми, полосатыми глазами на то, что осталось от Бухгалтера, и вдруг заорал: «Убрать отсюда это дерьмо! Он рехнулся, пытается умереть, чтобы выгородить остальную падаль!» Агенты подцепили меня под мышки, выволокли из камеры и рывками отбуксировали в подвал, в камеру, где я сидел сразу после ареста,— у нее номер тринадцатый, никогда не забуду. Надзиратель принес мне одеяло, а несколько позже — чашку молока и ломтик хлеба. Хлеб он обмакнул в молоко и поднес к моему рту. Взглянув на меня при свете карманного фонаря, он воскликнул, как бы обращаясь к кому-то другому: «Подумайте, за две недели поседел, как лунь!»

(Но я им ничего не сказал. До ареста у меня кое-где пробивалась седина, а спустя две недели я стал седым, старик стариком. Но я им ни слова не сказал. Они содрали наручниками мясо у меня с запястий, они чуть не спустили с меня кожу клинками, они едва не заморили меня голодом и жаждой. Но я им ничего не сказал. Не сказал даже тогда, когда у меня мутился рассудок, а он временами в самом деле мутился. Да и теперь — лежу я ничком на полу камеры номер тринадцать — я не уверен, что в голове моей все встало на свое место. Прижавшись щекой к замызганному полу, я слушаю бой часов где-то наверху, должно быть, в одном из кабинетов. Странно слышать легкий серебряный перезвон под этими мрачными сводами, где колокол должен гудеть по замученным. Большой церковный колокол!.. Дзинь, дзинь, дзинь... Десять. Но я не знаю, день сейчас или ночь. В камере темно — круглые сутки мрак. И некого спросить. В смутном мерцании коридорной лампочки я с трудом различаю враждебную фигуру надзирателя. Он не заговаривает со мной, а я с ним — тоже).

— Ты действительно поседел за эти две недели,— подтвердил Журналист.

— Четырнадцать дней и ночей пыток.— Бухгалтер как бы подбивал баланс.— Четырнадцать дней и ночей без пищи и воды. Двое суток из них — лежа на брусе льда. Еще четверо суток — под градом ударов

клинками и зуботычин. Все четырнадцать — со скованными за спиной руками, голый и в крови, как Христос.

Свисток отбоя совпал с окончанием повествования Бухгалтера. Четверо заключенных медленно отошли от своего товарища и легли на узкие койки. Легли не спать, а думать.

ЖУРНАЛИСТ

В воскресный полдень, как и в полдень любого дня недели, распахнулась зарешеченная дверь, и повара итальянцы внесли в камеру бак. В мутных волнах баланды покачивались волокнистые лохмотья юки *, да порой всплывали торчком вываренные до белизны пустые кости. Дженаро — в пятнистом от сажи и жирных брызг фартуке — волочил за собой половник с длинной ручкой. Он злорадно скреб им по заплеванному, грязному полу, стараясь хоть еще этим досадить заключенным.

Антонио, второй итальянец, был мягче сердцем, да и причины ненавидеть политических у него не было. Они поняли это с первого же дня по его разговорам, по отношению к ним. В Венесуэлу Антонио приехал как иммигрант, собираясь, согласно оформленному в консульстве договору, работать в сельском хозяйстве. Но по не зависящим от него обстоятельствам кончил тем, что поступил поваром в тюрьму.

Забитая картонным листом дверь отворялась только для того, чтобы пропустить итальянцев с баком или выпустить по очереди в отхожее место пятерых заключенных. Им еще не довелось увидеть здесь какую-нибудь живую душу, кроме поваров, агентов и надзирателей. Но они знали, что тюрьма набита политзаключенными и по ночам тяжело дышит сотнями легких, которым недостает воздуха.

Единственным знаком внешнего мира, единственным проблеском жизни, доходившим до них из других бараков, были звуки — звуки, приглушенные картонным барьером. На рассвете из двора соседнего барака врывалась команда: «Стройся!» Вслед за этим доносился поспешный топот многих ног — начиналась поверка заключенных. «Первый!..» «Второй!..» «Третий!..» «Четвертый!..» «Пятый!..» — и так до «Семьдесят второй!»

Капитан пытался определить характеры невидимых соседей по тембру и выражению их голосов во время утренней поверки.

— Первый! — спокойно произносил кто-то.

— Это человек толковый,— делал вывод Капитан.

— Второй! — в голосе чувствовались боязнь и неуверенность.

— Этот еще не избавился от страха,— ставил диагноз Капитан.

— Третий! — гордо, как вызов, бросал человек.

— С мятежным духом,— следовало определение.

— Четвертый! — безразлично выкрикивал вялый голос.

— Этот еще не до конца осознал, что он — заключенный.

— Пятый! — в голосе угодливая поспешность.

— Холуй по натуре.

— Шестой! Седьмой! Восьмой! — отзывались автоматически и почти одновременно, ускоряя ритм переклички, три голоса.

— Серые личности, ни грана своего в характере,— презрительно отмечал Капитан.

— Десятый! — выкрикивал невпопад девятый по счету, и тут же брань и удары клинком, прервав перекличку, сыпались на несчастного в наказание за его рассеянность.

---

* Юка (иначе маниока) — крахмалистый корнеплод.

Врач не соглашался с результатами подобных психологических опытов на расстоянии:

— Не всегда тон голоса выражает характер человека. Он может свидетельствовать и о временном душевном состоянии,— доказывал Врач.— Встал утром человек с левой ноги — вот тебе и причина, чтобы крикнуть «Четырнадцатый» тоном ниспровергателя. А вспомнит поутру этот бунтарь свой дом, обмякнет от грусти и то же слово скажет таким тоном, словно с рождения только и знает, что стонать да жаловаться.

Другим звуком, прорывавшим картонные заграждения, был ни с чем не сравнимый взрыв оглушительного хохота. Не раз на дню гремел этот заразительный хохот счастливого человека, неуместный клич бездумной юношеской радости, отдававшийся странным эхом среди высоких тюремных стен.

— Должно быть, негр,— определил по привычке Капитан.

— На этот раз ты прав,— согласился Врач.— Только негры умеют так заразительно хохотать.

Хохот доносился чаще под вечер, когда в одной из камер соседнего барака садились играть в домино. Слышался яростный стук костяшек, и время от времени долетал громкий голос того же негра:

— Заказывай панихиду. Последний ход.

— Тридцать два. Мы вышли.

— Сапожники!

Изредка ветер приносил откуда-то издалека звуки музыки: видимо, кто-то из тюремных надзирателей слушал радио. Однажды ночью Парикмахер вскарабкался на поставленную стоймя к стене железную койку и карандашом, сбереженным Бухгалтером при обыске, просверлил в картоне на слуховых окошках отверстия. Крохотные дырки позволяли увидеть только однообразную полосу серой стены. Зато слышнее стала музыка: незатейливые вальсы, ударные инструменты антильских негров, мужественные аккорды национального гимна.

В то воскресенье утром они поймали обрывки репортажа о матче бейсбола:

— ...Мяч летит вверх, вверх... со счетом один — ноль выигрывает команда... сенсационная игра...

Журналист и Парикмахер спорили, пытаясь по голосу и манере вести репортаж, определить личность комментатора. Оба они были заядлыми болельщиками, знали по именам всех видных спортсменов и следили за их успехами. Как и следовало ожидать, они разошлись во мнениях относительно достоинств и слабостей своих фаворитов.

Именно эта банальная размолвка на спортивной почве послужила Журналисту поводом, чтобы поведать о своих горьких испытаниях. Вернее, он перешел от спора к рассказу без всякого повода, просто по ходу препирательства.

— Более чем посредственный игрок,— убежденно заявил он о спортсмене, которого Парикмахер считал звездой первой величины.

— Твое дело — политика,— возразил Парикмахер, задетый за живое.— У тебя есть призвание, есть способности. Но в спорте ты ни черта не смыслишь и порешь бред собачий.

— Дело в том, дорогой, что как раз к политике-то я и не испытываю никакого влечения,— усмехнулся Журналист.— Политика, как трясина, засосала меня вопреки моей воле.

— Кто тебе поверит? — вмешался из своего угла Бухгалтер.— Сколько я тебя знаю, ты только и говоришь о политике, и вся твоя жизнь связана с политикой.

— Выходит, плохо ты меня знаешь,— отрезал Журналист.

Бухгалтер улыбнулся и с наигранной наивностью спросил:

— Тогда, может быть, ты нам скажешь, за что ты очутился в этой камере? За пристрастие к черной магии? За любовь к животным? Или тебя завлекла сюда песней сирена?

Лицо Журналиста стало серьезным.

— Да, все началось Первого мая прошлого года,— начал он.— Руководство нашего профсоюза решило послать своего оратора на рабочий митинг. Манифестация была запрещена полицейскими властями, но рабочих это не остановило. Ну, поскольку мне было что сказать — кое-какие факты бередили мне с некоторых пор сердце,— то я предложил: буду выступать я, если нет возражений. Товарищи наградили меня аплодисментами. Полицейские, как и следовало ожидать, разогнали манифестацию стрельбой из автоматов как раз на середине моей речи, однако меня никто пальцем не тронул. Зато вечером, когда я приехал домой и только-только вызвал лифт, чтобы подняться к себе в квартиру, из темноты подъезда вышли два агента, велели мне следовать с ними. Два месяца сидел под арестом — ни допросов, ни пыток. Единственное неудобство — грязная камера и соседство с бандитом-рецидивистом, отправившим в лучший мир по скромным подсчетам дюжину душ. Затем меня освободили, но с подпиской — являться раз в три дня в полицейский участок. Я по-джентльменски выполнял это тягостное обязательство в течение нескольких недель, пока обстановка в стране не осложнилась, пока диктатура не завинтила еще крепче гайки. Мне сообщили, что несколько таких же, как я, неблагонадежных граждан, которым надлежало систематически являться в полицию, были арестованы, как только показались там для отметки. Не желая попасть в ловушку, я решил «исчезнуть из обращения», начал искать контакты с теми, кто боролся в подполье.

(Нет, я не лгал, утверждая, что политика втянула меня в свой водоворот вопреки моему желанию. Точно так в свое время я вошел в журналистику. Со мной вообще это бывает в жизни, очевидно, потому, что я не умею продумывать свои решения, частенько предпочитаю плыть по воле волн, в лучшем случае руководствуясь интуицией. Правда, уж если я окунулся в какое-либо дело, то вкладываю в него всю страсть, на какую способен,— подчас даже больше, чем требуется. Мой отец одержим идеей сделать из меня адвоката, по примеру деда и прадеда — образцовых покойников в традиционных тогах и шапочках, чьи портреты облагораживают его библиотеку. Только окончил я иезуитский колледж и получил диплом бакалавра, отец записывает меня в университет, на факультет права,— он даже не счел нужным узнать мое мнение на сей счет, не снизошел до объяснений. Однако в этом случае я решил не следовать безропотно чужой воле. В защиту своих вкусов я выдвигаю простой и ясный довод: я никогда не понимал, да и понимать не желаю, для чего существует адвокатура и какой вклад в мировой прогресс могут внести люди столь темной и хитрой профессии. Но едва я заикнулся о том, что некоторые книги, вроде «Пандектов», вызывают у меня отвращение, отец пришел в ярость — по сути дела выставил меня из дому, не взирая на слезы и мольбы моих обеих сестер. На первых порах я работаю шофером на грузовике, ибо кроме умения водить машину, играть в футбол, школьных знаний да шапочного знакомства с римским правом у меня нет ничего ни в руках, ни за душой. Однажды в дальнем рейсе, когда я, не выпуская баранки, обхаживал свою попутчицу, молоденькую горничную, я вдруг увидел у бензоколонки своего однокашника из колледжа Сан-Игнасио, с ним стоял какой-то человек с фотоаппаратом. «Никогда бы не поверил, что парень с твоими способностями добывает хлеб насущный шоферской работой! — говорит мой друг, поздоровав-

шись.— Ты ведь и говорить и писать умеешь». Я молчу, жду, что он дальше скажет, и он продолжает: «Я, знаешь, тоже бросил университет, сейчас работаю в редакции газеты. Почему бы тебе не зайти к нам, когда вернешься в Каракас?» Две недели спустя я заглянул к нему в редакцию, он тут же представляет меня главному редактору: «Вы искали репортера, вот он». «В каких газетах вы работали?» — спрашивает в лоб редактор. Мой друг опережает меня с ответом: «Он еще не работал в газете, но имеет диплом бакалавра, учился в университете. Кроме того, сеньор главный редактор, он был самым способным учеником в иезуитском колледже, а по словесности ему не было равных». Хотя последние слова — явное преувеличение, редактор соглашается взять меня на пробу в отдел информации. В первый же день мне, репортеру по происшествиям, здорово везет. Пьяный штукатур убил мастерком свою жену, и я не только красочно описываю это происшествие, но и сопровождаю репортаж фотоснимком жертвы, это фото я нашел в доме и потихоньку сунул в карман, когда осматривал место трагедии. Материал идет в номер. Главный редактор вызывает меня к себе и, не вынимая изо рта сигареты, цедит: «Поздравляю, молодчина!»)

— Как вам известно, за кандидатов нашей партии голосовало подавляющее большинство избирателей. Вам известно также, что диктатура фальсифицировала результаты выборов, избирательные урны где-то похоронила, а наших депутатов и сенаторов не только не пустила в конгресс, но бросила в тюрьмы или выслала из страны. У нас оставался один выход — подполье. Я отрастил усы а-ля испанский трактирщик, временами покидал конспиративную квартиру, чтобы встречаться с представителями оппозиции, как из числа гражданских лиц, так и военных — трех-четырех офицеров нам рекомендовали как противников диктатуры. Явки с военными проводились в самых необычных местах: в приемной зубного врача, в баре одной аргентинки, пользующейся сомнительной репутацией, в конюшне ипподрома. С рассветом я появлялся на ипподроме, выходил на беговой круг с хронометром в руке, как бы для ознакомления с пробными забегами. Вскоре появлялся подполковник, владелец скакуна чистых кровей, кстати сказать, приходившего к столбу всегда последним. Разговаривали мы в тесной конюшне, пропитанной запахом навоза и лечебных притираний, чуть не под брюхом у лошади, качавшей головой в такт нашим словам. В одну из встреч подполковник сообщил мне, что группа офицеров недовольна махинациями на выборах и считает своим долгом выступить с оружием в руках против диктатуры. Не имея каких-либо полномочий, я обещал ему поддержку моей партии, а также других оппозиционных партий, профсоюзов, студенчества и вообще всего народа. Самое важное, решил я, чтобы военные выступили, а там пойдет. Лиха беда начало.

(Хотя газетчиком я стал по воле случая, эта увлекательная профессия приносит мне с первых же шагов столько удовольствия, что я даже перестаю сердиться на отца. Забуду, что он лишил меня домашнего очага, и, в свою очередь, предоставлю ему возможность простить мне пренебрежение к «Пандектам» Юстиниана. Примирение происходит в теплой и непринужденной домашней атмосфере, в библиотеке, под портретами образцовых предков в традиционных тогах и шапочках. Отец настаивает на моем переселении домой, я наотрез отказываюсь: во-первых, не хочу беспокоить сестер возвращениями на рассвете, а во-вторых, кто глотнул свободы, тот едва ли вернется в клетку по доброй воле. Большинство моих товарищей по работе — ребята что надо. Правда, есть две-три странные личности, особенно один — с прыщавой шеей и дурным запахом изо рта — целыми днями вьется около начальства и хотя тщится выдавать

себя то ли за коммуниста, то ли за социалиста, наверняка служит в полиции, голову даю на отсечение. Первое время коллеги-репортеры подшучивают надо мной, еще новичком. Так, просит меня кто-то к телефону и сообщает, что в таком-то доме совершено преступление на почве ревности. Я хватаю блокнот, фотографа и мчусь по адресу. Дверь открывает какой-то человек, и, услышав мой вопрос: «Как зовут убитую?» сперва испуганно крестится, а потом с возмущением заявляет, что я нахожусь в резиденции апостолического нунция его святейшества папы и что здесь никогда никого не убивали. Что же касается проходимца с прыщавой шеей, то он пуще огня опасается поссориться со мной. И, надо сказать, для этого есть веские основания: рост у меня сто восемьдесят, я неплохо боксирую, готов в любой момент дать сдачу.)

— С некоторых пор полиция стала усиленно разыскивать меня. Очень возможно, что наши конспиративные связи были обнаружены, кто-то из арестованных распустил на допросе язык. Нагрянули с обыском ко мне на квартиру, захватили охотничье ружье и спортивные снаряды. Обшарили дом отца, начиная с библиотеки по римскому праву и кончая кладовкой, пышно именовавшейся винным погребом, где отец хранил несколько бутылок французского вина. Устроили обыск и в помещении редакции, не забыв даже типографию, как будто человек может скрываться под ротационной машиной. Один из моих сослуживцев по прозвищу «Ангельский святоша» — он ходил по воскресеньям к мессе и любил рисовать непорочно-голубой акварелью — встретил меня на конспиративной квартире и настоял, чтобы я перебрался в более надежное место. Куда бы, вы думали? В дом священника, его близкого родственника. Под крылышком сердобольного падре я провел несколько недель, читая религиозные книги и слушая неуемную болтовню попугая, обладавшего задатками церковного служки, и мог бы без тревог прожить там остаток жизни, если бы обстоятельства интимного характера не потребовали однажды, чтобы я вышел из дому. И я вышел, положившись на свои усы а-ля испанский трактирщик.

— Обстоятельства интимного характера? — заинтересовался Парикмахер.— Ты хочешь сказать — женщина?

— Да, я именно это хотел сказать. Но бедная девушка ничуть не виновата в моем провале. Она была так потрясена, узнав, что меня зацапали по дороге к ней — в двадцати шагах от ее дома, если говорить точно,— даже серьезно заболела. Попался я не по доносу, и это не было достижение полиции, как пишут в газетах. Всему виной глупая случайность да еще собственная неосторожность. Шпик, фланировавший по улице, узнал меня в лицо, несмотря на темноту и мои галисийские усы, и увязался за мной следом. Не знаю, то ли он, улучив минуту, вызвал по телефону патрульную машину, то ли просигнализировал проезжавшей мимо, только вскоре я услышал визг тормозов, из машины высыпали один за другим четыре типа с автоматами и, не дав мне вынуть изо рта сигарету, надели наручники. Все это произошло в мгновение ока, без единого слова. Мне запомнилось, как проходившая мимо старушка в черном платье испуганно вскрикнула: «Пресвятая дева Мария!» Это был последний женский голос, услышанный мной.

(Неужто этот брадобрей ждет подробного рассказа о моих любовных приключениях? Понимает ли он, что посвящать посторонних в свои отношения с женщиной так же недостойно, как доносить на человека в полицию?.. Еще учеником колледжа и даже в студенческие годы я был очень стеснителен. Меня безудержно влечет к блондинкам, но, влюбившись, я сгораю от страсти тайно, не решаясь заявить о своих чувствах. Позже, в короткий период моего шо-

ферства, мужская робость тает в объятиях податливых служанок, а когда я становлюсь газетчиком, то с удивлением замечаю, что женщины липнут ко мне. Честно говоря, я ошеломлен этим открытием. Я мог бы вообразить себя кем угодно: Христофором Колумбом, Наполеоном Банапартом, Людвигом ван Бетховеном, но сердцеедом?.. И в голову не приходило. А начинается вот с чего. Заведующий информационным отделом редакции, продержав меня два месяца на происшествиях, приходит к выводу, что я гожусь для кое-чего большего, чем репортажи о налетах на банки и автомобильных катастрофах. Например, для интервью с политическими деятелями. Но для этой работы, замечает он, необходимо завести костюм, сорочки и галстуки поэлегантнее. И вот едва я меняю окружение и свой внешний вид, как попадаю в плен к женщинам. Что любопытно, инициатива всегда исходит не от меня, а от них, и, признаться, я даже чувствую себя как-то неловко от этого. Не знаю, что тут играет главную роль — то ли мои новые костюмы и галстуки, или мое телосложение голландского моряка, или мои зеленые глаза русского скрипача, или мой профиль неаполитанского бандита, или моя манера говорить в шутку о серьезных вещах, моя неуемная влюбчивость — эта слабая струнка мужчины, которую женщины чувствуют с первого взгляда. Во всяком случае, без каких-либо домогательств с моей стороны, сам не знаю как, я то и дело оказываюсь в запертой спальне в объятиях сеньоры, сеньориты или вдовы, которая всхлипывает у меня на плече — разумеется, после исполнения интимных обязанностей. Первому случаю я не придаю большого значения: эта дама — скорая на ногу лошадка, хотя и принадлежит к высшему обществу. Еще до нашей встречи я слышал от заведующего спортивным отделом о ее похождениях, а тут она сама является к нам в редакцию и спрашивает репортера по хронике светской жизни. Но с репортером она почти не разговаривает, а заводит беседу со мной, нежным, чуть капризным тоном спрашивает мое имя, на прощанье подает пахнущую французскими духами руку, да так, словно вручает подарок, и намекает, чтобы я записал ее телефон. «А то ты забудешь»,— говорит она в заключение, незаметно переходя на «ты». Телефонный звонок кладет начало идиллии, которая никогда не сотрется в моей памяти из-за одной совершенно незабываемой детали: благоуханная сеньора научила меня искусству любви — не как это определено господом богом, а как это умеют делать лишь цивилизованнейшие. Ее имя Фанни, но с тех пор, как увидел ее без одежд, я зову ее Саломеей.)

— Как и в момент ареста, за весь путь до Сегурналя мне не было сказано ни слова. Меня втолкнули в небольшую комнату, где стоял в позе ожидания, нахлобучив на глаза шляпу, командующий пытками — его все знают по кличке Бакалавр. Это был — впрочем, он и сейчас еще жив — коренастый, плотный мужчина лет под пятьдесят, я бы сказал, изысканно одетый. От него пахло дорогим одеколоном, в зубах он держал сигарету в мундштуке. Мне врезались в память мельчайшие детали его внешности. Бакалавр встретил меня таким приговором: «Ну, теперь ты крепко влип, Журналист. Не за бредни, вроде первомайской речуги, а всерьез». Не теряя ни минуты, он стал задавать мне вопросы насчет заговора офицеров. Я отвечал с наигранным возмущением: «Мои убеждения штатского человека несовместимы с такими методами борьбы, как военные перевороты». Он хитро посматривал на меня своими маленькими глазками, в которых было что-то от змеи и от грызуна. Я понял: он не ждет и не хочет от меня добровольных признаний. Более того, в его сердце палача, этой сточной яме, уже окрепло страстное же-

лание вырвать их с помощью пыток. Он так спешил, что не прошло и получаса после моего появления, как я был раздет догола, закован в наручники — руки за спину — и водружен на «ринг». Что это за штука, вы и сами хорошо знаете.

— Я не знаю,— возразил Капитан.— Слыхал об этом орудии пыток, но что оно собой представляет в точности, не знаю.

— С большим удовольствием готов объяснить вам, Капитан,— сказал Журналист, будто речь шла о чем-то приятном.— Хотя объяснять тут, собственно, нечего. «Ринг» — это обычный диск обычного автомобильного колеса. Ободья диска заточены и остры, словно ножи. Его-то и используют эти канальи в виде орудия пыток политических заключенных. А как — вы сейчас поймете. Когда меня, разутого, поместили на этот режущий круг, он показался мне довольно безобидным: боль в подошвах ног была вполне терпимой. Но так продолжалось лишь несколько минут. Металлические лезвия входили все глубже в подошвы, эти чувствительные участки тела, от боли я менял положение ног, невольно подставляя полукруглым ножам все новые места. Шли часы — на подошвах оставалось все меньше нетронутых мест, мои ступни обрастали снизу багровой бахромой, края обода покрылись кровью, и я, уже вне себя от боли, попытался спрыгнуть с «ринга». Но агенты не пустили меня на пол. Окружив меня, они плевали мне в лицо, пинали ногами, били кулаками и плоской стороной клинков, и, как я ни сопротивлялся, меня вновь поставили на этот адский пьедестал.

(«Приходите ко мне сегодня, в шесть вечера, и я буду рад ответить на вопросы, интересующие вашу газету»,— сказал мне посол одной южноамериканской страны, видимо забыв, что в тот же час, в том же месте его супруга устраивает коктейль-парти. Когда я, в самом темном из моих костюмов и в самом светлом из моих галстуков, появляюсь в посольстве, дипломат рассыпается передо мной в извинениях, просит отложить интервью до завтра — «Да смирит господь ярость шефа!» — думаю я при этом — и приглашает меня остаться гостем на коктейле ее превосходительства. Я остаюсь, завязываю беседу с рыжеволосой дамой, обладательницей высокой, чуть не девственной груди. Дама недавно развелась с мужем и теперь увлекается теософическими книгами и романами Германа Гессе. Она спрашивает, читал ли я «Нарцисса и Гольдмунда». В ответ на мой отрицательный жест в ее голубых глазах появляется выражение глубочайшего соболезнования, она обещает прислать мне на адрес редакции экземпляр своей настольной книги и действительно спустя четыре дня выполняет свое обещание. Женщина и книга столь приятны, что я полагаю необходимым навестить новую знакомую и потолковать с ней о прочитанном, а кроме того, преподнести ей букет роз. Цветы прибывают из магазина как раз в ту минуту, когда хозяйка дома опускает иглу на пластинку с записью романсов Дебюсси. Под чарующим воздействием книги, свежих роз и музыки сливаются воедино наши мысли, руки и все остальное. Я посвящаю рыжеволосой несравненные субботние вечера, когда еще предстоит день отдыха, а в груди моей пылают семь стопок виски. Она нервно, прерывисто звонит у дверей моей квартиры. Войдя, она надолго припадает к моим губам, после глотка хереса из рюмки, что я наполнил в ожидании ее, залезает в мою пижаму, засучив рукава и закатав штанины, и наконец усаживается на постели среди подушек. Прежде чем упасть в мои объятия этакой скромной и наивной деревенской простушкой, она должна непременно поболтать о литературе, об индусской философии, об итальянском кино и абстрактной живописи. Все это хорошо, но со

временем я начинаю чувствовать, как от этих прелюдий на культурные темы притупляется мое плотское влечение к рыжеволосой. И вовсе не потому, что ее обширные познания выше моих, ущемляют мое достоинство — кстати, ее лекции бывают полезны для моего самообразования,— а потому, что, по моему убеждению, подобные литературно-научные прологи не особенно уместны в постели. Возможно, мое представление о любви легкомысленно и пошло, но я воспринимаю слияние полов как торжество природы, как радостное таинство, чуждое какой бы то ни было метафизике, и мне, ей-богу, не по душе схоластика рядом с обнаженной женщиной. Разведенная дама, поклонница Германа Гессе, упорствует в своих традициях исследовать проблемы мирового значения за минуту до того, как лечь со мной, и потому наши субботние встречи становятся все реже и реже, пока не прекращаются вовсе. Но я частенько звоню ей по телефону, чтобы узнать ее мнение о книге, которую я не удосужился прочесть, о музыке, которую не успел послушать, о фильме, который еще не посмотрел.)

— Пять часов меня держали на «ринге». Я твердил одно: отвергаю военные перевороты как метод политической борьбы и клянусь всеми святыми, что не знаю лично никаких офицеров, кроме одного-двух, у которых брал интервью по долгу службы. Неожиданно Бакалавр велел мне спуститься с «ринга» и одеться, так как, сказал он, предстоит поехать в одно место, где я либо развяжу язык, либо распрощаюсь с жизнью. На этот счет, подчеркнул он, у него нет ни малейшего сомнения. Белье и костюм я натянул без особого труда, но с обувью пришлось повозиться: искромсанные, отекшие ступни не влезали в туфли. Затем мне приказали идти вперед. Меня сопровождала группа агентов во главе с Бакалавром. Прежде чем пуститься в дорогу, меня подвергли дурацкой операции, словно заимствованной из фильма о гангстерах или сказки: нацепили мне на нос массивные очки с черными стеклами и, чтобы я не уловил боковым зрением очертания предметов или хотя бы тени от них, плотно законопатили ватой просветы между лицом и очками. Два агента взяли меня под руки и, как слепого, повели по коридорам Сегурналя. Я ощутил под ногами ступеньки лестницы, затем меня подняли на весу в машину — судя по высокой посадке и характерному звуку клаксона, это был джип. Над ухом раздался хриплый голос Бакалавра: «Захватите кирки и лопаты, чтобы для этого дерьма выкопать могилу». Я похолодел, хотя почти одновременно в мозгу зародилось сомнение, вылившееся в такой успокоительный силлогизм: «Мне завязывают глаза — значит, не хотят, чтобы я запомнил дорогу; они боятся, что я запомню дорогу — значит, везут меня не на смерть; следовательно, Бакалавр врет, когда пугает могилой». Джип катил по молчаливым ночным улицам, потом закачался по проселку, затем какое-то время подпрыгивал по камням или глыбам ссохшейся земли и в конце концов остановился. Меня под руки спустили, провели несколько шагов. Я, спотыкаясь, преодолел два уступа — должно быть, ступеньки из утрамбованной земли,— и за нами захлопнулась какая-то дверь. С меня сорвали одежду, стащили туфли, защелкнули на скрещенных сзади руках наручники и ударом наотмашь сбили с лица очки вместе с ватой. Едва я открыл глаза, как кто-то сильно ударил меня ногой в живот, и я повалился на диван.

(Случай с глупой девственницей — неопровержимое свидетельство того, что я совершенно не гожусь на роль волокиты, развратника или соблазнителя. Началось с телефонных звонков. Ежедневно по нескольку раз меня вызывает гортанный голос чувственной женщины, и я пускаюсь на всякие уловки, чтобы избежать разговора с неизвестной. «Скажи, что меня нет на работе, что у меня болит

зуб»,— прошу я сослуживцев. Уж кто-кто, а я-то знаком с теми маньячками, перезрелыми девами или неудовлетворенными женами, которые звонят по адвокатским бюро, служебным конторам и редакциям газет в поисках телефонного собеседника, с кем можно завязать пикантный, а то и просто скабрезный разговор, прячась за инкогнито, словно за баррикадой. Однако гортанный голос так настойчив и полон мольбы, что однажды я не выдерживаю и беру трубку: «Послушайте, детка, если вы действительно хотите со мной познакомиться, то не лучше ли нам встретиться где-нибудь? Мне претит эта похоронная труба, именуемая телефоном». «Хорошо,— послушно соглашается неизвестная.— Я видела ваш портрет в газете, читала ваши хроники и безумно хочу вас видеть, где угодно». Я назначаю место свидания, презрев опасность встретить деву не первой свежести или проститутку, обслуживающую на дому. Но — хвала всевышнему! — моя поклонница являет собой обратную сторону медали: этакий полурасцветший бутончик, выпускница колледжа, романтичная, как Франческа, та, что была возлюбленной Паоло. Оказывается, она влюблена в мой профиль неаполитанского бандита и — о, боже! — в мой журналистский стиль. Совершенно ослепленный нежностью этого ангела, пахнущего молоком и жасмином, я веду ее в кино — днем, так как вечером родители не выпускают ее из дому,— и в темноте глажу ее руки, трепетные и влажные, словно мордочка кролика. После кино мы сидим в кафе, я тяну четвертую рюмку сухого мартини, она грызет мороженое, белоснежное, как ее шея, и время от времени поглядывает на меня с таким восхищением, что я начинаю нервничать. Как-то майским воскресеньем я приглашаю ее к себе на квартиру. Она идет рядом со мной по улице, навстречу своему падению, и я чувствую, что вот так же отрешенно и радостно она пойдет и в ад, если мне это взбредет в голову. Я медленно ее раздеваю — тело отливает матовой белизной фарфора — и, уже обнаженную, целую в губы. Она, чуть не теряя сознания, никнет у меня в руках, и тогда я произношу самые испанские из всех испанских слов: «Ты непорочна?» Она слегка краснеет и, борясь со страхом, который отражается в ее глазах робкой лани, бормочет: «Конечно. Но я так люблю тебя, что готова...» Я хмурю брови, словно школьный учитель, отвожу глаза в угол на белую глыбу холодильника и кричу голосом разгневанного дядюшки: «Ну, вот что! Немедленно одевайся и марш домой!» Иной раз, просыпаясь целомудренным квакером, я хвалю себя за стойкость, проявленную в то воскресенье. Но когда я просыпаюсь не квакером, а это бывает значительно чаще, почти каждое утро, я называю себя идиотом. Законченным идистом, который не заслуживает никакого снисхождения.)

— Ранчо было мало — метра три в длину и столько же в ширину,— запущенно, как свинарник, без мебели, если не считать дивана, на который я упал, да выкрашенного белой и голубой краской шкафчика для детских вещиц и игрушек, присутствие которого в этой страшной берлоге вызывало недоумение. Не дав мне подняться с дивана, не задавая мне никаких вопросов, шестеро агентов стали бить меня палками, вернее, сучьями тех деревьев, что окружали ранчо. Когда от удара о мои ребра или голову одна из этих дубин, еще с остатками свежей листвы и колючими наростами, ломалась, через минуту я слышал приглушенное вжиканье мачете — за дверью рубили новые сучья. Без малого час длилось это избиение, и оно, очевидно, длилось бы еще, если бы Бакалавр не приостановил его: «Ну как, падло, будешь давать показания? Назови фамилии военных, замешанных в заговоре, и мы отпустим тебя ко всем чертям. А будешь молчать — прибьем, как паршивую собаку».

В ответ на его слова я в сотый раз повторил, что мои принципы несовместимы с идеей военных переворотов; Бакалавр оборвал меня, заявив, что пришел час моей смерти, а заодно и похорон. В кольце агентов с автоматами на изготовку, весь лилово-красный от синяков и ссадин, я вышел из хижины. Как я и предполагал, это было заброшенное бедное крестьянское ранчо, приткнувшееся среди древесных зарослей. Пройдя метров пятьдесят, мы остановились у огромного дерева букаре без цветов и без листьев. Бакалавр протянул мне кирку и лопату: «На, рой себе могилу, мразь!» Я вспомнил про очки и вату и стал копать землю без особой тревоги, почти уверенный в том, что яма эта не станет местом моего успокоения. Когда яма достигла размеров обычной могилы, а я продолжал ее еще углублять, один из агентов направил на меня сверху автомат и завопил: «В последний раз предлагаем: говори или сейчас издохнешь!» «Вы хотите убить человека, который ничего не знает. Это просто глупо»,— ответил я из глубины ямы. Агент поднял автомат и прицелился. Я зажмурил глаза — на всякий случай... Прошло несколько секунд. Меня вытащили из ямы, надели наручники, вернули в ранчо с бело-голубым шкафчиком. На пороге меня поджидал новый удар ногой в живот, и опять я упал на диван. Сквозь редкие кроны искалеченных деревьев проглядывал туманный рассвет.

(Когда речь идет о простом соблюдении закона природы или о совершении третьего из смертных грехов, то все катится у меня как по маслу. Так же легко — без осложнений — связи обрываются, как только выпадает удобный случай положить им конец. Все мои милые визитантки, перестав посещать меня с определенной целью, остаются близкими моими друзьями. «Как дела, Журналист? Если верить фотографиям в газете, ты молодеешь день ото дня». «Милый, мой муж хочет познакомиться с тобой. Я ему столько о тебе говорила». «Что бы ни было, Журналист, ты мне нравишься по-прежнему. Есть вещи, которые не забываются». «Дорогой, постарайся, чтобы ваша газета прислала ко мне фотографа. Я даю чудесный прием». «Знаешь, на будущей неделе моя свадьба, Журналист. Я рассержусь, если тебя не будет». И так далее, в том же духе. Но положение усложняется, когда женщина в тебя влюблена серьезно, я хочу сказать, полюбит всем сердцем. Такие катастрофы случались со мной, слава богу, всего дважды. Нет на земле существа отважнее, великодушнее, настойчивее и достойнее уважения, чем влюбленная женщина. Такая принесет в жертву все, что угодно: домашний очаг и состояние, если они у нее есть; семью и детей, если они у нее есть; собственную жизнь, которая у нее есть и всегда в ее распоряжении. Влюбленная женщина — повторяю, женщина, полюбившая всем сердцем,— превосходит в набожной приверженности верующих, в бескорыстии — альтруистов, в беззаветной преданности — революционеров, в самоотреченности — матерей, а уже одно это, черт возьми, о многом говорит. Я знаю, огромному числу представителей обоих полов показались бы преувеличенными мои убеждения на этот счет. Ведь большинство женщин только воображают, что они влюблены, а на самом деле и понятия не имеют о настоящей любви. Тоже и мужчины: сколько их проходит по жизни, так и не испытав счастья быть по-настоящему любимым. Но я убежден в своей правоте. Когда я говорю о настоящей любви, я вспоминаю прежде всего Милену, учительницу. Она радуется, как школьница, если я покупаю ей коробку конфет. Она приходит в ужас, если у меня на несколько десятых поднимается температура. Она готова лопнуть от гордости, когда я получаю пустяковую премию на конкурсе репортажей. Ее розовые ножки всегда охотно и радостно несут ее в мои объятия. Часто, наплакавшись по-детски, со всхлипами, она твердит, уставив-

шись в одну точку, что готова отказаться от дома, родных, от места преподавательницы английского языка, лишь бы жить со мной, спать со мной, убирать мою квартиру, ставить гвоздики в мои пустые цветочные вазы. Конечно, она заболела с горя, узнав, что меня арестовали именно тогда, когда я шел к ней, чтобы поцеловать ее. Любовь Милены пролетит над зеленой саванной, переплывет великую реку, просочится сквозь толстые стены тюрьмы и картон этой решетки и доставит сюда ее письмо. Первая весточка из внешнего мира — первая не только для меня, но и для этих четверых, не знающих, кто такая Милена. Я уверен, так будет.)

— Меня избивали каждую ночь. Днем, пока трое агентов с автоматами расхаживали вокруг ранчо, я отлеживался в забытьи на диване, страдая от болей, от жажды, от мысли о новых побоях. Около полуночи издалека раздавался гудок джипа, возвещавший о приезде Бакалавра и его подручных. То, что неминуемо должно было произойти десятью минутами позже, приводило меня в такой ужас, что однажды, заслышав отдаленный звук клаксона, я обмочился прямо на диване. Бакалавр входил со своими помощниками в ранчо, приближался к дивану, где я лежал, покрытый кровоподтеками, с вылезшими из орбит глазами, и спрашивал масляным голоском сводника: «Ну-с, как? Будем говорить?» Я отвечал: «Все, что я знаю, вам известно. Больше ничего не могу сказать». Вслед за этим удары палок сыпались на мои синяки и раны, оставшиеся от прошлой ночи и от всех предыдущих ночей. Но в тот раз, едва я услышал гудок приближающегося джипа, меня вдруг обуял такой страх перед физической болью, такое неудержимое желание избежать побоев, что я пустился на хитрость, хотя и понимал, сколь она глупа и беспомощна. На очередной вопрос Бакалавра: «Ну-с, как? Будем говорить?» я ответил: «Ладно. Я дам показания». У Бакалавра заблестели глаза. Он повернулся к агенту — тому самому, что целился в меня с края вырытой мною могилы,— и приказал: «Возьми блокнот, записывай». Без каких-либо колебаний я стал перечислять имена несуществующих лейтенантов и капитанов, приписывая их к существующим казармам, пока не набрал достаточное количество «участников» заговора. В ту ночь — по моим подсчетам, седьмую в лапах Бакалавра — меня не били. Больше того, дали стакан воды, которым я умерил сводившую с ума жажду, и крылышко цыпленка, оставшееся от ужина одного из агентов. Бакалавр пристально и недоверчиво следил за мной — какие-то сомнения у него, видимо, оставались. Потом он собрал свою ватагу, вдали рявкнул холодящий душу гудок джипа. Мои мучители спешили в существующие казармы на поимку несуществующих офицеров. Я выиграл ночь отдыха для разбитого в кровь тела и стакан воды, который спас меня от умопомрачения на почве жажды.

(И все-таки, пожалуй, я не прав, уверяя Парикмахера в том, что политика засосала меня вопреки моей воле. Еще студентом я ходил на митинги, читал еженедельники политических партий, спорил со своими однокурсниками о социализме и кооперативах. И если не шел дальше этого, то лишь потому, что всегда почитал личную свободу превыше всего на свете. Именно любовь к личной свободе удерживает меня от возвращения в отцовский дом и от женитьбы на Милене или на какой-нибудь другой женщине. Не хочу, чтобы к моему дикому стволу привился опасный своей ласковой вкрадчивостью культурный побег и заставил меня изменить образ жизни. По этой же причине я долго не вступал ни в одну из политических партий. Став членом партии, я должен был бы подчиняться дисциплине, тратить вечера на эти скучнейшие собрания с протоколами и сбором членских взносов, а то еще ездить в качестве оратора на митинги в провинциальное захолустье и там, после многочасовой

тряски по отвратительным дорогам, произносить зажигательные речи, а потом, стыдясь собственной болтовни, выслушивать поздравления растроганных слушателей: «Благодарим, коллега Журналист! Потрясающее выступление!» Но что толку от моего стремления к личной независимости, от этого страстного желания остаться дичком, как неклейменый бык-одинец в саванне, если я живу в такой стране, как Венесуэла? Ведь мы, венесуэльцы, уже полтора века страдаем от микробов политиканства. Мы произносим только политические речи, бредим наяву политическими переворотами, даже напиваемся мы с единственной целью — выкрикнуть на улице какую-то политическую дребедень. У нас не хватает времени заняться индустриализацией, гигиеной быта, образованием, мы только и знаем, что ведем глупые и бесплодные политические дискуссии. Будучи плотью от плоти своей среды, я тоже в конце концов уступаю роковому соблазну. Желая доставить удовольствие одной премиленькой мулатке, медицинской сестре, которая частенько навещает меня дома и в перерывах между поцелуями шепчет: «Любовь моя, кто тебе сказал, что мы отнимем у тебя свободу? Мы ведь не орден иезуитов!» — я вступаю в партию. В партию моей медицинской сестры, разумеется. Поначалу я ограничиваю свои новые обязанности присутствием на заседаниях палаты депутатов, и то затем, чтобы поддержать аплодисментами выступления нашего лидера, несравненного оратора. Но вот армейские заправилы, совершив переворот, принимаются набивать политзаключенными тюрьмы и опустошать государственную казну — кровь у меня в жилах вскипает, я выступаю с речью на первомайской манифестации и кончаю тем, что, поправ свои гражданские убеждения, ввязываюсь в конспиративную деятельность.)

— Мои мучители вернулись через сутки, как и следовало ожидать, не обнаружив вымышленных капитанов и лейтенантов. Бакалавр, судя по смокингу и винному запаху, явился прямо с праздника, может быть, со свадьбы, где он, надо думать, не преминул провозгласить тост в честь новобрачных. Тем не менее взгляд его гадючьих глаз был, как никогда, полон яда, а характерная гримаса врожденного преступника, как никогда, резко очерчивала рот. На этот раз без единого слова и вопроса Бакалавр и его головорезы принялись бить меня ногами в грудь и лицо, поминая непристойностями мою покойную мать. Потом один из них, оттянув пальцами кожу у меня на правой руке, прошил ее мешочной иглой с толстой и шершавой, как шпагат, нитью. Подергивая нить, он удерживал меня рядом с собой, как это делает погонщик с быком, у которого через нос пропущена веревка. Острейшая боль и вслед за этим еще более ужасная — где, я даже не успел определить,— лишили меня сознания. Когда — не знаю, сколько времени спустя,— я пришел в себя, ощущение шпагата в руке уже исчезло, но та, другая, невыносимая боль осталась, и теперь я знал место ее возникновения. Медленно, очень медленно осознавал я, до какой подлости дошел этот подвыпивший садист в смокинге, выведенный из себя ложными показаниями. Он не довольствовался оскорблением памяти моей покойной матери, не насытился видом моего тела, прошитого мешочной иглой. Не желая считаться с тем, что перед ним лежит обессиленный, закованный в наручники, голый, избитый донельзя человек, он собственными руками вонзил в него заостренный сук или кол, словно гарпун в кашалота. В приступе ледяного озноба я стучал зубами, на висках выступил холодный пот. Там, внизу, меня пекло пламя, оно сжигало ткани, оно не только не утихало, но поминутно вспыхивало с новой силой. Меня атаковали судорожные позывы, до такой степени мучительные, что казалось, это сама жизнь рвется из моего тела сквозь кровоточащее отверстие. Я дышал тяжело

и отчаянно — и все же не чувствовал пульса на стянутых наручниками запястьях. Когда через какие-то минуты я снова стал погружаться в беспамятство, мне представилось, что наконец ко мне пришла смерть и она избавит меня от страданий. Смерть в образе моей доброй и строгой матери — с белым лбом и в черной накидке.

(Черные очки и белая вата. Каким же, в самом деле, я был слепцом, полагая, что, закрыв мне глаза, они хотели скрыть от меня путь, а следовательно, не намеревались меня убить и я вернусь обратно живым! Каким же я был тупицей, не предусмотрев, что есть бездны, пострашнее смерти, и не почувствовав впереди угрозу, во сто крат более мрачную, нежели смерть! Все было бы уже кончено, если бы комедия с могилой не оказалась только лишь комедией, если бы агент открыл тогда огонь из автомата и оставил меня лежать мертвым на дне ямы, вырытой моими руками. Я лежал бы сейчас спокойно, не испытывал бы этой жгучей, разрывающей внутренности боли, которая обвивает колючей проволокой мои артерии вплоть до колен, до щиколоток, ползет от поясницы к затылку, прошивая спинные позвонки. Из меня уже вытащили кол, но мне кажется, будто он все еще внутри и гораздо глубже, чем раньше, будто он достает острием брюшную стенку и вот-вот проткнет ее на уровне пупка. Я не мечтаю больше сохранить жизнь, я придумываю, как поскорее расстаться с ней. Я уже не человек, а раздавленная лягушка — все наружу, чучело, размалеванное липкой, темной кровью, стекающей по голым ногам. Единственное средство оборвать этот позорный, унизительный кошмар, избежать завтрашнего ночного избиения, освободиться от Бакалавра — это смерть. Надо перестать существовать, надо умереть, и я добьюсь этого.)

— За двадцать четыре часа, пока палачей не было, я в горячке обдумал во всех деталях способы вынудить Бакалавра или кого-нибудь из агентов убить меня. Когда они вошли, я лежал на диване, на правом боку, в луже крови, поджав ноги. Дикая головная боль приглушала все другие боли. «Бакалавр,— проговорил я, увидев его.— Вы должны меня убить... Сегодня же». Он ухмыльнулся: «Не волнуйся, обязательно убьем. Только не сразу, а постепенно, частями». И я начал речь, которую продумал за ночь, в огне горячки: «Если вы не убьете меня сию же минуту, Бакалавр, то остаток моей жизни я посвящу единственной цели: отомстить вам. Когда я выйду из тюрьмы — а я выйду, рано или поздно, как выходят почти все узники,— я не дам покоя душе и телу, пока не взыщу с вас полной мерой за эту подлость. Я побреду за вами следом, как пес за хозяином, я разыщу вас в самом отдаленном уголке земли и заставлю расплатиться за все муки и оскорбления. Советую, Бакалавр: убейте меня сегодня! Если вы этого не сделаете, то, клянусь честью, клянусь прахом матери, вся моя будущая жизнь будет подчинена одной цели — отомстить вам, плюнуть вам в лицо, вырвать у вас глаза, содрать с вас кожу вот этими ногтями»... Какое-то мгновение он колебался, разглядывал меня, потом пожал плечами, сменил в мундштуке сигарету и, закуривая, сказал презрительно: «Не мели чушь, Журналист, живым ты из тюрьмы не выйдешь». Я понял, что словами его не проймешь, и решил осуществить второй план самоубийства. Свернувшись на диване, поджав ноги наподобие взведенного курка, я терпеливо ждал, когда голова кого-нибудь из моих палачей окажется на уровне моих пяток. И вот один из них — кстати сказать, самый усердный, обломавший об меня не одну дубину,— любопытствуя, как выглядит рана, приблизился к моим ногам. Я напряг все силы и ударил его прямо в лицо. Он отлетел к бело-голубому шкафчику, осел на пол, рот у него был в крови. Я с радостным трепетом наблюдал, как он тяжело встал, как его лицо наливалось яростью, как он поднял автомат на уровень

моего тела. И вдруг он застыл, словно парализованный, от окрика Бакалавра: «Отставить, кретин! Не вздумай прикончить его!» Я окончательно понял, что уйти из жизни мне не удастся.

(Бакалавр, конечно, не принял всерьез мою угрозу, да и сам я не думал тогда, что приведу ее в исполнение; просто-напросто я провоцировал его на убийство, всем существом желая собственной смерти. Но теперь я снова и снова мысленно возвращаюсь к этим оставшимся без ответа словам, и они обретают силу торжественной, грозной, нерушимой клятвы. Боль немного утихла, но в низу живота появилась тяжесть, как будто туда положили камень или кусок железа. Смерть — гораздо более трудоемкий процесс, нежели мы себе представляем. Человеческий организм хватается за жизнь с цепкостью утопающего, бросает в бой со смертью все свои неистовые защитные силы, и развязка долго не наступает. Не наступает, будь она проклята! Я прихожу к мысли, что никогда не смогу умереть ни от побоев, ни от жажды, ни от своей страшной внутренней раны,— что я бессмертен и смогу выполнить обет: убить Бакалавра. Бакалавр скроется в водовороте восстания, избежит самосуда толпы. Бакалавр удерет с награбленным капиталом за границу. Бакалавр будет жить на каком-нибудь североамериканском курорте или на одном из бульваров Парижа под защитой своих телохранителей, под опекой полиции этих цивилизованных, демократических стран. Но я последую за омерзительным пузырем неотступной тенью, буду терпеливо отсчитывать дни и ночи, зимы и лета в ожидании урочного часа — часа его смерти. Возможно, он будет в этот миг в смокинге, как в ту ночь, когда он всадил в меня кол, или в купальном костюме, на пляже, под бело-зеленым полосатым зонтом, а может, он будет мирно спать в постели, и мне, прежде чем ударить его кинжалом, придется залезть к нему через балкон и разбудить его, чтобы он убедился в том, что клятву я выполняю. Потом умру и я — в искрах электрического разряда или под ножом гильотины, — но Бакалавра уже не будет, и воспоминание о его маленьком, пузатом трупе скрасит мои последние мгновения перед казнью. Еще раз клянусь прахом моей матери: я убью Бакалавра!)

— Бренное тело Журналиста расходовало последние запасы жизненных сил, друзья мои. До агонии оставался один шаг, и палачи должны были либо подтолкнуть меня к смерти, либо вообще оставить в покое. Но, видимо, и в самом деле им было запрещено покончить со мной, потому что однажды на рассвете меня стали готовить к возвращению в Сегурналь. Одели, снова нацепили черные очки — теперь в отношении полутрупа это была явно излишняя мера предосторожности,— на руках подняли в джип, на руках спустили на землю по приезде на место. Волоком протащили по лестницам и коридорам Сегурналя до «ринговой». Там меня опять раздели догола, стянули руки наручниками. Один из агентов дал мне стакан молока. Неделю молоко было единственной моей пищей... Однажды в «ринговую» вошел врач с чемоданчиком в руке. При виде моих гноящихся зловонных ран этот бывалый человек сморщился, как от боли. «Вот это да!» — произнес он озадаченно. Он вышел и вскоре вернулся, неся пузырьки, вату, бинты. Пока он тщательно промывал перекисью больные места, я спросил его имя, но он отказался назвать себя. Конечно, это был полицейский врач, но все же я хотел знать его имя. Он отказался назвать себя и на следующий день, когда пришел продолжить лечение. Он поговорил со мной, сказал, что спасся я чудом: еще немного — и острие задело бы брюшину. Однако имя свое он наотрез отказался назвать. Раны мало-помалу рубцевались, но я не мог опорожнить кишечник. Я не хотел, не осмеливался это сделать.

Наконец я пересилил страх. Острейшая боль, почти такая же, как в момент пытки, охватила меня, и я потерял сознание.

(Когда выйду на свободу — неважно когда, но выйду,— я с первого же шага подчиню себя одной-единственной цели: убить Бакалавра. Пусть товарищи в редакции ждут меня с распростертыми объятиями, я не пойду в редакцию. Я не вернусь в дом отца с его уютной библиотекой и с кустами гераней в саду. Я не стану искать встреч с женщинами, сладкого опьянения от поцелуев, блаженного трепета близости. Даже Милене придется подождать моих ласк — прежде, чем начать жизнь, я должен убить Бакалавра. Я стану летящей ракетой — она уже запущена, она прошла половину пути, она не может остановиться или повернуть вспять, ей предназначено размозжить змеиную голову Бакалавра. Неподвижным и холодным, как мраморная собака, растянется его труп у моих ног. Я сам закрою ему глаза, глазки гадюки и грызуна, и буду хохотать, хохотать до слез, сидя на белом надгробном камне с надписью золотыми буквами: «Здесь покоится прах Бакалавра».)

— Целый месяц провел я в «ринговой», погруженный в зыбкое полузабытье, питаясь с помощью надзирателя размоченным в молоке хлебом...

В эту минуту лязгнул замок, отворилась зарешеченная дверь и в камере появились Дженаро и Антонио с вечерним рационом. Журналист прервал свой рассказ, уже и так подходивший к концу.

Когда итальянцы ушли, Журналист, вылавливая из баланды мясные обрезки, добавил:

— Мои раны почти полностью затянулись. Агенты перетащили меня в камеру к трем видным деятелям нашей партии, с которыми я когда-то вместе работал: сколько тряслись по проселочным дорогам, сколько раз делили кров и пищу. Они с удивлением разглядывали скрюченного, хромого человека, брошенного к ним в камеру. Долго они разглядывали меня, очевидно, не надеясь на свою память. Наконец один спросил сочувственно: «Кто ты, друг? Как твое имя? За что они тебя так?.. И почему тебя поместили к нам?»

Журналист опустил глаза в миску и проговорил глухо:

— Никто из трех меня не узнал.

ВРАЧ

Прошли восемь дней. Восемь суток, безликих, повторяющихся, еще более удручающих под гнетом скуки, под гнетом душной жары тюремной камеры — скорее, плавильной печи, нежели камеры, скорее, адской сковороды, нежели камеры. Двадцать четыре часа — один и тот же круг.

В шесть утра по пронзительному свистку пятеро поднимались; слушали поверку заключенных соседнего барака; съедали утренний рацион, принесенный итальянцами; выходили по очереди в сортир; вернувшись, ложились на койки, закинув за голову сцепленные руки; вставали и, словно звери в клетке, шагали по камере из угла и угол; съедали обед; дремали в пору сиесты, лежали на койках, одурев от жары, смачивая матрацы потом; вставали и, не зная, куда себя деть, снова шагали из угла в угол, обменивались вялыми обрывками фраз на избитые темы, думая совсем о другом; в третий раз на дню появлялись итальянцы, пятеро съедали ужин; кому выпадал черед — шел мыть посуду; затем слушали вечернюю поверку в соседнем бараке; по сигналу отбоя ложились спать; в шесть утра по пронзительному свистку поднимались... и так каждый день...

Утром девятого дня Капитан, придерживая коленями миску с овсяной размазней, внезапно сказал:

— Так больше нельзя. Надо найти какое-то занятие.

Врач, ломавший голову над этой же проблемой во время прогулок по камере, предложил с налета:

— Можно организовать учебу.

Журналист не преминул сострить:

— А где вы возьмете учебники? В библиотеке, которая называется сортиром? Третьего дня по дороге туда я спросил конвоира: «В этой тюрьме разрешены книги?» Он заявил: «Находящиеся в строгой изоляции не имеют права читать книги. Вы — в строгой изоляции. Что, этого не знали?»

— Обойдемся без книг,—сухо возразил Капитан.

— У каждого из нас что-то осталось в памяти,— поддержал его Врач.

Тут же начали составлять программу и расписание, назначать преподавателей.

— Я могу вести уроки английского, если вы хотите учить этот язык,— предложил Бухгалтер, еще помнивший то, что усвоил на коммерческих курсах и в переписке с чикагской торговой фирмой «Diamond T.».

Все с удовольствием согласились. За исключением Журналиста, немного разбиравшегося в английском, никто не знал этого языка.

— Я буду читать курс алгебры,— сказал Капитан.— Арифметика, которой я учил солдат в казарме, слишком примитивна для вас, а вот алгебра, в том объеме, как я преподавал ее кадетам военного училища, вполне подойдет. Вас интересует алгебра?

— Конечно, нас интересует алгебра,— ответил за всех Врач.— Но нас интересуют также основы стратегии и тактики, Капитан.

— Что касается меня,— сказал Журналист,— то не взыщите. Ни полноты знаний, ни системы. Довольствуйтесь отрывочными сведениями из литературы и истории. Кое-что я знаю, правда. Эпизоды из библии, а также из «Божественной комедии» в моем изложении увидите, как наяву. А вот, например, что происходило в ходе войны Алой и Белой розы — понятия не имею.

— Жаль! — искренне расстроился Парикмахер, чем вызвал всеобщий смех.— Война с таким красивым названием — и ничего о ней не знать.

В противоположность Журналисту, Врач, как преподаватель, отвечал самым строгим требованиям. До недавнего времени он вел занятия в лицее и помнил наизусть тщательно подготовленные лекции по биологии и химии, которые читал своим юным воспитанникам.

— Кроме того,— намекнул он шутливо,— мое настоящее призвание не медицина, а политическая экономия. Так что готов подкинуть вам еще недельный курсишко политэкономии, идет?

— Воспользовавшись тем, что нам некуда деться, хочешь обратить нас в марксистскую веру? — поддел его Бухгалтер.

Парикмахеру недоставало гребенки и ножниц, без них он не мог учить своих товарищей единственной доступной ему науке — стричь волосы. Но он ничем не выдал огорчения и покорно согласился быть только учеником четырех учителей. Правда, эта самая алгебра, о которой упомянул Капитан, заранее представлялась ему несусветной головоломкой, и он решил, что уж как-нибудь от нее увильнет.

Уроки начинались утром, сразу после завтрака, потом следовал перерыв на обед и сиесту, а за два часа до ужина уроки возобновлялись. Не было учебников, не было карандашей и тетрадей, подчас нельзя было ручаться за точность упоминаемых названий и дат. И все же это был класс, где учитель вел урок, а четверо учились.

В тот день, когда Врач заговорил о себе, было особенно жарко:

глотки воздуха обжигали легкие. В галерее, где солнце разгуливало свободно, цементный пол походил на раскаленный утюг, волны зноя накатывались на стены и крышу, и казалось, вот-вот задымится картон на решетках. Сидя на койке в центре камеры, Врач вел урок естествознания. Четверо остальных — обнаженные до пояса, в одних трусах, потные, словно пеоны на тяжелой работе,— слушали, усевшись на полу. Ручьи пота стекали с плеч по рукам, свисавшим между колен, добирались до пяток; пот пропитывал трусы, и вокруг сидящих темнели на цементном полу причудливые пятна. Врач медленно перечислял кости нижних конечностей, но слушатели, одурманенные жарой, никак не могли взять в толк отличительные особенности большой и малой берцовых, плюсны и предплюсны, фаланг.

Журналист не выдержал и сказал с грубоватой откровенностью:

— Послушай, Врач, сегодня чересчур жарко, чтобы работать головой. Почему бы тебе не отложить на время коленные чашечки да не рассказать нам свою историю?

— Какую историю? — не понял сразу Врач.

— О том, как тебя арестовали, как пытали.

Врач старательно протер полой рубашки цвета хаки свои очки — жест, собственно, ненужный в тюремной камере, где нечего читать и не на что смотреть.

— Когда декретом диктатуры наша партия была объявлена вне закона,— начал Врач,— это не застало нас врасплох, и мы сравнительно легко приспособились к новым условиям. Опыт подпольной жизни у нас немалый — мы, как говорится, родились и выросли в гонениях да преследованиях. Все сводилось к тому, чтобы извлечь из пыли старые ротаторы, почистить и смазать шрифты нашей старушки типографии, ввести в действие ячейки и районные комитеты, несколько подзаржавевшие от легальной жизни. Труднее обстояло дело с сетью конспиративных квартир для наших руководящих работников, преследуемых полицией, и с помещением для типографии, но спустя несколько месяцев и этот механизм, плохо ли, хорошо ли, был налажен, хотя немало самых способных наших организаторов было схвачено в первых же облавах. Меня эта участь миновала. Я заблаговременно закрыл свою клинику и вместе с руководством партии ушел в подполье. Мне поручили пропаганду, редактирование листовок и прокламаций, сбор материалов для нашей нелегальной газеты.

(Моя история, как назвал ее Журналист, началась, конечно, много раньше, если я стал бы рассказывать все по порядку. Начинается она в тот день, когда я, учащийся колледжа, впервые увидел своего отца — больного, исхудавшего человека с жидкой седой бородой по грудь. Женщины моего дома — моя мать и две сестры отца,— стоя в коридоре у входной двери, плачут от радости, по крайней мере, они так говорят: от радости. Я не знаю отца, его арестовали много лет назад, когда я еще делал только первые шаги по кафельной мозаике коридора, направляемый добрыми руками тетушек. Вернее, я не знаю его в лицо, но все мое детство протекает под сенью его имени, его личности, его дела, воспоминаний о нем. В нашем доме только и говорили что о заключенном, о письме для заключенного, о лекарстве для заключенного, о бутылке молока для заключенного. Отцу инкриминировали или то, что в открытом письме он писал о произволе властей, или то, что он говорил о политике с людьми, не угодными властям; для обвинения это было все равно. Его насильно увели, как это издавна делают с порядочными людьми у нас в стране, и целых двенадцать лет он гнил в подземелье приморской крепости, закованный в ножные кандалы, подтачиваемый голодом и дизентерией. Ни наши письма, ни лекарства.

ни молоко до него не доходили — это ясно; однако сейчас, страстно желая видеть улыбку на увядшем лице матери, он уверяет, что получил все посылки до единой. Он оброс бородой, ужасно худ и совсем не похож на представительного кабальеро, чей портрет в полный рост висит у нас в доме на самом видном месте,— кабальеро, к которому мать и тетки привили мне безмерную любовь. Я не успеваю как следует познакомиться с отцом. Здоровье его до такой степени подорвано, что спустя несколько дней по приезде он умирает на руках у женщин моего дома, завещая им меня в качестве единственного наследства. Я же получаю от отца святой завет: следовать его примеру — иначе говоря, бороться за интересы народа, против несправедливости. Но в этой борьбе я, однако, пошел другим путем.)

— Агенты Сегурналя несколько раз наведывались ко мне домой. В первый свой набег они конфисковали литературу по революционной теории, а также медицинские книги на французском языке, лишь на французском. А после они обнаружили только молитвенники, эстампы с изображением девы Марии да черную тетрадь, в которой моя младшая тетка угловатым почерком записывала кулинарные рецепты. Обыски прекратились, а через два месяца было снято и наружное наблюдение за домом: полиция убедилась, что мне и в голову не придет безрассудная идея скрываться в стенах собственного дома. Но именно потому, что это было безрассудством, я вернулся домой. Рабочий стол я перетащил в заднюю комнату и там же, в стене за шкафом, сделал небольшую нишу, чтобы спрятаться в случае необходимости. Мой дом не был моим постоянным убежищем, я приходил туда от случая к случаю, когда шпики бросались искать меня в отдаленных от нашей улицы районах города. Верно, меня схватили дома. Но не потому, что подвела моя тактика,— я могу доказать, что был прав, вопреки убеждению в обратном некоторых товарищей из руководства,— а потому, что на меня кто-то донес, это значит, что провал мог произойти и в каком-нибудь другом месте, где я скрывался. Ночью агенты оцепили квартал патрульными машинами. Черным ходом, не дав себе труда постучаться во входную дверь, они ворвались в дом и направились прямиком в мою комнату. Услышав шум, я заперся на ключ, проглотил список телефонов и конспиративных адресов и нырнул в нишу за шкафом. Агенты уже ломились в дверь, били по замку прикладами. Под ударами дверь рухнула. Они сразу бросились к шкафу, отодвинули его и уткнули в меня дула автоматов. Провокатор, по-видимому, проник в нашу организацию, иначе нельзя было бы представить полиции столь подробные и точные сведения о моем местонахождении. Агентов было больше двадцати. Меня повели к машинам, стоявшим метрах примерно в пятидесяти от дома. Мать и обе тетки, босиком, в длинных ночных рубахах, бежали вслед за охранниками и громко кричали: «Не убивайте его! Не убивайте!» В соседних домах люди распахивали двери, высовывались в окна — это и нужно было женщинам из моей семьи. Весь город уже давно говорил, что агентам дан приказ не брать меня живым, а пристрелить на месте,— и эти слухи, конечно, дошли до моих старушек. Поэтому они, босые, в одном белье, бежали за конвоем и кричали изо всех сил, надеясь, что на глазах у людей агенты Сегурналя не решатся меня расстрелять.

(Закончить среднюю школу и поступить на медицинский факультет мне удается только благодаря самоотверженности женщин моего дома. День-деньской у нас дома стучит швейная машинка, этакий трудолюбивый металлический зверек с черной спинкой и золотыми буквами, помогающий моей старшей тетке мастерить женские юбки и мужские сорочки по заказу турка — владельца га-

лантерейной лавки. Из кухни доносится аромат варенья и конфитюров — там, склонившись над огромной кастрюлей, моя младшая тетка помешивает деревянной ложкой булькающее фруктовое варево. Моя мать не обладает портняжными и поварскими способностями. Но она ведет хозяйство, ходит за покупками, доставляет готовое шитье турку и торгуется с ним за каждый сентимо, разносит банки с вареньем по ближайшим лавкам и рыночным палаткам, моет до блеска полы, ухаживает за зеленым папоротником в нашем патио — маленьком внутреннем дворике. При всем этом она еще ухитряется выкраивать время, чтобы прочесть на ночь молитву, помочь мне выучить урок по всемирной истории, купить и отнести лекарство соседу-бедняку. В один из июльских дней я получаю диплом бакалавра. Великое событие! Женщины моего дома преподносят мне серый чистошерстяной костюм с жилетом — я в жилете! — и бисквитный торт собственного приготовления. Вечером мы наслаждаемся тортом, сбрызнутым мускателем, шутим и смеемся — и у всех нас появляются слезы при мысли, что нет отца, он уже не может разделить с нами это маленькое счастье.)

— У дверей Сегурналя дожидался специалист по пыткам, толстобрюхий великан по прозвищу Негр. Внешне он, скорее, светлый мулат или, если судить по гладким волосам, метис, но, как говорят, ему самому больше нравится кличка Негр. Он уже знал о моем аресте и с торжествующим видом встречал меня в ярко освещенном подъезде. Возглавляя процессию агентов, Негр привел нас всех в просторную камеру дознаний. Там он присел на край письменного стола и начал довольно вежливым тоном: «Итак, доктор, сейчас вы нам сообщите, где скрывается Сантос Иорме и где находится типография, печатающая газету вашей партии». Я ответил заранее обдуманной и крепко сидевшей в голове фразой — она годилась для ответа на любой вопрос полицейского следователя. Я заявил: «Мне нечего сказать». Но едва я договорил эту фразу, как Негр, неожиданно оттолкнувшись от стола, качнулся ко мне и ударил наотмашь кулаком в лицо. Мои очки отлетели куда-то в угол и, очевидно, разбились вдребезги. Пока я был в очках, мне удалось заметить, что в камере дознаний, кроме кресла и стола, о который опирался Негр, был еще один стул, в противоположном от входа углу чернели автомобильные диски «рингов», на полу валялось несколько растерзанных томов энциклопедии Эспаса — похоже, в них что-то искали и, не найдя, грубо швырнули прочь. На столе стояла бутылка кока-колы, на стене висел цветной портрет диктатора. Когда очков не стало, все вещи вокруг потеряли четкость очертания, я видел их словно сквозь залитое дождем стекло. Оглушенный ударом, я с трудом уловил резкий голос Негра: «Принести раскладную кровать!» И затем: «Раздеть этого дьявола!» Агенты навалились на меня, сорвали одежду и, заломив руки за спину, надели наручники.

(Путь к вершинам медицинской науки начинается медленно, под тяжестью объемистых томов по анатомии, перегруженных описанием сотен костей, мускулов, нервов, вен, артерий, желез, внутренних органов, полостей, швов черепной коробки. Все это необходимо выучить назубок, если не хочешь навлечь на себя апокалипсический гнев профессора. Учебник анатомии — пять тысяч с лишним страниц, по-французски — мы с двумя студентами покупаем вскладчину; каждый из нас в одиночку не может осилить эту покупку.

Мы и штудируем ее втроем при свете уличного фонаря на скамье, на площади. Как-то, перелистывая учебник, мы останавливаемся на разделе «Анатомия женщины». Я говорю друзьям, что ни разу не был близок с женщиной. Они принимают мое признание за шутку — настолько это кажется им невероятным... И вот однажды — прошло

с тех пор уже несколько месяцев — я встречаюсь с Анхелиной. Она — студентка четвертого курса, старше меня, но очень милая девушка и даже, как только снимет очки, миловидная. Как-то после лекций Анхелина приглашает меня к себе — а живет она одна,— чтобы дать мне почитать Фрейда. На самом деле Фрейд тут оказался ни при чем, ей нужен я, с этого и началась наша дружба. Я числюсь хорошим студентом, на экзаменах получаю высокие оценки, преподаватели относятся ко мне с уважением, однокурсники любят, хотя я никогда не участвую в их шумных пирушках, попойках и спорах. Серый шерстяной костюм служит мне верой и правдой вплоть до окончания третьего курса. Потом я ходатайствую о месте преподавателя в лицее — не столько ради приобретения нового костюма, сколько из желания помочь женщинам моего дома: пусть не стучит так лихорадочно швейная машинка, пусть не взбивает с утра до ночи деревянная ложка сладкое варево!)

— Когда я был раздет, разут и скован наручниками, Негр приказал мне встать на «ринг». Я отказался. Тогда трое агентов силой поставили меня на диск. Как и Журналисту, мне «ринг» не показался вначале таким уж страшным орудием пытки. Кроме того, в глубине души я даже хотел, чтобы она началась как можно скорее. Час сурового испытания, к которому я готовил себя долгие месяцы тревожной жизни подпольщика, пробил. Теперь они убедятся, что Врач способен выдержать физические муки и встретить смерть, не произнеся ни слова, кроме тех трех, врезавшихся в мозг, неизменных: «Мне нечего сказать». Всякий раз в ответ на эту фразу Негр наносил мне удар в лицо, в живот, в грудь, всюду появились багровые пятна от его мясистых ладоней — он бил не кулаком, а открытой ладонью. Спустя час острые края диска выдавили на моих подошвах глубокие, набухшие кровью канавки, и теперь я испытывал раздирающую боль в ступнях — казалось, их рвет зубами собака. Я взорвался: «Почему я позволяю им пытать меня? Почему допускаю надругательства? Или я признаю за этими животными право подвергать меня издевкам и страданиям? Нет! Тысячу раз нет!» Я решительно соскочил с «ринга» и бросился на пол, но в ту же секунду на мои бока и бедра посыпались удары резиновых дубинок, и палачи снова поставили меня на острые ободья. Негр бил меня до утра, пока не обессилел, потом лег на раскладную кровать, оставив при мне двух своих помощников, готовых переломать мне кости дубинками, если я попытаюсь опять сойти с «ринга». Каждую четверть часа он срывался с брезентового ложа, где с трудом умещалось его лошадиное тело, осыпал меня нецензурной бранью, плевал в лицо, требовал сказать, где скрывается Сантос Иорме. После каждого вопроса следовал удар, потому что на каждый вопрос я отвечал без колебаний: «Мне нечего сказать».

(Революционные книги попадают мне в руки одновременно с учебниками. Университет — это улей, где каждая ячейка сот носит свое название: консерваторы, социал-христиане, либералы, социалисты, коммунисты... Женщины моего дома, как ни старались, не смогли привить мне слепой веры в бога и святых. Меня захватила страстная вера в революцию, в революционную теорию. Проблемы, казавшиеся ранее неразрешимыми, во всей своей глубине и причинности становятся ясны в свете философской науки, препарирующей историю ланцетом неоспоримой диалектики. Революционное учение не только дает мне возможность правильно, материалистически, анализировать все сущее и происходящее, оно помогает, больше того, требует выполнить завет отца — добиваться свободы и справедливости для моего народа. Очень рано я вступаю в партию. Строгая дисциплина меня отнюдь не пугает, она соответствует моим естественным наклонностям — я вижу в ней одно из самых главных

средств решения такой грандиозной задачи, как коренная перестройка человеческого общества. Тогда наша партия существовала легально, но даже если бы она подвергалась гонениям, это не изменило бы моего решения — пожалуй, даже наоборот. Рабочий-каменщик вносит мое имя в книгу с коричневой обложкой и вручает мне красный членский билет за номером 829. Я взволнован до глубины души: этот день запечатлелся в моем сердце, как и тот, когда вернулся из тюрьмы отец, и тот, когда мы в семейном кругу отмечали мой диплом бакалавра. Я вступаю в партию и с каждым днем все больше убеждаюсь в правильности сделанного шага — самого важного шага в моей жизни. Я останусь верным партии до последнего дыхания, я подчиню ее интересам все свои помыслы и поступки. А если в застенках палачи подвергнут меня пусть даже самым страшным пыткам, они услышат лишь одно: «Мне нечего сказать».)

— Около полудня Негр удалился и на сцену вышел новый, не менее отвратительный персонаж: агент в костюме английского джентльмена, с трубкой в зубах, говоривший с кубинским или, скорее, с пуэрто-риканским акцентом. Этот тип своим видом показывал, что пришел не бить, а убеждать. Он играл человека культурного, он не просто говорил, он уговаривал, журил, внушал: «Как это вы, такой интеллигентный человек... Да вы просто заблуждаетесь! Я специально изучал революционную теорию и с полной ответственностью могу сказать, что вы заблуждаетесь... Такой способный врач не имеет права ломать свою карьеру, приносить себя в жертву неизвестно чему. Вы нужны тысячам больных... Конфиденциально откройте мне все, что вам известно, и, слово чести, это останется между нами. Уже не говоря о членах вашей партии, даже мое начальство никогда не узнает, кто сообщил мне эти сведения... Подумайте о трех несчастных старушках, для них вы единственная опора в жизни, они умрут от голода, лишившись вашей помощи... Взгляните на вещи разумно, как цивилизованный человек...» Я рассеянно слушал его проповеди, из-за отсутствия очков почти не видя этого проповедника, и время от времени сухо прерывал его вкрадчивую речь: «Мне нечего сказать». Наконец он потерял терпение, куда только девались манеры джентльмена! Он плюнул мне в лицо — слюна пахла трубочным табаком — и, задыхаясь от хлынувшей наружу ненависти, прорычал: «Мы приведем сюда твоих старух и у тебя перед глазами поставим их на «ринг». Тогда ты заговоришь, коммунистическая сволочь!» У меня сжалось сердце. Я собрал всю силу воли, чтобы сказать без дрожи в губах: «Вы можете пойти на такое преступление, я знаю. Но мое поведение не изменится!» И все же, когда он ушел, я долго не мог совладать с обуявшим меня страхом. При малейшем шуме в коридоре я весь напрягался, ждал, что сейчас в камеру введут женщин моего дома и поставят, разутых, на заточенные ободья «ринга».

(Партийным делам я отдаю не меньше сил, чем изучению медицины. Спустя шесть месяцев партийная ячейка избирает меня своим секретарем, и почти через год я вхожу в состав районного комитета. Я не чураюсь никаких заданий: расклеиваю на стенах домов наши плакаты, распространяю на улицах наши листовки, продаю у ворот фабрик нашу газету, выступаю на митингах в рабочих кварталах, веду теоретические занятия с рабочими, объясняю революционное учение своим друзьям-студентам и вообще всем, кто беседует со мной. Первой, кого я увлек нашими идеями, была Анхелина, к этому времени уже получившая диплом врача. Мы с ней по-прежнему дружны, но отнюдь не ее отношение ко мне, а мои убедительные доводы приводят ее к решению вступить в партию. Анхелина относится к своим партийным обязанностям исключительно серьезно, выполняет важные задания и подчас даже критикует меня: «Ты,

мой дорогой, еще не до конца вырвал из сознания корни мелкобуржуазного сентиментализма».)

— Следующий день был самым тяжелым. Накануне Негр, просматривая у себя в кабинете мои бумаги, взятые при обыске, наткнулся на рукопись листовки, в которой я бичевал диктатора и состоящих у него на службе заплечных дел мастеров. Среди последних фигурировал и сам Негр, названный полным именем и фамилией. Со скомканным листком в руках огромный метис ворвался в камеру и, занеся ногу как бы для очередного шага, сходу ударил меня ботинком ниже живота. От нестерпимой боли все поплыло перед глазами, я упал, поливая пол кровью, и тут же потерял сознание. Очнулся я, по-моему, от мысли, что меня сейчас убьют, как убивали обычно революционеров, отказавшихся давать показания. Ночью мои предположения подтвердились. Один из агентов, менее бессердечный, чем другие, воспользовавшись короткой отлучкой Негра, шепнул мне на ухо: «Доктор, скажите ему что-нибудь, ну хоть пустяк какой, что ли! Получен приказ убить вас, если не заговорите, клянусь моей матерью!» Мир и покой вдруг потекли по моим жилам. Все мое существо стремилось прочь от этого допроса, от издевательств. Уйти, забыться, пусть даже в наркозе смерти. Конечно, мне было больно умирать на полпути, не сделав ничего существенного для революции, больно сознавать, что партия лишится безгранично преданного ей солдата... Впрочем, самой властной в эти минуты была мысль не о жизни и смерти, а о воде. Капля воды в моем воображении вырастала в глоток воды, в стакан воды, в кувшин воды, в водоем, в реку, пока не обрушилась водопадом, подобно Ниагаре. Как-то, сопровождая одного из своих пациентов в поездке по Соединенным Штатам и Канаде, я любовался Ниагарским водопадом и вот теперь снова увидел его в камере дознаний и даже услышал его мощный грохот... Часы шли, а палачи все еще тянули со смертью. Двое агентов опять поставили меня на «ринг», встали с боков, держа наготове дубинки. Неожиданно из соседнего помещения донеслись людские голоса. Возможно, это были женщины, пришедшие узнать о своих близких, или мужчины, явившиеся по вызову для свидетельских показаний,— не знаю. Но только я очень ясно слышал шум голосов, и он, реально существующий, был сильнее иллюзорного гула Ниагарского водопада. Не раздумывая, я закричал во всю силу легких: «Я политзаключенный, врач, революционер! Меня пытают, я умираю от жажды... Они хотят меня убить!» Шум за стеной усилился, видимо, люди задвигались, какая-то женщина истерически вскрикнула. Рывком распахнулась дверь камеры. Вбежали Негр, Бакалавр, Однорукий, Бешеный — все мастера пыток. Они навалились на меня, стащили с «ринга» и, прошипев: «Тише! Молчать!» заткнули мне рот носовым платком. Вечером, много спустя после того, как утихли голоса в соседнем помещении, меня перенесли в камеру подвала. Один из агентов держал за ноги, другой — под мышки. По дороге я им сказал: «Перед смертью хочу воды»,— но они не соизволили мне ответить. В темной камере, где я лежал на полу, продолжали низвергаться потоки Ниагары. Жажда томила сильнее всех других мук, и я уже не чувствовал избитого в кровь дубинками тела, изрезанных ободьями «ринга» ступней, расплющенного кулаками агентов носа, изодранных наручниками запястий, не ощущал боли от зверского удара Негра в живот.

(Женщины моего дома, невзирая на мои протесты, отдают свои многомесячные сбережения, чтобы отметить окончание мною университета. В садике над папоротниками одна за другой летят пробки из двенадцати бутылок настоящего французского шампанского, что приводит в изумление гостей — моих товарищей по курсу и моих двоюродных братьев. Желтая лента через грудь, свисающая с нее золоченая медаль и диплом с безукоризненно выведенными именем

и фамилией свидетельствуют о том, что государство отныне разрешает и одобряет мою практику в области медицины. Празднество в домашнем кругу, слишком сдержанное, приходится не по вкусу моим шумливым друзьям, они стеснены благопристойной обстановкой и уходят ранее намеченного, наверняка проклиная шампанское, для них — это микстура, настой лекарственных трав. Двумя неделями позже я уезжаю на работу в глухое провинциальное селение и вскоре убеждаюсь, что профессия врача никогда не принесет мне капитала: мне как-то неловко брать гонорар с больных. Я уже не говорю о бедных, с них я, разумеется, не беру ни сентимо — но и с более или менее обеспеченных пациентов не беру, а если и возьму, то лишь когда они настаивают, да и то самую пустяковую сумму. В селении нет членов нашей партии, и мои усилия сколотить там ячейку ни к чему не приводят. Единственный, кто выслушивает не моргнув глазом мои идеологические высказывания, это аптекарь, но и тот под конец обезоруживает меня откровенным признанием: «Ваши взгляды очень интересны, доктор, но мне больше нравится анархизм». Здесь я убеждаюсь в прописной, но от этого не менее глубокой истине: медицина познается не по книгам, а у постели больного. Анхелина работает в клинике, в Каракасе, и дважды в месяц пишет мне письма, где сообщает о положении в стране, об успехах партии. В конверты она вкладывает вырезки из газет, а заканчивает свои послания волнующими намеками. «Примите поцелуй, коллега, и не забывайте, что я жду вас с женским нетерпением, чтобы с вашей помощью разрешить мои некоторые личные проблемы». От этого стиля меня несколько коробит, но я не решаюсь упрекнуть Анхелину — опять она будет высмеивать мою «сентиментальность».)

— Камеры подвала представляют собой пещеры, вытянувшиеся в ряд с одной стороны коридора, ширина которого не более метра. С другой стороны коридора поднимается стена. Агенты заперли на замок мою камеру, первую в ряду, и один из них предупредил надзирателя: «Строжайший приказ — не давать этому заключенному ни глотка воды, ни крошки хлеба!» Затем крикнул, обращаясь к соседним камерам: «Кто попытается передать этому заключенному еду или питье, тот подвергнется такому же наказанию, какое испытал он». Я сделал вывод, что во внутренней тюрьме, кроме меня, были другие заключенные. Выждав, когда агенты уйдут, я подполз к решетке и сказал громко: «Меня зовут Сальвадор Валерио. Если кто из вас выйдет отсюда живым, расскажите моим товарищам, что я умер с честью, не сказал под пытками ни слова». Никто мне не ответил, только надзиратель с издевкой буркнул: «Заткнись, дурья голова!» Я лег лицом на пол и попытался уснуть. Погружаясь в сон, я чувствовал, как зубчатые рейки наручников впиваются в запястья. Но истощение и страшная усталость брали свое, и, несмотря на боль, я забывался несколько раз в кошмарной дремоте, а когда приходил в себя, то обнаруживал, что стальные зубья впились в тело еще глубже. Я потерял счет дням и неделям, помнил только месяц.

— Какой месяц был? — спросил Парикмахер.

— Ноябрь,— ответил Врач.— Погода стояла прохладная. С вечера я начинал дрожать от холода, а скорее, от озноба. Стучал зубами всю ночь до утра. Утром солнце разливалось по стене ярким пятном, тепло от его отражения проникало в мою камеру, и я переставал дрожать. Но страшнее холода были ночные битвы с крысами, обитавшими неподалеку, очевидно, в загрязненной нечистотами реке. К вечеру они пробирались по сточным трубам в здание и заползали в камеру — их влекли мои кровоточащие, гноящиеся раны. Эти огромные зверюги, длинномордые, щетинистые, разжирели на отбросах и падали. Я прилагал все усилия,

чтобы скрыть от их горящих глаз, оградить от их острых зубов раны. Я ложился вниз лицом, прижимался животом к полу. В таком положении запоры наручников, словно лезвие рубанка в древесину, входили в ткани предплечья, и это вызывало столь нестерпимую боль, что я почти не чувствовал, как крысы кусали мои искромсанные ступни.

(Я возвращаюсь в Каракас и открываю консультацию в том же квартале, где помещается наш районный комитет. Женщины моего дома вышивают скатерти для приемной, мой врачебный диплом вывешивают в золоченой рамке рядом с портретом отца. Мои первые пациенты — бедняки из соседних домов и партийные товарищи. И тех, и других я, разумеется, лечу бесплатно. И те, и другие хвалят меня, где только можно, за бескорыстие, а заодно — так уж устроены люди — приписывают мне исцеление неизлечимых недугов и, к моему искреннему огорчению, создают славу какого-то чудодея. Словно я знахарь, а не врач! Одно утешение: среди десятков страждущих, потянувшихся ко мне «на исцеление», немало вполне обеспеченных людей. Им-то я с чистой совестью могу посылать счета за лечение. Одновременно меня выдвигают по партийной работе, называют мое имя как имя кандидата в члены Центрального Комитета партии. Некоторые товарищи недовольны моими критическими выступлениями на собраниях. Действительно, я не устаю напоминать, что дело революции требует труда и дисциплины, что членство в нашей партии несовместимо с убиванием времени в игорных домах, ресторанах и прочих сомнительных местах. За критику я приобретаю репутацию «сухаря и пуританина». Что ж, репутация в известной степени справедливая, и она мало тревожит меня. Во всяком случае, значительно меньше, чем другая — медика-исцелителя. Я всего-навсего средний, рядовой терапевт и возвращаю здоровье лишь тем больным, чьи недуги вполне излечимы средствами современной медицины.)

— И все же страшнее ночных ознобов, страшнее крыс и зловония экскрементов, пропитавшего камеру, была жажда. Она душила мою глотку, эта лиана с острыми шипами, она высушила слюнные железы, она рисовала на стене странные фигуры и приводила их в движение, она сделала мой язык тяжелым, словно язык церковного колокола, превратила его в неуклюжую огромную чушку, и эта чушка давила на зубы, не помещаясь во рту.

Журналист поднялся — темное пятно пота натекло под ним на полу за это время — и до конца рассказа стоял, скрестив руки на груди.

— Как-то ночью,— продолжал Врач,— пошел сильный дождь. Я слушал — не ушами, нет, а выжженным жаждой языком! — слушал и слушал частый стук капель по навесу, по стене. Дождь шел долго, бесконечно долго, несколько часов подряд, и вот наконец, когда рассвело, в углу под сводчатым потолком робко показалась тоненькая струйка воды и медленно поползла по стене камеры. Я подполз к стене, подставил рот и поймал на язык несколько капель. Вода, проникшая сквозь слой извести, была горько-соленой и не только не утолила жажды, но распалила ее еще больше.

(Прием больных, преподавание в лицее, вечерние беседы за семейным столом, встречи с Анхелиной — со всем этим приходится проститься, когда власть в стране захватывает верхушка армии. Я перехожу на нелегальное положение. Об этом я уже говорил моим нынешним товарищам по камере. Правда, я не сказал им, как отразилась подпольная жизнь на моей нервной системе. Вначале все идет гладко: я спокойно, как и раньше, выполняю задания, по ночам выезжаю в связной машине на встречи с товарищами, пишу листовки и, если нужно, сам же печатаю их на гектографе, анали-

зирую экономическую и политическую обстановку в стране, посылаю в иностранную прессу материалы о коррупции и произволе диктатуры. Но проходят месяцы, и в мой мозг — через вены висков, через слуховые каналы, через кончики пальцев — проникает психоз преследования. Тяжело жить, да еще неопределенное время, когда твое подсознание находится в состоянии постоянной тревоги, нервы вздыблены и вибрируют, словно антенны, все твое существо ждет, не следуют ли за тобой агенты, чтобы даже не схватить, а просто убить тебя тут же на месте. Мой слух обострен до предела, я улавливаю самые слабые и далекие звуки: лязганье чьего-то ключа в чьей-то замочной скважине, шаги пешеходов на перекрестке, рокот мотора и скрип тормозов на улице, выкрики продавца лотерейных билетов на дальнем углу. Перед рассветом я просыпаюсь от легких ударов ветра в оконную раму, от лая собаки и пения петуха, от шороха снующего в углу таракана. Мысль о снотворных и успокаивающих я отвергаю, пытаюсь обуздать нервы силой воли и логики. Но в конце концов убеждения врача берут верх над предрассудком, и я назначаю себе самый простой режим. Правда, от психоза я не избавляюсь полностью, но все же усмиряю его. Иногда я спрашиваю себя, не вызвано ли мое состояние страхом, тайной боязнью сдать под пытками, если меня схватят? Но мое второе «я» гневно отвергает это оскорбительное предположение. Нет, дело не в страхе перед арестом, дело во временной психической неустойчивости, порождаемой именно затяжкой в аресте. Минутами я страстно хочу, чтобы полиция нагрянула, чтобы я избавился наконец от затянувшегося ожидания удара, который может быть нанесен каждую минуту, а его нет и нет. Кстати, только этим напряженным состоянием духа я и могу объяснить странный эпизод в моей жизни — женщину в туфлях коринфского цвета.)

— Ночные бои с крысами, ознобы, нескончаемая резь в запястьях, тошнота от зловония, которое распространяло мое тело, покрывшееся коркой грязи и экскрементов, безумный голод и еще более жажда доводят меня до прострации, до полуобморочного состояния, прерываемого галлюцинациями... Процессия крыс пересекает наискось коридор, крысы несут в зубах простыню, но вот они отходят подальше, и простыня оказывается вражеским флагом. Генеральные штабы двух маленьких государств — Гватемалы и Никарагуа, ведущих между собой войну,— размещены в наручниках, терзающих мои запястья. По моим ребрам ползут вверх и вниз соединения обеих армий, завязывают бои на уровне моих прижатых к бокам локтей, ищут укрытия в оврагах подмышек, а в это время никарагуанские и гватемальские генералы вонзают огромные стальные шпаги в мои воспаленные запястья. Людовик XIV и мадам де Монтеспан чванливо, даже не кивнув надзирателю, входят в коридор и останавливаются напротив моей камеры. Их беседа переходит в бурную сцену ревности, дама обвиняет монарха в изменах, а тот, презрительно морщась, просит оставить его в покое и кончиками пальцев разворачивает батистовый платок. Тем временем мадам де Монтеспан, не спуская с рук собачонки по кличке Злоба, принимается плакать, шмыгая носом, как простая крестьянка. Жалобный голос красавицы доходит до моих ушей: «Ваше величество, за что вы меня так терзаете?» Утром, едва солнце начинало пригревать стену напротив камеры, от Людовика XIV оставалось огромное мокрое пятно с двумя длинными подтеками — ногами в туфлях на высоких каблуках и еще одним пятном повыше — черным париком; мадам де Монтеспан оказывалась куском штукатурки, уцелевшим в середине выщербленного круга — кринолина, а мадам де Лавальер лишалась очаровательной улыбки, лазурных очей и одеяний кармелитки и превращалась в темный подтек под потолком. Однако

источником самых упорных галлюцинаций были все же не эти фантасмагорические тени и пятна, а нечто гораздо более конкретное и прозаическое. Это был отрезанный кружочек сваренного вкрутую яйца, видимо, нечаянно оброненный на ходу надзирателем у моей решетки. Этот кружочек лежал в полуметре от моих голодных глаз, вполне доступный моим рукам, если бы они не были парализованы наручниками. Весь день я не отводил глаз от желто-белого кружочка, примеривался, как я схватил бы его свободными руками, и минутами мне казалось, что я уже схватил его и даже ухитрился достать воды, что натекла грязной лужицей у стены. Вечером из отверстия сточной трубы выползла волосатая крыса и сожрала кружочек в полуметре от моих ослепших от зависти глаз. В ту ночь в моих галлюцинациях не было центральноамериканцев, ведущих братоубийственную войну, не было ветреных французских монархов и их фавориток. Я видел, словно в кинокадре, собственные руки — они извивались за спиной, стянутые крест-накрест наручниками. Эти руки, будь они свободны, спасли бы мне жизнь, донеся до рта кусочек вареного яйца и пригоршню грязной воды, я был убежден в этом. Руки значат много больше, чем глаза и голос, чем сердце и легкие, бесспорно... Как мог я долгие годы не понимать подобной истины! В ту ночь я покаянно склонился перед своими руками и поклялся уважать их больше всего на свете, если удастся выбраться живым из бездны несчастий.

(Однажды утром я увидел из своего убежища туфли коринфского цвета. Я говорю «коринфский», хотя не совсем уверен, что именно так называется цвет, похожий на цвет спекшейся крови или темно-багряного виноградного вина. Как-то давно я прочел у одного андалусского поэта — «туфли коринфского цвета» — и, не найдя в словаре предпоследнего слова, решил, что он означает «красно-бурый» подобно окраске коринфских колонн, которые я видел в альбоме репродукций. Коринфские колонны — коринфский цвет. Таково, я считаю, происхождение этого слова, хотя и не могу сказать, что вполне удовлетворен своим робким вторжением в филологию. Я проживаю тайно в квартале среднего сословия, обреченный на безвыходное пребывание в длинной комнате окнами на улицу. Жарким августовским утром, ровно в девять, в щели между шторами возникают туфли коринфского — или как он там еще называется — цвета. От туфель вверх идут безукоризненные ноги. Очертания бедер вырисовываются под серой юбкой. Бедра завершает тончайшая — можно обхватить двумя ладонями — талия. Талия остается много южнее маленьких торчащих грудей, плененных белой блузкой. Блузка граничит с изящной шеей. Шея служит стеблем для русой головки. Эта головка, несмотря на тщательную гладкую прическу, таинственно схожа с косматой лесной головой Флоры с картины «Весна» Ботичелли. Женщина в туфлях коринфского цвета, о чем-то раздумывая, стоит минуту в прямоугольнике входной двери, затем достает из сумочки зеркальце, бросает беглый взгляд на чуть подкрашенное лицо и мелким, но твердым шагом уходит по тротуару, исчезая из поля моего зрения. Я остаюсь у щели, меня разбирает любопытство, живет ли эта женщина в доме напротив или она приходила к кому-то. И непонятно почему, радуюсь ее возвращению в полдень, когда я смог удостовериться, что со спины она столь же стройна и красива, как спереди. Через неделю я знаю в точности, когда моя соседка уходит из дома и когда возвращается. Видимо, она служит где-то в государственной или частной конторе. Уходит в девять утра, приходит сразу после полудня, в два снова уходит, возвращается в шесть с минутами. В эти часы я сижу у окна и слежу за каждым ее движением. Почти никогда она не ухо-

дит из дома по вечерам, и это приводит меня в необъяснимый восторг. Если же уходит — очень редко,— то всегда в сопровождении подруги, а не мужчины, и это приводит меня в живейший и еще более необъяснимый восторг.)

— Время от времени, зажав нос, чтобы оградить себя от зловония, к решетке камеры подходил надзиратель и говорил мне: «Доктор, вы умрете, если будете молчать. Почему не дадите показаний?» Я уже не отвечал, как раньше: «Мне нечего сказать». Я очень хорошо знал, что осужден на смерть от голода и жажды, так как палачи убедились, что никакими пытками не смогут вырвать у меня предательских показаний. Поэтому я заменил свое упрямое заявление «Мне нечего сказать» словами кубинского революционера Хулио Антонио Мельи * и всякий раз, когда надзиратель, заглядывая сквозь решетку в камеру, твердил: «Доктор, вы умрете, если будете молчать. Почему не дадите показаний?», я отвечал: «И после смерти мы можем приносить пользу». Надзиратель молча уходил. Наверняка он не понимал смысла моего ответа и, должно быть, думал, что я брежу. На седьмую, если не ошибаюсь в счете, ночь, когда надзиратель задремал, укутавшись от холода в покрывало, из соседней камеры дошел до меня чей-то приглушенный голос. Я подполз к решетке. Трое заключенных из камеры слева от моей, презрев угрозы полицейских, решили помочь мне. Голос сказал, что на рассвете они постучат в разделяющую камеры стену, чтобы я точно знал, на какой высоте прижаться щекой к стене у самой решетки и держать открытым рот. Как только надзиратель отойдет в сторону, один из заключенных протянет руку между прутьями и бросит в том направлении, где должен быть мой рот, пригоршню воды. И действительно, едва забрезжил рассвет, как послышался легкий стук; я с усилием оторвался от пола и, вытянув шею, открыв опаленный рот, стал с трепетом ждать. Пригоршня воды пролетела в сантиметре от моего лица и шлепнулась на грязный пол. Через полчаса друзья повторили свою попытку. Опять неудача! Надзиратель, словно уловив подозрительный шум, заворочался под покрывалом. Только с третьей попытки, когда уже рассвело, рука, просунутая сквозь решетку, смогла попасть пригоршней воды прямо мне в рот. На следующую ночь они таким же образом бросили мне кусочек хлеба. Он укатился в загаженный угол. Я поколебался — секунду, не больше — в кошачьем броске схватил его зубами. Позже они зашвырнули в камеру крохотный ломтик сыра, который упал, к счастью, на чистое место. Не успел я прильнуть к нему губами, как надзиратель поднялся со своего места и пошел прямо к моей камере. Я быстро лег щекой на сыр. Ложная тревога. Надзиратель ничего не видел. Он решил повторить мне уже в который раз: «Доктор, вы умрете, если будете молчать. Почему не дадите показаний?» Не поднимая головы, я сказал, тоже уже в который раз: «И после смерти мы можем приносить пользу». Он безнадежно махнул рукой и отошел. Я оторвал голову от пола. Сыр, сплющенный тяжестью и увлажненный моим потом, походил на желтую монетку. Он прилип к полу, и я судорожно лизал и лизал эту монетку, пока она не исчезла под моим жадным языком.

(Иногда моя соседка из дома напротив опаздывает на несколько минут, ломая расписание, которое я уже знаю наизусть. Если она задерживается с выходом из дома, то я говорю себе: «Она заболела». И вслед за этим: «Это ужасно: я врач, я беспокоюсь о ее здоровье, нахожусь рядом с ней и не могу прийти к ней на помощь». Но если она запаздывает с возвращением домой, мои опасения и предчувствия бывают еще мрачнее, хотя я и урезониваю

* Хулио Антонио Мелья — один из основателей Коммунистической партии Кубы, предательски убит в 1929 году.

себя, как могу: «Безобразие! Ревновать незнакомую женщину, даже не подозревающую о твоем существовании». Как-то вечером она возвращается с мужчиной в синем костюме, и я огорченно вздыхаю, уверенный, что это ее жених или любовник, но потом немного успокаиваюсь, видя, как они, коротко поговорив о чем-то у дверей подъезда, прощаются без всяких нежностей, я бы даже сказал, с явным безразличием друг к другу. И все же меня точит червь сомнения: «Кто этот тип? Зачем он провожал ее до дверей? Может быть, он собирается и впредь сопровождать ее по вечерам? Что их связывает? И как она может причинять мне такую боль?» Но неизвестный больше не появляется, ни разу не появляется, совсем не появляется! Зато навещает ее, и довольно часто, подруга или знакомая, подъезжает на маленькой серой машине, ставит ее точь-в-точь напротив моего окна, входит в подъезд, и вскоре они выходят вдвоем, улыбаются и оживленно разговаривают — я могу судить лишь по их жестам, ни смеха, ни голосов их я не слышу. По всей видимости, они ездят в кино. Хотя кто их знает! Могут ведь ездить и в другие места! Поэтому я не ложусь спать и держу ухо востро, пока не подъезжает серый автомобиль. Вот моя соседка легко выпрыгивает на тротуар, а подруга машет ей рукой на прощание. Ошеломленный, пристыженный, растерянный, я признаюсь себе, что влюблен в женщину в туфлях коринфского цвета, которую я называю так, потому что надо же как-то ее называть, хотя что касается туфель коринфского цвета, то их она больше не надевает, а носит или блестящие черные, или ослепительно-белые. Подумать только, ни к Анхелине, ни к девушке, в которую был влюблен, когда учился в лицее, ни к другим женщинам никогда я не испытывал такого сильного влечения, как к этой незнакомке. А ведь я даже голоса ее не слышал ни разу и не знаю, умна она или глупа, скромна или вульгарна, добра или зловредна. Какая нелепая любовь! Я ставлю себя в зависимость от каждого шага моей незнакомки, я сгораю от ревности, я не нахожу себе покоя! А когда руководство партии переводит меня из моего убежища в другое, более удобное и безопасное место, я страдаю, как могут страдать только влюбленные при вынужденном расставании, не сулящем новой встречи. Потом я меняю одну конспиративную квартиру на другую и все же не могу вылечиться от бесплодной страсти, пробужденной во мне женщиной, чье имя мне неизвестно, которая не знает о моем существовании и не узнает о нем до конца своей жизни.)

— Когда я меньше всего ожидал этого, надзиратель принес мне первый стакан воды и первый ломоть хлеба. Воду я втянул губами; губами же, как это делают животные, взял с пола хлеб. Мигом проглотив и то, и другое, я спросил надзирателя: «Сколько времени я здесь нахожусь?» Услышав «Двенадцать суток», я не поверил, подумал, что надзиратель врет, насмехается надо мной. Казалось, по крайней мере месяц, а то и год меня мучают боли от ран, жажда и галлюцинации. Какими же несоразмерно долгими были эти двенадцать дней и двенадцать ночей! Вечером надзиратель принес хлеба и молока, а на следующий добавил к этому еще и кусочек мяса. Теперь все, подумал я, самое страшное позади. Меня переводят в разряд строго изолированных, но не подлежащих допросам и телесным наказаниям. Но я ошибся. После четырех суток пребывания в новых условиях в полночь за мной явилась группа агентов. Они оттащили меня волоком наверх. Там агенты надели на меня присланные из дому штаны цвета хаки, подвязали их веревкой вместо пояса, потом взяли пистолеты и повели меня снова вниз — на этот раз в гараж, где стоял наготове грузовичок — пикап. Меня положили, словно труп, к задней стенке пикапа, а сами — их было семь че-

ловек — тесно уселись на боковых скамьях. Машина тронулась. Прижавшись лицом к настилу, я следил мысленно за дорогой: ипподром, авенида Ла-Вега, Сан-Мартин, подъем Атлантико. Вот машина спустилась под гору и взяла курс на Эль Хункито. У меня перехватило дыхание: в городке Эль Хункито находилась конспиративная квартира Сантоса Иорме, руководителя нашей партии. Именно этот адрес агенты тщетно пытались вырвать у меня пытками. Неужели они узнали его из других источников и теперь везут меня к Сантосу Иорме, чтобы расстрелять нас вместе? Что подумает, увидев меня, товарищ Иорме? Сердце забилось — приступ тахикардии — и утихло, когда машина проехала улицу и дом, где скрывался Сантос Иорме, и поднялась на гору перед въездом в Эль Хункито. Не доезжая до городка, машина свернула с шоссе, пересекла прямиком небольшое плато и остановилась у подножия холма. Все вышли из машины, выволокли меня. Начальник отряда сказал: «Здесь никто не услышит выстрелов». Один из агентов добавил: «А если и услышат, подумают, что охотники». Огромная луна висела над деревьями. Двое агентов отвели меня под руки на вершину холма и оставили там, в наручниках и ножных кандалах, которые мне только что надели. Шальной горный ветер свистел в кронах сосен, поднимал с земли сухую лежалую хвою, швырял ее в пропасть. Свет луны пропитывал мою жидковатую бородку, законную наследницу отцовской, и, как я себе представляю, окружал голову золотистым ореолом. В пяти метрах от моей фантастической фигуры стояли с пистолетами наготове семеро агентов из...

— Бригады убийц,— подсказал Бухгалтер, видя, что рассказчик умолк.

— Бригады убийц,— повторил рассеянно Врач.— Да, старший выступил вперед и с наигранной торжественностью произнес: «Вам, Врач, главарь вашей партии, мы предоставляем последнюю возможность дать показания властям. Если вы откажетесь, мы расстреляем вас на месте». Я отвечал искренне, а потому гораздо более торжественно: «Я не имею высокой чести быть главным руководителем моей славной партии, но я оставляю за собой право нести такую же ответственность, как если бы им был!» Наступило молчание, только ветер завывал в соснах. После паузы опять послышался голос старшего — на этот раз без всякой театральной напыщенности: «Дело обстоит просто, докторишка, либо заговорите, либо придется отдать концы. Не первого отправляем на тот свет». Я открыл рот, чтобы сказать: «И после смерти мы можем приносить пользу», как в этот момент все семеро бросились ко мне, столкнули меня с возвышения и долго били ногами, лежащего на земле. Уткнувшись головой между двух каменных выступов, я вдруг почувствовал, когда побои прекратились, что к моему затылку приставлены три дула. «В каждом из пистолетов по одной пуле. Трех пуль вполне достаточно, чтобы покончить с тобой, если не заговоришь!» — крикнул старший. Щелкнули пистолеты, и моя голова чуть подпрыгнула на камнях. «Где находится типография?» «Где скрывается Сантос Иорме»? И опять щелкнули пистолеты. Я, словно одержимый, цеплялся за фразу Мельи: «И после смерти мы можем приносить пользу...» Но пистолеты так и не выстрелили.

Врач снял привычным жестом очки, протер их полой рубашки цвета хаки и сказал как бы в заключение:

— Все, что произошло потом, не суть как важно. Меня вернули в подвальную камеру, а спустя три дня перевели в тюрьму, где уже находились вы.

(В новой тюрьме я получаю посылку от женщин моего дома; в посылке — брюки, рубашки, зубная щетка, мыло и мои запасные очки. Главное — очки! Они возвращают очертания вещам. Не люб-

лю жить в тумане. Теперь не мельтешат мушиные лапки. Трое суток спустя, ночью, у дверей моей камеры задерживается рассыльный и незаметно сует мне в руки письмо. Я читаю и не верю глазам, как этот воришка, исполняющий обязанности рассыльного, согласился взять на себя столь рискованное поручение. «Несмотря на твой арест Сантос Иорме не изменил адреса, на прежнем месте типография, собираемся мы там же, где и прежде. Руководство партии было абсолютно уверено, что под самыми страшными пытками ты не скажешь ни слова». Я улыбаюсь — удовлетворенно, пожалуй, гордо. Стоит жить, стоит бороться, даже страдать — и то стоит. С посланием руководства партии в руках я — не обездоленный узник, я — свободный и счастливый человек!)

— Меня перевели в тюрьму, где уже находились вы,— повторил Врач.— Когда сняли наручники и я захотел помыться, то не смог поднять рук и разогнуть сведенные пальцы. Пришлось просто подставить голову под кран, который повернул рассыльный. От меня пахло черт знает чем. Долго часами я отмывался, и все же потребовалось несколько дней, чтобы избавиться от покрывавшей меня корки грязи, крови и нечистот.

Врач умолк и по-детски светло улыбнулся, как будто поведал товарищам очень милую и забавную историю.

КАПИТАН

Повествования Врача, Бухгалтера и Журналиста связали всех пятерых дружескими узами. Будни тюремной камеры уже не казались такими нудными, как вначале, и не только потому, что добрую половину дня пятеро занимались делом — учились и учили,— а и потому, что отношения между ними становились все сердечнее, беседы — все оживленнее.

Особенно располагали к разговорам часы сиесты. Душная жара не давала уснуть, лежать молча тоже было невмоготу, поэтому остававшееся до занятий время они отдавали беседам. Обычно темой служили их вкусы, наклонности, увлечения — касательно всего, что можно определить и оценить чувствами или душой: цветы и животные, еда и страны, марки сигарет и кинофильмы, актеры и книги, музыка, воспоминания детства. Бессознательно, а может быть, и намеренно, они избегали разговоров о женщинах, чтобы не отягощать свое принудительное воздержание излишними эмоциями. Правда, Парикмахер, не страдавший чрезмерной деликатностью, пускался время от времени в рассказы об авантюрах со своей соседкой, мулаткой, но в его описаниях было столько юмора и хвастливого вранья, а язык рассказа был так живописен, что слушатели как-то теряли из виду главный предмет.

Парикмахер любил рассказывать непристойные анекдоты о попугаях, которые выкрикивают отборнейшие словечки на монастырских дворах; о похотливых обезьянах, влюбленных в недосягаемых слоних; о бравых пышноусых генералах, которые оказывались закоренелыми гомосексуалистами; о грехопадениях приходских священников и набожных прихожанок; о китайцах, которые добиваются любовных побед сверхчеловеческим терпением и изобретательностью; о монашках, молящихся о том, чтобы вражеские солдаты не забыли лишить их девственности; о молодых супругах, чья брачная ночь заканчивалась непредвиденными осложнениями; о других самых разнообразнейших и необычайнейших случаях. Плодов народной фантазии хранилось в беспорядочной памяти Парикмахера бесчисленное множество.

Журналист, Бухгалтер и Капитан хохотали до упаду и нередко просили повторить какой-нибудь уж очень остроумный анекдот. Врач

слушал безразлично, оправдывался тем, что якобы не обладает чувством юмора, и, лежа на койке, устало закрывал глаза, когда Журналист просил Парикмахера:

— Послушай, расскажи еще про английского шпиона. Премиленькая штучка!

Но бывало так, что тема задевала всех, к тому же никто не хотел поступиться своими взглядами, поэтому вспыхивали жаркие споры, а то и ссоры. Правда, когда приходило время уроков, недавние спорщики садились заниматься как ни в чем не бывало.

Заходил, например, разговор о кушаньях.

— Вкуснее лукового супа ничего на свете нет! — заявлял, как всегда, авторитетно Капитан.

— Луковый суп? — лицо Журналиста сводила гримаса отвращения.— Ужин проституток в три часа ночи. Разве можно сравнить луковый суп и, скажем, кролика в винном соусе или утку с апельсинами?

— Я предпочитаю луковый суп,— настаивал Капитан.— У кролика жестковатое мясо, а в таком блюде, как утка с апельсинами, ощущаешь больше апельсины, чем утку.

— Нет, ты серьезно? — вскидывался Журналист.— В каком закутке тебя кормили этим целлулоидным кроликом и оранжадом со следами утки, Капитан?

— В каком бы то ни было. Какая разница? Я предпочитаю луковый суп,— не сдавал позиций Капитан.

В эту минуту слышался умиротворяющий голос Бухгалтера:

— Французская кухня — что и говорить, всем миром признана. Однако, по-моему, самое вкусное блюдо — испанская паэлья.

— Паэлья?! — подскакивал на койке Журналист, встревоженный столь внезапно открывшимся вторым фронтом.— Эта «смерть желудку», эта мешанина из недоваренного риса, декоративного перца, куриных лап, кусков рыбы, шафрана и морских ракушек?

— А я голосую за национальную креольскую пищу,— патриотически провозглашал Парикмахер.— Черные бобы с белым рисом да с жареным мясцом... Пища богов!

Перед фактом этого нового кощунства Журналист лишался дара речи и с надеждой обращал взор на Врача. Но тот, пренебрегая гастрономическими тонкостями, переключал разговор на калории:

— Тушеное мясо, жареную рыбу, салаты, молоко, фрукты — вот что должен есть человек.

Журналист отбивался от наседавших на него противников, словно обложенный охотниками дикий кабан:

— Позор, Врач! Ты, антиимпериалист, пропагандируешь кухню янки — шпинат, бифштексы, горячие сосиски и вымоченные в молоке бананы. Стыдно слушать!

Врач невозмутимо пожимал плечами:

— А что тут стыдного? Мне нравится кухня янки. Какое это имеет отношение к моему антиимпериализму?

Другой темой, обнажавшей острое расхождение во взглядах, были европейские города. Ни один из пятерых не видел Европы, но все жаждали съездить туда — это единственное, в чем они были единодушны.

Журналист, как и следовало ожидать, ставил Париж превыше всех других городов мира. Лувр, Нотр-Дам, букинисты на берегах Сены, Люксембургский парк, бульвар Сен-Мишель, кафе Монпарнаса и кабаре Монмартра он описывал в таких подробностях, словно бог знает сколько времени там прожил. С видом знатока он называл рестораны высшей категории.

Во время одной из таких бесед Врач решительно высказался в пользу Москвы — этому городу он не знал равных. Уже много лет лелеял он

в сердце мечту побывать на Красной площади, в Кремле, поездить по советским деревням, где выросли коллективные крестьянские хозяйства, пройтись по овеянным бессмертной славой местам, где были разгромлены нацистские дивизии, потом вернуться на Красную площадь и, затерявшись среди тысяч и тысяч людей, наблюдать грандиозный первомайский парад, стоя рядом с мавзолеем Ленина.

Вслед за Врачом взял слово Бухгалтер. Он заявил, что русские его не привлекают. Вот Испания ему нравится! Республиканская, конечно. Он любил Испанию с чисто испанским неистовством и без стеснения признался, что плакал, как ребенок, когда в селение пришла весть о взятии фашистами Мадрида. Бои быков и даже воспоминания о них приводили его в состояние самозабвенной страсти. Размахивая одеялом, как плащом, он продемонстрировал стили великих матадоров. «Вот так — рука навынос — торировал Бельмонте... Вот так — руки спустив по бедрам — торировал Курро Пуйя».

— Мне бы в Мадрид или в Севилью, больше никуда не хочу! — сказал он в заключение.

Он умолчал еще об одной причине, почему ему хотелось этой поездки. Умолчал потому, что не хотел говорить во всеуслышание о потерянных черных глазах Мерседиты Рамирес и тем более раскрывать тайную надежду, что в Испании и только в Испании можно встретить другие такие глаза.

— Самый красивый город — Стамбул! — выпалил вдруг Парикмахер, и все удивленно обернулись к нему.

— Почему Стамбул?

В туманных глубинах его мозга было чересчур мало знаний, чтобы Турцию отличить от Персии или от Египта, от Аравии, от Марокко или Индии. Ко всему прочему, прирожденный фантазер, он воспринял эти страны, как одну загадочную страну, и она неудержимо влекла его с тех пор, как в его руки попала «Тысяча и одна ночь» — по мнению Парикмахера, лучшая книга на свете, в чем, к его удивлению, он встретил поддержку со стороны Журналиста. Ему хотелось бы, облачившись магометанином, бродить среди мечетей, швырять белые камешки в бурливые воды Босфора, в тени пирамид и верблюдов есть сладкие финики, посмотреть, как танцуют под флейту факира змеи, провести часок-другой в серрале — конечно, с условием, что его не превратят в евнуха,— возлечь на мягких подушках с одалиской, которая даже в самый что ни на есть интересный момент не снимает с лица покрывало... У слушателей не хватило духа прервать потоки красноречия Парикмахера, указав на неточности в описании Стамбула. Все четверо одобрили изысканнейший вкус Парикмахера, и он кончил речь, чувствуя себя глубоко польщенным.

Капитан отдавал предпочтение Риму. Его предки были выходцами из Италии, но не это определяло его симпатии. Он считал, что пальма первенства принадлежала Риму по праву истории, по праву эстетики, по праву человеческой мудрости. Столь категорическое утверждение неизбежно вызвало бы возражения Журналиста или Врача, уже нахмурившего брови, или Бухгалтера, который почувствовал себя оскорбленным в своих испанистских чувствах. Но Капитан, не дав им высказаться, тут же продолжал:

— Поездка в Рим была золотой мечтой всей моей жизни. Если бы я не примкнул к заговору, иными словами, если бы не счел неотложным долгом выступить против диктатуры, сейчас я был бы в Риме, а не здесь, в тюрьме. Но я добровольно променял величие Колизея на убожество тюремной камеры.

Было ясно, что Капитан подошел к рассказу о своей истории, поэтому товарищи не стали ему мешать.

— Должен вам заметить, что я — военный по призванию и убеждению. Я родился военным, учился, чтобы стать военным, и сейчас имею честь называть себя военным,— начал Капитан, и по этому началу все поняли: исповедь его будет краткой, без отступлений.

(Детство мое проходит в городке, у подножия заснеженных гор. Первые слова, которые я выучился писать,— певучие названия рек моего края: Чама, Альбаррегас, Милья, Мукухин. Колокольный гул десяти звонниц и голоса молящихся женщин наполняют городок с шести вечера. А когда часы на башне бьют полночь, по улицам, где когда-то гремели бои, проходят тени борцов за свободу, и я слышу приглушенный стук их каблуков. Мать заставляет меня читать жизнеописания великих композиторов и каждый вечер заводит в гостиной граммофон с пластинками Моцарта и Шумана, которые дядя Освальдо присылает из столицы. Но мое детское сердце отзывается лишь на грохот барабана и чеканный шаг солдат, проходящих строем мимо нашего дома. В такие минуты неведомая сила выбрасывает меня на улицу, где уже слышны крики мальчишек: «Войска идут!» Я пристраиваюсь к шагающему отряду и, забыв обо всем на свете, воображаю себя солдатом. Празднуется годовщина Независимости, солдаты и офицеры — в парадной форме, в портупеях, с начищенным до блеска оружием. Я задыхаюсь от волнения, когда офицер с саблей наголо командует: «Сто-ой! На пле-чо! Смир-но!» и сотни солдат четко и точно выполняют команду. Хотя мне всего девять лет, я уже бесповоротно избрал себе путь в жизни — карьеру военного. Мать выслушивает мое решение не очень-то внимательно и шутливо отмахивается от разговора о моем будущем. Под вечер возвращается из асьенды отец, и я заявляю ему то же самое. Он озабочен — по привычке все принимает всерьез и, видимо, понимает, что речь идет о большем, нежели детская причуда. Проходит несколько недель, я настаиваю на своем решении; теперь мать уже не улыбается в ответ на мои просьбы, а смотрит на меня печально и нервничает, словно видит меня идущим к пропасти. Для нее армия — это неприступная башня, где ее чаду суждено провести в заточении всю жизнь. «Это все равно что единственную дочь отдать в монастырь»,— вздыхает она. Родители посылают меня в лицей, рассчитывая, что потом я пойду учиться на инженера: по их убеждению, инженер — человек более культурный, нежели военный. Я не протестую, однако отцу точно известно — его мальчик не закончит лицея. Этот мальчик по-прежнему выбегает из дома при звуках военного барабана, хотя теперь уже не мчится, как раньше, за проходящей воинской частью, а лишь провожает ее печальным взглядом и потом долго бродит по комнатам, как потерянный.)

— Когда высшее командование армии захватило власть в стране, я был лейтенантом, служил в пехотном батальоне. Мне оставалось немного до чина капитана. О том, что готовится государственный переворот, я и понятия не имел. В самый день переворота я получил соответствующий приказ от капитана, моего командира, тот, в свою очередь, получил приказ от майора, майор — от полковника, и так шло от Генерального штаба. Как мне было приказано, я вывел свой взвод с оружием на улицу. Народ не выступал против военных мятежников, и, честно говоря, я был рад этой пассивности. В противном случае меня заставили бы стрелять в народ. Если я отказался бы выполнить приказ, это означало бы конец моей карьере, а если повиновался бы, то перестал бы уважать себя как человек. Я был влюблен в свою профессию, обожествлял дисциплину и все же не представлял себе, как можно открыть огонь по безоружным людям, моим соотечественникам. Факт захвата

власти высшими чинами армии не вызвал у меня в то время ни малейшей тревоги. Приехавший в казарму полковник держал перед офицерами речь, заявив, что страна ввергнута в хаос, что только армия может спасти ее от анархии, и так далее. Я слушал его, правда, без особого энтузиазма, но и без какого бы то ни было возмущения. Я солгал бы вам, сказав иное.

(Мне шестнадцать лет, я учусь на третьем курсе лицея. Как-то вечером отец зовет меня к себе в кабинет и спрашивает строгим голосом, от которого я невольно подтягиваюсь: «Ты доволен, что станешь инженером?» Почтение в сторону — я без обиняков говорю то, что чувствую: «Нет. Я предпочел бы стать военным». Отец кладет руки мне на плечи, внимательно смотрит в глаза и обещает сделать меня военным. Он убеждает мать согласиться с моим желанием или, по крайней мере, примириться с судьбой, и мать смиряется, потому что, как и я, никогда не перечит отцу. Вместе с отцом мы заполняем анкету для поступления в военное училище. Не в военно-морское, не в авиационное, а именно в пехотное — не корабли и самолеты вижу я в мечтах, а улицы и дороги и себя, с обнаженной саблей в руках, во главе своих солдат. Готовый лопнуть от счастья, я иду с отцом к врачу за справкой о состоянии здоровья, в муниципалитет за свидетельством о благонадежности, затем в фотографию, чтобы заказать карточки в полный рост, и, наконец, в штаб командования гарнизона, где мы вручаем все эти документы. Потом я совершаю в автобусе бесконечно долгое путешествие от заснеженных гор до столицы. Меня не интересуют крутые склоны и попутные города и пейзажи, я не выхожу на остановках, питаюсь лишь хлебом и сыром, что мать уложила в холщовую дорожную сумку, и не спускаю глаз с чемодана, где, в соответствии с требованием регламента, лежат необходимые вещи: белье, две пижамы, четыре белые сорочки, щетки, помазок, мыло. Пансионат расположен неподалеку от военного училища. В оставшиеся до экзаменов дни я повторяю по утрам устав, после завтрака гуляю в парке, медленно прохожу под мемориальной аркой и потом часами простаиваю на виадуке, облокотившись на парапет и наблюдая за снующими внизу машинами. Лишь когда солнце опускается за часовней, я возвращаюсь в свое пристанище. Наконец наступает долгожданный день. Я прохожу повторный медицинский осмотр в госпитале, бегу стометровку и преодолеваю барьер на плацу. Сдаю также экзамен по общей культуре; этого испытания я здорово побаивался, но оно сводится к двум вопросам: что я знаю об открытии Америки и что такое родина. Проходят еще пятнадцать дней, занятых прогулками и бесцельным стоянием на виадуке, и вот в газетах, в списке принятых на первый курс военного училища, я нахожу свою фамилию. Перепрыгивая через ступеньки, я сбегаю по широкой лестнице парка, мчусь по улице на телеграф. В глазах дрожат слезы, пока рука вписывает в бланк слова победной реляции.)

— После переворота прошло уже несколько месяцев, я успел получить чин капитана — и только тогда я впервые задумался над тем, с какой целью высшее командование решилось на такой серьезный шаг. Поначалу я сознательно подавлял в себе сомнения, они казались мне нарушением воинской дисциплины. Даже с Хавьером Энтреной, самым близким моим другом еще по лицею — к этому времени он закончил образование и стал дипломированным инженером,— я ни словом не обмолвился о беспокоивших меня мыслях, хотя мы зачастую проводили вместе время, ходили на субботние вечеринки, обменивались книгами. Зная точку зрения Энтрены, всегда ополчавшегося против военных

диктатур, судя по характеру книг, которые он давал мне читать, я заключил, что мой друг недоволен приходом военных к власти. Тем не менее он никогда не заговаривал в моем присутствии на эту тему, и я в душе благодарил его за деликатность, за нежелание искушать стойкость солдата, поклявшегося не вмешиваться в политику.

(Первый год в военном училище остался в моей памяти как долгий, тяжелый кошмар. Всех принятых — стадо в полторы сотни голов — собирают в здании училища. Два кадета старших курсов под присмотром офицера записывают наши фамилии и вежливо провожают в каптерку, где мы получаем форму. Но по пути в каптерку кадет, очаровавший меня любезностью, вдруг вынимает из кармана ножницы и ловким движением отхватывает по самый узел концы моего галстука. Я воспринимаю этот жест как символическую церемонию отрешения от штатского мира, однако на самом деле это первая злая шутка, за которой следует множество других, еще более варварских. Все мы, новички, попадаем во власть слушателей трех старших курсов — кадетов второго года, бригадиров — третьего и альфересов — четвертого. Это — наше непосредственное начальство и наши истязатели. Они словно сговорились сделать нашу жизнь сплошным унижением. Четверо здоровых парней набросятся на новичка, стиснут его со всех сторон и начинают стричь ему волосы. Так обкорнают, что хоть плачь, а то проведут машинкой полосу от уха до уха, и ходишь, как паяц из цирка. Мы то и дело получаем пинки и подзатыльники, выслушиваем оскорбления. Терпим в надежде, что это злодейство скоро кончится. Но оно длится весь год, от первого дня до последнего, пока не приходит новое пополнение и мы перестаем быть новичками. Я, правда, отношусь к этим издевательствам философски, очень уж хочу стать военным и не могу допустить, чтобы какие-то мелкие невзгоды встали препятствием на пути к моей цели. Но многие ребята с безрассудной смелостью лезут на рожон и дорого платятся за свое бунтарство. Некоторые доведены до отчаяния, хотят просить об отчислении из училища. Ночью кто-то шепчет в подушку: «И зачем только я пошел сюда!» А с соседней койки какой-нибудь альферес рычит: «Перестань хныкать, желторотый сопляк!» Бедняга смолкает, но от этого ему еще сильнее хочется домой, и он тихонько плачет под одеялом. Жалобы и протесты бесполезны, никто их не принимает во внимание. Да и как может быть иначе, если офицеры-наставники, в прошлом сами кадеты, смотрят на это варварское отношение старших к младшим сквозь пальцы, а подчас даже выступают в роли подстрекателей? Нам остается жалкое утешение, что когда-то и мы станем бригадирами и альфересами и выместим на новых «желторотых» обиды, которым подвергаемся сейчас.)

— По мере того как в стране росла оппозиция, военная диктатура прибегала к все более жестоким мерам против своих противников. Вы это знаете не хуже меня. До нас, средних офицеров, доходили слухи о том, что творилось в тюрьмах, однако этим слухам мы не очень-то верили. «Козни профессиональных политиков,— считали мы.— Они идут на все, чтобы дискредитировать правительство». Однажды субботним вечером мы с Хавьером Энтреной ехали в машине к морю. Уединение, пустынная дорога, выпитое перед этим пиво располагали к откровенности, и я спросил: «Что ты скажешь о слухах, которые ходят по городу?» Он, не выпуская из рук баранки, вопросительно посмотрел на меня, и я пояснил: «Правду ли рассказывают о нарушениях закона, о пытках?» Энтрена понял, что отныне он может говорить со мной о политике, и выложил все, чего не касался прежде. Он рассказал о том, как был убит

Руис Пинеда *, о концентрационном лагере Гуасина **, где политзаключенные, чтобы не умереть с голоду, отбирают объедки у свиней, о том, как в Гуасине умер от голода и болезней старый полковник-революционер — начальник лагеря отказал ему в медицинской помощи. Я спросил: «Почему же правительство идет на такие преступления? Зачем, с какой целью?» Энтрена, не глядя в мою сторону, сухо ответил: «Чтобы иметь возможность обкрадывать страну».

(Учеба дается мне легко: теоретические дисциплины знакомы еще с лицея, достаточно присутствовать в классах и время от времени освежать в памяти недавнее. Так же без труда я привыкаю вставать в пять утра, делать зарядку, часами маршировать на плацу или по окрестным улицам, осваиваю «гусиный шаг» и приемы владения оружием, чему нас начинают обучать с четвертого месяца. «Особый порядок» и тот не кажется мне таким уж мучительным, хотя вообще это самое трудное для новичков. Задача «особого порядка» — не оставлять кадету ни одной минуты свободного времени, даже для того, чтобы написать письмо родным, держать его все время под командой бригадиров, альфересов и офицеров: «Смирно!..» «Напра-во!..» «Нале-во!..» «Шагом марш!.. «Ложись!» «Встать!» «Вперед, шагом марш!» Цель этой муштры — превратить новичка в автомат, послушный каждому слову и жесту вышестоящего чина, пропитать военной дисциплиной его тело и мозг. Военная служба — это не только занятие, профессия, это нечто неотделимое от личности, проникшее в кровь и психику. Я приспосабливаюсь к «особому порядку», понимаю его необходимость и без всякого неудовольствия повинуюсь начальническим окрикам, ни на минуту не оставляющим меня в покое.)

— Горько мне было слушать неопровержимые доводы Хавьера Энтрены. Итак, единственной побудительной причиной переворота была алчность. Беспощадный полицейский аппарат, сконструированный так тщательно, есть не что иное, как оборонительное прикрытие для высокопоставленных грабителей. Проповеди о спасении родины от хаоса и анархии, об установлении социального порядка обернулись тонко рассчитанным ходом игроков в мундирах, движимых единственным желанием: сорвать банк — всю государственную казну. Это было печальным открытием для меня. Но постепенно уныние сменилось негодованием: верхушка военных, преследуя свои преступные цели, спекулирует на уважении народа к армии, ставит под угрозу ее честь! А я — частица этой армии, я горжусь тем, что связал с нею свою судьбу!.. От Энтрены я узнал, что каждая горнорудная концессия представляет собой подлую сделку, с каждого подряда на общественные работы правительство негласно берет комиссионные, каждая построенная школа обходится казне на столько-то процентов дороже, чем она стоит в действительности. Даже на поставках оружия и формы для армии диктатор наживается, словно барышник. Так вот почему ржавеют танки, брошенные под открытым небом, вот почему то и дело выходит из строя новая техника. Это допускается преднамеренно. Чудесный предлог, чтобы купить за границей новые танки и машины и, следовательно, сорвать новый куш...

— Ты еще многого не знаешь! — перебил рассказчика Журналист, вспомнивший другие факты: — Анекдот, ей-богу! Несколько месяцев назад министерство здравоохранения заказало в Канаде оборудование для только что выстроенного госпиталя — самое дорогое, конечно. Там

---

* Руис Пинеда — один из деятелей партии «Аксьон демократика», убит агентами Сегурналя на улице, на глазах у прохожих.

** Гуасина — концлагерь в дельте Ориноко, известен нездоровым климатом и строгим режимом.

охотно составили смету по образцу самого роскошного госпиталя в Монреале, но в приложении к счету указали, что считают целесообразным, даже необходимым исключить из инвентаря огромные снегоуборочные машины, совершенно ненужные в тропиках. Исключить! Черта с два! Диктатор вкупе с министром здравоохранения не пожелали терять ни сентимо из уже подсчитанных комиссионных и ответили в Канаду телеграммой: «Присылайте все, ничего не исключая». Механические лопаты, предназначенные сгребать снег, которого не бывает у нас, стоили стране больше ста тысяч долларов.

— Узнав о беззакониях, совершаемых от имени армии,— продолжал Капитан,— я оказался как бы между двух враждебных фронтов, одинаково стойких и не склонных к отступлению: с одной стороны, привычка к дисциплине и клятва в аполитизме; с другой — мое человеческое достоинство и глубочайшее огорчение из-за неизбежной дискредитации звания военного.

(Воскресные увольнения — для всех нас долгожданный праздник. Строем идем к девятичасовой утренней мессе в церковь Сан-Франсиско. В голубой парадной форме, с короткими шпагами у пояса, мы выглядим молодцами. Девушки не сводят с нас восхищенных взглядов, старушки вздыхают вслед: «Какие же красавчики эти кадеты!» Многие кадеты встречаются в церкви со своими родственниками и после мессы проводят с ними весь день, а мы, иногородние, идем бродить по опустевшим из-за праздника улицам, заворачиваем в первый попавшийся кинотеатр или идем в гости к землякам. Там нас обычно приглашают отобедать, сообщают новости из родных краев — кто женился, кто умер. Так проходит первый год, наступает второй, я перестаю быть новичком, однако отказываюсь возмещать понесенные невзгоды за счет вновь прибывших. Без осложнений перехожу затем на третий курс, получаю одну полоску на рукав и почетное звание младшего бригадира. Старшего бригадира получает Раймундо Морильо, единственный, кто идет впереди меня по успеваемости. Это соотношение остается в силе и на четвертом курсе, где нам заменяют полоску на две звездочки, мне присваивают звание альфереса, а Раймундо Морильо — единственному на курсе — старшего альфереса. Соперничество не поселяет в моей душе зависти, а в его — зазнайства, и мы относимся друг к другу как товарищи и друзья. У меня появляется девушка, мы видимся с ней по воскресеньям, нас объединяет чувство столь же платоническое, сколь и хрупкое. Платоническое — потому, что дело не заходит дальше мимолетных поцелуев; хрупкое — потому, что связь наша обрывается, едва она уезжает в Маракаибо, и мы даже не находим, что писать друг другу. Тогда же происходит событие, оставившее неизгладимый, горький след в моей душе. «Вчера вечером умер твой отец»,— скупо и потрясающе просто сообщает в телеграмме мать.)

— При следующей встрече с Хавьером Энтреной я спросил без обиняков: «Что нам нужно делать?» Он ответил не задумываясь — кажется, у него всегда наготове ответ на любой вопрос: «Вы, военные, должны помочь нам, гражданским. Вы многое можете». Я задаю второй вопрос: «Может ли принести пользу такой, как я, одиночка?» Он понизил голос, хотя мы были с ним одни у меня в квартире: «Многие офицеры настроены подобно тебе. В твоей собственной казарме должны быть такие. Вернее сказать, есть такие». Так с помощью моего друга Хавьера Энтрены — не знаю, жив ли он сейчас или убит, сидит ли в тюрьме или успел выехать за границу,— я оказался связанным с подпольной организацией.

(Окончив военное училище в чине младшего лейтенанта, я получаю назначение в пехотный батальон командиром взвода. В подчинении у меня тридцать два человека — сержанты, старшие и младшие капралы, солдаты. Это не пятнадцатилетние юнцы-кадеты, терпеливые, безответные и понятливые. Это взрослые люди, народ со всеми его особенностями. Туповатые и нерасторопные новобранцы и умудренные службой младшие чины, в большинстве — крестьяне, которые до армии не знали обуви, зубной щетки, кровати с матрацем. Почти все рекруты — неграмотные, темные существа, они отличаются грубой и прямой реакцией и руководствуются скорее инстинктом, нежели разумом. Прежде чем обучать военному делу, необходимо научить их элементарной грамоте и при этом заставить любить и уважать офицера. Все они — уроженцы разных областей страны, очень различны по характеру, прежнему образу жизни и занятиям. Для меня, лейтенанта двадцати одного года, только что вылупившегося из училищной скорлупы, эти люди — живая загадка. Как проникнуть в их души, найти к ним ключ, на кого действовать убеждением, на кого строгостью? В то время как они, пообтершись и осмелев за полгода жизни в казарме, чуют с первого взгляда, что за человек их командир: деятельный или ленивый, строгий или только прикидывается строгим, можно ли обвести его вокруг пальца или лучше говорить с ним начистоту, действительно ли он не дрогнет в трудную минуту или под мундиром у него заячье сердце. К моему счастью, нашей ротой командует настоящий офицер, капитан, мужественный и гуманный, как и положено командиру. От него-то я и перенимаю основную мудрость офицерской жизни, которая стоит много больше, чем все, что нам преподавали четыре года в училище. Капитан не только знакомит меня со своим методом приобщения новобранцев к новому для них режиму, он учит меня видеть в моих подчиненных прежде всего живых людей, а это — основа основ успеха.)

— После многих оттяжек была, наконец, определена точная дата и час выступления. В ту ночь как раз я нес дежурство по казарме. Моя задача состояла в том, чтобы в три ноль-ноль утра, совместно с двумя лейтенантами, захватить казарму. Предполагалось, что в тот же час другие офицеры, примкнувшие к заговору, проведут такую же операцию еще в двух казармах столицы и четырех провинциальных гарнизонах. Одновременно дежурный офицер в Карсель Модело освободит и вооружит политических заключенных. При первых же выстрелах группы гражданских лиц, ожидающие сигнала в разных частях города, выйдут на улицу, поднимут народ и сформируют отряды содействия восставшим военным. Все это, повторяю, должно было начаться утром, ровно в три ноль-ноль.

— Красиво задумано! — мечтательно вздохнул Бухгалтер.

— Мы действовали в строгом соответствии с планом. Без пяти три мы вошли в кабинет командира батальона — он никогда не запирал дверь на ключ,— и я крикнул: «Вы арестованы!» Он открыл глаза и хотел схватить пистолет, но лейтенант Солано его предупредил. Командир сел в постели. Первое, что ему пришло в голову, это запугать нас. «Арестован не я. Арестованы вы. Сдать оружие, мятежники!» — загремел он. Я прервал его: «Майор, дело обстоит серьезнее, чем вы думаете. Вы арестованы. У нас нет времени для пустых разговоров». Майор — кругленький, лысый, в зеленой пижаме — походил скорее на китайскую фарфоровую статуэтку, чем на командира батальона. Все еще сидя в постели, он оглядел нас сверху донизу и вдруг заговорил по-отечески убеждающе: «Ребята, вы что, рехнулись? Вы ставите под удар свою военную карьеру. Бросьте немедленно пистолеты, и я, даю честное слово, похло-

почу перед начальством, чтобы с вами обошлись помягче и не отчислили из армии». Я повторил сухо: «Майор, вы даром теряете время и отнимаете время у нас. Довольно дискуссий. Вы арестованы!» Лейтенант Солано перерубил саблей телефонные провода. Майор не унимался. Теперь в его тоне слышалась уже не командирская медь и не отеческий укор, а лесть и приноравливание: «Скажите, друзья, вы действуете сами по себе или за вами стоит сила? Я всегда разделял взгляды армейской молодежи. Сейчас я просто не в курсе дела, мне никто ничего не сообщал... А вы уверены, что перед вами открытая дорога, а не тупик?» Майор — это было очевидно — пытался уточнить размах нашего заговора и решил навести на всякий случай мостик, чтобы потом перемахнуть на сторону победителей. Мы заперли его в комнате с перерезанным телефонным проводом и предупредили, что если он попытается удрать, мы застрелим его без всяких рассуждений.

(Через три года, не раньше и не позже, чем другие младшие лейтенанты, меня производят в следующий чин. На моих погонах поблескивает еще одна звездочка, мое скромное жалованье чуть увеличивается — вот и все. Командир роты видит во мне ближайшего помощника и будущего капитана, и хотя на людях я обращаюсь к нему официально, с глазу на глаз мы с ним на «ты». Однажды вечером капитан везет меня к знакомой девице, она — подруга его любовницы. По дороге он дает мне полезные советы, как обращаться с женщинами определенной профессии. Я строго следую его советам и даже порываю с одной из девушек — Хульетикой, когда она с ее очаровательными родинками начинает мне нравиться больше положенного.)

— По тревоге мы подняли солдат. Лейтенант Солано отомкнул взятыми у майора ключами пирамиды с винтовками. Военная дисциплина сработала, как точный механизм. Через пятнадцать минут во дворе казармы выстроились пять рот батальона — вооруженные солдаты, сверхсрочники, капралы, сержанты, младшие лейтенанты, готовые повиноваться каждому моему слову, хотя и несколько удивленные подъемом среди ночи. Оставив их на попечение лейтенанта Солано, я вместе с лейтенантом Каррионом, офицером-связистом, пошел в радиоотдел. Стрелки моих наручных часов томительно медленно отсчитывали минуту за минутой. Прошло уже достаточно времени, а радио транслировало обычную передачу — ни одного сколько-нибудь интересующего нас слова. Внезапно вспыхнул сигнал на телефонном коммутаторе. Я подошел. Звонил дежурный офицер министерства обороны — так, по крайней мере, он представился,— просил соединить его с командиром батальона. Я резанул в упор: «Майор под арестом. С вами говорит новый командир батальона, восставшего против диктатуры, в защиту конституции и законов республики». На другом конце провода воцарилось молчание, и вдруг — истерический крик: «Не валяйте дурака! Немедленно сложить оружие!» Я отключил связь. И тут заговорила военная радиостанция. Она бросала в эфир слова, адресованные исключительно нам, не упоминая никакие другие подразделения: «Безрассудная авантюра не нашла отклика ни в одном из гарнизонов страны... Предатель полностью изолирован... Никто не поддерживает его злонамеренного анархистского выступления... Если в течение тридцати минут он не заявит о своей безоговорочной капитуляции, против его подразделения будут брошены танки, авиация, артиллерия». Снова зазвонил телефон. Говорил — уже без посредников — сам начальник Генерального штаба. Он подтвердил ультиматум: тридцать минут на размышления. Я не сказал ни слова, отключил аппарат и стал ждать. Ждать сигнала о выступлениях в других гарнизонах, ждать первых выстрелов и криков восставших. Но ничего подобного не произошло. Возможно, не сработала

какая-то пружина конспиративного механизма или до меня не дошел приказ, отданный в последнюю минуту и отменяющий предыдущую инструкцию. Так или иначе, я и мои два лейтенанта оказались единственными восставшими, а наш батальон — единственным поднятым на ноги ровно в три часа утра. Из-за толстых стен старинного здания казармы доносился металлический грохот окружавших нас танков, топот солдат, занимавших позиции на соседних улицах. В свинцовом предрассветном небе ревели моторы двух самолетов, проносившихся на бреющем полете над нашими головами. На пункте связи гремел голос диктора военной радиостанции: «Офицер-авантюрист одной из столичных казарм заявил о своем неповиновении правительству... Бунтовщик не встретил никакой поддержки... Прошло двадцать пять минут из тридцати, данных ему на безоговорочную капитуляцию... Если он не подчинится приказу, то через пять минут казарма подвергнется артиллерийскому обстрелу и бомбардировке с воздуха». Я понял: сопротивление бессмысленно. Поставить под удар жизнь солдат и офицеров только для того, чтобы выдержать сорокапятиминутный бой и в итоге все же сдать казарму? Я позвонил в министерство обороны: «Можете арестовать меня». До того, как за мной пришли, я освободил майора, вернул ему пистолет и сдал командование. Лейтенанта Солано и меня немедленно арестовали. Причастие к мятежу лейтенанта Карриона я категорически отверг, заявив, что он ничего не знал о заговоре и лишь выполнял мои распоряжения. Но мне не поверили.

(Раймундо Морильо, единственный в училище, кто опережал меня в учебе и званиях, предпочел пойти в кавалерию. И здесь ему сопутствует успех. Он — блестящий наездник, неизменный победитель всех конных состязаний, и это открывает ему доступ в круг избранных. Тех избранных, что занимаются верховой ездой не по долгу службы, а для развлечения, играют в гольф, когда люди работают, тех, у кого виллы с «кадиллаками», собачки с дорогими ошейниками, сады с садовниками. В одной из таких вилл дают званый вечер в честь лейтенанта Морильо, выигравшего очередной серебряный кубок на скачках с препятствиями, и виновник торжества приглашает на праздник своего однокашника — меня. Я иду, не подозревая, чего мне будет стоить потом этот неосторожный шаг. Первые минуты я чувствую себя одиноко в залитой огнями гостиной, но вскоре замечаю, что потрясающе красивая женщина — безусловно, прекраснейшая из всех, кого я до сих пор встречал,— пристально смотрит на меня. Смотрит гораздо пристальнее и дольше, чем полагается смотреть порядочной женщине на незнакомого мужчину. По моей просьбе Морильо знакомит нас, мы обмениваемся несколькими фразами, и с первых же слов я отмечаю в этой даме тонкий дар говорить собеседнику именно то, что он хочет от нее услышать. Она смугла, высокого роста, почти вровень со мной, ее пухлые губы все время просятся в улыбку. Поражают ее глаза — серые, какие редко у нас встретишь, и невероятно выразительные, способные без помощи слов и жестов донести любую мысль, любое чувство. Наш разговор получает конкретное направление — мы говорим о природе моего горного края,— но диалог со мной не мешает ей оставаться как бы живой осью гостиной. Поминутно к ней подходят молодые и пожилые мужчины, все время новые, предлагают бокал вина, сигарету, и она принимает угощение или отказывается от него с неизменной обворожительной улыбкой. К концу вечера, когда собираются уходить последние гости, хозяева дома просят ее сыграть на рояле. Она с улыбкой, но твердо отклоняет просьбу: «Простите, сегодня не могу. Я слишком далека сейчас от музыки». Тогда прошу я. Она, чуть задержав на мне свой красноречивый

взгляд, охотно идет к инструменту, словно только и ждала моего слова. Она играет прелюдию Шопена — любимую вещь моей матери, чаще других звучавшую у нас в доме. Ее пальцы бегают по клавишам, ее серые глаза куда-то устремлены, однако она смотрит на меня, она видит только меня. Никогда бы не подумал, что так можно смотреть — краем глаза и в то же время так прямо и нацеленно.)

— Утром меня увезли из казармы. Крытый грузовик мчался на стокилометровой скорости через город, тревожа сонных обывателей воем сирены. В тюремной камере я пробыл часа два-три, после чего меня вызвал на допрос офицер военной полиции — судя по замашкам, скорее полицейский, нежели военный. Он без предупреждения открыл огонь вопросом о мотивах, побудивших меня выступить с оружием в руках против законного правительства. Я дал ответный залп, высказав все, что думал об этом правительстве подлецов и его продажной законности. У полковника — забыл вам сказать, что это был полковник,— от ярости глаза вылезли из орбит, когда он кричал: «Вы — предатель! Вам нет оправдания!» Я спросил хладнокровно: «Предатель? А кого и что я предал?» Он вопил, срываясь на визг: «Вы предали честь офицера, родину, национальный флаг, вы изменили присяге и дисциплине». Я должен был оградить себя от столь чудовищной клеветы. Я сказал: «Родина и национальный флаг — это совсем не то, что вы думаете. Это не средства наживы, не концессии и контракты. Это не грязные сделки с уплатой комиссионных высокопоставленным маклерам». Полковник вскочил со стула и затрясся, как бесноватый: «Молчать! Я вам приказываю молчать!» Я замолчал, потому что сказал все, что хотел сказать. Слышался лишь торопливый стук машинки под руками секретаря, фиксировавшего мои показания. Мы находились в канцелярии военной полиции — большая, вытянутая в длину комната с секретарским столиком и еще тремя столами, за которыми сидели мои инквизиторы. Второй из них, тоже офицер военной полиции, раньше других нарушил молчание: «Нас интересуют не столько причины бунта, сколько замешанные в нем лица. Назовите ваших соучастников, кроме лейтенанта Солано и лейтенанта Карриона». Я сказал то, что и было на самом деле: «Замешанные в выступлении офицеры — это я и лейтенант Солано, что может подтвердить и командир батальона, которого мы вдвоем арестовали. Все остальные, от лейтенанта Карриона до последнего солдата, лишь подчинялись моему приказу и вышли с оружием на плац в силу данной мною команды». Следователь, отнюдь не удовлетворенный ответом, предпринял новую вылазку: «Речь идет не только об офицерах вашего батальона, капитан. Мы хотим знать, кто из офицеров других подразделений участвовал в антиправительственном заговоре». Я ждал этого вопроса и заранее обдумал ответ: «Мы действовали обособленно, никакой связи с другими частями у нас не было. Кстати, об этом же заявило военное радио, это подтвердил и начальник Генерального штаба». Следователь посмотрел на меня тяжелым взглядом и, сохраняя видимость спокойствия, продолжал: «Вы прекрасно понимаете, капитан, почему командование сделало такое заявление по радио. Вам, конечно, известны имена ваших соучастников, и вы должны назвать их сейчас же, если не хотите окончательно испортить себе карьеру, быть навсегда отчисленным из армии и гнить долгие годы в тюрьме». Я повернулся к секретарю, протоколировавшему допрос, и продиктовал: «Я абсолютно ничего не знаю о заговорах, которые, по вашим словам, имели место в других гарнизонах. Я пытался поднять восстание по собственной инициативе, на свой страх и риск, без какой бы то ни было связи с офицерами других воинских частей, и только один я несу ответственность за свои поступки». Тут заговорил третий инквизитор, не кадровый офицер, профес-

сиональный юрист, более красноречивый, нежели предыдущие: «В соответствии с законами Республики, капитан, ваше дело будет передано в военный трибунал, который вынесет приговор на основе данных вами здесь предварительных показаний. В связи с этим я посоветовал бы вам оставить высокомерный тон и помочь командованию в выявлении всех нитей преступного заговора, на данный момент уже полностью подавленного. Вы должны, по меньшей мере, назвать имена гражданских лиц, подстрекавших вас к сопротивлению властям. Имейте в виду, кое-кто из этих гражданских был задержан полицией и без колебаний заявил против вас». Не отводя взгляда от секретаря и пишущей машинки, я сказал: «Мне нечего добавить к моим предыдущим показаниям». И я действительно не сказал больше ни слова.

(Моя сероглазая подруга носит имя Ноэми́. Она принадлежит к семье латифундистов, ныне ставших нефтяными королями или принцами,— мир далекий, недоступный мне даже в мыслях. Но не моя вина, что Ноэми не позволяет мне исчезнуть после первого знакомства, что просит лейтенанта Морильо привести меня к ней в дом, что ее пухлые губы искушают меня, словно сладкий плод. Я прихожу к ней по первому зову, закрыв глаза на ее знатное происхождение, на окружающую ее роскошь, и вскоре, несчастный, влюбляюсь в нее бог знает с какой силой. Ноэми, которая меня тоже любит — в этом нет никакого сомнения,— чувствует себя неловко перед родителями, знакомыми по клубу, подругами детства за эту странную связь с лейтенантом-провинциалом, не имеющим ничего, кроме двух звездочек на своих погонах. Мы видимся по субботам и воскресеньям в парке. В остальное время, дважды в день — в половине двенадцатого и ровно в пять,— я жду ее звонка на пункте связи в казарме. «Вас к аппарату, лейтенант»,— говорит телефонист. Это, конечно, она. Я беру трубку и с бьющимся сердцем слушаю ее голос. Единственное облачко на лазурном небе — ее страсть пробуждать в мужчинах восхищение. Она пускает в ход свои женские чары, словно тореро красный плащ на арене боя быков, она дарит другим улыбки и взгляды, от которых меня охватывает злая обида. Я уверен, что она меня любит. Но если любит, то, значит, это ненасытное желание окружать себя мужской лестью — не более чем привычка светской ветреницы. Я браню себя за провинциальные предрассудки, но что-то все же заставляет меня присмотреться к другим женщинам ее круга, и я с горечью убеждаюсь, что лишь Ноэми рассеивает вокруг настойчивые взгляды и соблазнительные улыбки. Тревога за ее поведение жжет мне сердце — я готов взорваться. Решаю поговорить с ней откровенно, пусть даже я покажусь ей ревнивым, иначе говоря трусом: всегда в основе ревности — неуверенность в себе, трусость. Ноэми спокойно выслушивает меня и говорит: «Клянусь, я далека от дурных намерений. Но я постараюсь освободиться от этого бессознательного кокетства, если оно причиняет тебе неприятности. Ты для меня дороже всего на свете». После этого разговора я совсем успокаиваюсь, но мир и покой длятся лишь до следующего званого вечера, где она как ни в чем не бывало опять берется за свое: расточает загадочные взгляды и волнующие улыбки, завлекает и очаровывает каждого сколько-нибудь интересного мужчину, оказавшегося в сфере ее действия. Между нами завязывается ожесточенная борьба, которая не приводит к бурному разрыву только потому, что мы любим друг друга — каждый по-своему, в соответствии со своими взглядами на любовь. Есть в Ноэми сила более властная, чем любовь; эта сила — жажда быть желаемой многими мужчинами одновременно, хотя любит она одного меня. И любит так, что бьется в отчаянии, стремясь изба-

виться от этой неумолимой силы, словно морфинист от своего порока. Как и наркоманам, это удается на время, но стоит ей увидеть рядом чем-то выдающегося или просто привлекательного мужчину, как она тут же забывает о своих благих намерениях, пускает в ход подстрекательские улыбки и взгляды, и я чувствую себя несчастным, словно брошенная собака. Как-то, после долгих ночных раздумий, я говорю ей: «Если ты не перестанешь вести себя таким образом, ты больше меня не увидишь».)

— Три недели я провел во внутренней тюрьме управления военной полиции. Время от времени меня вызывали на допрос, повторяли одно и то же: назовите имена военных и гражданских лиц, принимавших участие в подготовке заговора. Фарс разыгрывался из чистой проформы, секретарь отстукивал на машинке схожие, если не абсолютно одинаковые вопросы и ответы. Наконец моим следователям надоело слушать одно и то же, и они переслали мое дело военным судьям. Меня же отправили дожидаться приговора в подземелье старинного форта, выстроенного на скалах, у моря. Когда-то с этой каменной сторожевой башни, воздвигнутой еще в колониальные времена, испанские часовые наблюдали за морем и предупреждали своих о подходе пиратских судов. Под каменными сводами голоса звучали так, словно поднимались со дна колодца. Меня заперли в одной из темниц. Камень ее стен веками терял вкрапления селитры, и теперь на стенах выступали серыми барельефами фигуры сказочных драконов. В полдень и под вечер приходил надзиратель, хромой старик, назвавшийся отставным сержантом. Он приносил вонючую похлебку, но я не мог есть ее и оставлял себе только хлеб и воду. Каждый день я спрашивал старика: «Ну, как сегодня море, сержант?» и он отвечал всегда одной и той же фразой: «Очень красивое, капитан. Очень красивое и очень большое».

(Во вторник карнавала мне исполняется двадцать восемь лет, а еще через несколько недель меня производят в чин капитана. Финансовое положение мое значительно улучшается, когда я получаю свою долю отцовского наследства. «Удалось взять хорошую цену за асьенду и кофейную плантацию»,— пишет мать. Я оставляю полутемную комнату в дешевом отеле и снимаю квартиру в доме на широкой авениде, среди акаций и хабильос *. Ноэми, боясь потерять меня, перестает расточать направо и налево искушающие улыбки, укладывает свою черную гриву в скромную крестьянскую прическу на прямой пробор, прячет подальше губную помаду и тушь для ресниц и кажется мне, как никогда, прекрасной. Все идет хорошо, пока нас не приглашают на вечер, по странной случайности, в тот же самый дом, где мы с ней познакомились. На этот раз чествуют иностранного дипломата, очень уважаемого в определенных кругах за три книги путевых очерков, элегантные костюмы и славу женолюба. Дипломат почти не обращает на Ноэми внимания, когда ее представляют ему. То ли он занят важными мыслями, то ли не находит ничего интересного в женщине с прической крестьянки и лицом без косметики. Я вижу, как Ноэми охватывает лихорадка азарта, как дрожат ее ноздри и в заблестевших глазах вспыхивает вызов. Дипломату не удается уйти от серого пламени следящих за ним глаз. Он кружит около нашего столика, потом подходит к нам, вернее, к Ноэми, и от имени хозяев дома и своего собственного просит ее сыграть на рояле. Ноэми играет — на этот раз не прелюдию Шопена, нет, а «Танец огня» де Фалья. Играет и, не глядя на дипломата, который стоит у колонны и смотрит в ее сторону, видит его, только его. Я покидаю гостиную, пересекаю сад и выхожу на про-

* Большое декоративное дерево тропиков Латинской Америки.

сторную авениду с двумя рядами высоких пальм. Только тут я слышу, как музыка в доме внезапно прерывается, но я, не оборачиваясь, быстрыми шагами ухожу от злосчастного дома. Звонки Ноэми — в половине двенадцатого и ровно в пять — преследуют меня несколько дней. Я не подхожу к телефону, не отвечаю на ее письма, и если все же у нас происходит еще одна встреча, то лишь потому, что я открываю на звонок дверь квартиры, не подозревая, что за дверью стоит Ноэми. Она молча плачет, уткнув лицо в платок, требует от меня дать клятву, что я забуду пошлый случай с дипломатом — по ее словам, чванливым и пустым человеком,— и, прежде чем уйти, рассказывает, немного успокоившись, как она оборвала на середине «Танец огня», как бросилась вслед за мной, но не смогла догнать, потому что не знала, куда я пошел. Больше я ее не вижу, не хочу видеть. Пусть мне будет трудно, но я ее больше не увижу. Зачем? Мы оба и так уже превратились в неврастеников. И, кроме того, мне нельзя забывать — я принадлежу конспиративной организации, я не могу терять душевную уравновешенность и ясность мысли.)

— Прошло два месяца после моего заточения в темнице форта, и мне объявили, наконец, приговор военного трибунала: увольнение в отставку, что практически означало отчисление из армии, и двенадцать лет тюремного заключения. Но я уверен, что диктатура падет гораздо раньше, я вернусь в армию — и уж тогда я буду судить тех, кто запятнал свою воинскую честь кровью преступлений и мерзостью грабежа. Не так ли, друзья?

— Здорово, Капитан! — ответил за всех Парикмахер.

ПАРИКМАХЕР

Уже более трех месяцев — тридцать семь градусов в тени — провели они в каменной, обитой картоном коробке, когда в один из дней вдруг распахнулась дверь и на пороге камеры показался начальник тюрьмы собственной персоной. До полдневной еды оставалась четверть часа. Капитан — без бумаги и карандаша, без доски и мела — объяснял бином Ньютона. Правда, Врач, через повара Антонио, которого он с успехом лечил щадящей диетой от дизентерии, достал кусочек угля. Этим углем Капитан и чертил на полу: $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$, когда в камеру вошел начальник тюрьмы в темно-коричневой форме, с бойцовым петухом в руках, в сопровождении небольшой свиты надзирателей и агентов, а также своего слуги или ординарца, который нес на спине связанные шпагатом пакеты.

— Хочу лично вручить вам посылки от ваших родственников,— сказал он.— Кроме того, могу сообщить, что ваши родственники живы и здоровы.

Хотя говорил он по-прежнему угрюмо, в голосе его не было враждебного презрения, которое он подчеркивал при первой встрече.

— Письма есть? — спросил Парикмахер.

— Писем нет,— ответил начальник тюрьмы.

— А книги? — спросил Врач.

— И книг нет.

— А денег нам тоже не присылали? — пытливо посмотрел на него Капитан.

— Деньги есть,— не очень охотно сказал начальник тюрьмы.— В кассу нашего учреждения поступили кое-какие вклады на ваши имена. Но пока что нет указаний, как я должен с ними поступить. Если

сверху разрешат выдать вам деньги на покупки, я оповещу, кому сколько причитается.

Было ясно — начальник тюрьмы соврал насчет писем и книг. Ни одна из пяти семей не могла забыть о том, чего с такой тоской ждет заключенный. Но возражать было бесполезно. Начальник тюрьмы буркнул: «До свидания»,— и вышел со своей свитой из камеры. Заключенных, привыкших к явной грубости или презрительному безразличию, удивил приход начальника тюрьмы больше, нежели даже его праздничный темный костюм в такую жару и бойцовый петух в руках. Впрочем, и то, и другое было более чем странно и, если мерить обычными мерками, невероятно. И все же это были второстепенные мелочи. Главное состояло в посылках — в пяти уже вскрытых и тщательно просмотренных тюремщиками пакетах, которые ординарец торжественно передал каждому из них в руки, перед этим прочтя громко, по складам, имя и фамилию на ярлыке посылки. Молча они разошлись по своим углам, долго, растягивая удовольствие, гладили шероховатую оберточную бумагу — первое, с чего начиналось после страшного перерыва общение с частицей родного дома,— прежде чем внешне сдержанно, а в душе с огромным волнением, проникнуть в содержимое посылки.

Врач получил нижнее белье, мыло, аспирин, йод, таблетки от пониженной кислотности, порошковое молоко, две пачки галет и головку голландского сыра. В посылке Капитана лежали рубашки цвета хаки, носовые платки, домашние бисквиты, несколько банок «дьяволенка» * и флакон одеколона с нацарапанной на этикетке, между французскими названиями, чуть заметной строчкой, которую он разобрал без труда: «Целую. Мама». Такие же вещи — белье, лекарства, продукты питания — получили Бухгалтер и Парикмахер. Но последний нашел в глубине посылки еще и деревянный продолговатый ящичек, заставивший его вскрикнуть от радости:

— Посмотрите, что у меня есть!

Это было домино — двадцать восемь новеньких отшлифованных фишек. Восторг Парикмахера вызвал немедленное эхо.

— Умная мысль пришла кому-то в голову,— заметил Бухгалтер.

— Гениальная мысль! — поддержал Капитан.

Журналист тем временем молча и сосредоточенно рылся в своем пакете. Рубашки, матерчатые сандалии, батон колбасы, изрезанный на куски при досмотре, кисет с табаком для трубки, которой у него давно нет,— все это прислано из дома отцом и сестрами. Но вот эти темные брюки, вложенные в посылку явно в последний перед упаковкой час, эти нелепые брюки — от кого они и что означают? Милена! Пропитавший ткань запах ее любимых духов был в данном случае равносилен ее подписи. Конечно же, в брюках спрятана записка. После того как были съедены макароны, на этот раз сдобренные «дьяволенком» и потому менее отвратительные, Журналист принялся осматривать брюки. Он распорол их по швам и прощупывал миллиметр за миллиметром. Не такая Милена женщина, чтобы послать без определенной цели шерстяные брюки в тюрьму, где тридцать семь градусов в тени. Она вложила в них весточку. И он обнаружил эту весточку, нацарапанную тушью мелкими буквами на той стороне внутреннего кармана, которая прилегает к штанине. Журналист прочел письмо товарищам, не сказав ничего о самой Милене, как он делал это и раньше. Пропустив «Любовь моя!» в начале письма и «твоя зайчиха тебя не забывает!» в конце, он прочел: «Нам известно, где ты, с кем, в каких условиях. Другие заключенные из вашей тюрьмы узнали о вас и нашли способ передать на волю. Не хочу обольщать надеждой, но дела идут хорошо. Твои друзья утверждают,

* «Дьяволенок» — популярное название мясных консервов с острыми приправами.

что ты вернешься ко мне раньше чем через год. Наверняка они что-то знают».

— Это пишет человек достаточно серьезный? — спросил Капитан, очень заинтересованный содержанием письма.

— Безусловно. Я не помню случая, чтобы этот человек схитрил или солгал.

— Бывает ложь во спасение. Крупица надежды, чтобы поднять дух заключенного,— улыбнулся Врач.

— Не думаю. Не такая это натура.

— И чего вы тут голову ломаете, не пойму! — с жаром вступил Бухгалтер.— Правду говорит письмо. Движение усилилось — раз; того и гляди, свергнут диктатуру — два. Теперь выводи итог: сидеть нам тут осталось несколько месяцев, а то и недель. Как, по-твоему, Журналист?

— Да, ты прав,— ответил тот, думая о чем-то своем.

Тем временем Парикмахер, высыпав на кровать содержимое деревянного ящичка, восхищенно рассматривал белые фишки с блестящими черными точками.

— Кто-нибудь умеет играть в домино? — спросил он.

— Я чуть-чуть понимаю,— скромно сознался Капитан.

— Я ставлю фишки как бог на душу положит,— еще более скромным тоном проговорил Бухгалтер.

— Я играл раза четыре-пять, так, от нечего делать, во время ночных бдений в редакции, когда не было происшествий,— сказал Журналист.

— Я не умею,— буркнул Врач.

Он один сказал правду. Остальные трое, достаточно опытные игроки, в свое время ночи напролет проводили за домино и сейчас прибеднялись намеренно, с тайной целью показать себя потом во всем блеске. Парихмахер, человек доверчивый, ударился в другую крайность:

— Ну, раз так, вы пропали. Влетит вам больше, чем нагруженному ослу! Перед вами — чемпион квартала Санты-Росалии и корпорации парикмахеров, известный среди профессоров домино по кличке «Тигр ножниц и гребенки»!

Первое время играли на цементном полу, сидя по-мусульмански вокруг воображаемого стола, наминая до боли ягодицы, отсиживая до бесчувствия ноги. Пять недель спустя достали старый стол и четыре колченогих табурета, передав начальнику тюрьмы, что согласны заплатить за эту рухлядь требуемую цену, хотя она наверняка резко сократила их вклады.

Игре в домино отвели часы, не занятые классами. Несколько дней присматривались друг к другу, то и дело меняли партнеров. Но когда выявились особенности и стиль каждого игрока, то разделились на две постоянные пары, одинаково ревнивые к успеху и неуступчивые в отношении своих соперников. Бухгалтер играл в паре с Капитаном, Парикмахер — с Журналистом. Подолгу сидели над фишками, обдумывая каждый ход, били наверняка. Врач не умел играть, как он уже заявил самым решительным образом, и на уговоры Парикмахера: «Почему ты не хочешь? В неделю научим» — упрямо отвечал: «У меня отвращение к азартным играм и к тем, где требуется ловкость. Так что игрока из меня не получится, а вам я стану помехой».

Он стал бы помехой, он правильно заметил. Соперничество двух пар вскоре перешло в непримиримую борьбу, в войну не на жизнь, а на смерть. Капитан и Бухгалтер строго придерживались классических канонов игры, всегда учитывали возможности партнера и подыгрывали ему. Журналист и Парикмахер, наоборот, применяли революционные методы, полагались больше на вдохновение, смелость и психологию, чем на технику, обращали на пользу себе возможности партнера, если игра

приобретала агрессивный характер, с азартом охотников стремились оставить противников с дублями на руках, и если это удавалось, то беспардонно их осмеивали.

Каждая партия заканчивалась откровенным ликованием победителей и глубочайшим огорчением побежденных. Бухгалтер и Капитан, сторонники классических правил, набирали, как правило, больше очков, чем их соперники, любители революционных экстравагантностей. Но зато Журналист и Парикмахер праздновали свои победы, как воины-индейцы, боевыми кличами. Особенно Парикмахер, имевший обыкновение разражаться в таких случаях мексиканскими присловьями:

— А-а-ай! Сынки Чиуауа! Вперед, приятель! Заставим их показать шестерку-дубль, они ее прячут!

Нередко вспыхивал спор и между проигравшими партнерами. Тогда сыпались упреки и оправдания: «Ты должен был играть четверкой-дубль. Разве можно было ставить два-пять? Не мог посчитать очки на том конце?» — «А тебе полагалось бы подумать, прежде чем ставить один-один. Почему ты не повторил мою пятерку? Забыл, что я первая рука?» Споры эти ни к чему не приводили, потому что никогда не удавалось выяснить, кто в действительности виновен в роковой ошибке, а если даже один из партнеров и чувствовал за собой вину, то ни за что не признавался в этом. Что касается победителей, то они с превеликим наслаждением слушали эту тяжбу побежденных in articulo mortis *.

Пререкания между Парикмахером и Журналистом были почти всегда бурными, но короткими. Спустя несколько минут спорщики, забыв взаимные оскорбления, обдумывали план будущей игры, надеясь взять реванш за понесенное поражение. Дискуссии же между Капитаном и Бухгалтером проходили в сдержанном ритме, без крика и резких жестов, но зато надолго оставляли в душе обоих чувство неприязни. Разногласия происходили всегда на чисто технической почве, а в таком случае взять на себя вину означало признать свою интеллекгуальную, а еще хуже — профессиональную несостоятельность. Подчас эта глухая злоба принимала столь затяжную форму, что Врач стыдил их:

— Опомнитесь! Из-за этого проклятого домино вы скоро станете заклятыми врагами.

Как раз в связи с одной из таких тяжелых размолвок между приверженцами классических канонов Парикмахер поведал товарищам по камере свою печальную историю. Наступило время игры, но Капитан и Бухгалтер, поссорившиеся накануне, наотрез отказались играть в одной паре. Чтобы вывести их из трясины вражды, Журналист решил переключить внимание друзей на другой предмет. Он не пошел к столу, где, как всегда, стоял деревянный ящичек с аккуратно уложенными в нем фишками, а, лежа на кровати, громко спросил:

— Послушай, Парикмахер, а за что арестовали тебя? За что пытали и бросили сюда вместе с нами?

Парикмахер ответил просто:

— Я и сам не знаю.

Тут же он начал рассказывать.

— Я не политик и никогда им не был. Правда, мы, парикмахеры, не прочь поболтать о политике и послушать, что говорят люди. Но записываться в разные там партии, блюсти республику — не нашего ума дело. Наше дело — стричь, брить и слушать. Садится к тебе в кресло сеньор, который разбирается, скажем, в медицине, ты слушаешь, что он рассказывает, и сам уже начинаешь кое-что кумекать в лечении. Приходит другой клиент. Этот по свету много ездил, в Стамбуле бывал. Ты его про Стамбул, он тебе — пожалуйста; ты его — какого цвета вода в

* В состоянии смерти *(лат.)*.

Босфоре, он тебе и про воду. Смотришь, ты вроде и сам в Турцию съездил. То же самое с политикой. Студент с намыленной бородой доказывает, что верить можно только коммунистам, что в России строят новый мир. Потом приходит сделать массаж лица элегантно одетый кабальеро и уверяет, что не русские правы, а папа Лев XIII. Ты их всех любезно слушаешь, иногда сам блеснешь ученым словцом, много спрашиваешь, но в споры не вдаешься — клиент есть клиент. Мы, парикмахеры, покупаем и правые, и левые газеты, а если не читаем книжек, то потому, что читать-то некогда. Короче, что я хочу сказать? Мы не выбираем себе никакой определенной дороги и спокойно смотрим, как другие бог знает из-за чего теряют голову. Мы — беспристрастные. Так это называется, доктор?

— Нет, беспристрастие это другое,— поправил Врач.— Ты хотел сказать: «Мы скептики»?

— Я хотел? Ничего я не хотел. Но если тебе больше нравятся скептики, пусть будут они, я не возражаю. Одним словом, даже в профсоюзе я не состою. А когда были выборы президента республики, то я почувствовал себя таким скептиком, как ты говоришь, что и голосовать ни за кого не пошел.

(Мой папа — штукатур, моя мама печет арепасы * на продажу. Они не захотели пожениться, чтобы не брать на себя обязанностей, которые губят любовь. Читать, писать, считать я учусь в приходской школе. Там же узнаю, что такое история и география. После школы я решаю пойти работать, но мой папа не хочет, чтобы я стал штукатуром, как он, и еще меньше хочет, чтобы я подался в чистильщики сапог и в продавцы газет: боится дурных компаний и вредного влияния. Мой папа ведет меня к своему куму, владельцу парикмахерской, и говорит ему: «Вот, кум, я привел к тебе мальчонку. Научи его своему достойному ремеслу, и бог воздаст тебе». Мастер Фелипе отвечает: «Кум, присылай мальчонку сюда каждое утро, и пусть он присматривается к моей работе. Когда пример перед глазами, то научиться — не хитрое дело». Я выметаю состриженные волосы, счищаю с зеркал мушиный помет, прохожусь щеткой по пиджакам клиентов и при всем том не спускаю глаз с рук мастера Фелипе — как он держит ножницы, как ведет бритвой. Так тянется больше года.)

— И вот за то, что слушал разговоры о политике, или за дурную привычку показать себя, а скорей всего, из-за того, что уж если кому не повезет, то не повезет, я и пострадал как политический. Дело было так. Зашел к нам пожилой, хорошо одетый сеньор подстричься и сделать одеколонное притирание кожи лица, и хотя я его до этого ни разу не обслуживал, он заговорил со мной очень уважительно. Слово за слово, я сказал ему, что собираюсь поехать в Матурин. Тут он голос понизил и посоветовал мне туда не ездить, потому что, дескать, в Матурине со дня на день ожидаются сильные волнения. На том мы и расстались. Но по слепой случайности фортуны часа два спустя в парикмахерскую пришел другой неизвестный клиент и, согласно очереди, попал именно ко мне в кресло. Этот, едва сел, стал костить правительство, а сам все любопытствует, что я на этот счет думаю. Я отвечал ни то, ни се, осторожность не мешает. Но он на этом не угомонился. Когда я подал ему зеркало, чтобы он посмотрел, какой шик-блеск я сделал из его затылка, так он, рассматривая себя, задал как бы между прочим такой вопрос: «Ходят слухи, будто на днях что-то должно произойти. Вы ничего не слышали?» Ну, тут я и ляпнул по простоте душевной то, что слышал от предыдущего клиента: «Да поговаривают, будто что-то готовится в Ма-

* Арепасы — колобки из маисовой муки.

турине». Мой клиент — это был молодой человек — улыбнулся, похвалил мою работу, дал на чай и ушел.

(В три часа дня, когда клиентов почти не бывает, мастер Фелипе дает мне гребенку и ножницы и показывает, как ими действовать. Показывает не на живой голове, конечно, а так, в воздухе. Учит сноровке. Вот так: одна рука ведет, другая стрижет. Попутно он учит меня теории: «Секрет хорошего парикмахера состоит в том, чтобы состричь только лишнее. Ни на волос меньше, ни на волос больше. а только лишнее». Он учит меня править бритву на бруске и на ремне и как держать ее в пальцах, когда она идет вверх и когда книзу. И я брею и брею кусок полотна, прибитый к стене, который заменяет мне бороду клиента. Несколько месяцев я брею невидимые бороды и стригу невидимые головы, прежде чем мастер Фелипе допускает меня к всамделишной голове моего двоюродного брата — он вырос у нас в доме, мой лучший друг, верит в меня, как в бога. Мастер Фелипе стоит рядом, по ходу дела поправляет мои огрехи и я собственноручно заканчиваю стрижку. Мой двоюродный брат идет домой важный, как индюк, а моя мама готова плакать от счастья.)

— Все вышло так, словно самому дьяволу хотелось моей погибели. Во-первых, через неделю в Матурине восстали казармы и уйма народу была арестована. Во-вторых, мой клиент, которому я, не подозревая об опасности, повторил чужие слова, оказался гадом, сыщиком. Меня схватили в парикмахерской и вытолкали взашей, не дав даже снять халат и надеть пиджак. Полицейский грузовик летел, словно дьявол, унесший душу, и в два счета я очутился в одной из тех «ринговых», о которых вы рассказывали. Тут меня взяли в оборот несколько агентов и их главный — тот самый Однорукий, у которого вместо руки крючок на рукоятке. Среди агентов торчал и мой клиент, гад. Он, едва меня ввели, тут же высунулся вперед: «Это тот парикмахер, который сказал мне о Матурине». Однорукий замахал у меня перед носом своим крючком: «Ах, вот как? Выходит, ты заранее знал о восстании в Матурине? Сейчас ты нам расскажешь, каким образом ты об этом узнал, кто еще, кроме тебя, знал и какая роль была отведена тебе в этом заговоре». Сказать правду, испугался я до смерти. Сердце вот тут, на языке, билось, когда я стал говорить: «Не пытайте меня, я и по-хорошему все сам расскажу. Про Матурин мне сказал один сеньор, самостоятельный человек, приятной наружности, который всего один раз приходил стричься в парикмахерскую, где я работаю, и потому я не знаю его имени. Я не очень-то верил, что это правда, и не заинтересован был совсем, чтобы это была правда, а повторил его слова вот этому молодому человеку, потому что у нас, парикмахеров, характер такой — любим поболтать с клиентами. Ничегошеньки я не знаю, ни в каком заговоре я не замешан, политикой сроду не занимался, клянусь моей матерью и пресвятой девой». Однорукий ехидно ухмыльнулся и вдруг заорал: «Полюбуйтесь на него! Он не знает, как зовут того сеньора приятной наружности. Он не занимается политикой! Он не участвовал в заговоре! А события в Матурине он предвидел только потому, что парикмахеры любят поболтать... Сукин сын! Сейчас ты вспомнишь все имена и фамилии. Ты у меня захрустишь! Не такие оставляли здесь скорлупу!» Это был сигнал. Агенты бросились ко мне, мигом раздели, оставив в чем мать родила, заломили назад руки, защелкнули наручники и принялись молотить меня кулаками и ногами так, что через несколько минут я весь покрылся багровыми пятнами и цедил кровь из носа, из ушей, изо рта. Однорукий помогал бить и так хватанул меня своим железным когтем, что разорвал мне плечо.

(После того как я поубавил растительности на голове своего двоюродного брата, ко мне валом повалили доверчивые знакомые:

бывшие соученики, пеоны-штукатуры — друзья отца. По-прежнему мастер Фелипе наблюдает и помогает мне в работе. Наконец однажды утром он подходит ко мне, смотрит в глаза и говорит строго и торжественно: «Сегодня ты будешь стричь меня». Это надо понимать так: «Теперь ты уже настоящий парикмахер». И я его подстриг, хорошо подстриг, хотя руки дрожали, как никогда в жизни. Узнав об этом важном событии, моя мама покупает мне длинные брюки: клиенты не очень-то доверяют парикмахерам в штанишках до колен. Мастер Фелипе поручает мне случайных клиентов и приезжих провинциалов, которых сразу видно по одежде.)

— Была уже глухая ночь, когда они перестали меня бить. Голова гудела, будто улей, и сквозь гуденье слышался голос Однорукого: «Будешь говорить, там-та-та-там? Смотри, есть приказ раздавить тебя, как крысу, если ничего не скажешь, и мы этот приказ выполним!» Сперва, как уже говорил, я жутко перетрусил. Но потом разозлился, черт бы их побрал. Ведь ни за что били! Вначале, может, я бы и сказал со страху, если бы что знал. Но после того, как они разодрали мне шкуру, заплевали все лицо — нет! Если бы даже и был замешан в заговоре, все равно ни слова не сказал бы. Да что там предполагать! На самом-то деле я ведь ничего не знал и говорил святую правду, когда отвечал Однорукому: «Я вам уже сказал, что сроду не интересовался политикой. Если вы меня убьете, то без всякой нужды убьете бедного парикмахера». По-прежнему я был голый, руки крестом на заднице. Мучители загнали меня в угол и стояли впятером, рядом. Вдруг один из них вынул изо рта сигарету, вдавил ее зажженным концом мне в живот, чуть пониже пупка и сказал противным, как у евнуха, голосом: «Мы очень сожалеем, что ты не хочешь раскрыть нам своих секретов». От шипения и запаха горелого мяса, от боли я закричал: «Ай, мама!» Агент улыбнулся, довольный, и ткнул мне сигаретой между ребер. И опять зашипела, как фританга *, моя кожа, и запахло паленым, и я почувствовал боль, словно к телу пришили раскаленную пуговицу. Десять раз он тушил об меня сигарету, и сейчас на мне десять меток. «Будешь говорить?»— кричал Однорукий. «Что говорить, если я ничего не знаю?» — отвечал я. И опять огненный хоботок утыкался в мои руки, в ягодицы, в ноги, и я визжал: «Ай, мама!» Наконец эти звери устали мучить человека, погоготали напоследок и вышли из комнаты, а я остался лежать в темном углу. Десять бляшек горели десятью укусами змеи, по лицу катились слезы.

(Так как клиенты не очень-то жалуют молодых парикмахеров, то мои друзья по приходской школе создают мне рекламу. Они распускают по кварталу слух: «В парикмахерской мастера Фелипе есть парень, зовут его Николас Барриентос. Стрижет так, что закачаешься, по самой последней моде». У меня и в самом деле призвание к этой профессии. Так и должно быть. Кто идет в парикмахеры против воли или без любви, тот никогда не станет настоящим мастером, как бы ловко он ни орудовал ножницами. Хороший парикмахер — артист своего дела. Он еще только приступил к стрижке, а уж наперед видит, как и что получится. Хороший парикмахер только тогда собой доволен, как человек, когда доволен собой как специалист. Хороший парикмахер не знает скромности, ставит себя выше других мастеров. Так поступает каждый артист своего дела!)

— Может, агенты и в самом деле считали, что я замешан в восстании в Матурине, и потому тянули из меня жилы. Только скорее всего они просто тренировались на мне в зверстве. Ведь тренируются же боксеры ударами перчаткой, а еще как тренируют беговых лошадей!.. В свой вто-

* Фританга — кушанье из жареного мяса с овощами.

рой приход, на следующий день, они стали пытать меня электричеством. Ткнули два провода под правый сосок, и Однорукий спросил нехорошим голосом: «Будешь говорить, трам-та-та-там?» Что я мог сказать, пресвятая дева?! «Я ничего не знаю!» Тогда Однорукий крикнул: «Давай!» И пошло. Каждая косточка во мне тряслась и прыгала, а эти ироды все приставляли проволоки к разным местам и даже к срамному месту, и меня било и крутило, словно в падучей, и я кричал: «Ай, мама! Без вины казните человека!» Пятеро агентов хохотали, а Однорукий, так тот прямо до слез гоготал. Потом я упал без сознания и всю ночь и еще день не приходил в себя.

(Вот и стал я мастером своего дела, и у меня уже есть постоянные клиенты. Из моих рук любой выходит человеком — неважно, знакомый ли это своими чаевыми посетитель или незнакомый, первый раз попавший ко мне в кресло. А ведь клиенты разные бывают. Иной урод уродом, а ты должен сделать из него красавца мужчину. У иного голова — шатер, не знаешь, с какого бока и подступиться, или волос на лице чересчур жесткий — тоже труда не оберешься. А то бывают с дурным запахом — от болезни ли какой или от нечистоплотности, не знаю. Говорят, мы, парикмахеры, болтуны, а того не понимают, что не столько это наша вина, сколько клиентов: хотят, чтобы ты и стриг их, и беседой развлекал. Клиент есть клиент, вот ты и развлекаешь. Только я никогда не завожу разговора с посетителем, которого первый раз вижу у себя в кресле. Другое дело, если недели через две, три он опять придет, сядет за журналы и терпеливо ждет очереди ко мне. Тут уж я, после того как накрою его салфеткой, спрашиваю: «Как будем стричься? Желаете такую формочку, как в прошлый раз?» На парикмахере клиенты проверяют новые анекдоты, с парикмахером делятся мнением о о спорте, перед ним показывают свою ученость. Так что волей-неволей превращаешься как бы в публичную копилку новостей, анекдотов и полезных сведений, которые в любую минуту можешь пустить в оборот. Можешь, когда есть спрос, порекомендовать хорошего врача, толкового адвоката, модного портного, ресторан, где можно по-королевски покушать, лекарство, от которого сразу проходит болезнь. Все это ты узнал от клиентов, которые ученее тебя.)

— Трое суток я сидел под замком в «ринговой», один на один со своими синяками и ранами, с голодом и жаждой. Тишина стояла прямо кладбищенская, минутами жуть брала, и я разговаривал вслух сам с собой, чтобы убедиться, что я еще не перенесся в загробный мир. На четвертый день отворилась дверь и вошла вся банда во главе с Одноруким. Лицо коварное, вижу — задумал что-то. В единственной руке — веревка. Подошел ко мне, показал на потолок: «Видишь балку? Если сегодня не заговоришь, висеть тебе на ней. Таков приказ начальства». Я знал, что он может меня повесить. Сейчас, думал я, мой труп будет болтаться под потолком, язык вывалится изо рта, страшный, как у дохлой кобылы. Но что я мог сделать? Даже если бы я вдруг и захотел, то все равно не мог бы ничего сказать, потому что ничего не знал. Я повторил это вслух Однорукому, уже без всякой надежды, что он мне поверит, и тогда агенты надели на шею мне петлю и перекинули другой конец веревки через балку. Однорукий напоследок съездил мне своим железным крюком по лицу и перед дальней дорогой спросил: «Будешь говорить, что знаешь о мятеже в Матурине, или нет?» Я ничего не ответил — какой толк? — и тогда они потянули конец веревки и стали поднимать меня кверху. На затылке что-то хрустнуло, жилы натянулись, и я лишился чувства... Очнулся я от озноба, уже в тюремной камере. Три уголовника смотрели на меня, как на воскресшего мертвеца, даже рты разинули от страха и удивления.

(В разговорах да беседах я завожу друзей-приятелей из числа клиентов. Правда. и старых дружков никогда я не чураюсь, даже наоборот, стригу и брею их с превеликим старанием, пусть там меня дожидается в очереди хоть сам султан из Стамбула. Но теперь появляются и новые знакомые, люди видные, денежные, которые часто приглашают меня в бар на углу пропустить по стаканчику виски. Я парикмахер, но что скромничать — и сгупить, и сказать не хуже других умею, так что кое-кто из клиентов приглашает меня в дом, знакомит с семьей, чего, как я слышал, нигде в других странах не бывает. Вот насчет того, чтобы сколотить капиталец да открыть салон — воздушный замок любого уважающего себя парикмахера,— то это мне никак не удается. Да и как тут отложишь в кубышку? Друзей попотчевать хоть изредка надо? А как же! Ведь не приживал же я, чтобы только угощаться на чужие. А женщины чего стоят? Глаз во лбу и тот дешевле. Есть у меня и другая слабость — играть на скачках. Одним словом, деньги текут, как вода. По субботам я весь день на ногах, с восьми утра до девяти вечера, тринадцать часов без передышки. Разве что с разрешения клиента проглотишь кусок всухомятку и опять: гребенка, ножницы, бритва. Но суббота все же чудный день, и не только потому, что в субботу я зарабатываю больше, чем за всю неделю, но и по другой причине. Обслужив последних клиентов — а это всегда мои закадычные друзья,— я вместе с ними остаюсь в парикмахерской, меняем декорацию и начинается выпивон. После этого идем глотать посерьезному в другое место, режемся в домино, заключаем пари на лошадей. Просыпаюсь я по воскресеньям постоянно в одном и том же месте: в кровати мулатки Эдувихис Чакон, куда меня, словно лошадь к стойлу, приносят ноги независимо от головы. С похмелья сам себе не рад, а тут и ласка, и утешение благодарной женщины: «Любовь моя, сварить тебе кофейку?»)

— Кто бы мог подумать, что трое бандитов, только и помышлявших, как бы поубавить чужого добра и укоротить жизнь ближнего, превратятся вдруг в трех братьев милосердия и выходят меня? Один из них — негр, высоченный и сухой, словно телеграфный столб, — прирезал в свое время банковского кассира за то, что тот не захотел открыть ему ящик с деньгами. Другой, индеец, смотрит на тебя, лишь когда ты на него не смотришь, — был профессиональным вором и контрабандистом, поставлял скупщикам кокаин и марихуану. Третий был тоже бандит, убил в драке такого же, как он, бандита и с тех пор носил на физиономии огромный шрам. Одним словом, это были, так сказать, отбросы общества, жулики и убийцы, гроза почтенной публики. Все трое не раз удирали из тюрем, и портреты их, с номером через грудь, не сходили с последних страниц газет. И что же вы думаете? У этих подонков оказалось мягче сердце, чем у тех, кто служил правосудию. Правда, и вид у меня был, скажу я вам, печальный: лицо перекосилось и распухло от побоев, весь в кровище, обожженные места почернели и гноились, от жажды не хватало воздуху, дышал, словно собака в жару, от голода и пережитого страха в голове мутилось, и я говорил бог знает что, как в бреду. Трое бандитов напоили меня с ложечки молоком, трое бандитов осторожно подложили мне под голову свернутое одеяло, трое бандитов раздобыли где-то пузырек с перекисью и промыли мои раны и язвы. Все это сделали трое бандитов, чьи портреты печатаются на последних полосах газет, потому что первые полосы отводятся героям диктатуры, докторам и полковникам, которые тоже грабят и убивают, только с размахом и у всех на виду.

(Мулатка Эдувихис Чакон, которая свято сохраняет для меня ночь с субботы на воскресенье, что ни говори, а всего-навсего пуб-

личная шлюха, готовая лечь с каждым, кто даст двадцать боливаров. Поэтому я остаюсь, как говорится, ездоком вольным и без поклажи, пока на моем пути не появляется Росарио Кардосо. Собственно, с Росарио мы знакомы с детства: учились вместе в приходской школе, вместе удирали с уроков ловить птиц на кладбище. Сперва только птицы, а попозже и целоваться стали потихоньку в кустах, и руки я запускал ей под кофточку. Дальше этого, правда, не заходило. Потом Росарио переехала в другой конец города, поближе к табачной фабрике, где она работала, и мы расстались на много лет. А тут как-то стою за креслом и вижу в зеркало: идет мимо окна парикмахерской красавица шатенка. Вгляделся — мама ты моя! — Росарио Кардосо. Бросаю доктора с намыленной бородой и как есть, в халате, выбегаю на улицу. В тот же вечер мы возобновляем любовь. «Переходи ко мне жить. Клянусь матерью, люблю тебя больше всего на свете»,— говорю я ей. Она в ответ: подожди, мол, не так сразу. И хоть целоваться целуется, но чтоб руки под кофточку, как бывало, ни-ни! И вдруг в понедельник сама является в парикмахерскую, строгая, в черном платье, и говорит: «Послушай, Николас, я поняла, что ты и вправду меня любишь. Я перехожу к тебе». Сердце мое вот-вот разорвется от радости. Прощай, домино в субботние вечера! Прощай, постель мулатки Эдувихис Чакон! Да здравствует Халиско! Целую неделю я хожу по магазинам, выбираю самую красивую кровать, достойную Росарио Кардосо. Теперь она — моя жена, хотя мы и не венчались и не регистрировали брак, чтобы не мешать дальнейшей нашей любви, — будет спать в моих объятьях. Мы обязательно постараемся иметь ребенка. И Росарио, и я мечтаем об этом.)

— История моя подходит к концу, — продолжал Парикмахер. — Трое бандитов спасли мне жизнь, отпоили молоком, словно малое дитя, залечили раны лекарствами, которые уму непостижимо, где и как раздобывали. Однажды ночью их увели, и я остался один в грязной пустой камере. А неделей позже меня перевели в тюрьму, где я встретился с вами. Так Парикмахер стал храбрым революционером, который под пытками не сказал ни слова из того, что знал, хотя на самом-то деле ничего не знал и ему просто нечего было сказать. Одно утешение выпало мне на долю за все это горькое время: в марте, в день святого Иосифа, пришло письмо от Росарио Кардосо, моей жены. В письме говорилось, что она и малыш здоровы и думают только обо мне.

— Малыш? — переспросил Бухгалтер. — Какой малыш?

— Как какой? Мой сын. Мой и Росарио Кардосо. Светловолосый, как мать, шестилетний сорванец.

— У тебя есть сын? — привстал на койке Журналист. — И как его зовут?

Парикмахер ответил с нескрываемой гордостью:

— Его зовут Онорио.

Тетрадь вторая

Июль, среда

После обеда зашел разговор об Онорио. С того момента, как Парикмахер сказал о существовании ребенка и назвал его имя, у четверых узников из головы не выходил этот неожиданный персонаж, их так и подмывало разузнать о нем поподробнее.

— Этот... твой сын, — спросил наконец Врач подчеркнуто бесстрастным тоном, показывая, что не придает вопросу особого значения, — каков он с виду?

— Светленький, я уже говорил, — ответил Парикмахер. — Шатен, голубые глаза, как у матери. Но походка и, конечно, все остальное — мое, не отнимешь.

— Ходит в школу? — задал вопрос Капитан, желая уточнить обстановку.

— Я же вам сказал, шесть годков ему только. Он ходит в детский сад, там буквы учит. Росарио отводит его туда каждое утро.

— И заходит за ним вечером? — не сомневаясь, что это так, почти утвердительно сказал Бухгалтер.

— Нет, возвращается он вместе с детишками из нашего квартала. От школы до дома всего и расстояния-то метров двести.

— Все же это рискованно: пускать шестилетнего ребенка одного по улице, пусть хоть и на двести метров, — упрекнул Бухгалтер.

Парикмахер пошутил:

— Не беспокойся! Онорио — не сын миллионера и не племянник министра. Похищать его никто не станет.

— Почему вы дали ему такое необычное имя? — снова спросил Капитан.

— В честь моего крестного отца, провинциального доктора. Я понимаю, имя это редкое и, пожалуй, не очень красивое, но надо было видеть, как обрадовался мой отец, когда узнал, что именем кума назвали его внука. Из-за одного этого стоило назвать мальчика Онорио.

— Чем вы кормите ребенка? — поинтересовался Врач.

— А, это не моя забота! — отмахнулся Парикмахер и лукаво подмигнул: — Мать его родила, пусть она его и питает. Ну, что она ему дает? Овсяные хлопья, бобы, жареное мясо, пюре из картошки и чего-то там еще, не знаю. По-моему, все правильно, потому что мальчишка здоров, как телок. Со стороны кто посмотрит — скажет: наверно, родители — немцы.

Журналиста интересовали другие подробности. Например, как ведет себя Онорио: тих, послушен или, наоборот, своими проказами держит под страхом весь квартал?

— Что ты! Отпетый сорвиголова! — радостно признался Парикмахер. — Неподалеку от дома, на углу улицы, дерево растет. Так его, постреленка, сколько раз на дню силой оттуда стаскиваем, весь ствол отшлифовал. И нельзя сказать, чтобы Росарио поблажку ему давала. Чуть парень с рельсов сорвется, она такую встряску ему задает. Ох, крута на руку!

— Вы бьете ребенка?! — возмутился Журналист.— Но ведь это же варварство, дикари!

Парикмахер оправдывался, как мог:

— А что делать, старик, если нет другого выхода? Знал бы ты, какой это дьяволенок. Думаешь, нам с Росарио не известно, что по современной науке детей нельзя бить? Но если этого сорвиголову вовремя не остановить затрещиной, он тебе весь дом перевернет. Уверяю тебя, на нашем месте ты делал бы то же самое. Просто, старик, ты не знаешь Онорио.

Июль, суббота

Этот день они никогда не забудут. На рассвете явились агенты с клещами и молотками в руках и стали снимать картонные листы с решеток. Впервые за все время заключения в их убогий — пятнадцать квадратных метров — мир пришел день. Авангардом наступления были две полосы неяркого утреннего света, прорвавшиеся сквозь слуховые окна на внутренней стене под самым потолком. Затем слетели картонные полотнища с решетчатой двери, и глазам пленников открылась цементная опушка галереи, чуть дальше — узкая бухта рыжей, без гравинки,

земли и за ней — наподобие дали с четкой линией горизонта — серая каменная стена.

Событие означало, что режим строгой изоляции кончился. Теперь они, как и сотни людей, томящихся в других бараках,— обычные политические заключенные, хотя в отличие от тех они находились в правом крыле здания, отгороженные от остальной части тюрьмы внутренними стенами. В тот день рассвело необычно рано: было всего лишь половина шестого. Агент отпер замок и, распахнув дверь, предложил им всем вместе выйти из камеры, разрешил ходить без стражника в сортир, погулять по галерее, но, предупредил он, к четырем часам дня все должны быть в камере, так как в это время ее снова запрут на замок. В их крыле было всего три камеры: в одной обитали они, в другой было отхожее место, третья стояла пустая. На эту пустую было больно смотреть: пять коек, без одеял, без матрацев, казалось, кричали о том, что здесь были люди и все они поумирали.

Напротив необитаемой камеры, в самом глухом углу внутреннего двора, патио, росли четыре дерева: манговое, апельсинное, гранатовое и лимонное. Манго превосходил все другие высотой, ветвистостью кроны, блеском сочной листвы — вождь маленького растительного племени. Среди живых деревьев безмолвным мертвецом стоял столб — на нем расцветал по ночам ослепительный фонарь. Остальная часть двора перед камерами представляла собой гладкий прямоугольник рыжей земли, сжатый со всех сторон высокими серыми стенами.В дальнем конце галереи виднелась решетка, преграждавшая путь во внешнюю галерею здания. Через эту решетчатую дверь они прошли в день приезда сюда, они это хорошо помнили. К этой двери они подошли сегодня в полдень и здесь, а не в камере, к неудовольствию повара Дженаро, получили в эмалированные миски тюремный обед — обычные недоваренные, слипшиеся в комья макароны. К ним они добавили мясо «дьяволенка», колбасу из посылки Журналиста и сардины Бухгалтера. Теперь они могли есть на вольном воздухе, сидя на цементном полу галереи или в тени мангового дерева.

Снова они обрели свет солнца и потому день этот никогда не забудут. Пока они сидели за картонной обшивкой, в полутьме, их мысли неделю за неделей вращались вокруг солнца, словно сама земля, словно планеты. Теперь солнце с ними, стоит рядом, из золотой миски посыпает зноем пересохшую рыжую землю патио, бьет волной серебристого света в серые утесы стен, солнце — прародитель всех деревьев, семя рода людского.

Июль, воскресенье

От двери в галерею агент выкрикивал:

— Роселиано Луиджи!

— Николас Барриентос!

— Сальвадор Валерио!

— Луис Карлос Тоста!

— Эухенио Рондон!

Сегодня, впервые с тех пор, как они здесь, им разрешили получить письма. Сдерживая волнение, они взяли пакеты и разошлись кто куда. Врач ушел в камеру, лег вниз лицом на койку, тщательно протер носовым платком очки и погрузился в расшифровывание каракуль женщин своего дома: «...думаем лишь о тебе, как когда-то, долгие годы, о твоем отце, мир праху его»... «...привели в порядок твою библиотеку...» «...материальных затруднений не испытываем, так что не беспокойся... варенье пользуется большим спросом...» «...приходила с визитом твоя подружка Анхелина...» На этом письмо обрывалось: часть его, относящаяся к Анхелине, была вырезана тюремным цензором.

Капитан читал письмо матери в тени мангового дерева. Это было пространное послание, написанное мелким, витиеватым почерком, которому ее учили еще в начале века монахини Санта-Росы. Мать рассказывала сыну о том, как живут и что делают многочисленные родственники: его старые дядья, сильные и кряжистые, словно дубы; двоюродные братья, ревностные католики, без конца приумножающие свои семейства, дабы побольше отпрысков их рода осталось на земле; кузина Имельда, красавица, все еще мечтающая выйти за него замуж. В конце мать писала немного о себе: «Я перебралась в Каракас, чтобы хоть немножко быть поближе к тебе. А то когда я там, на горах, а ты — на берегу этой реки, мне кажется, что мы с тобою в разных мирах».

Письмо, полученное Бухгалтером,— он пробежал его тут же, у решетки, где получил,— оказалось самым коротким. Писал отец, с которым они не виделись с тех пор, как сын, даже не простившись, уехал в столицу пытать счастья. Старик в своем щедром благородстве не только прощал сыну тайное бегство, но гордился им, его успехами на поприще политики, его мужеством в единоборстве с такими сильными и жестокими врагами и стойкостью в пытках. Из письма, и без того краткого, цензорские ножницы выхватили больше половины. Осталось лишь начало: «...все родные в добром здравии...» И еще несколько строк, до слез растрогавших сына-узника: «...ездил в Каракас, договорился с кладбищенским сторожем... плачу ему ежемесячно пятьдесят боливаров, чтобы присматривал за могилкой Мерседиты Рамирес, твоей жены... даже цветы меняет на могилке, хоть и не часто...» Какую такую критику, что за секретные сведения мог написать старик, если цензоры оставили от письма лишь четыре строчки? — терялся в догадках Бухгалтер.

Журналисту повезло, он получил сразу три письма. Следуя примеру Врача, он читал их, лежа на койке. Цензура изъяла несколько строк из письма отца и бóльшую часть письма сестер. Лишь то, что писала Милена, оказалось нетронутым, хотя ни одно из сотен писем, розданных в то утро во всех трех бараках тюрьмы, не содержало столько подлежащих запрету сведений, сколько их было в наивном послании Милены. Оно было выдержано в стиле сентиментальной лицеистки и пестрело цитатами из Шелли и Гейне. Журналист от души смеялся, представляя себе туповатый взгляд цензора, с трудом проникающий в риторические дебри, нагроможденные коварной рукой Милены. «...в беспросветной тьме печали засияли наконец всеми цветами радуги и слились в благозвучный аккорд чувства и мнения наших добрых, старых тетушек, чьи распри в прошлом так огорчали меня, что я, помнишь, не раз молила Иисуса Назаретского сотворить чудо их примирения... Тетя Аделия и тетя Консепсьон в полном согласии отужинали вчера у нас дома, в присутствии мамы, и даже целовались, воскрешая незабвенные времена свадьбы тети Урсулы, которая на этот раз пришла с картами для бриджа, уже к сладкому...» В этих милых «сплетнях» таились важные сведения: условия борьбы против диктатуры значительно улучшились после того, как оппозиционные политические партии перестали враждовать между собой, что было на руку их общему врагу, и образовали единый национальный фронт. Слащавый тон письма и ссылки на романтических поэтов — «...как любимый нами певец Дюссельдорфа, я твержу по утрам, едва открыв глаза: придешь ли ты, о мое сладкое счастье?» — оказались сильнее проницательности цензоров. Да продлит господь годы жизни этой замечательной женщины!

Парикмахер с письмом в руках — столь важным и для всех остальных — ушел в самый дальний угол патио, к сторожевой вышке, где стоял круглые сутки часовой. Письмо Росарио сочилось нежностью от первой до последней строки от «Мой любимый, черненький...» до «целую миллион раз», нацарапанной уже на самой кромке листа. Отец Парик-

махера, несмотря на свои шестьдесят пять лет, по-прежнему орудовал мастерком. Росарио удалось избежать увольнения с табачной фабрики, и заработка ее хватало, чтобы содержать в порядке дом в ожидании приезда его хозяина. Ну конечно же писала она и об Онорио, и эти строки имели одинаковое отношение ко всем пятерым.

Перечитав по многу раз искромсанные листки, они собрались вокруг койки Врача, в середине камеры. С интересом выслушали политические новости из шифровки Милены, порадовались, поспорили. Потом долго молчали.

Журналист решился первым:

— Ну, как там Онорио? Что тебе о нем пишут?

Парикмахер сообщил о двух важных событиях. Во-первых, Онорио, преодолев алфавит и научившись выводить «мама», «рука», «дом», перешел из подготовительной группы детского сада в первый класс. Во-вторых, Онорио перенес корь.

— Это опасная болезнь? — обратился за консультацией к Врачу Капитан.

— Опасная лишь в случае осложнений. Но они бывают сравнительно редко. Ничего, корью болеют все дети на земле.

— Конечно,— подхватил Парикмахер.— К тому же в письме говорится, что все уже позади, он здоров, ходит в школу и, как всегда, паршивец, лазает по деревьям.

— Наверно, мать не отходила от его постели, пока он болел,— сочувственно сказал Бухгалтер.

— Ни на секунду! Я знаю Росарио,— без колебаний подтвердил Парикмахер, и все пятеро довольно и успокоенно улыбнулись.

Август, понедельник

С каждой почтой им присылали книги. Но книги, не доходя до адресатов, застревали в кабинете начальника тюрьмы, где на полу, в углу, их уже накопилась гора. Придирчиво и бесплодно обследовали их цензоры страницу за страницей в поисках зашифрованных секретов. Сегодня впервые им выдали из груды шесть или семь томов, содержание которых не вызывало подозрений у цензуры.

Капитану вручили «Алгебру» и «Всемирную географию». Но «Краткое руководство по военной тактике» и пожелтевшая брошюра с текстом Конституции были конфискованы, как нежелательная литература.

Не удалось преодолеть цензурные препоны и «Братьям Карамазовым» в старинном мадридском издании, посланным Журналисту Миленой: полицейских агентов шокировал подозрительный дух России, распространяемый Достоевским и его героями.

В то же время Врач, к удивлению своему, получил вместе с «Тропической патологией» прекрасное издание «Происхождения семьи, частной собственности и государства» Фридриха Энгельса. Анхелина вложила его в посылку, почти не надеясь, что оно дойдет, но она явно преувеличивала интеллектуальный уровень цензоров, судивших о «благонамеренности» автора лишь по его немецкому имени и по респектабельному заглавию его труда.

Август, следующий понедельник

Появление на свет пяти цыплят вышло далеко за рамки будничного факта. За ходом этого события пятеро следили с трепетным и страстным нетерпением.

Началось с того, что курица начальника тюрьмы, пробравшись как-то рано утром в камеру, снесла яйцо под койкой Парикмахера, на заброшенной им туда старой, истлевшей рубахе. Сперва они хотели добавить яйцо к утреннему рациону, но, подумав, решили оставить на месте, как приманку для несушки.

Действительно, курица стала нестись на рубахе Парикмахера, окончательно превратившейся таким образом в гнездо. Когда яиц набралось полдюжины, они разделили их по одному на душу, а шестое оставили в гнезде.

Вскоре в курице заговорил инстинкт наседки. Она металась по камере, кувыркалась на земле в патио, топорщила черные запыленные перья и беспрестанно квохтала. Парикмахер предложил не очень уверенным тоном:

— А что, может, ее посадить, и она выведет нам цыплят?

Никто не возразил. В запасе было четыре свежих яйца, пятое — от какой-то другой заблудшей — нашел Капитан под лимонным деревом. Этот пяток они положили на рубаху, под курицу, и стали ждать заключительной стадии процесса размножения. Парикмахер ждал с особой заинтересованностью, по-отечески опекая будущее потомство. Хотя наседка днем и ночью не сходила с гнезда, он раза по три вставал до зари, чтобы убедиться в ее материнской верности. И если курица удирала в патио на поиски воды и пропитания, то он кидался сломя голову укрывать яйца одеялом, чтобы не остыли до возвращения матери.

Прошло двадцать два дня, и белая скорлупа приобрела желтизну слоновой кости. И вот вчера — ite, misa est! * — пятеро заключенных стали свидетелями долгожданного события.

Первым заметил Парикмахер:

— Скорей сюда! Смотрите! Слушайте!

Внутри яиц раздавалось приглушенное попискивание. Цыплята усердно разрушали слабыми клювиками стенки своих овальных карцеров. Шел урок английского языка, но все сразу забыли о нем и вспомнили, только когда цыплята вылупились, а к этому времени прошел и английский урок и следующий.

Вот, вытягиваясь изо всех силенок в смешной гимнастике, долбя клювом по одному и тому же месту на известковой оболочке, не пускавшей его в жизнь, вынырнул на свет влажный комочек, желтый и пушистый, словно персик. Через минуту появились еще три, такие же махонькие и желтенькие. Пятый же долго и трудно выбирался из темницы, потому что нерасчетливо тыкался клювом в разные места, отчего скорлупа не кололась сразу надвое, как у его братьев, а лишь покрывалась мелкими трещинами. Самый маленький и слабый, он шатался, делая первые шаги при свете полуденного солнца.

Цыплятам отвели в камере угол, клушка ни на минуту не выпускала их из-под своего бдительного ока. Парикмахер с упрямой заботливостью пододвигал им размоченный хлеб, маисовую муку и воду в эмалированной миске. Курица поначалу угрожающе хохлилась, недовольная вмешательством чужака в жизнь ее детей, но потом смирилась, хотя по-прежнему настороженно и ревниво следила за каждым его жестом.

Сентябрь, воскресенье

Снова пришла корреспонденция. Ответные письма заключенных родственникам, переданные тюремной страже пять недель тому назад, подверглись еще более тщательному просмотру, нежели письма с воли. Строжайше запрещалось писать о своих болезнях. Употребление глагола «болеть» считалось преступлением, даже если он стоял в прошедшем времени, например, «я болел гриппом». Точно так же расценивались жалобы на тюремное питание и режим — за них лишали права переписки и урезывали рацион.

Но все это были второстепенные мелочи. Главное — пришли письма. Второй раз пришли письма от любимых и близких людей, искромсанные

* Буквально «Ступайте, месса окончена» — заключительные слова католической обедни.

беспощадными ножницами цензоров, лишенные каких-то очень важных слов и строк, и все-таки письма. Лишь бы они попали в руки узникам, а уж они сумеют выжать из них скрытую суть, сумеют, как никто другой на свете.

Новости из дома, которыми поделился с товарищами Парикмахер, вызвали горячий спор в конце дня, когда надзиратель закрыл камеру на замок. Росарио Кардосо писала, что Онорио исполнилось семь лет и 8 декабря, в день Непорочного зачатия, он примет первое причастие.

Журналист, едва дождавшись, когда щелкнет замок, возмущенно заговорил:

— Скажи, зачем это нужно семилетнему ребенку? Даже сама католическая церковь не отрицает, что причастие — это одно из самых сложных для понимания таинств. Ведь в чем оно состоит? Верующему дают в рот кусочек пшеничного хлеба. Но это не хлеб, говорят ему, а душа и тело господа Иисуса Христа. Ладно, пусть будет превращение одной субстанции в другую. Но в боге, в одном, существуют три лица. Души и тела этих трех богов — в единой душе и едином теле одного бога. И хотя их трое, истинный бог един. Един в трех лицах. И все это, повторяю, ты съедаешь в куске хлеба. Ну, скажи, может семилетний ребенок, будь он хоть такой рано созревший ум, как Моцарт, понять всю эту галиматью? Я, например, дожил до тридцати двух и, убей меня, не могу расшифровать подобную китайскую грамоту.

Врач говорил проще и убедительнее:

— Какое там превращение субстанций! Самое обычное мошенничество и мракобесие, недопустимое в наш век. Ты должен во что бы то ни стало оградить Онорио от этой преступной чепухи,— обратился он к Парикмахеру.— Немедленно пиши жене, чтобы отложила причастие до нашего возвращения. Мы поговорим с ней, и она поймет свои заблуждения. Поймет, что церковники намеренно засоряют детские мозги небылицами из священного писания и средневековыми таинствами, которые находятся в жгучем противоречии с наукой и действительностью. Церковь заинтересована в том, чтобы уродовать психологию и сознание детей, внушать им болезненный страх перед воображаемым адом. Напиши своей жене — пусть не спешит с причастием.

Капитан был категорически не согласен с этими мнениями:

— Я сторонник причастия, и не только потому, что я сам католик и считаю эту веру единственно правильной. Мы живем в католической стране, где весь народ поголовно католики, где атеизмом заражена лишь небольшая кучка самонадеянных интеллигентов. Это первое. Второе: когда же и приобщаться к вере, как не в детском возрасте, когда душа чиста и восприимчива? Ты должен написать жене,— повернулся он к Парикмахеру,— что бесконечно рад этому событию в жизни Онорио.

Бухгалтер поддержал Капитана, хотя и с оговорками:

— Я в церковь не хожу, но в бога верю, крещен и первое причастие принял. В таком деле как мать повелит, так и решать положено. А твоя жена уже сказала свое слово. Онорио мал, успеет еще пересмотреть свои взгляды. Подскажет ему совесть отречься от веры, как это сделал Врач, отречется, а нет — сохранит, как сохранил Капитан. А пока он несмышленыш — обязан следовать воле матери. Мы же, как бы мы его ни любили, не имеем никакого права вмешиваться в этот тонкий вопрос.

Спорили, пока не раздался свисток отбоя. Журналист цитировал Вольтера и Бертрана Рассела. Капитан — с убежденностью крестоносца — защищал евангелие. Врач, пользуясь случаем, изложил вкратце теорию исторического материализма. Бухгалтер отстаивал естественные права матери.

Парикмахер молчал, задумавшись. По лицу его было видно, что он растроган бурей нежности, которую вызвало в товарищах по заключению одно имя его сына. Однако он скромно молчал, ни словом не коснувшись проблемы, им же самим поставленной на обсуждение.

Сентябрь, среда

День досмотра. В неурочный час — это не было время еды или возвращения под замок в камеру на склоне дня — им приказали построиться в ряд в дальнем углу патио. Пока они стояли там под взглядами двух надзирателей, четверо агентов прошли в камеру и принялись рыться в их пожитках.

Что они там искали? Подрывную литературу? Миновавшие цензуру письма, доставленные через обитателей других бараков? Алкогольные напитки, полученные чудом божьим? Или оружие, упавшее с неба? Что-то искали. Что-то такое, что тюремным уставом запрещено хранить и употреблять. Осмотрели «каптерку» — угол, где хранились белье, одежда, продукты, оставшиеся от последних посылок; заглянули под матрацы и подушки, простукали полые металлические ножки коек. Снова, который раз, перелистали книжки — нет ли в них свежих пометок, не спрятаны ли записки или еще что-нибудь и стоит ли цензорская печать. Не избежали тщательного досмотра даже продукты, купленные в тюремной лавке, которую заключенные прозвали «Дымовой пещерой».

Операция длилась более часа. Врач больше других возмущался досмотрами: всякий раз агенты приводили в беспорядок его записи и нередко уносили безвозвратно целые листы. Предметом особенного беспокойства всех пятерых был нож с длинным, острым лезвием — скорее кинжал, чем нож,— раздобытый Бухгалтером таинственно и непонятно даже для его товарищей. Нож хранился в стене, в шели, незаметной непосвященному глазу. Если бы агенты его обнаружили, всем пятерым не миновать пристрастных допросов и самых жестоких наказаний, они это прекрасно понимали. Но и на этот раз нож не был найден.

Октябрь, суббота

В «Дымовой пещере» продавались газированные напитки, сигареты, спички, галеты, сахар, соль, туалетная бумага, мыло, карандаши, тетради и прочие предметы первой необходимости в условиях тюрьмы. Лавка была собственностью начальника тюрьмы, и товары поэтому стоили здесь вдвое, втрое дороже, чем в обычных магазинах. Заключенные не зря назвали ее «Дымовой пещерой»: именно в дым превращались здесь деньги, вложенные родственниками заключенных в тюремную кассу, когда этих денег касалось всепожирающее пламя безбожно завышенных цен.

Обитатели третьего барака купили в «Дымовой пещере» грифельные доски и мел. Еще раньше, несколько недель тому назад, они приобрели большую доску, собственно, не грифельную, а обычную деревянную, к тому же плохо отполированную, покрытую черным лаком; на ней во время уроков Капитан выводит уравнения, Врач — химические формулы, Бухгалтер пишет свои irregular verbs *. Маленькие же доски служат им не только тетрадями, с их помощью они установили связь с обитателями соседнего барака.

Пришлось порядком потрудиться. Часа в три дня, когда воздух настолько раскаляется, что вдох подобен глотку огня, и когда надзиратели и агенты боятся высунуть нос в галерею, пятеро в камере принимались за работу. Ставили вертикально и пододвигали к стене, под слуховые окна кровати Парикмахера и Капитана. Потом двое взбирались на кро-

---

* Неправильные глаголы *(англ.)*.

вати — один выставлял в окно доску с написанной на ней крупно мелом буквой, другой следил за окнами на стене соседнего барака.

На седьмой день они добились своего. Сперва в одном из противоположных окон затрепетал красный платок — наконец-то их увидели! Спустя две-три минуты за решеткой вместо платка появилась такая же, как у них, грифельная доска с жирной белой «А». Так начался разговор, мучительно замедленный, раздробленный на отдельные буквы.

Журналист читал со своей вышки, Капитан, сидя внизу, записывал: НАС В ЭТОЙ СЕКЦИИ 84. 25 — ИЗ ЛАГЕРЯ ГУАСИНА. ЕЩЕ 60 В ЛЕВОМ БАРАКЕ. НОВОСТИ С ВОЛИ ХОРОШИЕ. СТУДЕНТЫ ОБЪЯВИЛИ ПОЛИТ. ЗАБАСТОВКУ. ОППОЗИЦИОН. ПАРТИИ ОБСУЖДАЮТ УСЛОВИЯ ЕДИНОГО ФРОНТА.

На следующий день перешли на английский, чтобы надзиратели, если случайно заметят мелькание досок, не поняли, о чем идет речь. Сегодня, в субботу октября, в три часа дня получили тяжелое известие: ВЧЕРА ВЕЧЕРОМ НА ДЕРЕВЕ В ПАТИО ПОВЕСИЛСЯ ТОВАРИЩ СЕБАСТЬЯН ГУТЬЕРРЕС.

Бухгалтер, торопясь, послал три коротких, как выкрик, сигнала: ПОЧ. ОН ПОВ.?

Оттуда ответили — буква за буквой: УЗНАЛ, ЧТО ЕГО СЫН УМЕР ПОД ПЫТКАМИ.

Ноябрь, четверг

Новорожденные подросли. Это уже не пушистые и желтые, как персики, комочки, укрывшиеся под крылом у матери в углу камеры, а голенастые подростки, все пятеро — петушки, из них четыре — с задатками настоящих бойцовых.

Самый рослый и видный, тот, что первым расколол скорлупу, носит имя Задиры. Все думают, что он вылупился из яйца, найденного Капитаном под лимонным деревом, и, судя по его бравому виду, происходит от бойцового петуха начальника тюрьмы. У него каштаново-золотистое, блестящее оперение, острые, сильные шпоры, хотя, правда, ноги не достаточно стройны и в походке сквозит плебейская кровь матери.

Затем идут три черных петушка, очень похожих друг на друга. Обитатели камеры твердо знают, который из них Балтасар, который Гаспар, который Мельхиор, хотя все три «библейских короля» совершенно одинаковы по окраске и размерам и со стороны их невозможно различить. Балтасар воображает себя взрослым петухом, пытается петь и удирает на заре в патио, где гоняется за курицами.

Пятый не уродился. Его и назвали Непутевым. Хилый, болезненный, к тому же типун у него и клюв вечно мокрый. Бегает как-то бочком, на стены натыкается, все его в сторону заносит. Петь не поет, кричит по-вороньи, а то верещит, как сова. Одним словом, до того смешон и нелеп, что нельзя смотреть без улыбки. Но смеяться над Непутевым — значит, бередить душу Парикмахера, который почему-то болезненно привязан к этому уродцу.

Цыплята клюют из миски любого обитателя камеры, садятся им на плечи и головы, идут на их зов, играют с ними. Но к Парикмахеру у них особое влечение. Спят они только под его койкой, а то и вместе с ним на постели. Он заготавливает им корм, чистит им перышки, гладит гребешки, и они, отзывчивые и довольные, топчутся вокруг него целый день.

Непутевый же пользуется у Парикмахера ни с чем не сравнимыми поблажками. Непутевому и маис помягче, и корм утром в первую очередь, и спать на постели — пожалуйста. Журналист как-то даже сказал, что Непутевый — вымогатель, что он нарочно преувеличивает свою хромоту и прикидывается несчастным, чтобы не потерять расположение Парикмахера.

Что до курицы, то она давно покинула камеру. Капитан полагает, что она несет теперь яйца в другом месте, от других петухов. Но Бухгалтеру кажется более вероятным такой исход: начальник тюрьмы съел ее в вареном виде, вернувшись пьяным из очередной поездки в город.

Ноябрь, воскресенье

Сегодня получили письма все, кроме Парикмахера. Товарищи переживали не меньше, чем он сам. Просто не хватало духу оставить его одного у решетки с пустыми руками.

Что случилось с Росарио Кардосо? Заболела? Или совсем сбилась с ног — ведь целый день на фабрике, все погоняют — скорей, скорей, и дома с ребенком забот полно.

Парикмахер, вконец обескураженный, ворчал:

— Неужели она не понимает, что заключенный без письма — самый разнесчастный сирота на свете?

— А может быть, письмо было, только цензура изъяла его целиком? — попытался утешить его Врач.

Журналист широким жестом положил перед ним письмо Милены: читай, пусть слова нежности предназначены не тебе, но все же это лучше, чем совсем ничего.

Да, сегодня пришли письма, но не было новостей об Онорио, и этого оказалось достаточно, чтобы омрачить радостный праздник.

Конец ноября, понедельник

Третьего дня привели человека и поместили в последнюю камеру, до сих пор пустовавшую. Пока его волокли, словно бревно, по галерее, он кричал по-звериному, открытым горлом, не верилось, что это — крик человека. С первого же момента они поняли: сумасшедший.

Новый узник ревел с полуночи до утра, ни на минуту не дал сомкнуть глаз. Ревел исступленно, на пределе человеческих сил, удесятеренных безумием. Нельзя было понять, как у него не разорвется горло, не лопнут барабанные перепонки.

Минутами он как будто утихал, но тут же снова начинал кричать, еще страшнее, громче, отчаяннее. Так прошел весь вчерашний день и сегодняшняя ночь. Утром они пожаловались агенту, открывавшему дверь их камеры.

— Мы уже сорок восемь часов не спим,— заявил Врач от имени всех пятерых.

Агент, ничего не сказав, ушел, но вскоре вернулся:

— Доктор, начальник тюрьмы разрешил вам пройти в камеру к сумасшедшему, полечить его, если вы не боитесь, конечно.

Врач не побоялся. Сумасшедший, услышав шаги и скрежет ключа в замке, отбежал в темный угол. Голова его, в грязной косматой гриве, походила на голову дряхлого, больного циркового льва. От него несло мочой и экскрементами, тухлой рыбой, развороченной клоакой — всеми зловониями на свете. Он отступал все дальше к стене, выл и рычал и походил уже не на циркового льва, а на раненого волка, готового прыгнуть на преследователей.

По мере того как агенты и Врач приближались к нему, его крик становился все тревожнее и безумнее, глаза вылезали из орбит. Врач попросил агентов удалиться и оставить его наедине с больным, что они сделали с видимым удовольствием.

Безумный не успокаивался. Тогда Врач, подавляя отвращение к вони, обхватил его за плечи и прижал к себе, словно ребенка:

— Я такой же заключенный, как и ты. Успокойся, я твой друг, я твой брат.

Нет, больного уже ничто не могло привести в чувство. Напрягая голос, Врач спрашивал, из какой тюрьмы он сюда попал, за что его арестовали, каким пыткам подвергали, когда и отчего он потерял рассудок. Он говорил и говорил, стараясь речью образумить больного, но добился лишь того, что несчастный перестал рычать и затрясся, зарыдал без слов, как рыдает человек, потерявший в жизни всякую надежду.

Вернувшись, Врач сообщил товарищам диагноз:

— Этот человек сошел с ума от страха.

Декабрь, вторник

Какие важные события потрясли за это время мир? Сколько великих людей перестало жить? Сколько вышло интересных книг? Какие научные открытия сделали ученые в своих лабораториях? Ничего они не знали. Биение истории оборвалось для них внезапно, как ход часов, в которых кончился завод. Их бросили в глубокий колодец и забыли. Там, наверху, бегали и шумели дети, там по небу ходило солнце, росла трава, влюблялись люди. Но они не видели, как это происходило, а это все равно как если бы не происходило совсем.

Пожалуй, самым горячим их желанием было почитать газету. Какую угодно, за любое число. Газету с телеграфными сообщениями из Пекина и Вашингтона, с репортажем о выставке картин и о матче бокса, с рекламами новых кинофильмов, с описанием вчерашних происшествий: полицейский убил из казенного револьвера своего соперника, отравилась девушка, покинутая возлюбленным, и так далее. Но по этому поводу начальник тюрьмы давно вынес не подлежащий обжалованию приговор: «Скорее я пропущу к ним пулемет, чем газету».

Какой же тоской и тревожной надеждой вспыхнули их глаза, когда однажды, проснувшись, они увидели на верхушке мангового дерева газетную полосу! Должно быть, ее обронил часовой на вышке, и вот теперь она белела среди ветвей огромным покоробленным листом. Капитан и Журналист попробовали взобраться на дерево, но ствол, гладкий и высокий, словно фок-мачта, был доступен разве что обезьяне или матросу. Трое других заранее отказались от попытки. Стали сбивать газету камнями, целясь со всех сторон, но и это не принесло успеха. Огромный белый лист дразнил их с вершины дерева целых шесть дней.

Но вот вчера прошел дождь, и газету стащило струями на землю. Утром они увидели ее под деревом, в луже грязи. Терпеливо ждали, пока отопрут решетчатую дверь, пока уйдут восвояси агенты. Потом побежали в патио, бережно, словно спелый плод, подняли газету, смыли с нее под краном в уборной грязь, отлепили шлепки рыжей земли. На черные линотипные строчки смотрели как на чудесное открытие.

Им не повезло. Одну сторону листа сплошь устилала коммерческая реклама, другая от начала до конца была посвящена хронике светской жизни. Для Врача это было настоящим ударом. Целую неделю расточать силы, швыряться камнями, словно уличный мальчишка, и все ради того, чтобы увидеть описания балов, свадеб, разводов и прочие пустяки, чтением которых он никогда в жизни не утруждал себя. Но с хроникой светской жизни все же познакомились. Ее прочел Журналист, как человек, в свое время близкий к высоким сферам общественной жизни.

Лежа на койках, посмеивались над описанием банкета, который почтили присутствием сливки каракасского общества: миллионеры, банкиры, американские нефтяные дельцы, потомки далеких героев борьбы за независимость, министры диктаторского правительства, члены дипломатического корпуса и главный начальник отдела пыток Сегурналя, выдававший себя в свободные от службы часы за великосветского денди. Голосом мажордома, или, скорее, судебного пристава, Журналист

перечислял блестящие имена и звания гостей. Неожиданно он произнес имя Ноэми, и Капитан вздрогнул.

— Ноэми Мендиса́баль! — повторил Журналист, задержавшись на этом имени.— Очаровательная женщина!

— Ты ее знаешь? — обронил Капитан внешне безразлично.

— Видел несколько раз. Но этого достаточно, чтобы сказать: очаровательная женщина. Честное слово!

Капитан нервно передернул плечами: «Очаровательная женщина». Эти слова звучали, как приговор. Могла ли Ноэми пройти мимо этого атлета, красавца, с зелеными глазами русского скрипача и профилем неаполитанского бандита, известного своими острыми и тонкими политическими интервью, могла ли она пройти мимо, не бросив на него пристального, манящего взгляда, не попытавшись завлечь его в свои сети?

В эту ночь Капитан не спал. Луч прожектора с ближайшей сторожевой вышки, прощупав кустарник снаружи тюремного здания, ползет вверх по стене, падает вниз, в патио, шарит в углах, затем уходит назад и возвращается снова. В какой-то точке дуги он достает через слуховое окно койку Капитана: коснется — уйдет, коснется — уйдет, словно что выметает. В мелькании света кружат жуки, светляки, еще какие-то насекомые в чешуйчатых панцирях.

Но не вспышки прожектора и не крылатые твари гонят от Капитана сон.

Декабрь, понедельник

День заключенного так длинен, что его хватает и на занятия, и на домино, и на разговоры, и на думы, и на молчание, и на сон. И еще остается время на работу.

Капитан выучился ткацкому ремеслу. Купил в «Дымовой пещере» допотопное веретено, примитивный ткацкий станок, и по вечерам сидит в галерее, ткет. Деревянная лопаточка, похожая формой на мачете, ныряя между нитями основы, ходит влево, вправо, и на раме возникает яркая ткань для домашних туфель, для поясов и прочих дамских уборов. На первых порах ткань получалась грубая, бугристая, но со временем Капитан стал заправским ткачом — хоть на рынок посылай его продукцию.

Бухгалтер и Журналист увлеклись земледелием. Разбили в углу патио делянки, засеяли и теперь заботливо их поливают и удобряют. На этой почве между ними возникло соперничество, такое же непримиримое, как в сфере политики или в игре в домино.

Врач отдает все свободное время «Тропической патологии» и «Физиологии», без конца читает и делает в тетрадях заметки.

Единственный закоснелый бездельник — Парикмахер. В то время, как товарищи заняты работой, он лежит на койке, смотрит в потолок, а то сядет, как мексиканский индеец, у мангового дерева и думает о чем-то. О чем — никому не говорит.

Сегодня ему выпал счастливый случай: разрешили подстричь товарищей по камере. Стоя с гребенкой и ножницами в руках у табурета посреди галереи, он работал подряд более трех часов под надзором двух агентов. Надо было видеть, как вдохновенно он трудился! Это был прежний Николас Барриэнтос, мастер и артист своего дела. Никогда, ни в одном застенке не видывали таких изящных голов, какие выходили сегодня из рук Парикмахера.

Весь остаток дня он был в праздничном настроении, шутил, болтал, с особым чувством рассказал о невероятных приключениях бильярдиста Пеничеса.

«О, Пеничес был великий игрок!»

Декабрь, четверг

Утром в патио пришел агент и сообщил Капитану:

— К вам гость. Пройдите в контору начальника тюрьмы.

Это было из ряда вон выходящее событие. В этой тюрьме заключенным никогда не оказывали подобных милостей.

Капитан изменился в лице.

— Сеньор или сеньора? — спросил он.

— Вроде бы ваш дядя,— нехотя буркнул агент.

Бледность Капитана стала еще заметнее. Должно быть, произошло что-то очень серьезное с матерью, если ему разрешают свидание с родственником, по всей видимости, с дядей Освальдо.

Капитан отсутствовал около двух часов и вернулся неузнаваемым. Он не мог скрыть распиравшей его радости. Но, словно испытывая терпение товарищей, он не сказал им ни слова до четырех часов дня. Только когда камеру закрыли на замок, и посторонние удалились, он выложил новости:

— Как я и предполагал, это был мой дядя, доктор Освальдо Луиджи. У него друзья в министерстве обороны, через них он и добился разрешения навестить меня. Предлог — узнать о моем здоровье и сообщить о матери. Но когда агенты в конторе на минуту отвернулись, он тихонько сообщил мне о главной причине своего визита. Сведения потрясающие!

— Что именно? — нервно привстал Бухгалтер.

— А вот что, друзья. Студенты университетов и даже лицеисты ведут настоящие бои с полицией. Политические партии, объединенные единым руководящим органом, готовят всеобщее восстание. Одновременно назревает военный заговор большого масштаба, с участием офицеров авиации, флота и сухопутных войск. Мой дядюшка, не склонный к излишнему оптимизму, считает, что диктатура не продержится и двух месяцев.

В эту ночь Капитан опять не спал. Но не потому, что мешали отблески прожектора, надоедливая мошкара и случайные мысли о Ноэми.

В эту ночь не могли уснуть все обитатели камеры.

Декабрь, пятница

Сегодня ночью под койкой Парикмахера умер Непутевый. Его похоронили у подножия мангового дерева и потом долго стояли, серьезные, сокрушенные, будто проводили в последний путь близкого родственника.

Декабрь, следующий день

Смерть Непутевого окончательно подкосила Парикмахера. Сегодня на рассвете слышно было, как он, уткнувшись в подушку, всхлипывает и проклинает белый свет. Всех очень беспокоит вид товарища: день ото дня он становится все нелюдимее, задумчивее, все дальше уходит от жизни. Но разве знают они, какое мучительное состояние души таится за этой стеной печали и отчужденности?

Наверно, люди думают, что его гнетет память о пережитых пытках или однообразие горькой тюремной жизни. Но это не так. Прошлое занимает очень незначительное место в его мрачных размышлениях, как и горькое настоящее. Все его мысли вертятся вокруг того ужасного, что может произойти в будущем, а оно неизбежно произойдет при первом же промахе. И оно, это ужасное, подобно смерти, а может, и хуже смерти. Когда он представляет себе этот страшный миг, виски его покрываются холодным потом и сердце бьется часто-часто — по крайней мере, ему так кажется,— потом вдруг замирает на несколько секунд и совсем его не слышно — по крайней мере, он его не слышит.

Он болен, очень тяжело болен. Это ясно, как дважды два — четыре. Врачу жаловаться бесполезно. Однажды он уже пожаловался, перечислил все признаки своего опасного заболевания. Так Врач сказал, что никакой болезни нет, что все это ложные опасения, мнительность. Но Врач ошибается, несомненно, в этом случае — определенно ошибается. А если не ошибается, то обманывает из жалости. Этот марксист хитер, как Франциск Ассизский. Да и кто, кроме него самого, Парикмахера, может почувствовать непоправимый развал собственного организма? Вот он лежит без дела, в то время как товарищи работают. А почему? Да потому, что его тело слабосильно, как у чахоточного или малокровного. Потому что он перестал быть полезным человеком, здоровым, как другие. Кроме того, когда он лежит пластом на кровати и ни на что не отвлекается, ему удобнее следить за приближением коварного врага. Ведь он не знает даже, в каком обличье явится этот враг: в виде ли плохого человека или ядовитого пресмыкающегося, будет ли это пагубное известие или проявление характера, безумие или паралич тела. Не знает, и все тут. Но по этой неопределенности, по тягостному предчувствию, по тому, как цепко держит его в когтях тоска, он догадывается, что враг этот силен и беспощаден.

Мозг работает, как сложный часовой механизм. Так он это себе представляет. Множество разных по размерам колесиков перемалывают мысли в слова и, в долголетнем вращении, определяют хорошие и дурные поступки людей. Сердце же — это маятник, он свисает со стержня, на котором укреплены стрелки, и отмеривает срок жизни: тик-так, тум-тум, там-там, еще часок — еще часок.

Вот здесь-то, в этой механике, и кроется постоянный риск. В любую минуту одно из колесиков может утратить сцепление и пойдет вертеться вхолостую, выставив пустые зубцы. От этого перекосится и вся машина, управляющая мыслями и действиями человека. Потеряется речь, померкнет взгляд, а может, и рассудок помутится, а уж это — все равно что не говорить и не видеть. Или маятник. Вдруг расхлестнется в твоей груди, как лопнувшая пружина, и будет лежать на тюремной койке твой бездыханный труп, такой же скрюченный и жалкий, как трупик Непутевого.

Декабрь, сочельник

Тюрьма тюрьмой, а они решили отпраздновать рождественскую ночь. Бухгалтер, исполняющий обязанности каптенармуса, заранее отложил из посылок самые вкусные вещи для праздничного ужина. В центре стола, на котором они играют в домино, лежала на эмалированной миске колбаса, разрезанная на кружки и украшенная оливками.

Капитан приготовил сюрприз. Изобретательность и упорство заключенного, ловкость пальцев, приобретенная в ткачестве, помогли ему смастерить — украдкой от остальных обитателей камеры — небольшой перегонный куб. В банке из-под сухого молока с яркой этикеткой помещалась изогнутая спиралью тонкая трубка. К этой банке была прилажена другая, побольше размером, из-под керосина. Снаружи обе они соединялись жестяной трубкой. Свободный конец спирали служил отводом.

Из перебродившего раствора папелона * и кусков картофеля получилось хорошее ли, плохое ли сусло. Накануне Капитан влил его через воронку в куб, поставил это двухэтажное чудовище на огонь за деревьями в патио и, присев на корточки, стал ждать, что получится. Получилось, конечно, не бог весть что. Не спирт, а какое-то аптечное пойло или снадобье знахарей, но все же пригодное, чтобы осветить искрой-глотком рождественскую ночь. Из соседнего барака доходили

* Папелон — тростниковый сахар, не прошедший окончательной очистки.

обрывки вильянсико * в исполнении музыкального ансамбля Матурина; ансамбль в полном составе, вместе с дирижером, инструментами и нотами, был доставлен в тюрьму прямо с концерта, когда провалилось восстание в Матурине, перевернувшее мимоходом и жизнь Парикмахера. Едва затихли звуки рождественского музыкального подарка, запел Капитан. Он пел вполголоса, только для своих соседей по камере, старинный, еще колониальных времен, романс:

Святой Иосиф попросил
ночлега для Марии,
но отказали люди им,
богатые и злые.

Странники нашли пристанище в хлеву — не оставаться же под открытым небом. Святой Иосиф выложил на дощатый стол вино и хлеб. Однако непорочная дева не стала ужинать. Она предпочла искать утешение в слезах, так облегчающих душу беременной женщины.

Святой Иосиф расстелил
холсты Александрии:
«Ляг, отдохни, жена моя,
достойная Мария».

В полночь старый плотник, сморенный усталостью, поклевывал носом, а его супруга нежно и кротко улыбалась ему из ясель, устланных поверх соломы тонкими простынями.

Средь воссиявших покрывал,
под хоры литургии
святого сына родила
прекрасная Мария.

Капитан оборвал песню, тяжело помолчал и стал разливать свое пойло. Врач наотрез отказался, остальные четверо выпили — хоть бы что. Пары перебродившего сахара и прокисшей картошки ударили в голову. Парикмахер воспрянул духом и приготовился было угостить друзей скабрезным анекдотом, но в это время Бухгалтер попросил его рассказать об Онорио.

— Да что я могу еще сказать? Вы и так о нем все знаете.

— Нас интересует еще будущее,— заявил Журналист.— Судя по ветрам, которые сейчас дуют, «незыблемая» диктатура с минуты на минуту загремит в тартарары. И как только мы выйдем отсюда, мы займемся судьбой Онорио.

Врач, Капитан и Бухгалтер выразили полное согласие со словами Журналиста. В душе каждый из них давно решил, что так будет. Молчаливое желание сообща помогать Онорио, возникшее во мраке застенка, сослужит добрую службу и им самим: не даст отдалиться друг от друга там, на воле. Им больно было думать, что они могут навсегда разойтись и забыть о мальчике, как только перед ними откроются двери тюрьмы.

— На следующий же день я приду к тебе в гости,— пообещал Врач.— Хочу собственными глазами убедиться, что паренек действительно так умен и сообразителен, как ты о нем рассказываешь.

— Надеюсь, ты не станешь наставлять семилетнего ребенка в марксистской философии,— ревниво заметил Капитан.— Впрочем, я сам приду на следующий же день.

— Не превышайте своих полномочий, сеньоры! — возразил почти всерьез Журналист.— Кто вам дал право испытывать на Онорио, как на подопытном кролике, действенность политической и религиозной пропаганды? Наша роль заключается в том, чтобы любить его и помогать ему. Все!

* Вильянсико — старинная народная песня, исполняемая в сочельник.

— Любить мы его и так любим всем сердцем,— растроганно проговорил Бухгалтер.— И помогать будем. Что только в наших силах, все сделаем. Кто в этом сомневается? Никто!

— Пока Парикмахер не найдет работы, надо будет купить мальчику обувь и одежду,— заявил Капитан, поддавшись практическому чувству.— Матери, наверно, не так-то легко прокормить и одеть ребенка без отцовской помощи.

— И перевести его в хороший колледж,— добавил Врач.— Этим займусь я.

— А я буду водить его по воскресеньям в кино,— предложил Журналист.— Обожаю ковбойские фильмы. Повеселимся с ним всласть!

— А я научу его играть в мяч и плавать,— сказал Бухгалтер.— Надо, чтобы он вырос сильным человеком: в жизни частенько приходится пробивать себе дорогу кулаками.

Парикмахер, подавленный, растерянный, неуклюже благодарил:

— Спасибо вам, большое спасибо... Стоит ли так беспокоиться? Мне даже неловко, ей-богу! Простой мальчишка, бедняк... Читать-то едва выучился, ни сложения, ни вычитания не знает, может, еще не понравится, когда увидите... Хуже нет разочарования.

— Ты в эти дела не суйся,— оборвал его Журналист.— Ты свое сделал — поставил нам парнишку, и сиди помалкивай.

— Но, как-никак, я — его отец...— не совсем уверенно возразил Парикмахер.

— Именно поэтому,— набросился на него, в свою очередь, Врач,— ты должен быть заинтересован, чтобы ребенок с раннего возраста умел разумно защищаться и продвигаться в жизни.

— Я не возражаю,— покорно сдался Парикмахер.— Просто неловко, что вы так печетесь о моем сорванце.

— Выпей картофельного виски, и пройдет твоя неловкость,— посоветовал Капитан.

Выпили по последней — все, включая и Врача: перед любовью к Онорио не устояла даже его пуританская твердость. Спать легли после полуночи. От капитанской сивухи неприятно поташнивало.

В честь рождения святого младенца Иисуса сигнал отбоя прозвучал много позже обычного — в двенадцать.

Январь, пятница

— Должно быть, что-то серьезное происходит в столице, а то и в других местах страны,— громко сказал Капитан.

Ни разу еще не видели они здесь такой суматохи. Агенты и надзиратели бегали взад-вперед по галерее, приводили в готовность винтовки и автоматы. На лицах агентов отражалось то крайнее беспокойство, от которого — один шаг до паники. Безжалостные орудия издевательств и пыток, свирепые и властные наемные убийцы, они уже не могли прикрыться, словно щитом, убеждением в незыблемости диктаторского режима, во имя которого они мучили и забивали до смерти. Судя по их тревожно бегающим глазам, они это хорошо понимали.

Из соседнего барака грифельные доски сообщили вчера, что, по тайным сведениям, на рассвете Нового года подняли мятеж военные летчики. Но мятеж был подавлен в самом начале, а новый год уже насчитывал десять дней. Что же произошло за это время? Какие новые события выбили из колеи начальника тюрьмы, агентов, охрану и поваров?

Ответ пришел в конце дня, когда грифельные доски передали последнее сообщение — именно последнее перед тем, как умолкнуть совсем.

ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА НАЗНАЧЕНА НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ.

Буквально двумя минутами позже прибежали агенты с листами картона, гвоздями и молотками — как в день их приезда в эту тюрьму. Как и тогда, удары молотков раздавались со стороны галереи, пока не исчез последний просвет между прутьями дверной решетки; потом — на верху внутренней стены, пока не погасли оба окошка. Но это были уже не уверенные и ритмичные удары. Стук молотков прерывался паузами тишины или озабоченного шепота. Вместе с уверенностью заколебалась и старательность агентов.

Итак, их снова отрезали от мира, заключили в черной коробке камеры, отгородили от дня и ночи непроницаемой картонной обивкой, обрекли на еду из рук Дженаро — этого злобного борова в замызганном переднике, таскающего за собой половник по грязному, заплеванному полу.

— Нас считают самыми опасными преступниками в тюрьме,— не без наивного тщеславия заметил Бухгалтер.

(Прежде всего — даже прежде, чем повидаюсь с Онорио,— я пойду на могилу Мерседиты Рамирес. Потом разыщу, кого можно, из членов нашей партии. Многие выйдут из тюрем, из подполья, вернутся из ссылки. Обнимемся, как братья, после долгой разлуки. И сразу же за дело. Будем ездить по деревням и поселкам, собирать по человеку, восстанавливать наши ряды. Мы выполним свою задачу — придем к власти, чтобы возродить страну на справедливой основе.)

— Они боятся, что мы поднимем бунт среди заключенных, разоружим охрану и захватим тюрьму,— сказал Журналист на замечание Бухгалтера.

(Сначала — к Милене, она заслужила поцелуй. Затем в редакцию — повидать друзей-репортеров и распить с ними ради встречи бутылку виски. Первое время поживу в доме отца. Конечно, познакомлюсь с Онорио, займусь его судьбой. Но что бы я ни делал, я ни на минуту не забуду клятвы убить Бакалавра. Восставшие попытаются схватить его, но Бакалавр, хитрый скорпион, старая лиса, наверняка улизнет, скроется в посольстве какой-нибудь из латиноамериканских диктатур. Там ему любезно предоставят убежище: «Пожалуйста, сеньор Бакалавр, чувствуйте себя как дома!» Что ж, мне это на руку, мне хочется верить в предприимчивость Бакалавра, в ловкость и неуловимость Бакалавра, потому что право убить Бакалавра принадлежит мне, и никто, даже народ, не может лишить меня этого права.)

— Все зависит от результатов всеобщей забастовки,— сказал Врач.— Если она будет действительно общей, целенаправленной и боевой, то, учитывая нынешнюю обстановку, диктатуру ничто не спасет.

(Увидев меня живым и здоровым, женщины моего дома заплачут от радости — они будут уверять, что от радости. Так же они встречали моего отца, когда он пришел из тюрьмы. Хотя отец вернулся не таким уж здоровым. Впрочем, и я не могу похвастаться здоровьем, если говорить начистоту. В последнее время я здорово похудел, потерял аппетит, кашляю, к вечеру поднимается температура, ночью потею. Руководство партии наверняка пошлет меня в санаторий, быть может, в Советский Союз. И как бы я ни возражал — выйти из боя в такой ответственный момент! — они заставят меня в дисциплинарном порядке уехать на лечение, я их знаю. Буду лечить свой туберкулез среди снегов и сосен. Потом, прежде чем вернуться в строй, пойду на Красную площадь, поклонюсь могиле Ленина. Я вылечусь, я обязан вылечиться. Ведь если мы можем приносить пользу и после смерти, то живые — тем более!)

— Они поступили не так уж глупо, упрятав нас под замок,— сказал Капитан.— Признаться, последнее время я ночи напролет обдумываю план захвата тюрьмы силами заключенных. И, кажется, такая возможность близка.

(В мертвую букву, в пустую бумажонку превратится решение военного трибунала, осудившего меня на двенадцать лет тюрьмы и увольнение из кадров армии. Немедля я вернусь в свой батальон — в чине капитана, в форме капитана. Как и прежде, над плацем понесется моя команда: «На пле-чо! Смир-но!» И мне ответит короткий лязг винтовок, вскинутых солдатскими руками. Я попрошу мать остаться в столице. Она с удовольствием примет предложение — жить у меня под боком, слушать обожаемых Моцарта и Брамса не в граммофонной записи, а в исполнении живого оркестра, сидя в кресле партера. Что касается Ноэми, то я постараюсь держаться как можно дальше от ее прекрасных серых глаз.)

Парикмахер притворялся спящим, ему не хотелось говорить. Заточение и темнота были самым подходящим обрамлением для его тоски. День напролет он лежал на койке, закрыв глаза, чтобы не видеть даже потолка, ни о чем не думал, просто ждал прихода непоправимого несчастья.

Внезапно в последней камере раздались крики сумасшедшего. То ли он почувствовал напряжение, охватившее тюрьму, то ли затосковал по ласковым словам Врача, который до этого по многу раз на дню подходил к его решетке.

— Меня убьют! — кричал больной.— Спасите! Святая Кармен! Этот человек велел меня убить!..

Даже в тумане безумия он боялся произнести полное имя своего палача и говорил: «этот человек».

Январь, 21-го, вторник

В ночь смерти Онорио предчувствие темной слепой птицей билось в стены камеры. Сквозь картон приглушенно охал и всхлипывал дождь, за двумя стенами тоненько, голосом девочки, стонал сумасшедший. С тех пор как их снова заключили в картонную коробку, они не получали никаких сведений из внешнего мира — даже голоса человеческого, кроме своих, они не слышали. Итальянцы вели себя, словно автоматы: разливали баланду и тут же уходили, не взглянув, не сказав ни слова. Молчал радиоприемник надзирателей. Прекратились утренние поверки заключенных в соседнем бараке.

Довершением всех бед был Парикмахер. Он лежал неподвижно на постели, как никогда, мрачный, ждал страшного известия, а оно все не приходило. Он уже не сомневался, что умрет. Он умрет сегодня ночью, как пить дать. Пусть Врач думает, что угодно, пусть прикрывается учеными словами, вроде «психоневроз» и тому подобное. Пусть товарищи говорят у его изголовья лицемерные утешительные фразы: «У тебя нет никакой болезни, Парикмахер. Брось валять дурака, отвлекись от своих мыслей. Завтра сам над собой будешь смеяться». Эти фразы его не только не утешают, но глубоко ранят.

Он наверняка знает, что жить ему на свете осталось всего несколько часов. Он уже едва слышит свое сердце — оно стучит сбивчиво, бесконтрольно, где-то в стороне от его тела. Ноги — уже не ноги, а бесчувственные, неподвижные колоды. Они, конечно, лежат там, под одеялом, но что толку, если он потерял над ними всякую власть. С ног-то и начала проникать в него смерть. Сейчас она упорно пробивает русло к внутренним органам, потом завладеет сердцем, а потом, в последнюю очередь мозгом. Он умрет в твердой памяти и здравом рассудке. Никакой потери чувств, никаких обмороков, одним словом, никаких уловок и надувательства. Смерть рядом, и он смело смотрит ей в глаза. И пусть Журна-

лист хоть тысячу раз повторяет: «Но, парень, ты полон жизни, ты нас всех переживешь!» И пусть Врач щеголяет своим «психоневрозом» — он будет стоять на своем.

Итак, он умрет сегодня ночью, но прежде должно произойти то ужасное, чего он с такой тоской ждал все последнее время.

В ожидании смерти он лежал с открытыми глазами, как и подобает настоящему мужчине. Остальные четверо тоже не спали: предчувствие темной слепой птицей билось в стены камеры. Задолго до того, как тюрьма проснулась, Парикмахер, окликнув каждого по имени, подозвал товарищей к себе:

— Я кончаюсь, хотите верьте, хотите нет. Но перед смертью я должен снять с души камень, он не дает мне умереть спокойно. Я не достоин быть твоим другом, Журналист, и твоим, Врач, и твоим, Капитан, и твоим, Бухгалтер. Я солгал вам, а вы поверили этой лжи всей душой, и я, как последний подлец, дал ей укрепиться в ваших сердцах.

Он поднял умоляющие глаза:

— У меня нет никакого сына... Онорио нет на свете и никогда не было. Как мы с Росарио Кардосо ни старались иметь сына, которого хотели назвать Онорио в честь моего крестного, нам это не удалось...

Четверо у кровати слушали угрюмо, почти враждебно.

— Я врал из зависти. Сами посудите: жизнь моя серенькая, неприметная. Вот пришел мой смертный час, а я как был простым парикмахером, так и умру им. Вы все — политические руководители, вас посадили сюда за борьбу, вас и пытали за то, что вы боролись против диктатуры, а не за дурацкую трепотню, как меня. Но я, как вас увидел, сразу понял, чего вам не хватает, что вы хотели бы иметь. Семьи вам не хватает, детей. Я ведь сам давно мечтаю о сорванце Онорио, светловолосом, как Росарио Кардосо. Имей я сына, в этой камере я был бы вам ровня, а то и повыше вас. Потому я и придумал Онорио. А вы мне поверили. Ваша вера и меня сбила с толку. Я потом и сам почти поверил, что я — отец, что Онорио и в самом деле существует.

Молчание людей у изголовья давило надгробной плитой грудь Парикмахера.

— Простите меня, ради бога!.. Я скоро умру!.. — всхлипнул он.

Они знали, что он не умрет. Там, на воле, с быстротой наводнения ширилось народное восстание, разгорались в городах пожарища, подростки с камнями в руках вступали в бой с полицией, взмывали вверх флаги в руках женщин. Диктатура шаталась, раненная насмерть. Еще несколько часов, и они будут свободны, могучие руки народа разнесут в куски тюремные решетки. Потом каждый из них пойдет своим путем. Со временем Парикмахер забудет эту мрачную ночь. Может быть, и ложь его покажется ему издали забавной, хотя и несколько злой шуткой. Этакой дерзкой проделкой, рассказом о которой можно повеселить намыленного клиента с белоснежной салфеткой на шее.

Но для них Онорио был реальным существом. Он пришел к ним во мраке застенка, и они полюбили его, как родного. И вот теперь это живое существо, их ребенок, так долго согревавший светом и нежностью их сердца, умер.

В эту ночь, в ночь смерти Онорио, четверо мужчин, потерявших сына, прятали лица в подушки, чтобы подавить рыдания.

Из греческой поэзии

Вступление и перевод с греческого
С. ИЛЬИНСКОЙ,
под редакцией Бориса СЛУЦКОГО

Познакомившись со стихами четырех представленных в этой подборке поэтов, читатель сразу же уловит настроение нелегких раздумий и напряженных поисков, которое характерно для современной греческой поэзии в целом. Немало испытаний выпало на ее долю за последнюю четверть века. Пройдя через горнило национального Сопротивления, вырастившего и закалившего много ярких талантов, вдохновившись новыми темами и новыми идеалами, греческая поэзия изведала и выразила страшную горечь постигшего страну поражения. Свобода и справедливость по-прежнему остались недосягаемыми. Герои антифашистской борьбы — а среди них многие поэты и писатели — брошены в тюрьмы и лагеря. Национальное Сопротивление объявлено вне закона. Однако голос его не умолк. Он мужественно пробивался сквозь голоса разочаровавшихся и отчаявшихся. Поэзия Сопротивления открыла для себя новую главу, в которой национальное Сопротивление вышло из своих тематических рамок, стало мировоззрением, критерием подхода к самым разнообразным явлениям и вопросам как общественной, так и личной жизни. Оно стало новым философским и поэтическим кредо художника, призмой, через которую он смотрит на мир и на самого себя. Поэтому прогрессивную греческую поэзию по сей день называют поэзией Сопротивления. Она объединяет таких разных по темпераменту и поэтическому почерку литераторов, как Яннис Рицос и Никифорос Вреттакос, Тасос Ливадитис и Рита Буми-Папа, со стихами которых читатель познакомится в этой подборке. Трое из них — Рицос, Вреттакос и Буми-Папа — почти сверстники. Они вошли в литературу в начале тридцатых годов и сразу, хотя и по-разному, привлекли к себе всеобщее внимание.

Уже в первых стихах Яннис Рицос заявил о себе как поэт широкого тематического горизонта и богатой художественной палитры. Оттолкнувшись от традиций народной греческой поэзии, он пошел по пути смелых поисков новых форм, нового поэтического языка, что во многом предопределило направление всей современной греческой литературы. Эти поиски не увели поэта к «недоступным высотам» герметизма. Каждый день его жизни, каждая строка его стихов составляет неразрывное целое с жизнью его народа, борьбу и судьбу которого Рицос знает не понаслышке, не по наблюдениям со стороны. Она вошла в его личную судьбу и отмечена в его биографии годами ссылки на островах Макронисос и Ай-Стратис. Голос Рицоса могуч, в нем ощущается эпический размах и воинствующий пафос, его сюжетные коллизии глубоко драматичны. Однако в последних сборниках все больше наблюдается тяготение поэта к спокойным философским размышлениям, к формам лаконичным и эпиграмматичным. Наиболее характерным для этой новой тенденции в творчестве Рицоса является его сборник «Показания». В стихотворных миниатюрах этого сборника поэт обращается к неприметным будничным явлениям. И в их неопровержимых «показаниях» отчетливо и полно вырисовывается лицо эпохи. Четыре миниатюры из этого сборника включены в настоящую подборку.

Поэтический путь Вреттакоса параллелен пути Рицоса. Как и Рицос, Вреттакос пристально следит за судьбами мира и сознает свою ответственность перед ним. Пожалуй, одной из основных его тем является тема антивоенная. Грозный призрак войны и новых мучений, готовых обрушиться на его многострадальный народ, нередко омрачает взгляд поэта, однако он не отчаивается и не опускает рук. Он верен своему долгу — «сгружать в души людей небо». Это гуманистическое начало поэзии Вреттакоса воплощено в его философской лирике, высокоинтеллектуальной и вместе с тем проникновенной, сохраняющей живое обаяние личности поэта. Свободный стих Вреттакоса отличается большой организованностью, мелодичностью, цельностью. Многие стихотворные строки звучат афористично.

Более тридцати лет трудится в греческой поэзии и поэтесса Рита Буми-Папа. Для нее, как и для большинства современных греческих поэтов, национальное Сопротивление явилось критическим, поворотным моментом литературной биографии. Гражданская тематика преобладает и в ее творчестве, но преломляется она в настолько личном ключе, что приобретает мягкое лирическое звучание. Как почти все ее коллеги по перу в Греции, Рита Буми-Папа пишет свободным стихом, однако ее поэтическая манера во многом близка традиционной и сохраняет ясный ритмический рисунок.

Тасос Ливадитис — самый молодой из представленных в этой подборке поэтов. Пройдя суровую школу фашистской каторги, он стал непосредственным свидетелем апогея греческой трагедии. И эти картины не могут изгладиться из его памяти. В сердце поэта и в его стихах живы воспоминания

. . . . . о товарищах по тюрьме,
о папиросах, которые мы делили, об одиночестве,
которое каждый допил до дна,
о долгих взглядах в окно
и молчаливых минутах прощания со смертниками.

Эти воспоминания до сих пор переполняют его душу горечью, которая проникает даже в интимную лирику. Однако, взвешивая пережитое, поэт устремляет свой взгляд вперед, в то будущее, «свежесть которого поет в его суставах». Поэтическое слово Ливадитиса течет обильно и неудержимо, оно захватывает своей страстностью и смелой образностью.

Поэзия греческого Сопротивления уже получила заслуженное признание в нашей стране. За последние годы московские издательства познакомили советских читателей со стихами лауреата Ленинской премии мира Костаса Варналиса, Янниса Рицоса и Никифороса Вреттакоса. Настоящая подборка призвана продолжить и расширить это знакомство.

ЯННИС РИЦОС

Древний театр

Когда в полдень на сцену древнего театра
спустился юноша, прекрасный, как древний эллин,
но не ведающий об этом,
и закричал (не от восторга — восторга он не испытывал,
а если б испытывал, то, наверно, не выдал бы),
закричал, то ли радуясь молодости,
то ли просто чтобы проверить акустику,
с гор ему ответило эхо —
греческое эхо. Оно не подражает и не повторяет,
а всего лишь продолжает на неизмеримой высоте
вечное громоподобное звучание дифирамба. И тогда
на пропилеи опустились два орла и обернулись в его сторону.

Ведро

Сколько раз ты видел, как ведро поднимается из глубины,
наполняет кувшины, поит цветы.
Теперь оно опрокинуто возле колодца и показывает солнцу дно,
кружок пустоты, половинку барабана (если бить в него,
он отзовется голым ритмом, без песни),
безупречный, блестящий ноль, а между тем в его полость,
еще влажную и прохладную, устремляются
какие-то доисторические рептилии,
медлительные, важные, скользкие.

Забвение

Единственно осязаемое, что осталось от него,— пиджак;
его повесили там, в большом шкафу, и позабыли,
задвинули подальше и завешивали одеждой, летней и зимней,
каждый год новой — по новой моде.
Пока однажды он не бросился в глаза — может быть, цвет был
странный,
может, покрой был старый. На его пуговицах
застыли три круглых бледных одинаковых пейзажа:
стена расстрела с четырьмя пробоинами
и вокруг — угрызения нашей совести.

Будни

Она сказала: «Вот ключ — когда бы ты ни вернулся,
открой дверь и входи. Я буду здесь». Прошли годы. Он открыл
дверь,
и первое, что увидел в зеркале шкафа,
был он сам, постаревший, в сером пиджаке. Значит, и тут его
ожидало его собственное «я»? На стене
прибитая кнопкой записка: «Подожди.
Я выскочила в лавку». Он взял шляпу,
сунул записку в карман и ушел.
Кнопка осталась на стене — блестящее насекомое,
живущее своей жизнью в этот золотой летний полдень.

НИКИФОРОС ВРЕТТАКОС

Песнь хора

Есть горести, о которых не знает никто.
Есть глубины, куда никогда не заглядывает солнце.
Печать молчания лежит на губах.
Молчат все свидетели. Глаза молчат.
Нет лестниц столь длинных,
чтобы спуститься туда, где бушует

вулкан человечьей души. Если б молчание заговорило,
если б потянуло ветром, если б прорвалось —
то вырвало бы с корнем
все деревья мира.

Лицо

Лицо — это совесть
с горизонтом широким,
как с высокой горы. Боже,
я знаю груз моей совести.
«Пятьдесят убитых,
сто раненых»,—
телеграфируют из Алжира.
Кому кричать?
И что поделать
с этим Тайгетом *,
который лежит у меня на плечах?

Без отдыха

Вот уже два месяца, как у меня нет другого дела.
Мои руки в беспрерывном движении:
я сгружаю в души людей небо.

Крупица из того, что видит солнце

Война сделала горьким материнское молоко.
Муж погиб. Месяц спустя
родился младенец. Теперь пять источников
изливают горечь: рот, глаза,
груди.
Завтра,
может быть, завтра этот ребенок
писал бы книги, дирижировал оркестром,
совершил такое, что равно по силе
залпу из тысячи ружей,— но
чем могло помочь ему солнце? Вскоре он умер.
Его посеяли в землю, как зернышко горького миндаля.

На перекрестке улиц Эола и Виссы

Человек на тротуаре словно меряет взглядом
время, расстояние или яркость света.
Куда идти? Туда? Сюда? Он, как видно, не знает.
Он подносит ко лбу холодную ладонь и вглядывается пристальнее.

* Гора на родине поэта, в южном Пелопоннесе.

Солнце нашего века светит не очень ярко.
(Было время, он шагал,
он прыгал и танцевал. Было время, когда восходило солнце,
и, поднимая голову, он видел его.
Он помнит девушку в красном, парк, море,
сад.)
А война
снова грозит прийти
и сжечь его память и его деревянную ногу.

Пять улиц и человек

Его лицо словно вылито из бетона,
словно выковано из железа. Оно напоминает угол с осыпавшейся штукатуркой
или заржавевшую обшивку корабля. По нему прошлись все времена —
хозяин, бедность, война. Прошлись
взгляды, падавшие подобно мечам.
Магазины не продают ему ничего.
Идти ему некуда. По пяти улицам земли
он шагает, когда свою лавочку
закрывает солнце.

Рождение

Что за буря! Боже мой! Как ты промокла!
Как спутались волосы твои, Мария!
Что же ты встала в дверях? Проходи!
Погрейся у моего огонька. Я сварю тебе чай.
(Зарплата у меня совсем мизерная, а у наших друзей нет и этого.
Таков уж наш круг.) Вот тебе шаль.
В доме беспорядок. Ты оглядываешь его с любопытством.
Входи же.
Незадолго до того, как ты пришла,
в этих яслях родилось стихотворение.
Незадолго до тебя сюда пришла и здесь родила
печаль мира.

Глубина капли

Все числа, что я знаю, иссякли, пока я промерял
глубину капли, скатившейся с листка
на мою ладонь. Я начал снова,
и снова числа иссякли.
Боже!
Где кончается свет?
Где кончается любовь?
Где кончаются цвета?

Зеленый сад

Есть у меня три мира. Море, небо
и зеленый сад твоих глаз.
Если б я мог проникнуть туда,
я сказал бы,
где кончается каждый из трех миров.
Про море я знаю.
Про небо — догадываюсь.
А про зеленый мой сад
лучше не спрашивайте.

Упрек

Посмотри мне в глаза. Что с тобой?
Поднимаясь на холм, откуда взор простирается дальше полета
ветра,
ты задержалась.
Ты плачешь?
Почему ты молчишь?
Что сказало тебе солнце?

ТАСОС ЛИВАДИТИС

Подвал

Если бы бог начал однажды пересчитывать все, что сотворил,—
звезды, птиц, семена, дожди, матерей, холмы,—
он бы, пожалуй, когда-нибудь кончил. Я сижу здесь один, в
сыром подвале, на улице дождь,
и пересчитываю ошибки, которые допустил, сражения,
уступки,
пересчитываю мои дурные порывы, порой достойные
восхищения,
и добрые порывы,
подчас исполненные высокомерия, считаю, считаю и не вижу
конца.
О вы,
вы, унижения, вериги моей души,
ты, сытный хлеб мой,— моя вечная боль,
свежесть будущего поет в моих суставах
в час, когда горло сжимает голод тысяч нищих предков.
Я тоже бог в моей вселенной — в сыром подвале, на улице
дождь,
во вселенной непостижимой и неисчерпаемой,
бог отнюдь не бессмертный
и потому дрожащий от любви к каждой бесценной
и невозвратной минуте.

Ода

Есть во вселенной миллиарды планет и созвездий —
Млечный Путь, Плеяды, Солнце, Большая Медведица,— несть
им числа,
но самая несравненная среди них — Земля.
На Земле за миллиарды лет родились животные, камни,
растения,
жаворонки, песчаник, дикие яблони и сверчки — множество
видов,
но среди них самый мужественный и нелукавый — человек.
Я живу на этой Земле, я родился на ней человеком.
Но есть нечто более ценное. В буре времен,
в потоках крови, настойчиво, неугасимо
неистощимая воля и слезы человека
вырастили гигантскую, полную свежести и силы Партию,
которая борется за счастье для всех,
и я принадлежу к этой Партии.

Музыка

Переполнен молчаньем огромный зал.
И рояль — большой священный стол,
на котором руки мужчины, гибкие и неудержимые,
режут и раздают
хлеб вечности.

Многоликий век

Иногда я думаю о людях, которых знал,
о друзьях детства, с которыми собирал камушки,—
одни умерли, другие утонули в пучине жизни, третьи
перешагнули через меня,—
о тех, с кем воевал,— я помню их на снегу или в наскоро
вырытой землянке,—
о тех, кто не вернулся, о тех, кто дезертировал, о тех,
кто сдался. Я думаю о товарищах по тюрьме,
о папиросах, которые мы делили, об одиночестве,
которое каждый допил до дна, о долгих взглядах в окно
и молчаливых минутах прощания со смертниками.
Люди, великодушные или ничтожные, беззащитные или
сильные,
что-то оставляли друг другу, даже если не оставляли ничего.
Столько слов, столько жестов, столько лиц вместилось во мне,
что я перестал быть только собой.
И когда ты, любимая, выгоняешь меня, ты оставляешь за своей
дверью
целый мир горечи.

Женщина

I

Подобно пасхальной ветви весенним утром,
ты всем своим существом излучала наслаждение,
наши голоса взлетали в небо, как большие мосты,
по которым прошли века. О! Чтобы ты родилась и чтоб я тебя
встретил,
возник этот мир. И любовь моя — бесконечная лестница,
по которой я поднимался из времени и вечности
к твоим несравненным смертным губам.

II

«Я люблю тебя, я люблю тебя»,— говорил я. Ты поспешно
одевалась:
«Сегодня прохладно».
И не отрывала от двери тревожного взгляда
пленницы или пойманной птицы.
Я плакал и целовал тебя как безумный и обнимал тебя
отчаявшимися руками,
словно скреб ногтями равнодушную могильную землю,
уже схоронившую всю мою жизнь.

III

Теперь я бесцельно брожу по улицам, разглядываю витрины,
читаю шиворот-навыворот магазинные вывески,
покупаю каштаны и ссорюсь с полицейскими,
которые ругают меня за то, что я останавливаю движение.
И думаю: она ушла. А я еще жив!
Так продолжают расти борода и ногти
у мертвеца.

IV

Миновали месяцы. Бывают минуты, когда я забываю ее лицо.
Пытаюсь вспомнить — напрасно. Осталась лишь тяжесть на
сердце,
она тяжелее воспоминаний.
Она осталась и живет во мне.

Если за твоим порогом найдут мертвого —
знай,
он сражен клинками поцелуев,
которыми мечтал тебя осыпать.

РИТА БУМИ-ПАПА

Признание

Не умерла я. И не затерялась
в лесу средь обезьян и попугаев.
И тех не забываю дней,
когда простых людей я повстречала
на тайных сходках,
а потом на площадях.

И говорю всегда,
что рада вновь их видеть
на демонстрации, на улице и на базаре,
чтоб вновь скрестились наши взгляды,
и наши руки, отягченные цепями,
и наши души —
чтобы видели они, что с их врагами я не примирилась,
наоборот,
состарилась, деля невзгоды
друзей
и веря, что есть и моя вина,
раз на земле еще друг друга убивают люди,
раз голодают,
страдают,
мерзнут.

Но ни за что не выдам им,
что боль свою
я не делила никогда с другими
(свою частицу горечи должна испить сама).
Не выдам, что душа
уже не в силах
тесниться в русле неподвижного терпенья —
что вылиться она грозит
и затопить равнины...

Самой себе

Каждый раз, когда в поисках света и пищи
углубляешься в не тронутые временем тома классиков
и стремишься заполнить свой бедный дом
гигантскими тенями титанов,—
не горюй, что ты меньше их ростом.
На скелетах
будущего не построить, ты это знаешь,
какими бы несокрушимыми они ни были.
Нужна и твоя рука,
слабая, усталая, маленькая.
И пусть твои предки были гигантами
на этой же самой земле
с оливами, лаврами и виноградниками,
и пусть ты карлица по сравнению с ними.
Поднимись им на плечи
и, крепко держась на ногах,
упорно смотри вперед,
пока твой взгляд не обгонит,
не опередит их взгляда.
Не горюй, что ты меньше их ростом.

Дочь привратника

С ее глазами и сердцем каждый вечер
секретничает зефир.

Дочь привратника — белокурая девушка,
обремененная гимназическими наградами.

Дочь привратника читает стихи и вздыхает
в подвале многоэтажного дома, на десять метров зарывшегося
в землю.
Дочь привратника садится вечером на коня
и скачет по берегу Северного моря.
Под ногами ее сверкают прибрежные камушки и легенды,
небо — ее любимая книга,
весна — самое красивое платье,
море — самая звонкая песня.
Дочь привратника флиртует со звездами
с балкона своей готической башни.
По физике она проходила законы вселенной
и знает, что там неведомы печаль и тяжесть.
Дочь привратника несут два большие крыла,
каждый день подсекаемые ударами нового смерча.
Ее походка — незабываемая музыка,
ее лоб — светящаяся раковина,
в которой бушуют дикие воды.
Дочь привратника
обивает пороги, вымаливая место
машинистки
вместе с тысячью таких же девушек,
которые надеются
на это место...

ПИТЕР АБРАХАМС

ВЕНОК МАЙКЛУ УДОМО

РОМАН

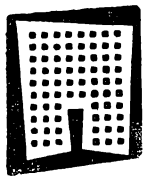
Перевод с английского
В. ЕФАНОВОЙ

Часть вторая

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

ЛОИС

I



арижский экспресс подошел к перрону. Лоис заслонила глаза от ослепительного средиземноморского солнца. Из вагонов повалил народ. Она решила сохранять спокойствие. Незачем метаться среди пассажиров. Он выйдет и сразу увидит ее. К чему метаться? Она отошла в сторону, обвела взглядом вагоны, не задерживаясь на чужих лицах. Он выйдет и сразу увидит ее. На шее начала биться жилка. Как отчаянно привязалась она к нему за эти пять месяцев! Мысль эта была отвлеченной — словно думала она не о себе, а о ком-то другом. Он выйдет. Конечно же, он выйдет и сразу увидит ее. Она прижала ладонью бьющуюся на шее жилку. Он...

Вон он!

— Майкл!

И тут она сломя голову кинулась к нему. Опомнившись, она заставила себя пойти шагом. Так закричать! Точно пустоголовая влюбленная девчонка!

— Лоис!

Он подошел к ней. Лоис, будто сквозь туман, видела его огромную фигуру, блестящие глаза, широченную улыбку, ослепительно-белые зубы. Она бросилась ему на шею и уткнулась лицом в плечо.

— Ах, Майкл... Дорогой... дорогой мой!

— Здравствуй, Лоис!

Они вышли из вокзала и пошли в городок, приютившийся между горами и морем. Удомо взглянул вверх на горы, потом снова на гладкое, как зеркало, море. Безжалостное южное солнце жгло землю. Он снял пиджак, кинул его поверх чемодана и ослабил галстук.

— Замечательно! — сказал он.

Продолжение. Начало в № 2.

— Я знала, что тебе здесь понравится... Ты завтракал?

— В ресторане первого класса... Ты не должна была этого делать, Лоис.

— А как еще я могла вытащить тебя? Пришлось купить билет и послать.

— Но ведь это стоит бешеных денег.

— А! Зачем нужны деньги, если их не тратить? С собой все равно не заберешь. А мне так хотелось, чтобы ты приехал. Так что не ворчи, пожалуйста.

— Ты невозможный человек, Лоис.

— Ну и пусть! Пошли, вон там есть кафе. Осторожно — машина! Здесь они ездят не по той стороне.

Они перешли улицу и сели за маленький столик под огромным пестрым зонтом, прямо на тротуаре. Лоис заказала фрукты и кофе.

Солнце и морской воздух позолотили кожу Лоис, придали ей свежесть. На ней было яркое ситцевое платье с плотно облегающим лифом и широкой пышной юбкой — здесь, слава богу, можно было не кутаться.

— Ты прелесть, — сказал он.

— Очень рада... Перестань так смотреть на меня, Майкл. Я становлюсь от этого глупой девчонкой. Могу разреветься или поцеловать тебя при всех.

— Я не возражаю.

— А я возражаю... Не забывай, что я чопорная англичанка.

— Ты прелестная англичанка.

— Перестань, Майкл!

Она потянулась через стол и сжала ему руку. Старенький почтенный официант, говоривший по-французски с сильным итальянским акцентом, ласково улыбнулся, глядя на них.

После завтрака они пошли через городок, по отлого поднимавшимся к подножию гор улицам. Скоро дачи и приморские гостиницы остались позади. Самый городок оказался всего-навсего разросшейся деревней. Показная роскошь курортной части уступала здесь место обычной деревенской нужде. Встречавшиеся им люди были сухощавы и смуглы. В их движениях и речи была непринужденность, напоминавшая Удомо родные места.

— Совсем как у нас, — сказал он, — и солнце такое же, только наше жарче, и люди такие же — только наши потемнее да покрикливей.

— Когда-нибудь я у вас побываю, — сказала Лоис.

— Они тебе понравятся.

Здесь она перестала сдерживать себя. Взяла его за руку. Так, держась за руки, они шли вверх по пологому склону. Наконец они выбрались из города, поднялись над ним. Капли пота блестели на лбу Удомо. Рубашка прилипла к телу. Сойдя с дороги, по которой они шли от самого городка и которая убегала, извиваясь, на верх горы, Лоис опустилась на траву.

— Привал на полпути, — сказала она.

Удомо плюхнулся рядом с ней и вытер лоб.

— Уф! Ну и жара! Я весь мокрый. А ты почему нет?

— Привычка. Я же здесь выросла.

— Но ведь я-то вырос в Африке.

— У вас не такое солнце. У нас жара сухая, бодрящая. А у вас влажная, липкая. Ты к своей привык, а я к своей.

Он усмехнулся и потянулся к ней. Но его остановил звук голосов.

По дороге шли двое крестьян, ведя за собой вереницу нагруженных осликов. Проходя мимо, они поздоровались.

Далеко в море виднелся пароход, он казался неподвижным, пока вдруг не нырнул за линию горизонта. И вся эта необъятная, одушевлен-

ная масса воды мирно дремала под утренним солнцем. Не было видно даже белых брызг от разбивающихся о берег волн.

— Пора идти, — Лоис вскочила на ноги.

Земля поднималась террасами, покрытыми виноградниками. Многие мили тянущихся кверху, расползающихся в стороны лоз.

Они дошли до места, где начинался крутой подъем. Здесь проселочную дорогу, идущую дальше в горы, пересекала узенькая тропка. Они свернули по ней вправо.

— Вот мы и дома, — сказала Лоис.

Коттедж стоял на большом плоском участке земли, обнесенном изгородью. Вокруг дома росли чахлые фруктовые деревья, сбоку расстилался давно не стриженный газон, тут же валялись обломки детских качелей; альпийский садик, разбитый когда-то перед верандой, порос сорняками.

Лоис быстро прошла вперед и открыла дверь. На пороге она повернулась к Удомо. Лицо у нее вдруг стало совсем детским.

— Добро пожаловать в мое родовое поместье, Майкл.

Он поставил чемодан и, переступив порог, привлек ее к себе. Когда она подняла наконец на него глаза, они были мокрые.

— Ты всегда делаешь то, что надо, Майкл.

— Тебе очень дорого вот это?

— Дороже у меня нет ничего на свете.

Он пропустил сквозь пальцы пряди ее сильно отросших волос.

— Скажи, что ты меня любишь, — попросила она.

— Я люблю тебя, — сказал он.

— Милый...

■

Они лежали рядом на траве перед домом. Солнце уже утратило свой беспощадный металлический блеск и мирно покоилось на западе, по ту сторону огромного водного пространства. Теперь оно освещало только самые высокие вершины. В медленно надвигающихся сумерках это были единственные островки света.

Лоис отыскала старый заржавленный серп, и Удомо, выспавшись, принялся ловко орудовать им. Теперь лужайка, на которой они лежали, могла сойти за настоящий — хоть и пожелтевший — газон.

Молоденькие ящерицы, юркие, короткохвостые, шныряли по стенам дома, они двигались взад и вперед, по кругу и по диагонали. Большие — длиннохвостые и важные — держались с достоинством. Они оживали, только когда нужно было выбросить язык и схватить какую-нибудь глупую зазевавшуюся букашку.

— Прислушайся, — прошептала Лоис.

В сгущающихся сумерках хор цикад становился все громче. Густая тень медленно ползла вверх по склонам гор, вытесняя свет.

— Совсем как дома, — сонно пробормотал он.

Лоис перевернулась на живот, приподнялась, опираясь на локти, и заглянула в его обращенное к небу лицо.

— Это и есть твой дом, Майкл. Если бы мы могли прожить здесь всю жизнь!

Он открыл глаза. Лоис прочла в них предостережение.

— Не прячься в свою скорлупу, Майкл.

— Ты же знаешь, что я должен вернуться.

— Ничего ты не должен.

— Должен. Ты сама знаешь.

— Знаю. Но дай мне помечтать и не прячься сразу же. Ведь правда, было бы чудесно прожить здесь всю жизнь. Мне хочется пофантазиро-

вать. Я знаю, твоя мечта о свободе уведет тебя, но ведь могу я помечтать, что это будет наш дом на всю жизнь?

Тень подбиралась уже к самым высоким вершинам. Только над горизонтом еще виднелась золотая полоска солнца. Синие краски неба быстро сгущались. Все громче звенели цикады.

— Теперь ты рассуждаешь по-женски.

— Но, милый, я ведь женщина. Женщина в полном смысле слова. Даже больше, чем мне того хотелось бы. Ну и пусть, и не мешай мне мечтать. Я же знаю, что это не пустая мечта, что мы и правда могли быть счастливы здесь, — горечь закралась в ее голос. — Но я знаю и то, что очень скоро твоя мечта лишила бы тебя покоя. И тогда я не стала бы держать тебя, Майкл. Потому что это не было бы настоящее счастье.

Он посмотрел в темнеющее небо.

— Лоис...

Она чувствовала, что мысли его сейчас далеко. Такое лицо у него бывало всякий раз, когда он думал об Африке. Даже голос его становился другим — отчужденным.

— Что?

— Я думал... Может быть... Если все пойдет, как мы наметили... Когда мы завоюем свободу... Я думал, может быть, ты согласишься приехать ко мне. — Он снова посмотрел на нее.

Как мы близки сейчас, думала она. Никогда физическая близость не дает ощущения родства. Его дает близость духовная, и то в редкие минуты... Она не знала, какими словами ответить ему.

— Что я должна сказать, Майкл?

— Скажи просто «да».

— Да, Майкл, да!

— Хочешь, я расскажу тебе, как прошел конгресс? Мы не надеялись на такой успех...

— Нет, — твердо сказала она. — Эти дни принадлежат мне, только мне, и я не хочу слышать ни слова о политике. Мы будем купаться, бродить по городу, ходить в горы, мы приведем в порядок этот домик... Но о политике говорить не будем. Твой секретарь вышел в отставку — до тех пор, пока мы не вернемся домой. Решено?

— Ладно.

— Обещай.

— Обещаю... Вот только что... Мэби просил передать, что он заглянет к нам дня на два перед нашим отъездом.

— Отлично... Ну а что мы будем делать сегодня вечером? Можно спуститься в город и поужинать в какой-нибудь гостинице, можно пойти в гости к кому-нибудь из моих знакомых или нанять моторную лодку и объехать самые роскошные курортные места вдоль побережья, где есть и миллионеры, и кинозвезды, и злачные места. Что ты предпочитаешь?

Он захватил в кулак прядь ее волос и притянул ее к себе, так что она уткнулась ему лицом в грудь.

— По-моему, нам и здесь хорошо.

— Ты прав, Майкл! Вот только послушай, как звенят комары. Они съедят нас живьем.

— Тогда пойдем в дом... О, черт! — Он шлепнул себя по лбу.

Смех ее оборвался. Она звонко хлопнула себя по шее. Оба побежали в дом. Миром завладели мрак и обитатели ночи.

— Рад, что приехал?

Он поставил лампу, которую собрался было зажечь, и повернулся к ней.

— Очень рад. Поди сюда.

Глаза его загорелись желанием. Она шагнула к нему.

— И я тоже,— тихо сказала она.

Мягкий лунный свет проникал сквозь окно в комнату.

— Спишь, Майкл?

— Нет.

— Мы, наверно, переели за ужином.

— Он был очень вкусный.

Комары сердито пищали по ту сторону окутавшей кровать москитной сетки.

— Расскажи мне о своей семье. Твоя мать жива?

— Да.

— А отец?

— Он умер уже после моего отъезда. Не так давно.

— Значит, твоя мать теперь одна? Или у нее еще есть дети?

— В семье есть еще женщины. Мать была третьей женой отца. И я у нее единственный ребенок. У отца была небольшая ферма, ее получил сын первой жены. Так заведено.

— Мать пишет тебе?

— Она неграмотна. У нас в деревне до меня только один мальчишка ходил в миссионерскую школу. Деревня наша маленькая, и все жители неграмотные...

Голос у него был совсем сонный, и она оставила его в покое. Лунный свет упал ему на лицо. Она приподнялась на локте и долго смотрела на него, не отрывая глаз. Затем положила ладонь ему на щеку и уснула.

2

Мэби сложил ладони рупором и крикнул:

— Лоис, Майк!

Они заплыли далеко, только их головы мелькали в волнах. Он снова крикнул, на этот раз громче. Лоис подняла руку. Затем они поплыли назад.

Мэби пошел обратно к огромному валуну, в тени которого была разостлана купальная простыня,— там они оставили одежду и корзинку с провизией. Он стащил рубашку и растянулся на простыне Утреннее солнце не было жарким. Легкий ветерок приятно обдувал. Он закрыл глаза и стал изучать кровавую мглу, просвечивающую сквозь кожу опущенных век. Малюсенькие подвижные крапинки были настроены очень бодро. Интересно, какие это шарики — белые или красные? И нет ли среди них Поула Мэби? Или Лоис Барлоу? Или Майка Удомо? А может быть, его тело всего-навсего вместилище для какой-то неизвестной формы жизни? А, собственно, что такое кровь? Господи, до чего он устал! Ехать от самого Парижа в сидячем вагоне — это вам не шутка. Под конец даже проклятые подушки стали казаться кирпичами. До него донеслись их голоса, он нехотя открыл глаза и сел. Оглядел пляж из конца в конец. Только несколько ребятишек в отдалении. И тут он увидел их.

Они шли к нему, взявшись за руки, мокрые и сверкающие на солнце. Темно-коричневый Удомо стал совсем черным, а Лоис так и светилась, отливая золотом и бронзой.

Любовники, подумал он. Запечатлеть бы в памяти этот миг, воплотить его в дереве, которое проживет сотни лет, и назвать скульптуру «Любовники». Хорошо бы взять черное дерево и какое-нибудь светлое, золотисто-коричневого тона. Вот только как соединить руки? С этим пришлось бы помучиться.

— Здравствуйте, Поул! — крикнула Лоис.

— Мы ходили на вокзал в пятницу и в субботу, — сказал Удомо.

— Но вы не приехали, — добавила Лоис, — и мы уже потеряли всякую надежду увидеть вас.

— Итак, по прошествии десяти дней вы все еще влюблены друг в друга?

— Бросьте, Поул! Не надо! День такой чудесный, мы так рады вам... — Ее глаза сияли счастьем.

Удомо энергично растирался полотенцем.

— Ночь в сидячем вагоне хоть кого приведет в уныние. А потом я долго лез на гору только затем, чтобы убедиться, что вас нет дома. Когда вы встаете?

— Вы завтракали? — спросила Лоис и начала распаковывать корзинку.

— Мы правда тебя сегодня не ждали, — сказал Удомо. — Ведь мы вечером уезжаем.

— Ни один из вас так и не ответил на мой вопрос.

— На какой вопрос? — спросила Лоис.

— Я спросил: правда ли, что, пробыв вдвоем десять дней, вы все еще влюблены друг в друга?

— Мне показалось, что это не вопрос, а утверждение.

— Пусть так. Ну и что вы на это скажете?

— Поул, вы не в духе. Съешьте лучше что-нибудь.

Мэби вдруг рассмеялся, но невесело.

— Да, я не в духе. Когда вы выходили из воды, у вас обоих был такой счастливый вид... и я вдруг понял, как я одинок. Извините меня.

— Ах, Поул,— Лоис коснулась щекой его щеки,— не вам говорить, имея столько приятельниц, да еще таких милых.

— Оставим это. Но серьезно, до чего же приятно видеть вас обоих. А теперь я скажу вам, зачем, собственно, я приехал. Я собираюсь подняться вон на ту гору. Возможно, мне больше не представится такой случай. А я очень хочу еще раз взглянуть на деревню.

— На какую деревню? — спросил Удомо.

— Вы ему не рассказывали?

— По-моему, рассказывала,— ответила Лоис.— Разве нет?

— Нет.

Мэби видел нежность, засветившуюся в ее глазах, когда она посмотрела на Удомо, видел и его ответный взгляд. Он показал на вершину, торчавшую в самом центре горной цепи.

— Там стоит сарацинская деревня. Она была построена еще до крестовых походов, когда магометане вторглись в южную Европу и покорили ее. Когда-нибудь в Африке будет воздвигнуто здание, которое, я надеюсь, будет называться Музеем Африки. И экспонаты, собранные там, покажут всему миру, как талантлива Африка, как богата ее литература, живопись, скульптура, музыка, как оригинальны ее кустарные ремесла. И на стенах этого здания я написал бы фрески. На одной из них будет изображена и эта сарацинская деревня. Вот почему я хочу взглянуть на нее еще раз.

— Мы пойдем с тобой, — сказал Удомо.

— В таком случае надо собираться домой, — сказала Лоис. — Только я не знаю, Поул, не слишком ли это много для вас? Вы ведь очень устали. Надо было вам приехать вчера.

— Из парижских кафе не так-то просто вырваться, — сказал Мэби. — Была там одна хорошенькая девочка с зелеными глазами и волосами цвета соломы, по имени Моним...

— И вы еще жалуетесь на одиночество,— рассмеялась Лоис.

— Будто вы не знаете, что можно чувствовать себя одиноким, имея кого-то рядом в постели... Но хоть роман и был мимолетным, есть что вспомнить. Помните, как это сказано?

Ты, книга юности, прочитана, увы!
Часы веселия, навек умчались вы!

О птица-молодость, ты быстро улетела,
Ища свежей лугов и зеленей травы....

Облака медленно плыли по небу. Весь мир был объят покоем.

— Помню, — сказала Лоис, — но я больше люблю другую строфу, может быть, потому, что она гораздо созвучнее мне. Вот на какие строки откликается мое сердце:

Блажен, кто на ковре сверкающего луга,
Пред кознями небес не ведая недуга,
Потягивает сок благословенных лоз
И гладит бережно душистый локон друга...*

Она перевела взгляд с Удомо на Мэби.

— Вот и все, что мне нужно для полного счастья, — тихо произнесла она.

Мэби смотрел на море. Удомо не сводил глаз с Лоис.

— У меня такое чувство, что я лишний, — мягко сказал Мэби.

— Нет, мой милый. Какой же вы лишний. Просто раз в жизни мне захотелось быть только женщиной... и я сейчас говорю то, что думаю.

— Сейчас, в эту минуту, я очень завидую тебе, Майк, — сказал Мэби.

Удомо улыбнулся:

— Тебе предоставлялись все возможности.

— Правильно. И я ими не воспользовался.

— И если бы все начать сначала,— сказала Лоис, — вы снова не воспользовались бы. Вы боитесь связать себя — вот в чем ваше несчастье, Поул.

— Боюсь, но не в том смысле, в каком вы думаете, — проговорил Мэби.

Лоис внимательно посмотрела на него, словно что-то от его настроения вдруг передалось ей. Она поспешно встала:

— Если вы хотите лезть сегодня на гору, надо идти.

■

На полпути Мэби остановился. Пот катился с него градом. Следом взобралась Лоис. За ней Удомо.

Мэби отер лицо и выжал мокрый платок.

— Пить?

Удомо спустил с плеч рюкзак и передал его Лоис.

— Воды с вином или просто воды?

— Воды с вином.

— А ты, Майкл?

— Апельсин, пожалуйста.

Она передала Мэби термос и вытащила два апельсина. Вершины Приморских Альп растворялись вдали в опаловой голубизне безоблачного неба.

— Ненавижу горы,— сказал Мэби.

— По их склонам люди добираются до вершин, — возразила Лоис.

— Их так и хочется одолеть,— сказал Удомо.

Лоис рассмеялась. Насмешка мелькнула у нее в глазах, порхнула на губы. Она взяла Удомо за руку и сказала:

— Мужчина испокон веков ищет в победах спасения от внутреннего разлада! Неудовлетворенность собой — вот что заставляет его лезть на неприступные горы, мечтать о завоевании космоса, о путешествиях на Луну. Все это не что иное, как желание уйти от самого себя, проявление врожденной неуверенности в себе. Мужчина по сей день не обрел

* Оба стихотворения принадлежат Омару Хайяму.

душевного равновесия и, пока не обретет, вечно будет устраивать революции, покорять горы, летать на Луну и взрывать бомбы невиданной силы.

— А женщина? — спросил Мэби.

— Женщина это равновесие обрела. Конечно, и среди нас есть такие, что рвутся к заоблачным высотам, но в большинстве своем мы примирились с земной участью. Для нас ход жизни неизбежен, как смена времен года. Возможно, потому, что мы своей плотью участвуем в этом вечном движении. Во всяком случае, мы не так уж стремимся к бессмертию. Мы не лезем на неприступные горы, не мечтаем о путешествии на Луну, не взрываем бомб. Но зато все свои силы мы отдаем новой жизни. Должно быть, по существу, женщина свободнее мужчины, потому что добивается свободы только тот, кто лишен ее. Свободным не надо завоевывать свободу, сильным не надо утверждать свою силу...

— Пошли-ка лучше, — сказал Мэби.

Он отдал ей термос и быстро зашагал вверх по узкой извивающейся горной тропе. Они полезли за ним.

Подъем становился круче, тропка постепенно сужалась. Скоро она стала такой узкой, что двоим было невозможно идти рядом. Удомо пошел сзади. А сильно опередивший их Мэби все лез и лез вверх, как одержимый.

Расстояние между ними и Мэби увеличивалось. Лоис ускорила шаг, галька осыпалась под ногами. Но она не боялась. За ней шел Майкл, а она знала, какой он сильный. Он не допустит, чтобы с ней что-нибудь случилось. Женщина живет полной жизнью, только когда с ней рядом мужчина, ее защитник. Только тогда.

Мэби остановился и посмотрел назад. Потом пошел дальше и скоро исчез из вида, скрывшись за поворотом. Теперь он вышел на солнце, подумала Лоис. Сразу за ней, вселяя в нее спокойствие, твердой, уверенной поступью подымался Удомо. У Лоис застучало в висках. Ничего, Майкл идет сзади, все хорошо! Она вдруг покрылась холодным липким потом. Ничего, Майкл тут, рядом. Они дошли до залитого солнцем пространства, где останавливался передохнуть Мэби. Море лежало далеко внизу. Лоис посмотрела вниз, и у нее закружилась голова. Она остановилась и закрыла глаза. Но тут же рука Удомо легла ей на плечо, и она справилась с собой. Повернув голову, она дотронулась губами до его руки и пошла дальше.

— Не надо смотреть вниз, — сказал он.

— Уже все прошло, — ответила она.

Вершина горы была совсем близко. Мэби перегнулся через сложенный из неотесанных камней парапет и крикнул:

— Лезьте сюда!

Он немного понаблюдал за ними и опять скрылся из вида.

Наконец они добрались до вершины. Мэби сидел на солнце, прислонившись спиной к развалинам дома.

Лоис с трудом доплелась до него. Удомо спустил с плеч рюкзак и оглядел то, что когда-то было сарацинской деревушкой.

— Какая крошечная, — сказал он. — Но чего ради они забрались сюда?

— Чтобы чувствовать себя в безопасности ночью. Не забудь, они были завоевателями, — ответил Мэби.

Удомо покачал головой и рассмеялся. Он стал осматривать развалины.

— Просто не верится. Сколько же их тут могло поместиться?

— Кто знает, — ответила Лоис, — скорее всего, они скрывались в горах, отрядами человек по двадцать.

— С лошадьми?

— Да.

— Черт! Тут же повернуться негде! Подумать только, что и лошади проделывали весь этот путь!

— Не забудь, они были завоевателями, — повторил Мэби.

— Надо было и нам загнать своих завоевателей в горы, — сказал Удомо.

— И вот все, что осталось от них,— задумчиво проговорил Мэби.— Развалины на вершине горы. Завоеватели пришли и ушли. И это все.

— Не совсем все,— возразила Лоис.— Их след сохранился в смуглой коже и в характере горцев. Да и в музыке тоже.

— Это правда,— медленно сказал Мэби,— но никаких вещественных следов их победы, кроме вот этих выбеленных солнцем развалин, не сохранилось.

— И все же когда-то они победили,— сказал Удомо.

— А что толку от такой победы? — возразила Лоис.

— Она доказывает, что эти люди жили и что они обладали мужеством,— сказал Удомо.— Доказывает, что они были настоящими мужчинами и, раз так, должны были действовать.

Мэби посмотрел на Удомо и подумал: здесь он такой же, как все, здесь не чувствуется его внутренней силы. Мэби принялся набивать трубку. Лоис вынимала из рюкзака еду, фрукты и термосы. Никто из них, казалось, не замечал палящего солнца.

— А вот это,— задумчиво сказал Мэби,— результат их действий. Вот эти побелевшие камни. И может, среди них лежат превратившиеся в белую пыль человеческие кости и кости животных. Помните, Лоис?

И спят в песках по наши времена
Влюбленные, поэты, короли
И знают, что пустыни белизна
Не их удел, но участь всей земли,
Что опустеют тучные поля,
Что обретут влюбленные покой,
И станет наша бренная земля
Навеки отпылавшею звездой.*

— Вот все, что осталось от былого могущества. Какой же смысл всего этого?

— Смысл тот, что мы живем, Поул,— сказала Лоис,— и участвуем в хороводе жизни.

— Как дети на лужайке?

— Да, милый. Как дети. Бессмертия нет. Мы живем только раз. Вот почему — мне незачем скрывать это от вас, Поул,— вот почему я решила не отказываться от счастья с Майклом в настоящем. Я хотела бы, чтобы он навсегда остался здесь со мной. Я знаю, мы могли бы быть счастливы, могли бы иметь детей и прожить долгую счастливую жизнь. По-моему, это и есть настоящая жизнь, в ней я вижу больше правды, больше смысла, чем в вашей мечте об освобождении. Если бы я хоть на секунду поверила, что осуществление вашей мечты действительно может что-то изменить в мире, я никогда не посмела бы сказать ему это. А, да что там...

Удомо подошел к ней. Он сел рядом и обнял ее.

— Это не мечта,— сказал он.— И даже если это мечта, для меня она реальнее того, что ты называешь настоящей жизнью... Я никогда не читал стихов, как ты или Мэби, но я верю, что они прекрасны. Для меня же прекрасна мечта об освобождении моего народа. Прекрасна свобода. Я знаю, по вашему мнению, я не могу думать ни о чем, кроме политики. Но это не политика. Это мой народ, Лоис. И для меня это поэзия.

* Из стихотворения Джемса Элроя Шлеккера «Золотое путешествие в Самарканд» *(Перевод А. Сергеева)*.

Лоис высвободилась из его объятий и подошла к парапету.

— А я думаю, что каждый из вас по-своему прав,— сказал Мэби.

Лоис перегнулась через парапет и посмотрела вниз на расстилавшуюся далеко внизу зеленую землю. Там, где кончалась земля, начиналось море, казавшееся отсюда черным.

Я совсем растеряла гордость, думала она, даже странно.

Мэби перевел взгляд с Лоис на Удомо. Я ошибся, думал он. Он и здесь кажется больше всех, увереннее всех.

Лоис повернулась и подошла к ним.

— Хорошо, Майкл. Сейчас ты принадлежишь мне. Это наше счастье — счастье сегодняшнего дня. Мое и твое. А когда тебе придет время уходить, я не стану тебя удерживать.

Она села рядом с ним. Он взял ее руку в свою.

— Важно то, что у человека в сердце,— сказал Удомо.— Наступит день, и ты приедешь к нам, ко мне. Если я уеду, это вовсе не будет означать, что я ушел навсегда. Ты приедешь ко мне. Мы же договорились.

— Но вас может постигнуть неудача, Майкл. Тебя могут убить.

— Неудачи не будет,— сказал Удомо.

— Да,— подтвердил Мэби.— Неудачи... на этот раз... быть не должно...

— И ты можешь измениться,— продолжала Лоис.— А я хочу, чтобы наша любовь оставалась неосквернённой, чистой или пусть лучше не будет никакой. Никогда еще не было у меня ничего прекраснее этой любви.

— Вот почему я побаиваюсь вас, женщин,— сказал Мэби.— Вы сами творите себе кумиров, а потом предъявляете к ним требования. Ну, а для этого я слабоват.

— Я не изменюсь,— сказал Удомо.

— Да она вовсе не о том, Майк,— нетерпеливо перебил его Мэби.

— Ешьте поскорее и давайте собираться в обратный путь,— сказала Лоис.— А то мы не доберемся до дому вовремя.

— Лоис, —мягко сказал Мэби,— даже Майкл — всего лишь человек.

— Садитесь поближе и ешьте,— Лоис прислонилась к плечу Удомо.

3

Мрачным, холодным сентябрьским вечером через неделю после их возвращения с юга Эдибхой уезжал в Панафрику. Проводить его на вокзал пришли все: Лоис, Джо Фэрз, Лэнвуд, Мхенди, Мэби, Удомо. Удомо держал пакет со ста экземплярами последнего номера «Освободителя» — журнала, который они печатали на ротаторе. Эдибхой должен был увезти его с собой. Они толпились вокруг него — истекали последние остающиеся до отъезда минуты. Лицо Эдибхоя сияло, как обычно, радостной улыбкой.

— Не забывайте, вы — наш Иоанн Креститель,— говорил Лэнвуд.— Вы должны проложить нам путь.

— Берегите себя,— сказала Лоис.

— И пиши изредка,— добавила Джо Фэрз.

— Спасибо за все, Джо,— сказал Эдибхой.— Вы обе много сделали для всех нас, а ты очень много сделала для меня. Спасибо! И вам, Лоис, спасибо. Берегите тут моего землячка.

Все были немного навеселе. Даже Лэнвуд и Удомо. Выпито было две бутылки шампанского.

— Приготовь мне там домик,— сказал Мхенди,— и пусть меня ждет в нем простая милая женщина.

— Будет сделано, друг! Будет сделано!

— Прошу пассажиров занять места,— раздался голос кондуктора.

Эдибхой повернулся к Удомо, улыбка исчезла с его лица. Глаза стали холодные и серьезные.

— Что ж, землячок, пора...

— Да,— сказал Удомо,— и помни, я жду.

Они крепко пожали друг другу руки. Удомо почувствовал, что свободной рукой Эдибхой сует ему что-то в карман.

— Тебе они здесь пригодятся.

— Для меня важнее другое.

— Я знаю, земляк. Не подведу тебя.

Кондуктор быстро шел вдоль состава, закрывая двери.

— О, Дик...— сказала Джо Фэрз; казалось, она голько сейчас осознала, что он действительно уезжает. Она порывисто обняла его и отвернулась.

Эдибхой пожимал всем руки.

— Побыстрей! — крикнул кондуктор и, приложив к губам свисток, засвистел.

Эдибхой вошел в вагон. Поезд тронулся.

Вот так и он уедет, подумала Лоис. И тут же почувствовала на себе внимательный взгляд Мэби.

— Вот так и он уедет,— прошептала она.

— Так уедем мы все. Мы принадлежим Африке, а не Африка нам.

Эдибхой дошел до окна и высунулся.

— Теперь все зависит от тебя! — крикнул Удомо, в голосе его звучало волнение.

Эдибхой молча кивнул и замахал. Белый платок долго трепетал в окне, пока наконец не исчез из вида.

— Начало положено,— сказал Лэнвуд.

Удомо сунул руку в карман и нащупал пачку фунтовых банкнот, которые сунул туда Эдибхой.

— Да,— сказал он,— начало положено. Пошли!

Когда они выходили из вокзала, Лоис взяла его под руку.

В тот же вечер Удомо перевез свои вещи к Лоис.

■

Месяц спустя Джо Фэрз потеряла работу.

В свое первое безработное утро она вышла в гостиную в легком халатике. Удомо сидел за письменным столом в углу возле стеклянной двери — он превратил этот уголок в свой кабинет — и читал первое письмо от Эдибхоя.

— Привет, Майк! Вы уже завтракали?

Он на миг поднял глаза:

— Давным-давно. Вместе с Лоис.

— Несколько дней я буду отсыпаться. Боже, до чего хорошо ничего не делать! Эту неделю я, пожалуй, не буду искать работу. Хотите кофе?

— Хочу.

Она пошла варить кофе.

Пустое письмо, разочарованно думал Удомо. Правда, Эдибхой недавно приехал. Глупо ожидать чего-то, кроме известия о приезде. И все же...

Он отложил письмо и стал перепечатывать статью для следующего номера «Освободителя». Если бы только можно было печатать его в типографии! Эти проклятые восковки съедали у них с Лоис все время. Ничего, когда-нибудь так и будет. Он работал, не отрываясь, пока не вошла Джо Фэрз, неся поднос, на котором стоял кофе и ее завтрак.

— Ух, какая роскошь! — воскликнула она.

Она поставила поднос на табурет, бросила на пол подушки с дивана и уселась на них, прислонившись спиной к стеклянной двери. Длинные золотистые волосы в беспорядке падали ей на лицо, рассыпались по плечам. Халатик распахнулся, обнажив ногу до самого бедра.

— Вот это жизнь! Как жаль, что я потеряла работу сейчас, а не когда вы с Лоис были на юге. Я бы приехала к вам. Я обожаю солнце.

Удомо поднял глаза от бумаг и взглянул на ее стройную обнаженную ногу.

— Вам не мешало бы одеться.

Джо покатилась со смеха.

— Ну, Майк, не разыгрывайте из себя святошу.

— Мне нужно работать.

— А я вас отвлекаю? — Она, казалось, была в полном восторге.

— Да! — холодно ответил он.

— Разве я вам не нравлюсь?

— Вы мне нравитесь, но мне нужно работать. Можете помочь мне, если хотите.

— Нет, только не сегодня.

— Тогда уходите и не мешайте мне.

Она наблюдала за ним, сдвинув брови.

Он снова принялся печатать, но сосредоточиться уже не мог.

— Майкл! Так вас называет Лоис. Майкл! Она выговаривает это имя, будто поет. Майкл!

Он поднял глаза, стараясь не смотреть на ее ногу, но глаза не слушались.

— Если вы будете мне мешать, я скажу Лоис.

— Большой, сильный Майкл пожалуется Лоис! — Насмешливо воскликнула она.— Ну и жалуйтесь на здоровье! А что вы ей скажете? Что если бы у вас этого не было на уме, то и я бы об этом не подумала?

— Неужели вы могли бы предать свою подругу?

— А вы, Майк, неужели вы могли бы предать любимую женщину, да еще когда она боготворит землю, по которой вы ступаете?

Она встала. Удомо не сводил с нее глаз, он чувствовал, что пьянеет при мысли о ее молодом теле, стройных ногах, скрытых теперь халатом, от ее золотистых волос.

Она взяла поднос и пошла к двери.

— Джо...

Она обернулась.

— Что вам?

— Лоис — ваша подруга.

— И ваша любовница.

— Не стоит о ней так говорить.

— Но это так.

— Она хороший человек.

— Совершенно верно. Я ухожу.

Он встал и двинулся к ней.

— Поздно.

— Я знаю, что поздно. Вы уже предали ее.

— Почему вы это сделали?

— Потому что я — женщина, потому что я молода, потому что я ей завидую — вы ведь все любите ее,— потому что мне приятно сознавать свою силу и потому что это вы...

Он коснулся ее и почувствовал, что она вся дрожит. Дрожь охватила и его. Он притянул Джо к себе одной рукой. Взял у нее поднос и поставил на стул. Она вздохнула, открыла дверь и первая пошла по коридору

к себе в комнату. Глаза у нее сияли торжеством. Она переступила порог, повернулась к нему, подняла на него глаза, и ей вдруг стало страшно...

■

Когда Лоис вернулась домой из школы, оба усердно печатали.

— Господи, эти чертенята были сегодня невыносимы. Как дела, Майкл? — Она нагнулась и поцеловала его в щеку.

— Пойду заварю чай,— сказала Джо Фэрз.

Удомо встал и потянулся.

— Сходим вечером к Мэби? Я сегодня хорошо поработал.

— Не могу, милый. Нужно проверить кучу тетрадок. Но ты иди. Поул будет рад тебя видеть.— Она подошла к письменному столу.— А! Письмо от Эдибхоя. Что он пишет?

— Ничего особенного. Прочти сама. Рассказывает, как доехал.

Лоис взяла письмо и заметила, что рука ее дрожит. Она знала, в один прекрасный день придет вот такое письмо, и он соберется и уедет. Но это будет не скоро. Может, через год, может, и больше. Ну, конечно... Она ухватилась за эту мысль, постепенно дрожь в пальцах унялась. Она посмотрела на Удомо с какой-то особой нежностью.

— У тебя усталый вид, Майкл.

— Я много работал.

— Как хорошо, что Джо помогла тебе.

— Жаль только, что она много болтает.

— Она еще очень молода. Не сердись на нее.

— Да нет, в общем она молодец...

Джо Фэрз вернулась с чаем.

— У тебя вид не лучше, чем у Майкла. Вы что, весь день не выходили из дома?

— Да.— Джо смотрела мимо нее.

Лоис вскользь подумала, что Джо как будто чем-то подавлена.

— Сходила бы ты с Майклом к Мэби. Сделайте крюк и пройдитесь парком. Вам обоим не мешает подышать свежим воздухом. А к вашему приходу я приготовлю ужин.

— Я лучше останусь дома,— поспешно возразила Джо. Она взглянула на Лоис и тут же отвела глаза. Я должна как-то объяснить, подумала она.— Мне нужно привести в порядок свои платья. Я, наверно, съезжу в Париж на несколько дней.

— Иди, иди, проветришься немного.

Джо лихорадочно искала другую отговорку, но ничего не могла придумать. Мысль о встрече с Мэби страшила ее. Он только посмотрит на нее своими большими холодными глазами и сразу обо всем догадается. И что тогда? Да нет, совсем не Мэби она боялась, а Удомо. Или нет? О, господи! Она почувствовала, что Удомо наблюдает за ней, и вся задрожала. Удомо встал и поставил свою чашку.

— Ну, марш! — сказала Лоис.— Ужин будет готов в девять. Постарайтесь не слишком опаздывать и передайте Поулу от меня привет.

Джо Фэрз нехотя встала, надела пальто и вышла вслед за Удомо на улицу, в промозглые вечерние сумерки.

■

В эту ночь Джо Фэрз долго не могла уснуть. Поул ничего не заметил. У него были гости, и он ничего не заметил. А Удомо? Она уже и в мыслях не могла называть его Майк. Удомо, Удомо, Удомо. Завтра утром она уедет в Париж. Очень жаль, что она уезжает и не сможет печатать восковки,— вот и все, что он сказал ей, когда они шли через парк.

Она готова сделать все, что угодно, только бы он не смотрел на нее, как на самую последнюю дрянь, только бы не чувствовать себя последней дрянью. Лоис ничего не поняла, ни о чем не догадалась. Ничего не поняла и ни о чем не догадалась. Но ведь я же люблю его! Мерзкая тварь! Нашла, в кого влюбиться! У детей есть матери. У меня нет, никогда не было. Будь у меня мать, я бы уткнулась ей в колени и выплакала свое горе. У всех есть матери. У меня был только отец, он женился на другой, и та женщина сделала все, чтобы я ушла из дому. Жалкая, грязная потаскушка, говорят его глаза! Боже мой! Разве так плохо — хотеть быть любимой?Любишь его, любишь всем сердцем, а в ответ читаешь в его глазах, что ты — жалкая, грязная потаскушка! Мамочка милая, которую я никогда не знала...

— О боже!

Она откинула одеяло, надела халат и пошла в ванную.

Мертвая тишина стояла в доме. Полоски света под *их* дверью не было. Она ощупью нашла в темноте аптечку. Можно обойтись и без света. Взяла флакон. Нет, без света все-таки не обойдешься. Повернула выключатель. Налила в стакан воду, положила в рот таблетки и запила. Теперь-то уж я усну, решила она,— крепко, до утра. Она вернулась к себе в комнату и легла в постель. Грелка остыла, и она выкинула ее. Поплотнее укуталась одеялом и закрыла глаза. Но все равно она заснула не скоро.

В соседней комнате Лоис лежала и думала: что-то сегодня было не так. Может, Майкл стал охладевать к ней? Может, она допустила какую-то неловкость? Никогда еще их ласки не были так натянуты.

— Майкл...

Спит. Пусть спит. Просто он очень устал. Это такой деликатный вопрос, тут надо быть осторожной. Тут с плеча рубить нельзя. Придется поговорить с ним. Когда любишь, отвечаешь желанию любимого, даже если тебе не очень этого хочется. Это — одна из главных опасностей, которые подстерегают любовь, особенно в самом ее начале. Мы еще поговорим об этом, милый. Она повернулась на бок, легла поудобнее и закрыла глаза.

■

Джо Фэрз проснулась в испуге.

В первый момент ей показалось, что голова Удомо упирается в потолок. Он сдернул с нее одеяло и простыню и стоял, глядя на нее, глубоко засунув руки в карманы халата. Она мельком, как о чем-то далеком, вспомнила — они с Лоис ходили в одну из суббот покупать этот самый халат. Лоис!..

— Лоис! — прошептала она.

— Она ушла. Уже поздно, скоро десять,— сказал он неприязненно.

Он развязал пояс халата. На какой-то миг в ней поднялся протест, но тут же ее захлестнуло желание. Только поласковее, пожалуйста, поласковее.

— Будь поласковее со мной, Майкл,— сказала она.

Потом подвинулась, давая ему место. На этот раз дрожь охватила только ее одну.

4

Удомо поднял голову и прислушался. Что-то стукнуло у входной двери — или это ему показалось? Все было тихо, дверь никто не отпирал. Но ведь он ясно слышал стук. Он оттолкнул стул, встал и быстро вышел из комнаты. Да, он не ошибся — приходил почтальон. Лежащий на коврике зеленовато-голубой конверт был знаком ему. Письмо от

Эдибхоя. Он постарался побороть охватившее его волнение. Вполне возможно, что и это письмо ничем не отличается от предыдущих. Вот уже три месяца каждый зеленовато-голубой конверт пробуждал в нем надежду, и каждый раз — ничего нового. Ничего. Может, он ошибся в Эдибхое? Нет, нет и нет! Такие дела быстро не делаются. Но, господи, почему они делаются так медленно! Ладно, спокойствие прежде всего. Это письмо ничем не отличается от предыдущих. Ничем не отличается от предыдущих.

Он жадно уставился на письмо. Если бы только... Нагнулся, подобрал конверт и поскорее вернулся из холодной передней в гостиную. Брр, до чего холодно! Даже газ, горевший в полную силу, не мог одолеть холод. Он обошел письменный стол и выглянул в окно. Крупные снежные хлопья лениво кружились в воздухе и как бы нехотя опускались на землю. Про них нельзя было сказать, что они падают. И земля лежала, укрытая белым покрывалом, легким, как взбитые сливки.

Он перестал смотреть на летящий снег и вскрыл конверт.

«Дорогой земляк!

Письмо будет коротким — через полчаса у меня операция. Рад сообщить тебе, что дело сдвинулось наконец с мертвой точки. На будущей неделе я должен встретиться с тремя коммерсантами; думаю, что какие-то результаты эта встреча даст. Свободные деньги у них есть, и я постараюсь внушить им, что в их интересах вложить эти деньги в нашу газету.

Ты, я знаю, считаешь, что нам необходимо заручиться поддержкой вождей и старейшин. Но они не желают поддерживать нас. Вот уже три месяца я стараюсь привлечь их на нашу сторону. И я убедился, что их интересует только собственное положение, места в ассамблее и приемы у губернатора. Толка от них не будет, земляк, и нам придется обойтись без них. Если их ждать, то мы, пожалуй, никогда не начнем. Они и не думают об освобождении народа, об освобождении Африки. Они продажны насквозь. Если я уговорю этих коммерсантов и они выложат деньги, ты сможешь приехать, и мы начнем. Надеюсь, ты согласишься. Другого способа вытащить тебя сюда я не вижу. Напиши, что ты одобряешь...»

Далее шли приветы Лэнвуду и остальным и несколько слов о своей жизни. Напиши, что ты одобряешь... Удомо перечитал письмо. Напиши, что ты одобряешь...

— Черт бы побрал всех этих вождей и старейшин! — вскричал он.

Он подошел к письменному столу и сел. Итак, они не хотят поддержать нас. Даже ради освобождения своей собственной страны! Что ж, если они не хотят, а коммерсанты хотят, придется иметь дело с коммерсантами. Но народ, пойдет ли он за ними без вождей и старейшин?.. Пойдет ли он? А если другого пути нет?.. Значит, нужно перетянуть народ на свою сторону. Это — единственный путь!

Удомо вставил в машинку лист почтовой бумаги. Подумал, вынул, подложил под него копирку и чистый листок и снова вставил. Он печатал:

«Дорогой Дик!

Только что получил твое письмо и спешу ответить, чтобы ты начал немедленно действовать. Ты знаешь, почему я считал, что на первых порах для нас особенно важно иметь поддержку вождей и старейшин, но если они не желают сотрудничать с нами, обойдемся и без них. Это будет нелегко, потому что народ у них в руках. Но народ мы как-нибудь на свою сторону перетянем. Уговори коммерсантов, чтобы они оплатили мой проезд домой. Скажи им, что, когда я приеду, мы сможем все обсудить и наметить план действий. Только не обещай им, по возможности, ничего серьезного. Это очень важно. Ты понимаешь меня... Обещай им места в руководстве партии, когда она будет организована,— место патрона, президента, даже казначея, но ни в коем случае не давай никаких

обещаний в отношении нашей будущей политики. Скажи, что подобные вопросы лучше всего будет обсудить со мной, когда я приеду. Я сообщу обо всем членам нашей группы, а ты действуй...»

■

Хлопнула входная дверь.

Удомо откинулся на спинку стула и ждал. Для Лоис рановато, подумал он. А что, если она потеряла работу, как тогда все сложится? Интересно, теряют ли когда-нибудь работу учителя?

Вошла Джо Фэрз.

— Ты что-то рано,— сказал Удомо.

Она устало опустилась на стул.

— Что-нибудь случилось? — спросил он.

Она подняла на него глаза. В них было отчаяние. Вид измученный, лицо осунулось. Он и прежде замечал, что она похудела за эти месяцы, но только сейчас увидел, как сильно она изменилась.

— Ты должен помочь мне, Майкл,— сказала она.

Отчаяние, звучавшее в ее голосе, заставило его насторожиться.

— В чем дело?

— Мне стало плохо в конторе,— сказала она.— Прямо в конторе — раньше хоть дома. Я все испробовала. Теперь ты должен помочь мне. Я думала сделать все сама. Не хотела тебя беспокоить. Но ничего не получается. Ты должен помочь мне, Майкл.

— Да о чем ты?

— Я беременна.

Удомо долго молчал, потом резко сказал:

— Не может быть!

— Я пыталась сама...

Одним скачком он пересек комнату и очутился перед ней — огромный, давящий.

— Нет! — он сорвался на крик.— Ты врешь!

Но взглянув ей в глаза, понял, что это правда. Он с трудом подавил бешеное желание ударить ее.

— Почему ты не сказала мне?

— Я хотела сама...

Он прошел обратно к столу.

— Сколько времени?

— Около трех месяцев.

Ярость и страх овладели им.

— Идиотка! Дура! Ты должна была сказать мне!

— Я знала, что ты будешь ругать меня. И думала, что смогу все сделать сама.

Спокойно, говорил он себе, нужно взять себя в руки.

— Кто-нибудь знает?

— Никто.

— Ты была у доктора?

— Нет.

— Что ты скажешь Лоис, если она узнает?

— Она не должна знать.

— Но что ты ей скажешь, если она все-таки узнает?

— Не знаю.

— Должна знать.

— Что ты хочешь, чтобы я сказала?

— Скажешь, что виноват кто-нибудь из твоих друзей.

— Но она поймет, Майкл. Ведь ребенок будет цветной... И он будет похож на тебя. Она сразу поймет.

— Если ребенок родится. Но он не родится.

— Тогда зачем...

— Она может узнать, что ты принимаешь меры, чтобы избавиться от ребенка, или что ты уже сделала аборт. Тебе придется объяснить ей.

— Скажи ей правду, Майкл. Попроси ее помочь нам. Она простит тебя, если ты обо всем расскажешь и попросишь прощения. Она любит тебя, Майкл.

— Ты бы лучше подумала об этом, когда заманивала меня своими ляжками. Черт бы тебя побрал! Сама говорила, что не маленькая... Виноват один из твоих друзей. Понятно?

— Тебе не приходит в голову, Майкл, что я и так уже очень наказана?

— Виноват один из твоих друзей. Поняла?

— Да. Я поняла.

— А теперь уходи. Я хочу подумать.

Джо Фэрз пошла к двери, потом обернулась и посмотрела на Удомо.

— Майкл...— и подумала: прежде я называла его Майк.

— Да?..

— Неужели тебе нисколько не жаль меня? Ведь для меня это кошмар.

С минуту Удомо холодно смотрел на нее. Потом лицо его смягчилось. Глаза подобрели. Он встал и подошел к ней. Сочувственная улыбка тронула уголки губ. Он обнял ее за плечи.

— Прости меня, Джо. Я не хотел обижать тебя. Просто мне стало страшно. Очень уж это неожиданно свалилось на меня. Но мы избавимся от этого. Обещаю тебе. И все будет хорошо.

— И Лоис не должна ничего знать. Ты прав, Майкл. Она сделала нам обоим столько хорошего. И потом, она так тебя любит. Ты правда думаешь, что все обойдется? Еще не поздно?

— Обойдется, ты только слушай меня. И помни, если Лоис что-то узнает, виноват один из твоих друзей. Ты потом сама поймешь, что так будет лучше для всех нас.

— Мне ужасно стыдно, Майкл. Никто в жизни не был так добр ко мне, как Лоис.

— Тем более она не должна знать. А теперь мне нужно подумать, к кому обратиться за помощью.

Джо вышла. Впервые за эти долгие месяцы ей стало легче.

Лишь только дверь за ней закрылась, выражение сочувствия сошло с лица Удомо. Он вернулся за свой стол, закрыл глаза и стал перебирать в памяти всех знакомых ему африканцев — студентов медицинского факультета. Они, как живые, вставали в его воображении, и каждого он рассматривал внимательно, холодно и придирчиво, стараясь определить, верный ли это человек, можно ли на него положиться. Наконец он открыл глаза. Полез под стол и достал картотеку. Вынул карточку. Улыбнулся невесело. Сунул карточку в карман, поставил картотеку на место и встал. Пошел в спальню. Замотал шею двумя шерстяными шарфами и надел пальто. Джо Фэрз что-то делала в кухне. Он заглянул туда.

— Я нашел, кого нам нужно. Сейчас схожу к нему. Постараюсь, чтобы завтра он был здесь. А ты лучше ложись до прихода Лоис. Скажи, что плохо себя чувствуешь. И в контору завтра не ходи.

— Ты думаешь, обойдется?

— Если будешь слушаться меня.

Он натянул капюшон на голову и переступил порог, за которым кружила вьюга.

■

Лоис с шумом захлопнула дверь и принялась топать ногами и стряхивать снег с пальто. Она прислонилась к стене и стала расстегивать

ботинки. Ботинки были на меху, но все равно ноги одеревенели от холода. Застывшие пальцы плохо слушались.

— Майкл,— весело закричала она,— Майкл, на помощь! Твоя благоверная окоченела. Чай-то хоть готов? Господи! Ну и холодище!

— Его нет,— отозвалась Джо Фэрз из своей комнаты.

— Ты дома, Джо?

Лоис пошла к ней в комнату.

— Что случилось?

— Меня вырвало в конторе.

Лоис присела на краешек постели. Взяла Джо за руку.

— Это ведь давно тянется. Правда? Я уже месяца два замечаю, как ты чахнешь. Я все ждала, что ты поделишься со мной. Ведь раньше ты ничего от меня не скрывала. Мужчина, да? Ты сейчас можешь говорить об этом?

— Принесите чашку. Я только что заварила чай.

Лоис принесла чашку и налила чаю.

— Майкл ушел вскоре после того, как я вернулась. Просил передать, что постарается не очень задерживаться.

— Он не говорил, куда идет?

— Нет. Сказал только, что ему нужно повидать одного человека.

— Для него это такое мучение. Он ненавидит холод.

— О, Лоис...

Джо Фэрз вдруг вся содрогнулась от беззвучных рыданий.

Лоис нагнулась к ней, обняла за плечи, прижала к груди и стала баюкать ее, как мать баюкает ребенка, которого сильно обидели. Буря разразилась в душе Джо Фэрз. Рыдания сотрясали ее. Буря набирала силу. Приступ отчаяния становился неистовее. Она рыдала громко, безутешно. И все это время Лоис баюкала ее, как баюкает мать обиженного ребенка, баюкала, пока буря не улеглась, пока рыдания не сменились всхлипыванием, а всхлипывание — прерывистым дыханием.

— Успокойся, успокойся, девочка моя. Теперь тебе станет легче. Я дам тебе лекарство, ты выпьешь его и уснешь. Мне очень стыдно, что я совсем забросила тебя. Счастье делает человека эгоистичным...

— Не говорите так, Лоис. Не говорите!

— Хорошо, хорошо, дружочек, не буду. Если я чем-нибудь могу тебе помочь, скажи мне.

— Вы и так столько для меня сделали, я не заслуживаю этого.

— Лежи спокойно, детка. Не думай ни о чем. Сейчас я принесу лекарство, и ты уснешь. А завтра тебе будет гораздо лучше, и тогда ты все мне расскажешь.

Лоис опустила голову Джо на подушку и пошла в ванную. Скоро она вернулась оттуда с рюмкой.

— Выпей это, девочка. Ты сразу заснешь.

Джо взяла рюмку, выпила снотворное. И вдруг ее лицо исказилось.

— Я не могу больше,— захлебывалась она.— Не могу. Я должна сказать вам.

— Не надо сейчас ни о чем говорить, девочка. Утро вечера мудренее.

— Сейчас! — взвизгнула Джо.— Сейчас! Я не вынесу больше!

Лоис наклонилась и неожиданно шлепнула Джо по щеке. Джо сразу замолчала. Лоис быстро подошла к окну, задернула шторы. Затем взяла поднос с чашками, потушила свет и вышла.

— Завтра все будет представляться не в таком мрачном свете,— прошептала она, прикрывая дверь.

Лоис пошла в гостиную. Майкл оставил огонь в камине. Спасибо ему. Она прошлась по комнате. Его присутствие чувствовалось во всем — от этого было тепло и покойно. Бедная девочка. Наверно, у нее роман

с женатым. Это ее первое серьезное увлечение. Все остальное было просто так — дань юности. Она сейчас очень нуждается в помощи. Что бы там ни говорили знатоки, юность и первая настоящая страсть — самая трудная пора в жизни женщины. Странно, что первую любовь юная девушка часто отдает женатому мужчине не слишком строгих правил. Бедная девочка! Как ей сейчас тяжело!

Она села за стол Удомо. Еще одно письмо от Эдибхоя. Она пробежала его. Да, день наступит. Но теперь она знала, что разлука будет временной. Она поедет к нему, где бы он ни был. Ее жизнь сплелась с его жизнью, питалась его любовью, черпала в ней силы.

Она прочла торчавшее в машинке письмо. Да, настанет день, и он уедет. Уедет, чтобы выполнить то, что предназначено ему судьбой. Но теперь она могла думать об этом спокойно. Их сердца слились в одно. И если он останется жив — а она чувствовала, что он останется жив и победит,— она поедет к нему.

Она просмотрела бумаги, над которыми он работал. Как он много работает — больше всех остальных членов группы, вместе взятых. В нем вся их сила. Его приезд всколыхнул их всех. Раньше это была просто группа мечтателей. Теперь она превратилась в настоящую организацию. Мечты сменились планами. Даже Мхенди забыл свой скептицизм. Он и пить перестал. И хотя главой по-прежнему оставался Том, обращались они за всем к Майклу и больше всего считались с его мнением. И все это за какие-нибудь полгода. И журнал «Освободитель», который сначала казался всем безумной затеей, теперь имел подписчиков во всем мире, хотя по-прежнему печатался на ротаторе. Какое счастье, что теперь они могли позволить себе отдавать печатать восковки на сторону. Майкл чуть не плясал от радости, когда в Совете наций сослались на «Освободителя», как на «авторитетный журнал по делам Африки». Они услышали это по радио, Майкл был так счастлив, что даже выпил немного вместе со всеми.

Внезапно на какое-то мгновение она, словно со стороны, взглянула на себя — как она сидит за столом любимого человека.

— Господи, да ведь я его просто обожествляю! — вслух сказала она.

Но потом это прошло, и она опять не могла отделить его от себя.

Она встала, подошла к шкафу и взяла книгу. Устроилась поуютнее у камина и почитала до девяти. Затем включила радио. Прослушав новости, она пошла к Джо. Тихонько приоткрыла дверь. Джо спала тяжелым, крепким сном, громко всхрапывая. Лоис зашла в кухню и приготовила легкий ужин. Отнесла тарелку в гостиную и, продолжая читать, поела.

В половине одиннадцатого она легла спать. Она не стала выключать камин. В кухне оставила на слабом огне кастрюльку с жарким. Положила две грелки с горячей водой с его стороны постели. Он вернется замерзший, усталый и голодный. И ему будет приятно, что она позаботилась о нем...

За окном валил снег. Снежные хлопья больше не кружились в воздухе — они падали быстро и часто.

Сквозь сон Лоис слышала, как Удомо ложился в постель,— он вернулся около полуночи. Она инстинктивно прижалась к нему, согревая его своим телом.

■

Джо Фэрз проснулась. Она встала с постели, подошла к окну и раздернула шторы. Было совсем светло, и снег все шел и шел. Она взглянула на часы. Двенадцатый час. Лоис уже ушла, дома только Майкл. Она пошла обратно к кровати. Нужно одеться, прежде чем выходить к нему.

Он постучал в дверь. Она схватила халат, но не успела запахнуть его, как он вошел. Он заметил отчаянную торопливость ее движений и усмехнулся.

— Доброе утро!

— Я проспала.

— Лоис сказала, что дала тебе снотворное. Принести завтрак? Лоис сказала, чтобы я не позволял тебе вставать.

— Я хочу одеться.

— Мой приятель может прийти в любую минуту. Опять придется раздеваться.

— Ну и пусть!

— Как хочешь.

— Может, ты уйдешь?

— Ты что, стесняешься меня? — Он улыбнулся.

— Оставь меня, пожалуйста.

Он вышел и притворил за собой дверь. Она подождала, пока не закрылась дверь в гостиную, и стала с лихорадочной поспешностью одеваться. Потом села на кровать — запыхавшаяся и обессиленная. К горлу, как всегда утром, подступила тошнота. Она кинулась в ванную и заперла за собой дверь.

В соседней комнате сидел Удомо. Он то и дело отрывался от полученных с утренней почтой писем и посматривал на часы. Студент сказал, что придет после половины девятого, обещал не задерживаться. Значит, пока надо заняться делом — работы уйма. Он прочел вслух лежавшее сверху письмо. Но так и не понял, о чем оно. Встал и прошелся по комнате. Этот проклятый студент должен быть уже здесь. Вчера весь вечер пришлось просидеть под его дверью. Может, он передумал? Нет, это исключается. Он придет. Он свой. Почему же его до сих пор нет? Проклятие! Подумать только, что из-за этого должна страдать его работа. Вот идиотка! Чтобы женщина не знала, как уберечься! Как только со всем этим разделаюсь, уговорю Лоис расстаться с ней, а то бог знает, что ей еще втемяшится в голову! Лоис говорит, что вчера вечером она закатила настоящую истерику. Да, конечно, от нее надо избавиться, пока она не натворила беды. Ну что за сволочь! Почему он не идет!

Удомо подошел к окну и остановился, глядя на падающий снег. Вернулся к столу и снова попробовал прочесть письмо. Пустая затея! Работать он не мог. Буквы сливались перед глазами. Черт бы побрал эту дуру — попасть в такое положение! Почему же все-таки его до сих пор нет?

В ванной Джо выпрямилась и утерла слезы. Только что кончился приступ рвоты. И теперь она совсем ослабела. Ей пришлось держаться за стену, чтобы добраться до умывальника. Она прополоскала рот, выпила немного воды, и ей стало легче. Я уеду, как только с этим будет покончено, решила она. Я должна уехать, пока Лоис не догадалась, я не могу сделать ей больно. Но ведь он все равно сделает ей больно. И, может быть, чем раньше она узнает его, тем будет лучше. Боже милостивый, научи меня, как поступить. Она — единственный человек, который всегда, всегда хорошо относился ко мне. Если я скажу ей, для нее это будет ужасно... А не скажу, она так и будет верить ему. И чем дольше будет верить, тем труднее ей будет потом. И если она узнает слишком поздно, это убьет ее. Она ведь уже сейчас его боготворит. Но я не могу нанести ей этот удар. Она слишком добра ко мне. Да, я трусиха! Сама знаю. Но скажи мне, господи, ведь я права, что не хочу причинять ей боль. Я уеду, как только все кончится. Уеду и никогда больше не увижусь с ней, а ведь кроме нее меня никто по-настоящему не любил. Она меня любит, как мать любит своего ребенка, как старшая сестра — глупенькую младшую сестру. Господи, помоги мне!

Она отперла дверь. Удомо услыхал ее шаги и появился в дверях гостиной.

— Он что-то запаздывает, Джо. Да, я чуть было не забыл — Лоис сказала, чтобы я накормил тебя завтраком, а этот парень предупреждал, чтобы ты ничего не ела. Хочешь, я приготовлю тебе чашку чая?

— Спасибо. Я сама.

— Я тоже выпил бы. Принеси чай ко мне.

Она пошла в кухню. Он вернулся в гостиную. Походил по комнате. Может, у него есть телефон. Он схватил телефонную книжку и стал поспешно листать ее. Нет, телефона не было.

Джо принесла ему чашку чая.

— А ты?

— Я буду пить у себя.

— Здесь теплее.

— Мне больше нравится моя комната.

Он пристально посмотрел на нее.

— Ты теперь всегда будешь так держаться?

— Да, пока я здесь.

— Так. А что подумает Лоис, как по-твоему?

— Она не успеет заметить.

— Значит, переезжаешь?

— Да.

— Когда?

— Сегодня. Если только смогу держаться на ногах после визита твоего приятеля.

— Почему?

— Ты не догадываешься?

— Ты стала другая. Теперь ты мне нравишься больше. А куда ты переезжаешь?

— Тебе ведь все равно, зачем же спрашивать?

— Мне интересно. Принеси сюда свой чай и давай поговорим. Скоротаем время до прихода этого идиота.

— Я предпочитаю коротать время у себя в комнате.

Она ушла. Он пожал плечами и стал пить чай. Потом подошел к входной двери и выглянул на улицу. Холод загнал его обратно в теплую гостиную. Черт бы побрал этого парня.

К часу дня он пришел в совершенное отчаяние. Он подумал, что ошибся, доверился ненадежному человеку. Он подошел к комнате Джо, постучал, попробовал дверную ручку. Дверь была заперта.

— Это еще что за фокусы? — заорал он вдруг в припадке ярости.

— Пришел твой приятель?

— Не пришел. Открой немедленно. Я хочу поговорить с тобой.

— А я не хочу. Открою, когда он придет.

Удомо прошествовал обратно в гостиную и хлопнул дверью.

Звонок прозвенел в половине второго. Удомо кинулся открывать. Руки плохо его слушались.

— Извините, что я опоздал...— начал тот.

— Главное, что вы здесь,— перебил его Удомо.— У нас очень мало времени. До четырех часов вы должны кончить. Вчера я вам объяснил почему.

— Я сделаю все от меня зависящее. Но если кто-то придет в четыре часа, я могу попасть в скверную историю.

— Может прийти только... женщина, с которой я живу. Ее вам опасаться нечего, ручаюсь.

— Ну тогда все в порядке.

— Да, конечно. Никаких неприятностей у вас не будет. Даю слово.

Удомо ввел студента в гостиную.

— Сейчас я ее позову,— сказал он.

Он подошел к комнате Джо и постучал.

— Мой приятель пришел.

Она отперла дверь и пошла вслед за ним в гостиную.

— Знакомиться не обязательно,— поспешно сказал студент.— Мне не нужно знать ваше имя, вам не нужно мое.

— Смогу я иметь детей после этого? — спросила Джо.

Она смотрела на него в упор. Он старательно обходил ее взглядом.

— Конечно. Я ведь только сделаю вам уколы. Может быть, хватит одного.

— Вы уверены, что я смогу иметь детей?

— Безусловно.

— Ну что ж. Тогда давайте поскорее кончать с этим.— Она старалась подавить нарастающий страх.

— Вы побудете здесь,— сказал студент Удомо.— Если мне что-нибудь понадобится, я вас позову.— И затем, обращаясь к Джо: — Проводите меня в свою комнату, пожалуйста.

■

Через час студент вернулся в гостиную. Удомо, меривший шагами комнату, остановился.

— Все?

— Я только что сделал ей укол.

— И вам понадобилось для этого столько времени?

— Нет, друг мой. Нужно было сначала очистить ей желудок. В таких случаях торопиться — значит навредить пациенту. Сделать ребенка проще, чем избавиться от него.

— Сколько времени это займет?

— Посмотрим.

Дверь оставалась открытой. Они услышали, как застонала Джо, и студент поспешил к ней. Удомо снова начал шагать по комнате...

■

Студент появился в гостиной через полчаса.

— Еще немного, и все было бы в порядке. Придется попробовать еще раз.

Удомо взглянул на часы. Их тиканье отзывалось болью во всем его теле.

— Побыстрее, пожалуйста... Вкатите ей дозу побольше. Через час вернется Лоис.

— Лоис?

— Да, та женщина, о которой я говорил. Пожалуйста, побыстрее. Поймите меня. Я не хочу, чтобы она узнала.

— Тут нужна осторожность, не то я могу навредить девушке.

— Да, конечно... Но все равно побыстрее.

■

В половине четвертого студент вышел к Удомо и сказал:

— Случай трудный.

К четырем стоны Джо перешли в пронзительный вопль. Сначала она с плачем металась по постели, кричала, зовя на помощь Удомо. Потом ее крики превратились в один протяжный бесконечный вопль:

— Майкл, Майкл, Майкл...

Удомо закрыл дверь в гостиную, чтобы не слышать этого пронзительного вопля. Он сидел перед горящим камином, забившись в кресло, закрыв глаза, у него было только одно желание — чтобы это поскорее кончилось.

Никто не слышал, как вернулась Лоис. Еще с порога услышав крики Джо, она бросилась в ее комнату. Студент едва взглянул на нее.

— Горячей воды и побольше тряпок, — коротко приказал он.

— Майкл! — кричала Джо.

И Лоис поняла.

Она принесла тряпок и горячей воды.

Наконец все было кончено. Студент дотронулся до лба Джо, пощупал пульс.

Джо открыла глаза и увидела Лоис.

— Так это был Майкл, — сказала Лоис.

— Простите меня... — с трудом выговорила Джо. — Простите.

— Ей необходимо уснуть, — сказал студент.

Он захватил кожу на руке Джо и быстрым движением ввел под кожу иглу.

Наступившая тишина вывела Удомо из оцепенения. Он вошел в комнату Джо и увидел Лоис. Загоптался на месте. Лоис мельком взглянула на него, потом повернулась к студенту.

— Все кончено?

— Да.

— От вас больше ничего не требуется?

— Нет.

— А как снотворное?

— Она проспит около часа.

— И больше ничего не надо?

— Нет.

— Тогда идите.

— Лоис... — сказал Удомо.

— Идите, — повторила она, обращаясь к студенту.

Он взял свой чемоданчик и пошел. Проходя мимо Удомо, поднял на него глаза.

— Мне очень жаль... Я сделал все...

Он проследовал к двери и вышел на улицу.

— Лоис... — начал Удомо.

Она посмотрела на него помертвевшими глазами.

— Я ухожу, — сказала она. — Вернусь через час. Если ты еще будешь здесь, я позову полицию и расскажу, что ты сделал...

— Но, Лоис! Дай мне объяснить. Это же так... Ровно ничего не значит. Этой девчонке просто...

— Довольно! Посмотри на меня! Я не шучу, понимаешь? Через час...

— Но куда же я денусь в такой холод?

Она вынула ключ из двери Джо, вложила в скважину со стороны коридора, повернула его и положила в карман пальто. Затем протянула к нему руку ладонью кверху:

— У тебя мой ключ.

— Выслушай меня, Лоис. Ты же знаешь, что я тебя люблю. Вспомни, как одинока ты была раньше. Ты сама говорила мне. Неужели мы позволим ей испортить все это? Я обещаю тебе, никогда больше...

— Если ты не вернешь мне ключ, я вызову полицию сейчас же...

Ее спокойствие испугало его.

— Мой ключ, — сказала она.

Он достал ключ из кармана и положил ей в руку.

Она взглянула на часы.

— Через час, — повторила она.

Она прошла мимо него. Он услышал, как хлопнула входная дверь.

Он медленно пошел в гостиную. Опустился в кресло перед камином и сжал руками голову. Немного погодя тиканье часов дошло до его сознания, стало громче... еще громче. Он взглянул на часы. Она не шу-

тила. Она вызовет полицию, если застанет его здесь. Полиция! Он вскочил и быстро прошел в спальню. Снял телефонную трубку и набрал номер гаража в Хэверсток-хилл. Попросил, чтобы через полчаса прислали такси.

Из-под кровати он вытащил два чемодана и отнес один в гостиную. Аккуратно сложил в него все свои бумаги. Неоконченное письмо Эдибхою все еще торчало в машинке. Он сел и допечатал:

«Я переезжаю отсюда. Не пиши, пока не получишь моего нового адреса. Постарайся провернуть дело с коммерсантами как можно скорее. С сегодняшнего дня я остаюсь без крова. Не верь слухам, которые могут до тебя дойти. Если у тебя есть деньги, вышли: они мне нужны до зарезу. Завтра пошлю тебе адрес. Действуй без промедления».

Он подписал письмо, запечатал его и надписал конверт.

Сложив бумаги, он пошел в спальню и стал укладывать во второй чемодан одежду. Новый халат и домашние туфли он положил сверху. Наконец все было упаковано. Он оглядел комнату — как будто ничего не забыл. Замотал горло и грудь двумя шарфами и надел пальто. Затем присел на постель, позвонил в АМХ * и попросил оставить для него на ночь комнату. Сказал, что скоро приедет. Достал бумажник. Всего два фунта. Он выдвинул ящик комода, где Лоис держала деньги на текущие расходы. Там было пятнадцать фунтов. Он взял два. Потом пошел в гостиную и сел у камина в ожидании такси.

Как много их связывало — его и Лоис. Как много! А теперь всему конец! Будь она проклята, эта девчонка! Будь проклята его собственная глупость! Как много...

■

— Войдите! — закричал Мэби.

Поскольку никто не вошел, он оторвался от работы, швырнул на пол молоток с резцом и ринулся к двери. Распахнул ее настежь. Возмущенные слова застыли у него на губах.

— Лоис! Господи боже мой!

Прежде чем он успел подхватить ее, Лоис грохнулась на пол к его ногам. Он с трудом дотащил ее до своей постели. Затем кинулся к двери и заорал во все горло:

— Кэт! Скорее!

И тут же вернулся к Лоис. Расстегнул верхние пуговицы ее пальто. Она была без шляпы. Тающие снежинки блестели у нее в волосах. Он стал растирать ей щеки, руки, лоб.

Женщина, которую звали Кэт, в испачканном красками халате сбежала вниз, стуча по лестнице каблуками. Она посмотрела на Лоис:

— Похоже, что припадок. Вон как зубы стиснуты, и сама вся одеревенела.

— Так сделайте что-нибудь, черт вас побери! Лоис припадками не страдает!

— Коньяк! — воскликнула женщина и побежала наверх.

Она вернулась с начатой бутылкой. Вдвоем они разжали Лоис зубы и влили ей в рот немного коньяка. Она поперхнулась, закашлялась... тело ее обмякло.

— А теперь идите, — сказал Мэби. — Нет, бутылку оставьте. Спасибо.

Кэт ушла. Лоис открыла глаза.

— О, Поул... Помогите мне...

— Дорогая моя... Что случилось?

---

* «Христианская ассоциация молодых людей».

Она смотрела на него потухшими глазами.

— Я пришла домой... Джо делали аборт... — безжизненно произнесла она. — Он и Джо...

Мэби заглянул в потухшие глаза. И вздрогнул. Глаза его наполнились слезами. Слезы покатились по щекам.

— Милая вы моя, — горестно прошептал он. — Милая...

И такая тоска звучала у него в голосе, словно грехи всей Африки придавили его своей тяжестью.

УДОМО

Глава первая

I

Удомо стоял, облокотившись о перила, и смотрел на луну. Он думал: луна — это женщина, которая отгоняет от своих детей страхи, таящиеся во мраке ночи. Нет, подумал он затем, женщина рядом, ее можно коснуться, а луна далеко. Пусть далеко, но когда она светит — человеку не страшно. Свети ярче, луна! Дай мне снова увидеть Африку. Бесперебойно, уверенно постукивали машины, мерно всплескивала темная волна, ударяясь о борт парохода. И все это — и постукивание машин, и плеск волны — покрывал глухой неумолчный гул, живое, извечное дыхание моря. И пароход был единственным пятнышком света на темной поверхности воды. Луна, хотя и ясная, была слишком далеко, чтобы бросать здесь свой отсвет. И где-то слева, спрятанная сейчас во мраке, лежала Африка.

Мать-Африка! О мать-Африка, укрепи меня, дай мне силы исполнить мой долг. Не забудь обо мне среди многих своих питомцев. Я возвеличу тебя. Я заставлю весь мир чтить тебя и твоих сынов. Верь, солнце свободы вновь засияет над тобой. Ради этого я покинул тебя и долго жил на чужбине, среди чужих людей, ради этого страдал, терпел обиды, голодал и мерз. Все для того, чтобы вернуться и освободить тебя, освободить всех твоих детей, вознести тебя над теми, кто сейчас смотрит на тебя сверху вниз. Разве им понять тебя? Для них ты — земля, приносящая им богатства, а дети твои — рабы, которых надо держать в повиновении. Этому нужно положить конец. И я положу этому конец, если ты мне поможешь. Я не вижу тебя сейчас, но чувствую, ты там, в темноте. Завтра я буду с тобой, в твоем лоне. Не дай мне затеряться среди множества твоих детей. Не оставь меня, помоги мне, направляй меня! Мое имя Майкл Удомо. Запомни: Майкл Удомо — орудие твоего освобождения...

Он повернулся и пошел, широко ставя ноги, вдоль узкой палубы, которая привела его к трапу, ведущему наверх, на палубу первого класса. Он остановился и посмотрел по сторонам. Никого. Здесь была хорошо слышна доносившаяся сверху музыка. Он поднялся по трапу. Пароход чуть покачивало.

Это была последняя ночь на пароходе. На просторной открытой палубе для пассажиров первого класса был устроен прощальный бал. Над площадкой для танцев висели гирлянды разноцветных фонариков и флажков. Все были в вечерних туалетах. И все были белые — если не считать нескольких человек, сидевших в глубине за одним столиком. И среди этой веселившейся публики сновали чернолицые официанты в

белоснежных куртках с подносами в руках. И не было другой крыши над головами танцующих, кроме черного, усыпанного звездами небесного свода, и не нужно им было другой крыши в эту теплую тропическую ночь.

Удомо, никем не замеченный, прошел по палубе и стал в тени огромной трубы. Отсюда он мог наблюдать. Вот они, сегодняшние повелители и повелительницы Африки. Они думают, что всегда будут править Африкой. Этот лакомый кусок предназначался им, и они вцепились в него. Правильно, кричите «бой!». Официанты всего лишь черные, как же их иначе называть? Все черные — «бои». Вон те черные пассажиры первого класса — они ведь понимают, что их здесь только терпят. Пусть у них билеты первого класса — на них все равно смотрят, как на черномазых, только сортом повыше. По очереди танцуют со своими дамами. Шесть мужчин и две дамы! Знают, что лучше и не соваться приглашать белых женщин.

Завтра пароход приходит в Африку. На его борту чиновники из колониальной администрации. Так, может быть, эти чиновники станут танцевать, заводить знакомства с африканцами, которые едут с ними в одном классе? Как бы не так! Африканцы чужие им. Они чужие даже в собственном отечестве.

Посмотреть хоть на эту! А ведь тоже что-то о себе воображает. Тьфу!.. Гляжу я на тебя и вспоминаю Лоис...

Лоис. Да, жаль, что так получилось. А тут еще Мэби — захлопнул дверь перед самым моим носом, когда я зашел к нему на другой день. Этого я ему не прощу. Жаль, что с Лоис так получилось. Но разве женщин поймешь. Если бы она только выслушала меня. Забавно, но я действительно испугался — испугался одного ее взгляда. Эта проклятая Джо все погубила. На нее-то мне наплевать. Но вот Лоис. Написал, так даже не ответила. Мхенди тоже обозлился. Но он хоть вида не подал. Один Лэнвуд понял. Он ничего. Толку от него, правда, мало. Что он может? Писать статьи и выступать на собраниях. Как вывеска, конечно, пригодится, не больше. Именем его мы воспользуемся. Лоис! Только потеряв женщину, мужчина начинает понимать, чем она была для него. Лоис была хорошая, очень хорошая. И если уж отдавала себя, то отдавала целиком. Не чета этой Мэри Фелд. И как только Лэнвуд может жить с женщиной, которая его презирает? Слабый он человек. Ту неделю, что я прожил у них, было тяжело. Звала меня в постель, когда Том ушел куда-то. Но какой мужчина пойдет на это, особенно если дело касается друга? И потом, она и в подметки Джо Фэрз не годится! Джо Фэрз была хороша, что там ни говори. Получила урок — больше не будет заигрывать с мужчинами. Но Лоис... Эй, женщина, ты, кажется, сегодня здорово напьешься! А еще воображаешь себя красавицей, вон как задом вертишь. Ни одной из вас мне и даром не нужно! Лоис... Продолжайте в том же духе, друзья мои! Смейтесь! Пейте! Веселитесь! Сегодня мир принадлежит вам! А завтра вы нам ответите. Это завтра наступит. Продолжайте в том же духе! Смейтесь и пейте! Пейте и смейтесь!..

Внезапно он почувствовал, что рядом кто-то есть, кто-то наблюдает за ним. Удомо очнулся от своих мыслей и повернул голову. Сбоку стоял невысокий, приземистый метрдотель, глубоко засунув руки в карманы и высокомерно вскинув голову.

— Ну?.. — голос белого звучал возмущенно и в то же время насмешливо.

Удомо вышел из тени. Несколько секунд, не отрываясь, смотрел на метрдотеля, оценил его позу гордого превосходства. Затем, едва не задев его локтем, направился к трапу.

— Эй, ты! — крикнул метрдотель.

Удомо приостановился, но тут же пошел дальше. Дойдя до трапа, взялся обеими руками за перила и, повернувшись к метрдотелю, прошипел:

— Катись ко всем чертям!

Лицо метрдотеля вытянулось в изумлении. Удомо затопал по трапу обратно в тусклый и грязный полумрак третьего класса. Узкая неосвещенная палуба, еще один пролет ступеней вниз, и наконец он очутился в убожестве и тесноте трюма. Никаких белых, никаких разноцветных фонариков, никакой чистоты, никаких официантов. Танцевальная музыка передавалась и сюда. Но здесь негде было танцевать, не было высокого, усеянного звездами неба, не было романтики. Здесь жара тропической ночи была удушливой, гнетущей.

У самого входа какая-то женщина кормила грудью ребенка. Пассажиры, которые еще не улеглись, сидели на деревянных скамьях в унылой столовой. Кто играл в карты, кто разговаривал. Все уже сложили свои чемоданы, и предстоящая ночь казалась им бесконечной. Они не могли скоротать ее за вином и танцами, как те наверху. И назойливый стук машин слышался здесь гораздо сильнее, чем на верхней палубе.

— Как там? — спросила сидевшая у двери женщина.

— Танцуют,— ответил Удомо.— Все парядны и веселы.

Он направился было в столовую, но передумал, повернул налево и вошел в маленькую каюту, которую делил с тремя другими пассажирами. Весь пол был заставлен багажом. Двое на верхних койках лежали в чем мать родила, прикрыв наготу лоскутами материи. Они вполголоса разговаривали о доме.

— Как там наверху? — спросил один из них.

— Танцуют,— ответил Удомо.

— Вы что, поднимались на самый верх? — спросил второй.

— Да.

— Красиво, наверно!

— Красиво. А вы сидите внизу в трюме. А ведь едут они не к себе домой, а к вам, в вашу страну.

— Что поделаешь? У них деньги.

Первый покачал головой:

— А ты что думаешь? Если бы у тебя были деньги, они бы очень тебе обрадовались? Как вы смотрите, мистер Удомо?

— Вы и сами знаете, что нет,— ответил Удомо.— Взять хотя бы тех восьмерых из первого класса — у них деньги есть. Но сидят-то они отдельно. И танцуют только друг с другом. Белые с ними и не разговаривают. Тут дело не в деньгах, а в том, у кого власть.

Первый вытер лицо лоскутом и снова прикрылся им.

— Я и сам не знал бы, что делать в их компании. Не знаю я, что у них можно, что нельзя. Пусть у меня будет хоть мешок денег, все равно я их порядкам не обучен. А вот то, что они вас к себе не принимают, мистер Удомо, это уж неправильно. Уж вы-то их порядки знаете.

Первый сказал:

— Я с вами согласен, мистер Удомо: все люди должны быть равны.

— За это надо драться,— ответил Удомо.

— Вы, видать, сердитый человек,— заметил второй.

— А как же, из-за свободы сердится,— сказал первый.

Удомо почувствовал, что рубашка его намокла и липнет к телу. Лоб и верхняя губа покрылись каплями пота. Он встал со своей койки и полез через груду багажа к двери.

— Да,— сказал он.— Хорошо, когда из-за свободы сердятся, а еще лучше, когда за нее дерутся.

Сидевшая у входа женщина подняла на него глаза.

— Опять наверх?

— Нет, на нижнюю палубу. Здесь очень жарко.

— Я приду к вам поговорить, вот только ребенок уснет. Что-то вы сегодня сердитый, мистер Удомо.

Он поднялся на палубу и облокотился о перила. Он напряженно всматривался в темноту, точно хотел разорвать ее и увидеть землю.

О мать-Африка...

И снова плеск волн, и гул моря, и бесперебойное постукивание машин. Полная луна плыла в небе, теперь она немного спустилась, но по-прежнему не могла зажечь свой отблеск в темной воде. Звезды ярко мерцали. Землю еще окутывал мрак. Но теперь он скоро отступит. Скоро отступит.

Если бы Лоис была рядом, мне бы не было сейчас так тоскливо. Но даже она не понимала. А ведь было время, когда она меня любила, любила по-настоящему.

О мать-Африка...

Немного погодя женщина поднялась наверх и встала рядом с ним.

— Уснул ребенок?

— Да, мистер Удомо.

— Почему вы все называете меня мистером Удомо?

— Вы не такой как мы. Вы говорите немного. А как заговорите, так мы все вас слушаем. И мы чувствуем, какой вы внутри сердитый.

— Это не причина называть меня мистером.

— Для нас причина. Но я хочу сказать о другом. Вот вы возвращаетесь домой. Что вы будете теперь делать? Ведь вы долго жили по заграницам.

— Я уезжал учиться. Теперь я буду бороться за мой народ.

— А как вы будете бороться?

— Почему вы спрашиваете меня об этом?

— Разве я не из вашего народа? Помните, я рассказывала вам, что поехала в Англию, чтобы посмотреть, как живут люди, которые правят нами? Деньги у меня есть — я занимаюсь торговлей,— вот я и решила: съезжу-ка туда месяца на три и погляжу своими глазами, какая там жизнь. Я пробыла в Англии всего месяц, да и то потому, что раньше не могла достать обратного билета. Вы сами знаете, как там черным, вот я и заторопилась домой. Поехала я туда с открытой душой...— Она не закончила фразы.

Пароход описал широкую дугу влево, оставив за кормой легкий след.

— Я буду бороться, используя каждую возможность,— сказал Удомо.— Но прежде всего мы должны организовать партию. У меня есть друзья в Англии, а один мой друг уже здесь, на родине. Он разговаривал с вождями и старейшинами. Они не хотят помочь нам, но мы обойдемся без них.

— Нелегко вам придется,— сказала женщина.

— Да, путь к свободе нелегок.

— Вам понадобится помощь.

— Нам нужна поддержка народа. Это самое главное.

— Не забудьте про женщин, мистер Удомо... Когда вы начнете вашу борьбу и когда мне станет ясно, что вы делаете, приходите ко мне, я поговорю с другими женщинами, с теми, что торгуют на рынке. Меня зовут Селина. Запомните. И не забывайте про женщин.

Удомо повернулся к ней, заглянул в лицо. В темноте оно было едва различимо.

— Не забуду,— сказал он.

— Ну, я пойду вниз,— сказала она.— Вам бы отдохнуть перед завтрашним днем.

— Я еще немного побуду здесь,— сказал он.

Она ушла так же бесшумно, как появилась.

Удомо напряженно вглядывался во мрак, окутавший Африку.

О мать-Африка...

2

Удомо сел за ломберный столик напротив черного сержанта полиции и положил перед ним паспорт. Тот отодвинул в сторону какие-то бумаги и накрыл паспорт большой рукой.

— Фамилия?

Удомо молчал, пока сержант не взглянул на него. Тогда он спокойно спросил:

— Почему в первую очередь белые?

Глаза сержанта стали холодными и неприязненными.

— Вы ехали третьим классом.

— Тогда почему иду первым я, а не те восемь, что ехали наверху? Они такие же черные, как я и как вы.

Сержант вздохнул и уставился на Удомо долгим тяжелым взглядом. Затем перевел глаза на паспорт, убрал руку и раскрыл его.

— Майкл Удомо?

— Да.

Сержант заглянул в какие-то бумаги, поставил в паспорте штемпель и вернул его Удомо.

— Следующий!

Один из черных пассажиров первого класса занял место Удомо.

Удомо пошел вниз в третий класс за своим багажом. Селина, та женщина, что вчера разговаривала с ним, была еще там. Она отдавала распоряжения трем носильщикам.

— Ну как? — спросила она.

— Пришлось пережидать всех белых,— ответил Удомо.

— Я знала, что так будет, потому и сижу до сих пор здесь.

— И это наша страна!

— Успокойтесь, мистер Удомо. Все еще изменится.

— Да, все изменится.

Селина повернулась к одному из носильщиков:

— Отнеси багаж мистера Удомо в таможню.

Удомо начал было благодарить ее, но она отмахнулась. Привязала покрепче сидевшего у нее за спиной ребенка и стала тяжело подыматься по трапу. Удомо заметил, что она босиком. Туфли ей больше не были нужны. Она дома, а дома она ходит босая. Он подумал: эта женщина могла бы ехать первым классом, а поехала третьим. Не забывай про женщин, Майкл. Что она тебе сказала? Не забывай про них.

Носильщик спросил:

— Это все ваши вещи, хозяин?

— Да.

— Идите. Я принесу.

Удомо взял два небольших чемодана и пошел наверх. Возле сходен, провожая пассажиров, стоял метрдотель. Почти все белые уже сошли на берег. Он улыбнулся при виде Удомо. Удомо взглянул на него, как на пустое место. На последней ступеньке деревянных сходен он задержался на секунду, глядя на лежащую перед ним землю. Вот она, африканская земля! Он вдруг пожалел, что не идет босиком, как Селина. Выпрямился. Расправил плечи и быстрыми шагами направился в таможню.

Эдибхой писал, что постарается встретить его, а если не сможет, пришлет кого-нибудь. Удомо огляделся по сторонам. Вокруг него на са-

мом солнцепеке толпился народ — африканский народ под африканским солнцем.

Он вошел в таможенный ангар и услышал свое имя:

— Мистер Удомо! Мистер Удомо, сэр! Мистер Удомо!

— Здесь! — крикнул он. И сразу почувствовал себя уверенно.

Подошедший к нему молодой человек был худой и высокий, с тонкими пальцами и длинными ногтями, узкие, изящные ступни его скользили по земле, словно корабли по волнам. Юноша остановился перед Удомо, поднес руку к виску.

— Я Самсон, сэр. Масса Эдибхоя бой.

— Здравствуй, Самсон.

— Масса послал меня вас встречать, хозяин. Велел отдать это.— Он вынул конверт из кармана тесных шортов.— Велел ехать домой.

Удомо разорвал конверт. Там оказалось пять фунтовых бумажек и больше ничего. Он сунул деньги в карман.

— Хорошо.

Самсон взял у него чемоданы и поставил на стол, где их осматривали таможенники. Вошел носильщик Селины, сгибаясь под тяжестью одного из сундуков Удомо. Самсон пошел с носильщиком за вторым сундуком.

Селина появилась, когда Удомо уже закончил таможенные формальности и собирался уходить.

— Пришли ваши друзья? — спросила она.

— Да,— улыбнулся Удомо.

— Сегодня вы не такой сердитый. Это хорошо. Не забудьте, что я вам сказала.

— Не забуду. Спасибо. Теперь я могу сам заплатить носильщику.

— Не надо, это мой слуга,— сказала Селина.— До свидания, мистер Удомо. Посмотрим, чем вы нас удивите.

— А как я найду вас? — спросил Удомо.

— Пойдите на базар. Спросите Селину, и все. До свидания.

— До свидания, Селина.

Самсон вышел на площадь, набрал полную грудь воздуха, закинул назад голову и заорал во всю мочь так, что у него получился один протяжный звук:

— Т-а-к-с-и!

Лицо его расплылось в широкой улыбке, когда со всех сторон на них ринулись машины. Посмеиваясь, Удомо стоял позади него.

■

— Земляк! — Эдибхой раскрыл объятия и захохотал во все горло.— Добро пожаловать домой, брат! Добро пожаловать!

Удомо просиял. Обнял Эдибхоя. Вот он, друг, настоящий друг, думал он.

Они сели рядом. Лучи заходящего солнца проникали в комнату, заставленную старомодной мебелью, которая казалась особенно потертой и блеклой в этом закатном свете. Самсон принес чай.

— Извини, что не мог прийти пораньше,— сказал Эдибхой.

— Зато я успел выспаться,— сказал Удомо,— прошлую ночь совсем не спал.

— Ну как дела, брат?

— Теперь все в порядке. Но в Лондоне, если бы не Лэнвуд, мне пришлось бы поголодать. Я жил у них неделю. Ты что-нибудь знаешь про них?

— Это про супругу-то?

— Да.

— Знаю.

— Это просто невозможно, чтобы жена так презирала мужа.

— Он зависит от нее.

— Даже если и так. Нет, мы должны как можно скорее вытащить его оттуда. Ты знаешь, она даже намекала мне...

Эдибхой усмехнулся.

— Она намекала всем нам, земляк! Всем, кроме Мэби. Они возненавидели друг друга с первого взгляда.

— Знаешь, Мэби захлопнул перед моим носом дверь, после того как я ушел от Лоис.

— Не может быть!

— Правда... Мне очень жаль, что так получилось. Лоис была хорошая женщина.

— С кем не бывает, земляк.

— Потом был настоящий ад. Если бы ты не прислал денег, я бы сейчас голодал по-настоящему. Знаешь, мне ведь перестали платить стипендию, потому что я слишком много занимался действительно нужной работой.

— Ты должен был написать мне об этом.

— Ты и так помогал мне,— Удомо смущенно улыбнулся и опустил глаза.— Скажи, Лоис пишет тебе?

— Нет, ни разу не написала с тех пор, как ты ушел.

— А Мэби?

— Тоже нет.

Наступило долгое молчание. Удомо допил свой чай, отвернулся и стал смотреть в окно.

— А как с коммерсантами? — спросил он.

— Завтра вечером мы с ними встретимся.

— Здесь?

Эдибхой рассмеялся.

— Нет, земляк. Нам придется идти к ним. Они много о себе мнят. Ты должен быть с ними поосторожнее.

— Не беспокойся. А Совет вождей и старейшин?

— Они отказались принять тебя,— Эдибхой встал и пошел к письменному столу, стоявшему в углу комнаты. Он достал какие-то письма и вернулся на место.— Когда я получил твое письмо, я сразу же написал в Совет и просил их принять тебя и выслушать. Вот их ответ,— он передал письмо Удомо.

Удомо прочел:

«Я уполномочен уведомить вас, что Совет вождей и старейшин не считает для себя обязательным принимать и выслушивать каждого, кто пожелал бы обратиться к нему с подобной просьбой. Далее мне поручено сообщить вам, что Совет не располагает данными о том, чтобы кто-нибудь из семьи, носящей фамилию Удомо, когда-нибудь в прошлом был вождем или старейшиной в каком-нибудь из основных племен Панафрики. Совет считает поэтому, что человек, о котором Вы пишете,— тщеславный выскочка, с которым Совет вождей и старейшин — исконный представитель своего народа — само собой разумеется, не может иметь никаких дел. Ваше сообщение о том, чем он занимался в Европе, не представляет для Совета никакого интереса...»

Удомо поднял глаза.

— Кто этот Эндьюра, который подписал письмо?

— Доктор Эндьюра — секретарь Совета, а также самый образованный и влиятельный его член. Он двоюродный брат короля южных племен и, кроме того, входит в губернаторский совет как представитель африканского населения. Они с губернатором близкие друзья. Его очень уважают в европейских кругах. Получив это письмо, я тут же поехал к нему. Но ничего не добился. Право, земляк, я сделал все, что мог.

Удомо перечитал письмо.

— Мы сохраним его,— спокойно сказал он.— Впоследствии оно может нам пригодиться. А теперь поговорим о наших планах. Я много думал, пока ехал сюда...

Солнце село. И сразу, без всякого перехода, день сменился черной тропической ночью. Полчища комаров заполонили комнату и нагло ринулись в атаку. Вошел Самсон с какой-то жидкостью, которую он называл «керосиниаза». Удомо и Эдибхой вышли на веранду. Обитатели ночи так звенели, трещали, стрекотали, что надо было чуть не кричать, чтобы собеседник тебя услышал.

Эдибхой протянул Удомо тюбик с таблетками:

— По одной два раза в день, пока не привыкнешь к климату.

Удомо снова принялся излагать свои планы.

Взошла луна и разжижила немного густой чернильный мрак ночи; чем выше она подымалась, тем становилась больше и ярче, и вот наконец землю залил мягкий серебристый свет, в котором все сразу обрело красоту и плавность линий.

Самсон позвал ужинать. Они продолжали разговор за едой. Удушливо пахло керосиниазой, но комары исчезли.

После ужина Эдибхой и Удомо вернулись на веранду. Вдали вспыхнули лучи автомобильных фар. Ныряя по ухабам, они приближались к дому.

— Я пригласил кое-кого познакомиться с тобой. Все эти люди молодые, образованные и недовольные деятельностью Совета. Из них можно создать ядро.

— Сколько их?

— Сегодня соберется человек десять. Самый цвет. Но вообще их гораздо больше. Они хотят посмотреть на тебя, убедиться, что все, что я рассказывал им, правда. Потом они будут говорить о тебе другим, и мало-помалу тебя узнают.

К дому подъехал автомобиль. Эдибхой вышел встречать гостей. С дороги свернули еще две машины. Самсон таскал из кухни в гостиную пиво и виски. Удомо вошел в дом. Самсон широко улыбнулся ему.

— Этот праздник для вас, масса. Хозяин говорит, вы очень важный человек. Много людей приедет сегодня. Вы большой человек, вождь народа.

Удомо услышал голоса на веранде. Он выпрямился, расправил плечи, ощущая свою силу. Лоис открыла в нем эту силу, научила чувствовать ее. Надо, чтобы ее почувствовали и другие. Пусть во всем его облике ощущается сила. Это начало, первые шаги. От того, какое впечатление произведет он на этих людей, возможно, зависит будущее.

Они вошли. Эдибхой представлял ему молодых людей, он с каждым здоровался за руку, каждому улыбался. Он говорил негромко и сдержанно. И те, кто приехал познакомиться с Майклом Удомо, увидели человека приветливого и спокойного и смутно почувствовали огромную, несокрушимую силу его духа.

Когда все собрались, он стал говорить о том, что Африка должна стать свободной и могучей. И он заставил всех поверить, что и они причастны к этой великой мечте.

■

Эдибхой вернулся, проводив последних гостей. Глаза его сияли.

— Ты покорил их, земляк. Ты покорил их.

Удомо устало улыбнулся. Сказалось двухчасовое напряжение. У него слипались глаза.

— Я устал,— пробормотал он.

— Мы поговорим обо всем завтра,— сказал Эдибхой.— Идем... Ты будешь спать под моим москитником. Завтра купим еще один. Отдохни хорошенько.

■

Сначала море. Потом полоса песка. Потом земля, и на ней вдоль всего берега пальмы, словно стражники, стерегущие сушу от моря. За пальмами невысокий холм с пологими склонами. За холмом — широкая долина, в которой раскинулся Куинстаун — столица и главный порт Панафрики.

Собственно говоря, Куинстаун всего лишь не в меру разросшаяся африканская деревня с великолепным европейским фасадом. Европа — это порт: подъемные краны, огромные склады, конторы иммиграционного управления и портовой полиции, высокое здание знаменитой «Панафрика компани» — одной из пяти крупнейших монополий мира,— которая фактически контролирует всю торговлю Панафрики. Но достаточно сделать шаг влево, и там, растекаясь вниз по склону холма и дальше по дну долины, лежит африканский город, почти такой же, каким он был до прихода европейцев. Правда, центральные улицы теперь вымощены и расширены. Правда, «Панафрика компани» имеет в центре огромный универсальный магазин — колоссальное предприятие, торгующее всевозможными товарами, а греческие и индийские коммерсанты понастроили на главной улице современные магазины. Но ни эти магазины, ни три кинематографа, ни величественный собор не могут изменить лица африканского города. Стоит отойти от центра — и сразу же дома начинают лепиться друг к другу. Глина и тростник идут вперемежку с бревнами и гофрированным железом. Двери всегда открыты настежь. Каждый, кто хочет, может зайти. Уединение невозможно, да и нужно ли оно? Здесь, вдали от порта и центральной части города, жизнь, наверно, идет так же, как шла тысячелетия назад. И тысячи лет назад черные ребятишки вот так же, наверно, играли голышом у своих порогов; так же сидели рыбаки, починяя сети, и тот же рыбный дух шел от нагретых солнцем сетей, и большие черные мухи, наверно, так же кишели над этими сетями, и женщина так же толкла свою касаву*, привязанный у нее на боку ребенок сосал ее отвисшую грудь, и так же она болтала с приятельницей — торговкой, предлагавшей прохожим облепленный мухами товар. Открытая канализация, проложенная по распоряжению правительства,— единственное, чем отличается сегодняшний Куинстаун от того, что ушел от нас в глубь тысячелетий. Мужчины пользуются сточными канавами, как общественной уборной. Женщины опоражнивают туда ночные горшки. Но именно эта скученность, эта простота отношений, нищета и вонь придают Куинстауну тот особый колорит, по которому можно судить, что город куда старше своего имени и покорения Африки европейцами, давшего ему это имя.

Правительственные здания — дворец губернатора, его канцелярия, различные министерства, главное полицейское управление и военный штаб — расположены в удаленной от моря части долины, дома белых чиновников — на склонах холма, позади правительственных зданий и выше их. Здесь по вечерам прохладнее, чем у моря. Дома напоминают английские усадьбы: широкие газоны, красивые клумбы. Комнаты просторны и прохладны. Это кусочек Англии, перенесенный в тропики.

В западной части города совсем обособленно живет местная интеллигенция: доктора, адвокаты, учителя, старшие клерки из канцелярии губернатора и богатые коммерсанты. Их дома представляют собой нечто среднее между тесными грязными каморками черного города и простор-

* Мясистые клубневые корни, идущие в пищу.

ными роскошными домами белых. Горстка ассирийских и индийских купцов живет здесь же.

Итак, сначала море, потом город, именуемый Куинстауном. А за городом в мягких складках холмов лежит африканская земля. По лицу этой необъятной земли разбросаны города и деревни, островки леса. И всюду царит безмолвие. Отдельных усадеб нет. Дома теснятся друг к другу. Словно люди, живущие в этих домах, боятся земли, словно они чувствуют себя спокойнее, сбившись в кучу. А сама земля угрюма и неприветлива.

И над всем этим изо дня в день даже в период дождей горит солнце — беспощадное, неистовое, обжигающее, несмотря на влагу, растворенную в воздухе.

■

Джонс, глава службы безопасности, постучал в дверь начальника канцелярии и вошел. Начальник канцелярии Смизерс, нахмурившись, поднял голову, но лицо его тут же утратило строгое выражение, он отодвинул какие-то бумаги и сказал:

— Садитесь. Вот видите, навожу порядок к приезду нового губернатора. Интересно, что он собой представляет. Мне не очень нравится, когда губернатор — член какой-нибудь партии.

— Говорят, прежде чем заняться политикой, он был на колониальной службе,— сказал Джонс.

— Все равно это политическое назначение,— возразил Смизерс.— Очень жаль, что прогрессивная партия победила именно сейчас, когда его превосходительство выходит в отставку... Вы ведь тоже прогрессист?

— Немного...— ответил Джонс. А сам подумал: напыщенный осел.

— Я вовсе не против его партии,— сказал Смизерс.— Просто мне не нравится эта ломка традиций...

— Давайте подождем, пока он раскроет карты.

— Да я вовсе не о нем. Просто представьте, что было бы, если бы губернаторы колоний менялись каждый раз, когда к власти приходит новая партия.

— Думаю, до этого не дойдет,— заметил Джонс.

— Вы просто не знаете этих политических фанатиков,— сказал Смизерс.

— И слава богу, что нет,— ответил Джонс. Он набил трубку, затем поднял спокойные глаза на Смизерса.— Знаете, Смизерс, меня беспокоят волнения в центральной провинции. Не в характере африканцев ни с того ни с сего набрасываться на районных комиссаров! И тем более это не в характере блюстителей племенного уклада.

— Должны же они наконец научиться платить налоги,— сказал Смизерс.— Правительство не может бесконечно брать на себя все расходы. Ведь в конце концов это им нужны дороги, канализация, школы...

— Безусловно... Но меня это интересует с точки зрения государственной безопасности.

— А, все уладится. Я говорил сегодня утром с Эндьюрой. Он объедет район с одним из вождей и вразумит их.

— Хорошо. Только держите меня в курсе дела, пожалуйста.

— Ничего страшного. Обычная история. Районный комиссар там — один из самых способных молодых людей в моем ведомстве.

— Слышали что-нибудь о Майкле Удомо? — спросил Джонс.

— Об этом смутьяне, который только что вернулся?

— Значит, слышали?

— Уши, знаете ли, есть не только у службы безопасности. Мальчишка, молодой, горячий, каких много. Я слышал о нем от Эндьюры,— Смизерс, к удивлению Джонса, улыбнулся.— Эндьюра говорит, что этот

нахал имел наглость потребовать приема у Совета вождей и старейшин. Написал им из Лондона. Да, кстати, вы знаете Эдибхоя? Он работает в больнице. Так вот, как только его игра в политику зайдет достаточно далеко, мы его уволим. Приставьте к нему кого-нибудь. Правила службы должны соблюдаться всеми — не исключая представителей новой буржуазии. А на Удомо я бы не стал тратить времени. Покричит немного и придет к нам проситься на работу.

— Не уверен...— протянул Джонс.— Журнальчик, который он издавал в Лондоне, пользовался большим влиянием. Его читали даже в Совете наций.

— Ну, это уж заслуга Лэнвуда,— сказал Смизерс.— А его-то мы сюда не пустим. Пусть себе кипятится в Лондоне сколько угодно.

Еле заметная улыбка скользнула по худому желтоватому лицу Джонса.

— Мне кажется, вы со своим другом Эндьюрой недооцениваете Удомо,— Джонс усмехнулся, заметив гримасу Смизерса: ох и ненавидит же он эту публику, несмотря на все свое внешнее дружелюбие.— Я видел последний номер «Освободителя», вышедший уже после отъезда Удомо. Новый редактор — Мхенди, тот самый, что устроил кровавую заваруху в Плюралии. Так вот, этот последний номер не идет ни в какое сравнение с номерами, которые редактировал Удомо: нет в нем той страстности, того огня. Я бы не стал недооценивать мистера Удомо. В стране неспокойно. Это чувствуется в городе, да и донесения с мест говорят о том же.

Смизерс, откинув голову, презрительно расхохотался. Но Джонс заметил, что глаза его не смеялись.

— Вся беда в том, что вы — служба безопасности — места себе не находите, пока не раскопаете какой-нибудь заговор, настоящий или воображаемый.

Джонс встал.

— Возможно, вы и правы. Но я слышал случайно, как один из моих парней — заметьте, один из самых толковых,— рассказывал другому о встрече с Удомо. Он буквально захлебывался от восторга, а парень этот далеко не глуп. Я решил, что, пожалуй, следует поставить вас в известность. Но возможно, вы и правы,— еще раз повторил он, вышел из кабинета, притворил за собой дверь и остановился, раскуривая трубку и прислушиваясь.

На лице его появилась насмешливая улыбка, когда он услышал за дверью звонок и раздраженный голос Смизерса, который отчитывал секретаря за то, что до сих пор ему не положили на стол последний номер «Освободителя».

Джонс медленно пошел к себе. Самоуверенный напыщенный осел, опять подумал он. Эти местные англичане — черт бы их всех подрал — ни черта не смыслят в том, что происходит вокруг. Их ничто не волнует. У них одна забота — отсидеть в своем кабинете положенные часы и поскорее идти домой играть в теннис и пить коктейли. Это вошло у них в привычку. Они недостойны владеть империей, которую завоевали для них прадеды. Пришли на готовенькое и думают, что империя от них никуда не денется. Молодежь едет теперь в колонии только потому, что здесь выше оклады и условия жизни лучше, чем в Англии. Вера в высокое предназначение английской нации исчезла окончательно. Конечно, и среди теперешней молодежи есть отличные, исполнительные работники. Но трагедия в том, что почти не осталось людей, преданных тем принципам, тем идеалам, во имя которых была создана империя. Чиновники типа Смизерса не верят в идеалы, которыми руководствовались колониальные власти в прежние времена,— они просто правят. Интересы местного населения — всего лишь красивые слова, которые они любят

повторять на людях. В своем кругу они посмеиваются над этими словами.

Обидно! Ведь если бы не начала пропадать вера, истинная вера в содружество наций, не было бы службы лучше. А похоронить идею содружества означало бы... Джонс нетерпеливо передернул плечами, словно хотел избавиться от собственных мыслей, вошел в свой кабинет и нажал кнопку звонка. Можно, конечно, спросить адрес Эдибхоя у молодого человека, который говорил о встрече с Удомо, подумал он. Нет, это, пожалуй, вызовет лишние толки. Вошел секретарь. Славный молодой человек. Спокойный, исполнительный, безупречно вежливый. Интересно, сталкивается ли он когда-нибудь с африканцами, заходит ли в их грязные домишки, сидит с ними, разговаривает? Скорее всего, его контакты ограничиваются клерками да еще слугами, от которых он все равно, кроме «да, сэр!» и «нет, сэр!», никогда ничего не услышит. Но справедливо ли ставить ему это в вину! Так уж повелось до него. Он только следует примеру. Быть может, теперь уже поздно что-то менять. Возможно, это стало системой.

Джонс вдруг спохватился, что секретарь стоит у стола и терпеливо ждет.

— Извините... Вот у меня какое дело, узнайте, пожалуйста — но только осторожно, чтобы не было разговоров среди клерков,— где живет мистер Эдибхой. Позвоните в полицию или в больницу...

Секретарь ушел. Джонс занялся лежавшими на столе бумагами. Не прошло и пяти минут, как молодой человек вернулся с адресом, выписанным на листке бумаги.

Джонс улыбнулся ему.

— Вы ведь здесь уже полгода?

— Да, сэр.

— Не надо так официально. Познакомились с кем-нибудь из местных?

— Нет...

— На вашем месте я бы попробовал. Люди они удивительно приветливые и дружелюбные. Конечно, живут они по большей части в ужасающей нищете. Но вам не мешало бы узнать и это. К тому же у них нарождается своя буржуазия, и мы должны заручиться дружбой этих людей. Обстоятельства могут сильно измениться в ближайшие несколько лет, и тогда личные связи и дружеские отношения будут неоценимы. Пионеры колониальной службы по-настоящему знали людей, среди которых им приходилось работать. Мы же держимся особняком. Подумайте над этим...

— Да, сэр. Благодарю вас, сэр.

Джонс вышел на улицу и направился к своей машине. Интересно, понял ли его этот юноша или он посмеется над его словами в кругу друзей. Он сел за руль и повел машину в западную часть города — туда, где селилась новая африканская буржуазия. Автомобиль затрясся по немощеной дороге. Ни мостовых, ни канализации. О, господи! Неужели чиновники из канцелярии губернатора не понимают, что именно эти люди будут с особой горечью сравнивать окружающую их обстановку с условиями жизни на Холме? Хоть бы новый губернатор понял это.

На стук вышел Самсон.

— Я к мистеру Удомо,— сказал Джонс.— Скажи ему, пожалуйста, что его хочет видеть мистер Джонс.

— Масса Удомо сейчас нет, масса.

— Ты знаешь, где он?

— Нет, масса. Масса Удомо позавтракал и ушел. Сказал, совсем забыл город. Пойду смотреть.

— Спасибо.

— Пожалуйста, заходи, масса. Я принесу бумагу, масса напишет письмо, я отдам масса Удомо.

— Тебе нравится мистер Удомо?

— Он очень-очень хороший масса. Он всегда говорит «спасибо, Самсон». Масса доктор иногда забывает «спасибо», хороший масса, а забывает.

— А мистер Удомо не забывает?

— Никогда не забывает. Масса Удомо — большой человек. Очень большой.

— Да, говорят. Ну что ж, Самсон, спасибо.

— Может, масса подождет? Может, масса Удомо скоро вернется.

— Нет, Самсон. Я зайду в другой раз.

Джонс поехал обратно. Солнце палило вовсю, и даже система кондиционирования воздуха в машине почти не помогала. Только когда он миновал громадные портовые здания, с моря подул легкий ветерок, и жара поубавилась. Он не свернул на дорогу, которая вела к канцелярии, а поехал дальше по берегу моря. На душе у него вдруг стало легко и покойно, будто никакие заботы не тяготели над ним. И как всегда в такие минуты, он унесся мыслью к маленькому кладбищу, приютившемуся на окраине европейского квартала. Там была могила его жены. Она умерла, не пробыв за ним замужем и двух лет, умерла двенадцать лет назад от желтой лихорадки, на втором месяце беременности. И теперь до конца своих дней он был привязан к этой земле могилой, в которой покоилась его жена и неродившийся ребенок — все, что он любил когда-либо в жизни. Теперь эта земля стала для него родной — стала родной с той минуты, как была засыпана могила. И останется родной навсегда. Его корни в этой земле.

Он съехал с дороги, остановил машину, вышел. Направился к большой пальме, у подножия которой лежала благодатная тень. Четыре узкие длинные лодки скользили по зеркальной поверхности моря, держа путь к берегу. По тому, как они двигались, можно было предположить, что они все вместе тянут сеть, полную рыбы. Неподалеку он увидел человека, сидевшего в тени другой пальмы. Он опять стал смотреть на лодки, но что-то в облике этого человека возбудило его любопытство. Джонс еще раз взглянул в его сторону. Ну конечно — галстук! Кто, кроме человека, только что приехавшего из Европы, наденет галстук в такую жару?

Быстро переходя от одного дерева к другому, Джонс наконец добрался до пальмы, в тени которой сидел человек. Человек задумчиво смотрел вдаль. Джонс подождал немного, затем кашлянул.

Удомо поднял голову. Он увидел невысокого худощавого европейца с худым, желтоватым лицом. Глубоко посаженные глаза, редкие растрепавшиеся волосы того же желтоватого цвета, что и лицо. Европеец был одет в легкую рубашку и шорты. Рубашка была расстегнута, в прорехе виднелась грудь, поросшая густыми черными волосами. Под шортами большие костистые колени. Лицо серьезное и спокойное.

— Вы мистер Удомо? — спросил Джонс.

— Да.

— Я — Джонс. Начальник службы безопасности.

Легкая улыбка скользнула по губам Удомо. Джонс усмехнулся.

— Это всегда производит впечатление. Но я подошел к вам только затем, чтобы познакомиться с вами и посмотреть, что вы за человек. Вы не будете возражать, если я сяду?

— Пальма не моя,— сказал Удомо.

Джонс сел рядом с ним и прислонился спиной к пальме.

— К сожалению, я курю только трубку... Но могу предложить табак...

— Я не курю... Откуда вы узнали, что я здесь?

— Служба безопасности не настолько расторопна. Я был у доктора Эдибхоя, но вас не застал. Я поехал обратно и не знаю, как это вышло... просто мне захотелось вдруг минутку покоя. Плохое настроение может быть у каждого, даже у чиновников службы безопасности, вроде меня. Да, между прочим, это ни в коем случае не проверка, просто я слышал о вас и мне захотелось познакомиться с вами.— Он раскурил трубку и взглянул на Удомо.

Удомо невозмутимо смотрел в море, где четыре лодки медленно двигались к берегу.

— Я только что получил последний номер «Освободителя»,— спокойно продолжал Джонс.— Недостает ему вашего блеска. Вам, по всей вероятности, не удастся получить его, так как журнал здесь запрещен, но я могу одолжить вам свой экземпляр. Если мои сведения верны, вы собираетесь издавать здесь газету?

— А разве это запрещено законом?

— Нет. Вполне возможно, что вы принесете много пользы. Я считаю, что Совет вождей и старейшин и в особенности старый Эндьюра нуждаются в хорошей встряске. А вы, судя по вашей прежней редакторской работе, сумеете встряхнуть их. Но это мое личное мнение. Отнюдь не официальное. Не думаю, чтобы его разделяли в канцелярии губернатора. Все они за то, чтобы старый Эндьюра исполнял свои обязанности, пока наконец в благодарность за все заслуги ему не позволят сформировать первый кабинет министров. Они ничего не видят дальше собственного носа. Только служба безопасности знает, как неспокойно сейчас в стране.

Удомо повернул голову и смерил холодным взглядом маленького человечка, сидевшего рядом.

— Что вы хотите?

— Я уже сказал вам, что просто хочу с вами познакомиться. Ну вот, знакомство состоялось. Я был бы рад, если бы вы как-нибудь заглянули ко мне, когда будет настроение. Если настроения не будет, что же, я пойму. Я стою во главе службы безопасности, естественно, вы можете подумать, что здесь какой-то подвох. Но уверяю вас, это не так, и, если представится случай, я вам это докажу. Даже полицейские имеют право на свободное время и личных друзей. Мы на Холме живем слишком замкнуто. Во всяком случае, вечерами я по большей части дома, и, если бы вы как-нибудь заглянули ко мне, чтобы выпить виски или поужинать, я был бы рад. Ну, я пошел. Очень приятно было познакомиться. Номер «Освободителя» я вам пришлю, но, поскольку для широкой публики он запрещен, должен просить вас никому не передавать его. И еще я пришлю вам «Правила печати», чтобы вы знали, что вы себе можете позволить и что нет.— Джонс встал и выбил трубку.— Подвезти вас домой?

— Нет, спасибо.

— Здесь ведь нет общественного транспорта, как в Лондоне.

— Как-нибудь не заблужусь,— сказал Удомо.

— Что ж, до свидания, мистер Удомо. Не забудьте о моем приглашении. Жду в любое время.

Удомо провожал человечка взглядом, пока тот не сел в машину. Странное, чуть насмешливое выражение не сходило с его лица. Когда машина исчезла из вида, он встал, перебросил пиджак через руку и по тропинке, убегающей на Холм, зашагал в город.

В тот же вечер Удомо встретился с тремя дельцами. После недельных переговоров они согласились вложить в газету по пятьсот фунтов стерлингов каждый. Они поставили ему много условий.

3

Удомо долго смотрел на первую страницу завтрашнего номера «Куинстаун пост». Большой черный заголовок гласил:

«ПОМОЖЕМ БАСТУЮЩИМ!»

Его кабинет помещался в убогой комнатушке на втором этаже ветхого, полуразвалившегося здания. Дощатый пол был черен от грязи. Единственное окошко покрыто таким слоем пыли, что почти не пропускало света. Одно стекло было разбито, дыра заткнута пожелтевшей от времени бумагой. В кабинете стояли стол, стул и две скамейки. Старая пишущая машинка примостилась с краю столь же старого некрашеного, заваленного бумагами стола.

Удомо с досадой смотрел на заголовок.

Эти чертовы коммерсанты только и думают, к чему бы придраться: то одно нельзя, то другое. Сейчас такой удачный момент, а они боятся.

— Не затем я приехал, чтобы плясать под их дудку,— раздраженно сказал он вслух.

Один из двух его корректоров всунул голову в дверь.

— Вы звали?

— Нет,— резко ответил Удомо.

Корректор скрылся на веранде, отведенной под корректорскую.

— Я должен вырваться,— сказал Удомо.

Но он был всецело в их руках. Без денег газета не могла существовать. Они уже были у него сегодня и требовали, чтобы газета перестала поддерживать бастующих. Допотопная типография, этот домишко, бумага — за все платили они.

Полгода он работал, как вол,— и что же? Конечно, его знают в городе, его уважают. Да на кой черт ему уважение! А эти подлые интеллигентики оказались ничуть не лучше коммерсантов. Распинались в преданности, пока дело не дошло до кошелька. Но стоило предложить им выкупить у коммерсантов газету, как они тут же в кусты. Куда весь энтузиазм девался! Будто и не они возмущались Советом старейшин и горели желанием создать новую партию. Ну и сволочи! Настоящие сволочи!

Он схватил красный карандаш и жирно перечеркнул заголовок. К черту этих проклятых дельцов вместе с их деньгами! Он не позволит обращаться с собой, как с пешкой. Он встал и пошел к двери.

— Задержите гранки,— сказал он корректорам, клевавшим носом на веранде.— Сегодня, возможно, придется посидеть допоздна. Скажите наборщику, чтобы пока ничего не набирал. Только пусть никуда не уходит. И вы оба тоже. Я постараюсь вернуться как можно скорее.

Он загрохотал вниз по угрожающе шаткой лестнице, выбежал из грязного, вонючего двора на такую же грязную улицу. Горячий воздух, волнами подымавшийся от раскаленной земли, ударил ему в лицо. Ему вдруг стало трудно дышать, пришлось замедлить шаги. Он шел к базару. Солнце нещадно жгло землю.

— Мистер Удомо, сэр! Такси! — Небольшой автомобильчик притормозил рядом с Удомо. Шофер высунулся из окна, сияя улыбкой.

— Денег нет,— улыбнулся в ответ Удомо.

— Я даром отвезу. Мистер Удомо — хороший человек.

— Да мне недалеко,— сказал Удомо.

— А зачем ходить пешком, когда можно ехать даром?

Удомо обошел автомобиль, который еле полз по улице, сел рядом с шофером. Город кишел легковыми такси. Семьи, а то и целые кланы часто сообща покупали автомобиль, чтобы пристроить к делу какого-нибудь юношу.

— Вам куда, сэр?

— На рынок.

— Очень хорошо. Я отвезу. Я всегда читаю вашу газету. Все шоферы такси читают вашу газету. Все говорят, только ваша газета пишет правду. Вы еще будете писать про забастовку в порту? Очень хорошо, когда вы про белых и про нас пишете. Как мы работаем, а они деньги в карман кладут. Все люди говорят, что хорошо.

— Послушай,— сказал Удомо.— Я хочу писать о забастовке. Я хочу рассказывать вам правду. Но ведь вы знаете, у меня нет денег. Деньги на газету дают коммерсанты, а сейчас они испугались, потому что я пишу о забастовке. Сегодня они сказали мне — больше нельзя писать про забастовку. Сказали, что отнимут у меня газету, если я буду писать об этом. Ты расскажи своим друзьям. Скажи им: Удомо хочет писать про забастовку, а коммерсанты ему не дают. Ты это всем расскажи. Всем! Скажи, может быть, Удомо арестуют за то, что он пишет про забастовку. А коммерсантам что? Они дрожат за свои деньги. Плевать они хотели на свой народ.

— Эти коммерсанты — плохие люди,— на лице шофера отразилось негодование.

Вот и расскажи об этом всем, приятель, подумал Удомо.

Машина остановилась около рынка. Удомо вышел.

— Спасибо, друг, и не забудь, что я тебе сказал. Скоро придет время с ними посчитаться.

— Я всем расскажу,— кивнул шофер.

Рынок был шумный, многолюдный, привольный, древний, как сама Африка. Кто-то мастерил сандалии из найденных на свалке автомобильных шин; кто-то крутил швейную машину, изготовляя прямо на глазах у покупателя наряд, сильно смахивающий на ночную рубашку; старенький ювелир, служитель умирающего искусства, самозабвенно трудился над какой-то восхитительной — увы, не золотой, а медной — безделушкой; рядом с ювелиром продавали деревенское покрывало, вытканное с таким изяществом и вкусом, что, право, никому, кроме африканцев, не пришло бы в голову отнестись к нему, как к обычной одежде. Покупали мало, но шуму было много. Это был не только рынок, но и клуб. Иная женщина несла на продажу в город всего-навсего пяток яиц — только бы проторчать весь день на рынке. Она раскладывала их на крошечном клочке земли, за пользование которым приходилось платить. И целый день сидела на корточках, разговаривая с соседями, явившимися сюда за тем же. Она продавала свой товар только вечером, когда нужно было идти домой. Он оправдывал ее пребывание здесь. Таких было много. Но были тут и другие, относившиеся к торговле весьма серьезно. И все до единого были непринужденны, громогласны и веселы.

Удомо остановился у ларька. Торговавшая в нем женщина была, по-видимому, здесь своим человеком.

— Скажите, пожалуйста, где я могу найти Селину?

Женщина смерила его взглядом, задрала голову и крикнула:

— Спрашивают Селину!

Крик ее потонул в общем гаме. Она повернулась к кому-то другому. Все, что от нее требовалось, она сделала и тут же потеряла к Удомо всякий интерес. Он усмехнулся и пошел к следующему ларьку.

— Скажите, пожалуйста, где я могу найти Селину?

Торговка самозабвенно болтала о чем-то со своей покупательницей. Не прерывая потока слов, она махнула рукой, отсылая Удомо в самое сердце рынка.

Удомо стал протискиваться сквозь толпу. Шум стоял несусветный. Скопление такого количества людей в одном месте точно усиливало жару, делало ее нестерпимой. Ближе к центру товары были разнообраз-

нее, дороже. Здесь уже торговали машинами и мебелью. Удомо остановился около долговязого юноши, стоявшего у входа в огромный павильон, где, по-видимому, можно было купить все на свете.

— Где я могу найти Селину? — Здесь не нужно было орать во все горло. В центре было относительно тихо.

Юноша оглядел его с ног до головы.

— А кто ее спрашивает?

— Я. Где мне найти ее? Она говорила, что мне всякий скажет.

— Вы с ней знакомы?

— Да. Может, теперь вы скажете, где она находится?

— А кто вы такой?

Удомо с трудом сдержался.

— А вам-то что? Я — Удомо, и я хочу видеть Селину.

Он повернулся и пошел к другому ларьку. Юноша мгновенно переменил тон:

— Мистер Удомо! Подождите, пожалуйста, сэр! Одну минутку, пожалуйста!

Он скрылся за грудой ящиков. Кажется, знает меня, подумал Удомо. Теперь минута-другая не имела значения. А не так просто найти Селину, как она рассказывала.

Молодой человек вернулся. Следом за ним шла Селина.

— Селина! — сказал Удомо.

Он успел забыть, как высока она была, как невозмутимо держалась. Встретив ее спокойный взгляд, он сразу вспомнил бесконечные дни, проведенные на пароходе в грязи и духоте третьего класса.

— А я думала, вы обо мне забыли, мистер Удомо,— сказала она.

Она медленно оглядела его с головы до ног. Она отлично помнила, каким он был на пароходе. Отутюженный пиджак — теперь он как жеваный. Сверкающий белизною воротничок рубашки — теперь он посерел от грязи. И этот галстук когда-то был без единой морщинки. Теперь он весь в пятнах, свернулся в трубочку. Брюки на коленях пузырятся, складок нет и в помине. Каблуки совсем стоптаны. Левый ботинок лопнул, и, если бы не носок, мизинец торчал бы наружу.

Она посмотрела ему в лицо. Похудел. Скулы и подбородок обозначились резче.

Удомо улыбнулся. Глаза их встретились, и она поняла, что он прочел ее мысли. Он чуть заметно повел плечом. Нет, он не изменился. Она ошиблась. Рубашка, пиджак, брюки, ботинки — все это не так уж важно, в конце концов. А вот то, что она еще тогда подметила в его глазах, осталось. Он пришел не потому, что его прижала жизнь.

— Идем,— сказала она.

Юноша отступил в сторону. Удомо прошел вслед за Селиной за ящики. Они были составлены так, что отгораживали небольшое пространство. Там стоял стол, стулья и узкая раскладушка, на которой спал ребенок. Земляной пол был покрыт ковром.

— Да у вас тут настоящая комната,— сказал Удомо.

— Это и есть комната,— ответила она.— Я здесь провожу целые дни.

Удомо взглянул вверх — над головой было синее безоблачное небо.

— Брезентовая крыша натягивается в два счета.

— Здесь можно ночевать,— сказал он.

— А я и ночую иногда... Садитесь, мистер Удомо.

Удомо сел напротив нее. Она сложила руки на коленях и приготовилась слушать.

— Вот вы взглянули сейчас на меня и подумали: а он изменился. Да, мне пришлось нелегко, о чем говорит хотя бы дыра в ботинке. Но

я пришел не поэтому. Помните, вы сказали мне, чтобы я пришел к вам, когда настанет час действовать. Этот час настал. И я пришел к вам. Но если вы, как некоторые другие мои знакомые, предпочитаете иметь дело с теми, у кого есть деньги, я сейчас же уйду.

— Не уходите. Рассказывайте.

— Как только я вернулся, я начал издавать газету.

— Знаю. Моя дочь читает мне вашу газету каждый день. И я думаю: да, он говорит правду. Но мы и без того знаем правду. А что делать, он нам не говорит. Вот дочка и читает мне газету каждый день, а я жду.

— Деньги для издания газеты дали мне три коммерсанта.

— И это я знаю.

— А то, что без их указки я шагу не могу ступить, это вы знаете?

— Нет, не знаю.

— Так вот, сначала они боялись за свои деньги. Потом стали бояться прогневить Совет вождей и старейшин и англичан. А теперь поняли, что при помощи газеты можно торговаться с Эндьюрой. Они говорят ему: «Мы угомоним Удомо, а вы сделаете для нас то-то и то-то». Они знают теперь, какое сильное оружие — газета...

— Вы им это показали.

— Я не думал, что имею дело с жуликами. Я понимал, что они преследуют свои интересы, но я не знал, что они жулики.

— А вы не можете порвать с ними?

— Газета необходима. Кроме того, я подписал с ними контракт на год.

— Значит, целый год вы будете ходить у них на поводу?

— Вот об этом-то я и пришел поговорить с вами.

— Я слушаю.

Она встала, зажгла примус и поставила на огонь чайник.

— Эта забастовка в порту,— медленно начал он.— Вы читали, что я писал о ней?

— Лучше всего вы написали в первый день. Вы тогда сказали всю правду.

Горькая усмешка искривила губы Удомо.

— Да! Но в тот же день все трое явились ко мне. Они видели Эндьюру, и тот их предупредил, что правительство может прикрыть газету.

— И на следующий день вы немного сбавили тон?

— Да, на следующий день я немного сбавил тон. А ведь эта забастовка могла бы стать началом. Но мне нужна помощь. Меня наверняка посадят в тюрьму, так пусть хоть недаром. Поэтому я и пришел к вам.

Селина, доставшая в этот момент чашку, застыла на месте. Затем повернулась к Удомо. Чайник закипел. Проснулся и заплакал ребенок. Она все смотрела на Удомо. Наконец отвела от него глаза и пошла к раскладушке. Одной рукой расстегнула платье, другой взяла ребенка. Ребенок потянулся к ее груди и сразу же перестал плакать...

Селина повернулась, и Удомо увидел на ее губах улыбку. Впервые он видел, как она улыбается.

— Расскажите мне, что вы придумали,— сказала она. Она заварила чай, налила и подала ему чашку. И все это время ребенок, не отрываясь, сосал ее грудь.

Удомо выпрямился. Теперь и он улыбнулся.

— От вас я вернусь в редакцию. Сяду за стол и напишу воззвание. Я призову весь народ восстать против чужеземцев и потребовать права на самоопределение. Я скажу ему, что Совет вождей и старейшин во главе с доктором Эндьюрой — слепое орудие в руках англичан. Я скажу, что настало время бороться, бороться до тех пор, пока мы сами и

наша земля не освободимся от ига чужеземцев. Мы выпустим очередной номер газеты. Воззвание будет на первой странице. Завтра весь народ узнает о нем.

— И вас арестуют.

— Да.

— А что тогда?

— Тогда вы и мой друг Эдибхой объедините вокруг себя народ. Лидеры портовой забастовки помогут вам. Я уже говорил с ними.

— А потом мы соберем деньги и уплатим за вас штраф?

— Нет! — крикнул Удомо.

Селина усмехнулась:

— Зачем же сердиться, мистер Удомо?

— Ни в коем случае не платите никаких штрафов. Я должен отсидеть положенный срок. Ваше дело поддерживать в народе брожение и создать партию, которая поведет его к свободе. Как вы не понимаете, Селина, ведь, сидя в тюрьме, я буду той силой, которая сплотит народ. Ну как, вы поддержите меня?

Селина встала и подошла к нему, придерживая одной рукой ребенка. Ее глаза сверкали. Она по-старомодному присела перед ним, затем взяла его правую руку и прижала к губам.

— Ты задумал такое дело и еще спрашиваешь, поддержу ли я тебя?

Он встал. Казалось, что сама земля дает ему новые могучие силы.

— Я готов умереть за мой народ.

— Мы хотим, чтобы ты жил, Удомо, и освободил нас. Иди и пиши воззвание. Мне нужно еще многое сделать, со многими поговорить. Почему ты не пришел раньше?

— Я понял, что́ надо делать, только сегодня. И сразу же пришел к вам.

— Ладно. Нам нужно много обсудить, до того как они заберут тебя. Я пришлю машину — ты закончишь работу и сразу приедешь ко мне.

— Я кончу, наверно, очень поздно — за полночь. Это воззвание надо писать с умом.

— Ну что ж. Значит, сегодня мы не будем спать. За ночь обсудим, что делать завтра, что делать потом. А твой доктор — он хороший человек? На него можно положиться?

— Вы сами увидите, когда познакомитесь с ним.

— Хорошо. Я пошлю за ним машину. Мы успеем поговорить до твоего прихода. Времени у нас мало, а дел много. Ты поужинаешь и отдохнешь у меня, когда кончишь. А теперь иди, Удомо!

Селина вышла с ним. И сразу же на них обрушился шум рынка. Удомо забыл, где он находится, и теперь это вавилонское столпотворение оглушило его. Как странно — в комнатку Селины шум не проникал вовсе. Селина велела юноше привести нужных ей людей. Затем повернулась к Удомо.

— А денег тебе не нужно, Удомо?

— Нет! — Он быстро зашагал прочь, расталкивая толпу.

— Сегодня я устрою в твою честь пир! — крикнула ему вслед Селина.

■

Корректоры уныло читали гранки.

— Был кто-нибудь?

Бодрые нотки в голосе Удомо заставили их встрепенуться.

— Один из директоров заходил,— ответил старший.

— Ну и что?

— Прошел к вам в кабинет, прочитал гранки первой страницы. Мы сказали ему, что она вам не нравится, а он ответил, что хозяин здесь он.— Корректор выжидательно замолчал, но Удомо не раскричался по обыкновению, и тот продолжал: — Директор тут кое-что подправил и сказал, что если вы будете против, то чтоб сообщили ему до того, как пустите газету в печать. Сказал, что будет ждать вас у себя в конторе до пяти.

— Уже почти пять,— сказал Удомо,— Беги скорее к директору, скажи, что все в порядке. Я принимаю его поправки. Иди, иди. Что ты на меня так смотришь? Директоров раздражать нельзя. Кто нам деньги платит?

— Но, мистер Удомо, сэр!

— И возвращайся поскорее. У нас еще много дел впереди.

Старший корректор с явной неохотой пошел вниз.

— И чтобы никто не отрывал меня — никто!

Он вошел в свой кабинет, одним движением руки очистил стол и рванул к себе машинку. Увидев, что вместе со всем остальным скинул на пол и бумагу, усмехнулся. Встал на колени, собрал рассыпавшиеся листы. Сел за стол, вставил лист бумаги и застучал на ветхой машинке. Первые слова ложились на бумагу неуверенно.

ВОЗЗВАНИЕ К НАРОДУ! ЧАС СВОБОДЫ ПРОБИЛ!

Народ Панафрики! Час свободы пробил! За дело! В порту бастуют наши братья. Это только начало. Они бастуют потому, что не хотят больше быть рабами.

Он писал долго, не отрываясь. Потом закрыл глаза и откинулся на спинку стула. У него кружилась голова от слов, которые он написал. Дело сделано! Путь назад отрезан. Он открыл глаза. Прочитал написанное. Кое-что переделал. Кое-что вычеркнул. Да! По-другому нельзя. В большинстве своем все это люди темные, поэтому надо писать понятно, лозунгами. Теперь дело за остальными — за Эдибхоем, за Селиной, за портовиками. А что, если поражение — и он долгие годы будет гнить в тюрьме, забытый всеми? Нет!.. Он встал, отпер дверь и позвал корректоров.

— Видел директора?

— Видел,— сказал старший.

— Ну, что он?

— Обрадовался. Сказал, наконец-то вы ума стали набираться, а сам смеется. Значит, говорит, зря я распорядился, чтобы наборщик не принимал от него никаких сумасбродных статей.

— Отлично! А теперь прочтите вот это.— Он пододвинул им воззвание.

Они читали, стоя рядом, склонившись над его столом. Когда они подняли на него глаза, он облегченно вздохнул. Ему нужно было знать, какова сила его слов, их лица сказали ему это.

— Бог мой! — старший корректор даже задохнулся.

— Так ведь это... это...— сказал второй и вдруг заорал во все горло: — СВОБОДА!

— Давайте за дело! Это надо набрать сегодня же.

— Но ведь вас арестуют,— сказал старший.

— Несомненно,— улыбнулся Удомо.

Он понимал, что отныне каждое его слово, каждый жест должны быть рассчитаны на публику.

— Печатать будем, пока хватит бумаги. Истратим всю бумагу, какая есть. Завтра она уже не понадобится. Каждый заберет с собой по пачке газет. Они постараются конфисковать весь выпуск.

— Слушаюсь, сэр! — глаза младшего корректора сияли.

— А наборщик? — сказал старший.— Он не станет набирать это. Не станет, я его знаю. Он только взглянет и сразу побежит с доносом к директору, а то и в полицию. Он ведь трясется за свое место.

— А ты? — спокойно спросил Удомо.

— Вы же знаете, что я с вами.

— Хорошо! Настанет день, и ты будешь редактором нашей газеты. Настоящей газеты.

— Но как же быть с наборщиком?

— Он любит выпить,— сказал младший корректор.

— А его помощник не мог бы набрать?

— Помощник и делает всю работу,— сказал старший.

— Ты думаешь, он согласится набрать это, если старик уйдет?

— Он готов за вас в огонь и воду,— быстро ответил младший корректор.

— А куда же деть старика? — спросил старший.

— Ты знаешь Селину? С рынка?

— Кто не знает Селины. Она заворачивает большими делами. Богатая женщина.

— Сходи к ней. Скажи, что я послал. Объясни, что из-за старика может все сорваться. Скажи, что он любит выпить.

— Все?

— Да. Хотя постой. Скажи еще, что нам нужны деньги на такси, и узнай у нее адреса, где можно спрятать газеты от полиции. Иди скорее, пока она еще на рынке.

На этот раз старшего корректора подгонять не пришлось. Вернулся он очень скоро. Вытащил из кармана толстую пачку денег.

— Селина говорит, через пятнадцать минут старика здесь не будет. Она сама приехала за ним и меня подвезла. Сказала, что подождет, пока я поднимусь наверх, и тогда пойдет к старику.

Удомо кинулся к окну и успел увидеть, как внизу в дверях типографии мелькнуло платье Селины. Немного погодя она вышла в сопровождении старика. Они о чем-то поговорили, затем старик вошел в дом.

— Садитесь по местам,— поспешно распорядился Удомо.

Он бросился в свой кабинет. Сунул в карман только что написанное воззвание. Когда старик постучался и зашел в кабинет, он сосредоточенно правил гранки первой страницы.

— Мистер Удомо, почему вы задерживаете гранки? Я буду жаловаться. Вы что, не знаете, который час?

— Извините, пожалуйста,— кротко сказал Удомо.— Один из директоров внес кое-какие изменения, и я переношу их в рабочий экземпляр.

— Я слышал об этом уже час назад.

— Извините, мистер Таунсенд. Знаете, у меня были сведения, что грузчики пошли на уступки.

— Пустые слухи. Разве с этими дураками столкуешься? И что вы с ними носитесь? Нет, не одобряю я этого...

— Больше я не буду о них писать, мистер Таунсенд. Обещаю вам.

— Образумились, значит. Что ж, пора! Но я, собственно, зашел сказать, что я сейчас уезжаю. Надо повидать клиента. Очень крупный заказ. Сами знаете, одной вашей газетой типография долго не продержится. Помощник управится без меня. А вечером я постараюсь заехать.

— Ну зачем вам беспокоиться. Я пошлю в типографию одного из своих корректоров.

— Ладно. Но только чтоб без глупостей.

Удомо развел руками с видом оскорбленной невинности.

— В таком случае до свидания. Очень рад, что вы наконец одумались.

— До свидания, мистер Таунсенд.

До чего же эти чертовы креолы самодовольны, беззлобно подумал Удомо.

Старший корректор просунул голову в дверь.

— Уехали. Забрала она его.

Удомо вскочил.

— Пошли! У нас дел по горло.— Они сбежали вниз по скрипучей лесенке.— Адреса у тебя?

— Она велела взять такси и привезти все газеты к ней домой.

— Хорошо! — Он первым вошел в типографию.— Заприте двери.

Он приветливо улыбнулся мальчишке, который встал ему навстречу.

— Ну, брат, и задание же я тебе сейчас дам. Ты потом в старости будешь об этом внукам рассказывать. Есть хочешь?

— Хочу, сэр,— мальчишка улыбнулся во весь рот.

Из пачки, присланной Селиной, Удомо достал фунт стерлингов и протянул младшему корректору.

— Поди купи еды. Она нам пригодится. Заприте за ним двери.

Он снял пиджак — теперь его мало беспокоило, видит ли кто-нибудь прорехи на рубашке,— и протянул воззвание мальчишке.

— Покажи-ка нам, как работает этот станок. Мы будем печатать, а ты пока набирай.

— Слушаюсь, сэр! — сказал мальчишка. Он чувствовал себя героем.

■

Около двух часов ночи такси подкатило к дому Селины. Из окон дома лился свет. Это был один из немногих домов в западной части города, в котором было электричество.

— Приехали, сэр,— сказал шофер.

Из дома доносились голоса, кто-то крикнул:

— Приехал!

Встречать Удомо вышла целая процессия во главе с Эдибхоем и Селиной. Он сразу же оказался окруженным людьми, ответил на десятки рукопожатий.

— Готово? — спросила Селина.

— Готово,— ответил он. И протянул Эдибхою газету, которая была у него в руке.— В такси десять тысяч экземпляров, Селина.

— Этим займемся мы,— сказала Селина.— Ты свое сделал.

— И устал же ты, наверно,— сказал Эдибхой.

— Времени отдыхать у меня будет достаточно.

— Пошли,— сказала Селина.— Ты сейчас поужинаешь, Удомо. А доктор пока прочитает нам твое воззвание. Пошли!

В большой комнате за столом, заставленным винами, сидело человек двадцать. Никто не был пьян, и это понравилось Удомо. Значит, народ подобрался степенный. На несколько минут они остались вдвоем с Эдибхоем.

— Ну как? — спросил он.

Эдибхой сиял:

— Замечательные люди! Они не отступят. Не подведут. Но эта Селина, брат!..— он радостно захохотал.— Мы уже многое с ней обсудили.

Селина подвела к Удомо своего мужа и старшую дочь. Муж был низенький, толстый и заспанный. Он приветливо улыбался. Дочка — худенькая, долговязая, лет двенадцати. Селина представила мужа и тут же велела ему забрать из такси газеты и расплатиться с шофером.

— Значит, это ты читаешь матери газету? — спросил девочку Удомо.

Она застенчиво потупилась.

— Она, она,— ответила Селина.— Сейчас она подаст тебе ужин и накормит тебя. Смотри, дочка, накорми его хорошенько. Это великий сын нашего народа! Он должен быть сильным. А вы, доктор, пока почитайте нам.

Удомо прошел за девочкой в маленькую комнату, смежную с большой.

— Не закрывай двери,— сказал он девочке.— Я хочу послушать.

Эдибхой вышел на середину и стал читать. Он читал, и голос его набирал силу, становился все более страстным, словно отражая чувства, владевшие Удомо, когда он писал свое воззвание.

Удомо перестал есть, он весь обратился в слух. Завтра тысячи людей, быть может, сотни тысяч услышат эти слова. Они распространятся по земле, как пламя, как голос говорящих барабанов в старину. Пробудят ли они народ? Поднимут ли его?

Эдибхой дочитал до конца. Наступило молчание. И вдруг чей-то голос взорвал тишину:

— СВОБОДА!

Остальные подхватили клич. И мощные голоса потрясли дом.

Удомо откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Он чувствовал озноб во всем теле. Сердце глухо стучало. Он перевел дыхание и открыл глаза. Значит, все правильно. Момент наступил, и он сумел воспользоваться им.

— Но самая битва еще впереди,— прошептал он.

Теперь говорили все вместе, и Селине пришлось сдерживать их, чтобы они не ворвались к Удомо.

— Он голоден, он устал! — кричала она.— Дайте ему поесть. Потом он будет отдыхать, и никто к нему не войдет. Слышите, никто! Он отдохнет, и тогда мы расскажем ему, что решили делать дальше. Потом он поедет к себе и будет ждать тех, кто должен прийти за ним, а мы возьмемся за работу. За работу! Ему нужна победа, а не ваши похвалы. Правда, доктор?

Прекрасно, думал Удомо, прекрасно. Замечательная женщина Селина. Пусть она действует. А направлять ее будет Эдибхой. Надо напомнить Эдибхою, чтобы он послал Лэнвуду обстоятельный доклад в Лондон. Они разошлют его в газеты, организуют демонстрации, запросы в парламенте, копию доклада надо послать в Совет наций. Боже мой! Господи боже мой! Наверно, то же самое, что испытывает сейчас он, испытывали люди, совершавшие революции в прошлом! Люди, имена которых вошли в историю. Как будто тебя подхватил стремительный поток. А ты спокоен. Были ли они уверены в успехе? Наверно, да, иначе не начинали бы. Эти люди не подведут меня. Не подведут! Мой призыв, как пламя, охватит землю и поднимет народ на борьбу. К оружию, мой народ! Главное — спокойствие, друг. Волнения, восторги — это для других. На тебе ответственность. Все еще может рухнуть. Подумай об этом. Нет! Не рухнет! Этого не может быть. Не должно быть! МЫ ПОБЕДИМ! Как нужна сейчас здесь вся группа! Даже Мэби. Они приедут. Обязательно приедут. Я позову их, и они приедут. И Том освободится наконец от этой женщины, которая кормит, одевает его и презирает. И Мхенди освободит свою страну. Да! Мы сделаем это.

Вошла Селина. Девочка убежала.

— Ты сыт?

— Спасибо, Селина,— он вспомнил про деньги, лежащие у него в кармане. Достал пачку и протянул ей.— Я взял, сколько нам понадобилось.

— Оставь их себе.

— Нет. Я взял, сколько надо. Это твое.

— Все, что принадлежит мне, принадлежит и тебе, Удомо.

— Возьми деньги.

Селина усмехнулась.

— Чего ты сердишься? Хорошо, я возьму,— она взяла деньги.— А теперь пойдем.

— Я не устал.

— Пойдем, Удомо.

Он встал и пошел за ней через весь дом в заднюю комнату.

— Вот сюда. Ровно через час я приду за тобой и постучу. С той стороны есть ключ. Запри дверь. Хотя и так никто не потревожит тебя. Там есть еще одна дверь. Ты поймешь, зачем она. А теперь иди.

Удомо открыл дверь, переступил порог и быстро повернулся к Селине.

— Что это?

Селина ласково взглянула на него.

— Она разделит с тобой этот час отдыха. В тюрьме нет женщин. Посмотри на нее, она молода и красива. Она не знала мужчин, но знает все, что должна знать наша женщина. Тебе будет хорошо с ней.

— Но, Селина, кто она? Я...

— Ты что, уж не хочешь ли ты заводить у нас обычаи белых? Эта девушка — дочь твоего народа. Она для тебя. Ты мужчина, она женщина. Что нужно еще? Разве не так было у нас всегда? Иди к ней и отдохни. Одно только ты должен мне обещать! Если сбудется то, о чем мы мечтаем, ты, наш вождь, не возьмешь в жены белую женщину. Над нами не должно быть белой женщины. Обещай мне.

Она права, подумал Удомо, права.

— Обещаю,— торжественно сказал он.

— А теперь иди. Никто больше не знает. Будь счастлив.

Когда он вошел, девушка повернулась к нему. Она действительно была хороша. Ее глаза приветливо улыбнулись ему. Темные глаза. Они чуть задержались на его лице и скользнули в сторону.

— Поди сюда,— сказал он.

Она подошла и стала перед ним, опустив головку. На ней не было ничего, кроме тонкого покрывала.

— Как твое имя?

— Меня называют Нэнси,— прошептала она.

— Посмотри на меня, Нэнси.

Она подняла голову. От нее пахло душистым мылом.

Темные глаза, темные, как африканская ночь. Не светлые и ясные, как у Лоис. Лоис... Почему она всегда жива в его мыслях? Ведь он никогда не вспоминал о ней, и все-таки она была с ним, всегда.

— Здесь слишком светло,— сказал он.

Нэнси потянулась к выключателю. Свет погас. Потом она нашла его руку.

— Идем,— прошептала она, ведя его через темную комнату.

Не светлые и ясные, как у Лоис...

Уже потом ему стало казаться, что это Лоис: новая Лоис, постигшая искусство любви в лесах Африки, где женщины испокон веков учились этому. Он знал, что это иллюзия. И все же цеплялся за нее... пока мог. Потом пришел покой. И сразу же мысли его вернулись к Лоис — такой, какой она была там в горах, в далекой чужой стране. И его потянуло к ней, к прежней. Она знала лишь то, чему ее научило сердце, эта знала секреты любви.

— Я угодила вам? — прошептала Нэнси.

Он погладил ее по щеке и ничего не сказал.

Лоис...

Глава вторая

1

Адъютант губернатора отворил двер и провозгласил:

— Его превосходительство!

Джонс и Смизерс встали. Губернатор, лорд Росли, быстрыми шагами вошел в комнату и сел в свое кресло.

— Джентльмены...

— Сэр,— почти в унисон отозвались Джонс и Смизерс.

— Садитесь, пожалуйста. Я пригласил вас сюда потому, что мне не очень нравится такой поворот событий. Мне хотелось бы поговорить с вами до начала заседания исполнительного комитета.

— Вы видели газету? — спросил Смизерс.

— Только что прочел. Сильно написано! Может наделать хлопот — если дойдет по назначению. Вопрос в том, дойдет ли?

Смизерс сказал:

— Вся полиция поднята на ноги. Обнаруженные номера немедленно конфискуются. За пределы города мы ее не выпустим, так что скоро весь тираж будет уничтожен.

— А вы знаете, сколько экземпляров находится в обращении? — спросил Росли.

— Я говорил с одним из владельцев газеты. Обычный выпуск не превышает трех тысяч.

— Но это не обычный выпуск,— спокойно вставил Джонс.— Я заходил утром в типографию. Вчера ночью был израсходован трехнедельный запас бумаги. Может, и больше... Хозяин типографии точно сказать не может.

— А что он говорит в свое оправдание?

— Он к этому непричастен. Вчера вечером его не было в типографии — ездил к одному клиенту. Удомо воспользовался его отсутствием.

— А владельцы?

— Я уверен, что и они ничего не знали, сэр,— сказал Смизерс.

— Значит, чего доброго, в городе могут быть припрятаны десятки тысяч номеров?

— Боюсь, что так,— сказал Джонс.

— Мне это кажется маловероятным,— возразил Смизерс.

— Посмотрим, во что все это выльется,— сказал губернатор.— Кстати, каково настроение в городе? Распространяется эта газета или нет? И вот еще что меня беспокоит, стоит ли за Удомо какая-нибудь организация?

Губернатор посмотрел на Смизерса, затем на Джонса. Вынул портсигар и протянул им. Смизерс взял сигарету. Джонс достал свою трубку.

Смизерс откашлялся. Напыщенный осел, подумал Джонс. Поймал веселый огонек, мелькнувший в глазах губернатора, и поспешно отвел взгляд.

— Буря в стакане воды,— твердо заявил Смизерс.— Удомо — обыкновенный смутьян. Он и два его болвана посажены под замок. Пусть посидят немного, им полезно. Полиция скоро выловит эти дурацкие листки. На том дело и кончится. Покричат еще немного и успокоятся. Я здесь не первый год, сэр. Все это я видел, и не раз.

— Значит, вы думаете, что за спиной Удомо нет никакой организации?

— Конечно нет, сэр! И чем скорее состоится суд над Удомо, тем скорее все успокоятся. Эта публика уважает твердость. Я убежден, что, если мы поведем себя твердо, не пройдет и недели, как вся шумиха уля-

жется. Совет вождей и старейшин поддержит любые действия правительства. Эндьюра сам скажет об этом на сегодняшнем заседании.

— А народ пойдет за Эндьюрой?

— Эндьюра самый проницательный политик в стране, и его уважают. Я бы рекомендовал не тянуть с судом, назначить его на завтра или на послезавтра. И еще, по-моему, необходимо решительно и беспощадно пресекать любые противозаконные действия — нарушения общественного порядка, воровство и вообще всякие безобразия. Это приведет их в чувство. Будьте уверены, они скоро забудут Удомо.

— Короче говоря,— сказал Росли,— вы стоите за применение силы.

— В данном случае, сэр, да!

— Вы думаете, это даст результаты, Джонс?

Смизерс вспыхнул. Пальцы, державшие сигарету, задрожали.

— Возможно,— ответил Джонс.

Что-то в его голосе заставило и губернатора, и начальника канцелярии внимательно посмотреть на него. Джонс набивал трубку, словно не замечая их взглядов.

Губернатор посмотрел на часы и встал.

— Благодарю вас, джентльмены. Теперь я знаю, как мне построить свой доклад. Может, останетесь выпить со мной чаю?

— К сожалению, не могу, сэр,— сказал Смизерс.— Меня ждут два чиновника, приехавшие из провинции.

— А вы, надеюсь, можете, Джонс.

— С удовольствием, сэр,— ответил Джонс.

— Тогда разрешите откланяться,— сказал Смизерс.— Всего хорошего, сэр.

— Всего хорошего, Смизерс. Благодарю вас за помощь.

— За тем мы тут и сидим, сэр.

Смизерс вышел.

Неожиданно Росли расхохотался.

— Иными словами, дорогой Джонс, губернаторы приходят и уходят, а начальники канцелярий остаются и вершат дела... Наш дорогой Смизерс не в восторге от меня, верно, Джонс? А ведь первое правило «Руководства для губернаторов» гласит: «Долг губернатора поддерживать наилучшие отношения со всем своим штатом, ибо это способствует укреплению духа товарищества».

— Неужели? — Джонс искренне заинтересовался.

Росли покатился со смеха. А он мне нравится, подумал Джонс.

— Нет конечно. «Руководства для губернатора» не существует в природе. А между прочим, неплохо было бы, если бы оно существовало, и первое правило гласило бы именно так... Пойдемте наверх, подальше от этого вылизанного великолепия. Я всегда чувствую себя здесь незваным гостем... Мартин!

Вошел адъютант.

— Вольно! — усмехнулся Росли.— Вот что, мы с мистером Джонсом идем ко мне пить чай. В течение часа его превосходительство занят — кто бы его ни спрашивал. Срочная работа. Пошли, Джонс.

Наверху несколько комнат личных губернаторских апартаментов были превращены в уютную, не отличавшуюся порядком холостяцкую квартиру. Джонс и Росли расположились в гостиной, обставленной в строго мужском вкусе. Черный слуга весь в белом принес чай. Губернатор не преминул поблагодарить его. Правильный подход, подумал Джонс.

— Вот что, Джонс, я хотел поговорить именно с вами и очень рад, что Смизерс не мог остаться. Он смотрит на все глазами старого служаки, воспитанного в колониальных традициях, и реагирует соответственно.

— Боюсь, что вы недооцениваете Смизерса, сэр. Он держится напыщенно, он рутинер, и все же, говоря откровенно, он один из немногих действительно умелых колониальных администраторов.

— Я вовсе не хочу умалять его достоинств, Джонс. Но, мне кажется, назвав его «рутинером», вы попали в самую точку. Так вот, помогут ли сейчас те методы, на которых настаивает Смизерс? Действительно ли это буря в стакане воды, мыльный пузырь, как он считает?.. Подождите отвечать. Позвольте, я сначала скажу вам, почему, как мне кажется, мы стоим сейчас перед такими трудностями во всех наших колониях. И не только мы. Мне кажется, что миром сейчас владеет одна идея, и суть ее такова: ни один народ не должен управлять другим народом, каким бы хорошим это управление ни было. Словно над землей пронеслась туча, зараженная вирусами этой идеи. Отсюда это стремление, это страстное желание, эта потребность народов самим управлять своими странами, пусть даже из рук вон плохо. Вы понимаете, о чем я говорю? Существуют ли такие настроения здесь?

— Понимаю. Да, такие настроения здесь существуют.

— Вы не думаете, что я сошел с ума? Если думаете — ради бога, скажите прямо. Смизерс, конечно, подумал бы, но никогда бы не сказал этого. Слишком хорошо воспитан.

Джонс улыбнулся. Его желтоватое лицо вдруг стало мальчишеским и милым.

— Нет, сэр. Я не думаю, что вы сошли с ума. Я как-то попытался сказать Смизерсу то же самое, но не сумел выразить свою мысль. Думать об этом проще, чем говорить. А еще нас, англичан, называют нацией Шекспира! Я лично убежден, что вы совершенно правы. Я уже давно это заметил. Среди людей растет беспокойство. Массовый психоз какой-то. Хорошие ребята, старые приятели, с которыми свободно говорили обо всем, вдруг ни с того ни с сего обижаются, огрызаются на самые безобидные замечания. Повышенная чувствительность, которой раньше не было...

— Да,— задумчиво сказал Росли.

— Вам нужно бы съездить в город,— сказал Джонс.— Сегодня я почувствовал это особенно остро.

— Как пороховой склад?

— Скорее, как грозовая туча.

— И в этот момент на сцену выходит наш друг Удомо. Как вы считаете — он причина или следствие?

— Ни то, ни другое, сэр. По-моему, все это произошло помимо него.

— Но он может воспользоваться ситуацией в своих целях.

— Безусловно, сэр.

— Знаете, Джонс, не надо было арестовывать его.

— Существует закон, сэр. Я сам посылал ему правила печати.

— Значит, вы с ним знакомы?

— Я много слышал о нем, и мне захотелось с ним познакомиться. Я его встретил на пляже как раз в день вашего приезда.

— И какое впечатление он на вас произвел?

— Забавнее всего, что он мне понравился. Держался независимо и дал мне понять, что ничего общего у нас с ним быть не может. Не грубо, но достаточно ясно,— Джонс грустно улыбнулся.

— Да, в нашем Удомо что-то есть.

— Вы встречали его в Лондоне, сэр?

— Я познакомился с ним у одной очаровательной женщины, тонкой и умной, немного богемного склада. Потом говорили, что она стала его любовницей. Я этому не верю. Не похоже на нее. Сплетня, в общем. И еще раз я видел его на нашей конференции,— Росли улыбнулся.—

Знаете, Смизерсу особенно не нравится, что я — член прогрессивной партии.

— Лично против вас, сэр, он ничего не имеет. Тут вопрос принципа.

— Не сомневаюсь! Право, вы зря так старательно его защищаете.

— Извините, сэр.

— Поверьте, я очень ценю добродетели Смизерса. Так вот, Удомо произвел на меня впечатление. Такая в нем клокотала ярость. Речь, которую он произнес, совершенно потрясла всех. Вроде сегодняшнего воззвания в газете. Что же нам с ним делать? Если бы он, черт его побрал, не был таким искренним патриотом...

Оба замолчали. В комнате было прохладно. Ослепительное солнце не добиралось сюда. Джонс сидел, посасывая трубку. Спасают, наверно, каменные плиты, из которых сложен дворец, подумал он. Есть смысл быть губернатором, раз уж приходится жить в таком пекле... А этот, по-видимому, превосходный малый.

Росли встал и подошел к окну.

— Вот что, Джонс,— сказал он, глядя на улицу.— Я кое-что придумал. Мы ведь никак не связаны со здешней интеллигенцией. Да и Совет, возглавляемый Эндьюрой, тоже далек от нее. Если этот Совет и может на кого-то опереться, так только на племена в самых глухих районах. Такое у меня впечатление. Вот я и хочу попытаться установить дружеские отношения с африканской интеллигенцией. Мне нужен список этих людей. Его превосходительство даст большой прием, на который все они будут приглашены. И никаких фраков и вечерних туалетов. Как вы на это смотрите?

— Превосходная мысль, сэр.

Росли резко повернулся и пристально посмотрел на Джонса.

— Вы серьезно?

— Это как раз тот путь, о котором я давно думаю,— сказал Джонс.— Я даже Удомо приглашал к себе.

— И что же? Не вышло?

— Возможно, потому, что я из службы безопасности, сэр. Откровенно говоря, я их понимаю. У нас, в Англии, к полиции тоже относятся с предубеждением. Что уж там говорить о службе безопасности.

— Да, пожалуй, вы правы. Так вы составите мне список? Я хочу завтра же разослать приглашения.

— Слушаюсь, сэр.

— И еще одно: как вы думаете, дать им понять, что новый губернатор за широкие контакты?

— Да, в этом есть смысл, сэр.

— А теперь самый щекотливый вопрос. Помните первое правило «Руководства для губернаторов»? Как заручиться одобрением Смизерса?

Джонс пожевал трубку. Затем поднял на Росли весело поблескивающие глаза.

— Его превосходительство могли бы дать неофициальный обед для начальников отделов и кое-кого из деловых тузов. Поводом для обеда могло бы послужить желание губернатора выразить признательность своему начальнику канцелярии, который так мудро ведет его мимо всевозможных ловушек, неизбежных на пути всякого, кто берется за новую для него работу.

— Замечательно! А на обеде я выберу момент и попытаюсь поговорить с ним. Великолепно, Джонс! Думаю, надо дать обед сегодня же.

— Это будет пощечина мне,— улыбнулся Джонс.

— Вы уж как-нибудь переживете. А теперь насчет Удомо. Он представляет гораздо большую угрозу в тюрьме, чем на свободе. Вы ведь это понимаете?

— Да, однако теперь уже ничего нельзя сделать. Делу дан ход.

— Очевидно, так. Но на этот раз придерживаться буквы закона нельзя. Мы не можем позволить течению захлестнуть нас, надо направить его по нужному руслу. Если мы преградим ему путь, оно сокрушит и нас, и нашу колонию. Такая ошибка — арестовать Удомо!

— План Смизерса может и сработать, сэр. Во всяком случае, я надеюсь.

— И я надеюсь, Джонс. И все же боюсь, что он не сработает.

— Разделяю ваши опасения, сэр.

— Следите за тем, как развиваются события, и держите меня в курсе. Если у вас будут какие-нибудь предложения, сообщите их мне. Я на вас рассчитываю.

— Слушаюсь, сэр,— сказал Джонс. Он встал.— Спасибо за чай.

— Заходите,— сказал губернатор.— Если вы не возражаете, я загляну к вам как-нибудь вечером инкогнито.

— Прошу вас.

— И ведь что самое противное в нашей колониальной политике — мы как усядемся, так и не можем оторвать зада, пока нас не стукнет по голове.

— До свидания, сэр,— сказал Джонс.

— До свидания, Джонс. И когда мы наедине, давайте без титулов.

Джонс спустился вниз и вышел из губернаторского дворца. А этот Росли симпатичный парень, подумал он.

Полицейский у ворот отдал ему честь.

■

Город, залитый палящим солнцем, словно вымер. В порту, всегда оживленном, было тихо. В гавани замерли пароходы. Даже солнце, казалось, застыло в зените, примкнув к бастующим.

Внизу вдоль причала рыбацких лодок шли двое. Они были увлечены разговором.

— Говорят, теперь белым этого не остановить. Говорят, Удомо такой сильный, что его и тюрьма не удержит.

— А солдат видал?

— Видал, брат. Хотят запугать нас, как малых детей. Но вот увидишь, начнут они отнимать газеты, а газет все больше и больше будет. Говорят, их столько, что все равно всех не отымешь. Уже по всей стране их читают.

— А он освободит нас, этот Удомо?

— Говорят, если за ним пойдет народ, он горы своротить может. Подожди, придет день, он сам с нами будет говорить. Тогда мы все узнаем.

— А газету ты видел?

— Мне ее читали.

— И что там написано?

— Хочешь знать?

— Не хотел бы, не спрашивал.

— Ты можешь послушать. Только дай слово, что будешь молчать.

— Буду молчать.

— Даже если спросит полиция?

— Да.

— Ладно. А когда услышишь, что говорит Удомо, найди человека, которому веришь, и пошли его тоже послушать. Так слова Удомо обойдут весь народ. Знаешь хромого Джозиа?

— Знаю.

— Пойди к нему.

— И что?

— Там увидишь. Скажи, что я тебя послал. Иди.

Один ушел. Другой походил немного между рыбаками, занятыми починкой сетей, пока не встретил еще одного, которого знал, которому верил.

— Здорово, брат. Что скажешь об этой истории с Удомо?

— Я так понимаю, что он за нас стоит. И тюрьма ему не помеха.

— Я слыхал его слова. Хочешь послушать?

— Хочешь послушать! Я, брат, еще утром достал газету. Думал, сын почитает мне, когда вернется из школы. А собака полицейский отнял ее у меня. Отнял, да еще пригрозил...

— Потише, брат, я скажу тебе, где можно услышать его слова.

— Где?

— Слушай...

■

В грязные хибарки, затерявшиеся в тихих улочках, незаметно прокрадывались мужчины и женщины. Кто-то встречал их у дверей, брал с них клятву хранить молчание. Только после этого их проводили в комнату. И там им читали слова Удомо. Сначала слушателей собиралось не больше трех. Скоро число их пришлось удвоить, потом утроить. После чтения всем предлагали вступить в партию Удомо — партию «Свободу Африке». К вечеру в новую партию вступило свыше десяти тысяч человек. Каждый вступивший платил членский взнос — один шиллинг.

Газету читали по всему городу. И по всему городу шныряли полицейские, вылавливая крамольный номер «Куинстаун пост».

Но никаких беспорядков не было.

■

На рынке шоферы стареньких, ярко раскрашенных грузовиков, развозивших товары во все уголки страны, перед тем как отправиться в путь, обязательно заходили к Селине. И каждый уносил с собой по сто экземпляров газеты. Несколько грузовиков было осмотрено при выезде из города. Кое у кого из пассажиров — по большей части у женщин — обнаружили отдельные номера. Но основная масса газет была надежно припрятана, и грузовики продолжали свой путь.

Люди заглядывали к Селине. Тихонько разговаривали с ней о чем-то и, не задерживаясь, уходили.

■

Доктор Эндьюра вошел в кабинет Смизерса и сел.

— Здравствуйте,— сказал Смизерс и посмотрел на часы.— У нас всего несколько минут до начала совещания. Сегодня утром я говорил с губернатором. Он весьма обеспокоен делом Удомо.

Смизерс внимательно следил за выражением лица своего посетителя. Он никак не мог понять, что за человек Эндьюра. Этих черных аристократов не так-то легко раскусить.

Едва заметная улыбка играла на губах Эндьюры, смешливые огоньки мелькали в глазах. Он был очень высок — больше шести футов — и грузен, но вес свой носил с удивительной легкостью, даже грацией. Он, казалось, насквозь был проникнут сознанием собственного превосходства.

— Вот уж не поверю, чтобы наш милейший губернатор испугался какого-то пустозвона.— Он улыбнулся, в горле булькнул смешок.

— Я говорю серьезно,— оборвал его Смизерс. Этот тип кого угодно мог вывести из себя своим барским чуть снисходительным тоном и оксфордским акцентом. Тоже мне, доктор философии, совершающий богослужения перед алтарями предков!

— Но и я не шучу, дорогой мой. Я очень, очень встревожен. Мне со школьной скамьи внушали, что англичане никогда ничего не боятся. Вспомните, как вы завоевывали свою империю. Вряд ли бы вам это удалось, если бы вы боялись каждого пустозвона, которому пришло в голову выкрикивать безграмотные лозунги. Не подрывайте в моих глазах авторитета нации, обладающей бульдожьей хваткой.

Смизерс еле сдерживал нарастающую ярость. Эндьюра заметил это и рассмеялся, колыхаясь всем своим огромным телом.

— Если для вас это веселая шутка, пошли лучше на совещание. Возможно, его превосходительство оценит ваш юмор.

— Ну, будет, будет, Смизерс...

Какая наглость, подумал Смизерс.

Эндьюра продолжал:

— Чтобы править страной, надо владеть искусством управления. Хорошее правительство владеет им в совершенстве, и ему подчиняются. Сильное, уверенное в себе — одним словом, хорошее правительство знало бы, как поступить с Удомо, вместо того чтобы топтаться на месте.

— Вы, надо полагать, знали бы, как поступить с ним.

— Нам приходилось иметь дело с такими, как он, задолго до того, как вы появились на сцене. По крайней мере, нашим дедам и прадедам приходилось.

— Они обращались к помощи ядов и наемных убийц, по всей вероятности.

— Ну что вы, Смизерс. Вы же лучше меня знаете, что правительство никогда никого не убивает. Оно только наказывает. Если же оно не в состоянии делать это, ему следует уступить место другому правительству. Собственно говоря, благоразумные правители обычно так и поступают.

— Что вы имеете в виду?

Улыбка сбежала с лица Эндьюры, насмешливые нотки в голосе исчезли.

— Но ведь это же очень просто. Мне кажется, пришло время передать бразды правления в наши руки...

— Что! Как вы...

— Бросьте, Смизерс, к чему это благородное негодование? Мы с вами не первый день занимаемся политикой. Давайте смотреть фактам в лицо. Вы, как и я, отлично знаете, что мы вас сюда не звали. Вы завоевали нас. Мы покорились силе. И вы могли править нами, пока мы питали уважение к этой силе. Но все меняется. Ваше могущество идет на убыль. Отличительная черта нашего времени — крушение колониального строя. Вы и сами уже перестаете верить в собственную божественную миссию. Потому-то ваши губернаторы и становятся нерешительными, а народы во главе с какими-нибудь Удомо восстают против вас. И вы спрашиваете, что вам делать. Какого ответа вы ждете? — Он замолчал. Улыбка опять заиграла на губах, но глаза оставались холодными.

— Может, вы мне его дадите,— резко сказал Смизерс.

— Охотно! Я уже давно ждал подобной ситуации. И дождался. Единственный выход — изменить конституцию и передать власть нам. Только мы сможем восстановить в стране спокойствие, нарушенное Удомо. Бесспорно, вы еще долго будете нужны нам, Смизерс. У вас знание дела и лучший в мире, честнейший правительственный аппарат. Мы были бы дураками, если бы отказались от него. Вы, вероятно, будете

нужны нам по меньшей мере лет пятьдесят. Но восстановить порядок, не прибегая к насилию, можем только мы — люди, унаследовавшие власть от предков. Откровенно говоря, я не уверен, что даже самыми свирепыми полицейскими или военными мерами можно сейчас что-то сделать.

— Власти захотелось? — вскипел Смизерс.

— Да, конечно. Вам это не нравится? Тогда взвесьте второй вариант. И не забывайте, политика — это искусство отличать желаемое от возможного. Я говорю, разумеется, о людях разумных. Наш друг Удомо, не задумываясь, раздул бы пожар на всю страну. У нас с вами иные взгляды. Оба мы хотели бы, чтобы в стране восторжествовали закон и порядок, и как можно скорее.

— Ведь вы же *сами,* не далее как сегодня утром, призывали меня проявить твердость.

— Я еще не имел тогда точного представления о размерах волнений,— он тихонько рассмеялся.

— Но ведь это шантаж!

— Разве? В таком случае оставим этот разговор.

Смизерс откинулся на спинку кресла и долго смотрел в угол комнаты.

Думайте, думайте, господин начальник канцелярии, хорошенько думайте, говорила улыбка Эндьюры.

Наконец Смизерс взглянул на него.

— Надо полагать, вы будете говорить об этом на совещании?

— Если не возражаете. Я надеялся, что скажете об этом вы, но...

— Нас ждут,— оборвал его Смизерс.

У двери Эндьюра отступил в сторону, и Смизерс прошел вперед в кабинет, где должно было состояться совещание исполнительного комитета.

■

К вечеру полиция получила первые сведения о том, что газету Удомо читают в городе. Не в меру рьяный инспектор арестовал несколько человек. Белое начальство, узнав об этом, пришло в ужас.

Сразу же после того, как были произведены аресты, два адвоката-африканца посетили Селину. Один из них сказал:

— В правилах печати ничего не говорится о чтении газет. Эти люди арестованы незаконно. Мы готовы защищать их — мы сделаем это для вас, для партии.

— Вы знаете про партию?

— Все знают. Мы хотим вступить в нее.

— Вечером приходите ко мне. Послушаете доктора Эдибхоя. Он второй после Удомо. Он говорит от имени Удомо, пока Удомо самому не дают говорить.

■

— Каким образом она проскочила? — спросил Джонс.

— Телеграфист оказался одним из этих, сэр,— ответил африканец — агент службы безопасности.

— Из этих? — переспросил Джонс.

Агент беспомощно пожал плечами. Джонс еще раз прочитал телеграмму.

«Лэнвуд, 36, Ридженси Мьюз, Лондон. Срочно.

Удомо арестован правила печати II(С)тчк всей стране волнения предайте гласности Эдибхой».

— Хорошо,— сказал Джонс.

Агент ушел. Джонс быстрыми шагами направился по коридору в кабинет Смизерса. Он вошел, не постучав, и швырнул телеграмму на стол начальника канцелярии. Смизерс отпустил помощника и стал читать.

— Ее успели передать?

— Да.

Смизерс схватил телефонную трубку.

— Дайте больницу... Завтра это будет во всех английских газетах. А в парламенте всегда найдутся дураки, которые рады поднять шум... Алло! Да! Смизерс. Вот что, у вас там работает некто Эдибхой... Да! Так вот он должен быть немедленно уволен, как бы высоко вы его ни ценили... Нет, пока не установлена... Да, всю ответственность беру на себя... Как обычно — подрывные действия. Замешан в деле Удомо.

— Это он организовал новую партию,— сказал Джонс.

— Джонс только что сказал мне, что новая партия — дело его рук... Нет, нет!.. Да, дело принимает скверный оборот. Только что звонил наш человек из провинции. Страна буквально наводнена этими проклятыми газетами... Хорошо.— Он положил трубку. Взглянул на Джонса.— Еще что-нибудь?

— Ходят слухи, что сегодня состоится митинг.

— А как с этими чтениями?

— Хорошую заварили кашу. Их адвокатам будет где развернуться. Чрезвычайного положения мы не объявляли, а наши люди действовали так, будто оно объявлено.

— Теперь уже ничего не поделаешь,— сказал Смизерс.— Возможно, нам придется его объявить.

— Беда в том, что нет никаких беспорядков,— Джонс подумал и добавил: — Пока нет.

— В том-то и дело! Что у нас есть об этой женщине — Селине?

— Делец в юбке. Одна из самых богатых людей в стране. Ведет крупную торговлю. Никто не знает, насколько она богата. Платит наличными, даже когда нужно выложить тысячи. Горда и замкнута, особенно с европейцами. Особенно после возвращения из Англии. Она приехала тем же пароходом, что и Удомо. Можно предположить, что там-то он и очаровал ее.

— Зачем она ездила в Англию?

— Никто не знает. У меня есть сведения, что она собиралась провести в Англии три месяца, но уже через неделю явилась в контору пароходства. Она устроила там форменный скандал, когда ей сказали, что она сможет уехать обратно не раньше, чем через три месяца. В конце концов пришлось отдать ей билет какого-то африканца. Она заставила лондонское отделение «Панафрика компани» нажать на все кнопки. Ведь Селина крупнейший оптовый покупатель этой фирмы. И заметьте, до поездки в Англию она поддерживала дружеские отношения со служащими компании. Приглашала их к себе на коктейли. Знаете, как здесь принято. Но после возвращения из Англии все это как ножом отрезало. Один из служащих «Панафрика компани» говорил мне, будто она так прямо и заявила, что впредь будет покупать у них только то, чего не сможет достать у других, и что как только найдет солидного поставщика, порвет с ними окончательно. Сейчас она покупает японские товары у индусов. И все это случилось после ее возвращения.

— Но почему? Почему она вообще поехала в Англию? И откуда теперь эти антибританские настроения?

— Думаю, я не ошибусь, ответив на ваш второй вопрос, Смизерс. Мы здесь старательно внушаем им, что все они британцы, дети империи. И вот она приехала в Англию, о которой ей прожужжали все уши. А теперь представьте себе, с какими проявлениями расизма могла столкнуться эта негритянская «мамми» со своим toto за спиной на лондонских улицах. Мы ведь не распространяемся перед англичанами об империи и содружестве наций, как это делаем здесь даже перед самыми темными африканцами. Мы слишком часто забываем, что имеем дело с гордым народом.

— Знаете, Джонс,— тихо сказал Смизерс.— Я начинаю думать, что абсолютно не понимаю этих людей. Взять хотя бы Эндьюру. Столько лет мы знакомы, и вдруг сегодня я увидел его в совершенно неожиданном свете. Будто его подменили...— Смизерс рассказал Джонсу о своем разговоре с Эндьюрой.

Внезапно Джонс почувствовал острую жалость к Смизерсу. Перед ним был усталый, растерянный человек, который только что испытал сильное потрясение — ведь по-своему он верил в Эндьюру. Посмеиваясь втихомолку над его акцентом и над обрядами, которые тот совершал перед алтарем предков, он тем не менее не сомневался, что идеалы у них одни и те же и что Эндьюра должен видеть положительные результаты британского правления. Для него Эндьюра был новый тип африканца — сознательного и благодарного, который учится у своих британских наставников искусству управления страной на западный манер. И вдруг Эндьюра приходит к нему с предложением, которое нельзя рассматривать иначе, как шантаж...

— Наша работа трудная и неблагодарная,— сказал Джонс мягко. И добавил, правда не сразу:— А ваша особенно.

Он встал и быстро вышел.

Вот черт, думал Смизерс. Неужели я во всех ошибался? Но ему стало легче, гораздо легче. Мы всегда приходим на помощь друг другу в трудное время — им еще надо поучиться этому. И учиться, хочешь не хочешь, придется у нас. Джонс, кто бы мог подумать...

■

В эту ночь начала свое существование партия «Свободу Африке». Сто тысяч человек собрались на северной окраине города. В темноте, под небом, на котором блестел молодой африканский месяц, Эдибхой объявил программу новой партии. Она заключалась в одном слове — Свобода!

Селина предложила избрать Удомо пожизненно вождем партии, ее председателем и президентом. Потом взметнулись кверху сотни факелов. Рослые юноши держали их высоко над головой — народ давал клятву верности Удомо.

— Мы, народ Панафрики...— торжественно начала Селина.

— Мы, народ Панафрики...— подхватил мощный тысячеголосый хор.

— Клянемся в преданности партии «Свободу Африке»...

— Клянемся в преданности партии «Свободу Африке»...

— И ее великому любимому вождю...

— И ее великому любимому вождю...

— Удомо!..

— Удомо!..

— Вместе с ним мы завоюем...

— Вместе с ним мы завоюем...

— СВОБОДУ!..

— СВОБОДУ!..

Слова клятвы отзвучали. Затем к громкоговорителю подошел древний старец и стал шепотом молиться: он просил предков не оставить их в этом великом деле.

■

Начальник канцелярии губернатора и глава службы безопасности сидели в автомобиле, глядя на огромную толпу. Никто не обращал внимания ни на них, ни на отряды полиции.

— Никогда бы не поверил,— сказал Смизерс.— Просто не верится. Будто вернулось прошлое. Можно подумать, что нас здесь никогда и не было.

— А может, это будущее. Вероятно, и то, и другое,— ответил Джонс.— Боюсь, что теперь все наши усилия тщетны. Инициатива в руках Удомо.

— Пропади он пропадом! — вскипел Смизерс.

— Да разве в нем дело? — сказал Джонс.— Атмосфера давно была накалена. Но согласитесь, чтобы так точно выбрать момент и воспользоваться им, нужны смелость и дерзость. Нужно быть немножко гением.

— Вы с ума сошли! — возмутился Смизерс.— Гением! Скажете тоже!

Джонс улыбнулся в темноте.

— Поехали-ка лучше. Сегодня ночью придется поработать. Нам остается только плыть по течению и стараться, чтобы корабль не наскочил на скалы, которые ждут впереди. А это будет нелегко... Поезжайте, шофер!

■

В одиночной тюремной камере Удомо до боли в пальцах сжимал прутья решетки. Отсюда, с горы, было видно мерцание огней. Рядом с Удомо стоял его адвокат.

— Сейчас они дают клятву, — сказал адвокат.

— Вы говорите, их сто тысяч? — Голос Удомо прерывался от волнения.

— Больше. По всей стране сейчас люди вступают в партию.

Удомо стоял на цыпочках, держась за решетку, пока не погасли огни. Тогда он закрыл глаза. О мать-Африка! О мать-Африка! Слезы текли по его щекам. Он разжал руки и повернулся к адвокату.

— Теперь иди, друг мой. И расскажи им, что я плакал.

— Нам надо подготовиться к защите. Ваше дело будет слушаться завтра.

Удомо улыбнулся сквозь слезы, улыбка, как солнце, озарила его лицо.

— Ты понимаешь, что произошло, друг? Мое дело — да оно теперь ничего не значит. Мы можем заняться им в любое время, ну хоть завтра. В любое время. Иди!.. Иди к народу и скажи, что я плакал. Скажи: Удомо стоял у окна тюрьмы, держась за решетку, и видел внизу огни. Он знал, что народ дает клятву. И он плакал. Скажи им это. А теперь иди, друг мой.

Адвокат ушел. Удомо сел на жесткую тюремную койку. Он улыбался сквозь слезы. Глаза его сияли. Так они не сияли никогда.

Эта камера, эта тюрьма были дорогой к свободе.

Я распахнул дверь свободы, мать-Африка! Я распахнул ее!

МХЕНДИ, ЛЭНВУД, МЭБИ

Глава первая

I

— Боже мой! — воскликнул Лэнвуд.

— Внушительная встреча, ничего не скажешь! — пробормотал Мхенди.

Огромная толпа молча смотрела, как причаливает пароход. Чуть поодаль, у таможенного ангара, пристроился агитационный фургон партии «Свободу Африке», громкоговоритель был включен на полную мощность.

— Наша партия приветствует тебя, Лэнвуд! Наша партия приветствует тебя, Мхенди!.. Африка приветствует своих великих сынов! Да здравствует свободная Африка!.. Да здравствует партия «Свободу Африке»! Да здравствует наш вождь Удомо!.. Добро пожаловать, Лэнвуд! Добро пожаловать, Мхенди!

Недолгое молчание, затем громкоговоритель повторял все сначала.

Стали опускать сходни. Толпа подалась вперед. Белые пассажиры отступили в сторону. Глаза Лэнвуда сияли. Он дотронулся до руки Мхенди.

— Боже мой! — повторил он.

— Идите,— шепнул Мхенди.

Лэнвуд первым пошел вниз по сходням. Мхенди — следом за ним.

— Вот они! — возвестил громкоговоритель.

В фургоне поставили пластинку. Раздалась веселая музыка, в которой ясно слышался рокот барабанов. Вся огромная толпа приплясывала и покачивалась в такт музыке. Восторженно кричали женщины.

Дойдя до последней ступеньки, Лэнвуд замедлил шаги и обернулся к Мхенди. В глазах его стояли слезы. Он лихорадочно искал в карманах носовой платок.

— Идите,— ласково сказал Мхенди.

Лэнвуд повернулся, и все увидели, что он плачет. Какая-то женщина растолкала полицейских, подбежала к нему, поднявшись на цыпочки, притянула к себе его голову и поцелуями осушила слезы. Толпа взревела.

— Это они вместе с Удомо обдумывали планы нашего освобождения! Приветствуем их! — надрывался громкоговоритель.

Большой автомобиль, раскрашенный так же, как фургон, в красный и черный цвета, остановился позади толпы. Музыка оборвалась.

— Удомо! Приехали Удомо с Эдибхоем! Удомо с Эдибхоем! Удомо! — кричали люди.

Из машины вышел Удомо в сопровождении Эдибхоя. Оба были в национальных одеждах, скрепленных на плечах наподобие римской тоги. Народ расступался перед ними, образуя узкий проход к сходням. Удомо быстро шел по живому коридору, широкая улыбка озаряла его лицо, глаза сияли.

— Добро пожаловать, Том и Мхенди. Добро пожаловать!

— Майк...— голос Лэнвуда дрогнул.

— Добро пожаловать, друзья,— Эдибхой радостно смеялся.

Удомо обнял одной рукой Лэнвуда, другой Мхенди.

— Минутку, сэр!

Вспыхнул магний, щелкнул затвор.

— Какая встреча! — сказал Мхенди.

— Это что,— сказал Эдибхой.— То ли еще будет.

— Как доехали? — спросил Удомо.

— Нам оказывали прямо-таки королевские почести! — воскликнул Лэнвуд.— А как вы, Майк? Сколько времени прошло, боже мой!

— Это хорошо.— Удомо кинул быстрый взгляд на пароход.— Когда я ехал, они обращались со мной, как с собакой. Очень рад, что они кое-чему научились.

Лэнвуд выпятил грудь.

— Они пытались завязать с нами дружеские отношения, но мы эти попытки решительно пресекали. Что за лицемерная нация!

Удомо рассеянно кивнул. Мхенди не сводил с него глаз. Он переменился, думал Мхенди. Вот только в какую сторону?

— Нас ждут,— напомнил Эдибхой.

— Да,— сказал Удомо.— Поехали! — Он первый направился к автомобилю.— Когда будете садиться, помашите им — они любят это.

Три черных фотографа нацелили на них свои фотоаппараты, пришлось позировать возле машины. Снова заиграла музыка. Удомо помахал толпе. Лэнвуд и Мхенди тоже помахали и сели вслед за Удомо в машину. Автомобиль развернулся и поехал. Толпа проводила его восторженными криками.

На борту парохода один из белых пассажиров — служащий «Панафрика компани», получивший назначение в Куинстаун,— сказал встречавшему его приятелю:

— Слава тебе, господи! Теперь можно и нам выходить. Ну и балаган.

— Здесь лучше не делать таких замечаний,— спокойно сказал его спутник.— Даже если рядом только ваша прислуга.

— Я же ничего особенного не сказал,— запротестовал вновь прибывший.

— На мой взгляд, ничего! Но они невероятно мнительны. И вообще, все это очень сложно. Нам нужно следить за каждым шагом, если мы хотим торговать с ними. Они ведь сожгли у нас несколько складов в первые дни после переворота. Это влетело нам в копеечку. И запомните, главное — быть с ними безукоризненно вежливыми, особенно с заправилами! И еще, не вступайте ни в какие политические споры. Сейчас парадом командуют они. Мы здесь только торговцы. Забудьте все, что когда-либо слышали об Африке и об африканцах, а то рискуете сесть в лужу... По крайней мере в этой части Африки.

— Понимаю...— неуверенно проговорил новый служащий.

— Прежние времена миновали,— сказал старожил с сожалением.— Прошли!

■

Автомобиль несся через город. Мелькали дома, украшенные поблекшими флажками. В неподвижном воздухе безжизненно висели партийные флаги, «красные, как кровь народа, черные, как родная земля». Из домов выбегали люди, махали руками, кричали приветствия.

Лэнвуд был потрясен. Он держал Удомо за руку и повторял:

— Боже мой, Майк! Боже мой! Как много сделано. Как это замечательно! Какая встреча!

Эдибхой сидел, обняв Мхенди за плечи.

Удомо, наклонившись вперед, положил руку на колено Мхенди.

— Ну, брат, что ты скажешь?

— Смотрю на вас и рвусь в бой. Я уже стал отчаиваться: год, как ты у власти, а вызова все нет и нет. Решил, что ты забыл про нас.

— Я прямо глазам своим не поверил, когда пришла телеграмма,— сказал Лэнвуд.

— Ведь почти два года, как ты уехал,— добавил Мхенди.

— Такие вещи сразу не делаются,— ответил Удомо.— Нам пришлось выдержать целое сражение, чтобы вызвать вас сюда.

— Многое еще в их руках,— задумчиво сказал Эдибхой,— но это ненадолго.

— Вы ведь знаете, какой это хитрый народ,— сказал Удомо.— Приходится действовать осторожно.

— Теперь нас ничто не остановит! — с загоревшимся лицом воскликнул Лэнвуд.

И снова, как тогда в порту, Мхенди почувствовал, что Удомо словно ушел в себя.

— А как насчет меня? — негромко спросил он.

— Мы поговорим об этом позднее,— ответил Удомо.— Самое главное, что ты здесь.

— Да,— кивнул Мхенди.— Наконец-то я в Африке.

Удомо взял Мхенди за руку.

— Не беспокойся, брат,— голос его звучал задушевно, совсем как когда-то в Лондоне.

У Мхенди отлегло от сердца, он улыбнулся.

Автомобиль въехал на холм и устремился вниз.

— Смотрите! — воскликнул Эдибхой.

Теперь они были на западной окраине города. Впереди виднелась высокая трибуна, а вокруг нее, не обращая внимания на жгучее солнце, толпились тысячи людей. Из репродукторов, расставленных по всей огромной площади, гремела музыка.

— Это площадь Свободы,— сказал Удомо.

— Здесь родилась наша партия,— стал рассказывать Эдибхой.— Здесь мы дали клятву верности в тот день, когда Удомо увезли в тюрьму. Поэтому она и называется площадью Свободы. Со временем на ней будет выстроен Дом комитета партии. На этой площади мы сообщаем народу все важные решения.

Завидев автомобиль, толпа восторженно загудела. Многие кинулись навстречу.

— Я обязательно напишу историю этой бескровной революции,— взволнованно проговорил Лэнвуд.

Автомобиль остановился. Удомо первым пошел к трибуне. Он держался просто и непринужденно. То и дело кто-нибудь останавливал его. Он внимательно выслушивал всех. Иногда доставал из складок своей тоги блокнот и карандаш и записывал, что ему говорили. Они были уже возле трибуны, когда какая-то старуха крикнула:

— Удомо, Удомо, у меня нет сил пробиться к тебе! Скажи им, чтобы помолчали.

Удомо поднял руки.

— Тихо!

Наступила тишина.

— Говорят, ты мало спишь,— начала старуха.— Вот я и хочу спросить, сколько ты спишь.

— Я здоровый человек, мать. И сплю достаточно.

— Ты мне прямо отвечай — сколько часов ты спишь?

— Я часов не считал. Когда меньше, когда больше.

— Говорят, иногда ты до самого рассвета не ложишься, а утром идешь работать. Правда это?

— Только когда у меня много работы.

— А работы у тебя всегда много? Так, что ли?

Удомо повернулся к толпе и, улыбаясь, поднял руки.

— Мать совсем меня в угол загнала. Вот она какая умная.

Толпа криками выражала одобрение.

— Так ведь твои силы нам нужны, они всей Африке нужны! — крикнула старуха.— Значит, ты должен беречь их.

— Обещаю тебе, мать, буду беречься.

— Спи побольше. Пусть и другие работают. Нам твой ум нужен — ты ведь о всех о нас думаешь.

— Мудро ты говоришь, мать,— ответил Удомо.— Я буду беречь себя.

Он поднялся на трибуну. Селина и остальные руководители партии были уже там. Удомо подошел к микрофону. Огромная толпа стихла. Он говорил негромко, и каждому казалось, что он обращается прямо к нему.

— Помните, я рассказывал вам на митингах и писал в нашей газете о людях, которые были со мной в те дни, когда я только мечтал о свободе — о свободе, которую мы теперь завоевали? Вы знаете Эдибхоя. Он все время был среди вас. Это они с Селиной создали нашу партию, когда я был вон там,— он показал на тюрьму на вершине холма.— Эдибхой, Селина и все вы боролись здесь, а эти люди — мои братья, о которых я говорил вам, о которых писал в газете,— сражались за наше дело в чужой, холодной стране. Они сражались за нас. Их оружием было слово, вы читали их статьи в нашей газете. И вот они здесь, перед вами. Нам потребовалось много времени, чтобы добиться их приезда. Мы еще не так свободны, как хотели бы. Многое еще в руках белых. Есть такой зверь, его зовут «иммиграцией». Раньше этот зверь помогал белым владеть Африкой. Помните, я рассказывал о моем возвращении на родину. Мы с Селиной долго ждали, пока последний белый не сошел на берег. В этом был виноват зверь, о котором я говорю: «иммиграция». А сегодня мои братья — вы видите, они тоже черные — первыми сошли с парохода. Так что нам удалось укротить этого зверя. Пройдет немного времени, и он будет слушаться нас, как собака слушается своего хозяина. Мы завоюем полную свободу для нашей страны. Мы будем действовать твердо, но не прибегая к насилию — если сможем. Если же нам будут мешать, мы найдем другие пути. Как вы считаете, друзья?

— Правильно, Удомо! — загремело над площадью.

— Так вот, они не хотели впускать сюда моих братьев, но я был тверд. И мои братья здесь. Мы должны учиться быть твердыми в тех случаях, когда твердость необходима. Друзья мои, все вы слышали о стране, которая называется Плюралией. В этой стране пять миллионов белых держат в повиновении свыше сорока миллионов наших братьев-африканцев. Я говорю сейчас как африканец, как вождь вашей партии. Пока что я не могу говорить так же от имени правительства нашей страны. Вы понимаете почему. Как вождь вашей партии, я говорю вам — наши братья в Плюралии бесправны. Они пытались восстать, их восстание было безжалостно подавлено. Но они подымутся снова. И настанет день, когда они станут свободны. Вот он, мой брат Дэвид Мхенди,— вождь наших угнетенных братьев в Плюралии. Приветствуйте его. Хорошенько приветствуйте. Пусть белые в Плюралии знают, на чьей стороне наши симпатии.

Удомо подвел Мхенди к микрофону. Толпа встретила его бурными приветственными криками.

— Речи не надо,— шепнул Удомо.— Я потом объясню.

— Я очень счастлив, что я здесь,— сказал Мхенди.— Очень счастлив, что я снова в Африке. Спасибо за радушный прием.— Он вернулся на свое место.

Удомо взял Лэнвуда под руку и подвел его к микрофону.

— Только не надо речей, Том. Я потом объясню.— Он сказал в микрофон: — А это Том Лэнвуд — один из самых замечательных политических учителей нашей страны. Все вы знаете его имя. Все вы читали его статьи. Он первым выразил словами мечту нашего поколения о свободе.

И снова мощный рев толпы поднялся над площадью.

— Друзья мои,— начал Лэнвуд.— Братья и сестры — африканцы! Сегодня счастливейший день моей жизни! Вот она, награда за долгие годы борьбы и страданий! — Голос его окреп.— И вот оно, вдохновенное начало великого похода всех африканских народов — народов всего континента, включая Плюралию,— за освобождение от ига империалистов и капиталистов...

Удомо дернул его за рукав. Лэнвуд замолчал. Удомо взял у него микрофон.

— Теперь вы познакомились с моими братьями. Вы еще не раз встретитесь с ними. Время для этого будет — будет время и поговорить, и развлечься, потому что после стольких лет, прожитых в холодных странах, среди холодных людей, им надо почувствовать тепло ваших сердец. Они — мои гости, мои братья, а значит, и ваши. И еще одно. Помните, я говорил вам, как важно для нас образование, если мы хотим взять в свои руки управление страной. Чтобы провести настоящую африканизацию, нам нужны действительно знающие люди во всех областях жизни. Таких людей нужно готовить. Две тысячи юношей и девушек поедут в этом году учиться за границу. Кроме того, мы работаем над законопроектом, по которому образование в нашей стране будет бесплатным и обязательным для всех детей. Таковы наши планы на будущее. Все это стоит денег. Через несколько недель к нам приедет делегация, которую Совет Наций посылает изучить наши нужды. Я скажу им, в чем мы нуждается. Но мы не должны полагаться на других. Мы должны рассчитывать на себя, на свои силы. Когда окончательное решение будет принято, я приду сюда и поделюсь с вами, как делаю всегда.— Он поднял руку в партийном салюте.

Над площадью долго не смолкали восторженные крики.

Из громкоговорителей снова грянула музыка. Болтая и смеясь, люди потянулись в город. Некоторые взбегали на трибуну, чтобы пожать руку Мхенди и Лэнвуду. Девушки в красных с черным партийных формах бойко торговали красно-черными розетками. Какая-то хорошенькая, очень молоденькая девушка приколола особенно пышные розетки к лацканам двух почетных гостей. Все это время Удомо стоял чуть поодаль, спокойно взирая на все происходящее.

Теперь в его глазах не реют знамена, думал Мхенди. Знамена реют вокруг него. Как он возмужал, какое в нем спокойствие. Мхенди наблюдал за Селиной, высокой босой женщиной. Вот она подошла к Удомо и заговорила с ним. Она здесь главная, решил Мхенди. Удомо позвал его. Мхенди пошел к ним. Лэнвуд был вне себя от восторга. Вокруг него толпилась молодежь. Он раздавал автографы и отвечал на вопросы. Отеческая улыбка не сходила с его лица.

— Я оставляю вас на попечение Селины,— сказал Удомо.— Мы должны ехать в канцелярию губернатора. Если вам что-нибудь понадобится, говорите, не стесняйтесь. Вечером увидимся. Очень сожалею, что не могу остаться с вами. Дел по горло.

— Понимаю,— сказал Мхенди.

Эдибхой протолкался к Лэнвуду и сказал ему, что они с Удомо уезжают. Лэнвуд рассеянно ответил ему. Удомо и Эдибхой уехали. Площадь начала быстро пустеть. Только Лэнвуд еще прочно владел вниманием своих слушателей. Он все больше и больше воспламенялся, что-то горячо говорил, размахивал руками. Мхенди заметил холодное, неприязненное выражение, с каким наблюдала за ним Селина. Надо будет поговорить с Томом, решил он. Он забыл, что это не Англия Слишком долго жил вдали от Африки. Он потерял с этими людьми связь — может сильно себе напортить.

— Ваше радушие тронуло меня до глубины души,— сказал Мхенди Селине.— Я не нахожу слов, чтобы выразить чувства, которые переполняют мою душу.

По ее суровому лицу скользнула улыбка. Узкой черной рукой она провела по его рукаву.

— Наше радушие идет от сердца, друг мой. Не все знают, почему ты здесь. Я знаю. У нас один и тот же враг. Ты среди своих. Потом, наедине, мы поговорим с тобой о твоих планах... Твой приятель...— в голосе ее уже не было дружелюбия,— видно, любит поболтать. Когда он наговорится, поедем ко мне — там вы отдохнете.

— Я позову его.

— Пусть отведет душу.

— Он теперь не скоро остановится.

— Мне говорили, что он родом отсюда. Но он, кажется, очень давно уехал из Африки?

— Тридцать лет назад.

— И все это время жил там?

— Да.

— Понятно. Кожа-то у него черная, а повадки точь-в-точь как у них.

— Я позову его. Он просто очень расгроган встречей.

Мхенди пошел в другой конец трибуны. Протиснулся сквозь толпу молодых людей.

— Том! На сегодня, пожалуй, хватит. Пошли, Селина ждет.

— Сейчас.

— Не сейчас, а сию минуту, Том.

— Не могу же я прерывать разговор на полуслове. Сказал, сейчас приду.

— Ради бога, Том! Вы не в Англии.

— Поезжайте, сэр,— сказал один из молодых людей.— Селина большой человек, нельзя, чтобы она ждала.

— Хорошо,— Лэнвуд подавил раздражение.— Но мы еще увидимся. Я вернулся на родину не для того, чтобы посещать приемы. Я вернулся для того, чтобы трудиться на благо революции. Вы, молодежь,— наше революционное будущее. Вы должны понимать мир, в котором живете. Мы создадим кружки для занятий и дискуссий. Мы...

— Пошли, Том!

Сердитый огонек сверкнул в глазах Лэнвуда. Молодые люди стали расходиться.

— До свиданья, сэр!

— До новой встречи, сэр!

Подошла Селина.

— Машина ждет.

— Извините, что мы вас задержали,— сказал Мхенди.

— Ничего.

— Чудесная молодежь!— сказал Лэнвуд.— Как замечательно жить в наши дни, дни свершения революции! А, Селина?

О господи, подумал Мхенди.

— Поехали,— сказала Селина.

Ее автомобиль был выкрашен в красно-черный цвет, так же как автомобиль Удомо, на его радиаторе развевался красно-черный флаг, шофер был в той же красно-черной форме, что и шофер Удомо. Народ провожал их громкими криками. Две машины с членами исполнительного комитета партии следовали за ним.

Дома у Селины их ждал пир. Собралась вся верхушка партии. Недавно закончилась сессия Ассамблеи, и многие депутаты — члены партии были здесь. Пир продолжался весь день. Под вечер пришли артисты, танцоры и певцы, и устроили представление прямо на улице перед домом. Затем Селина отвела гостей в приготовленные для них комнаты, чтобы они немного отдохнули до приезда Удомо. Сначала отвела Лэнвуда. Потом Мхенди. В ту самую комнату, где отдыхал Удомо накануне ареста. Мхенди был немного пьян, и ему было очень весело. Селина вела его под руку.

— Там тебя ждут.— сказала ему Селина.— Ты хорошо отдохнешь. Ты наш, и тебе не надо ничего объяснять.

— А мой друг?

— Твой друг белый, хотя кожа у него черная. Он бы не понял.

— Ты заблуждаешься, Селина, заблуждаешься, родная моя. Просто он слишком долго жил там. Он забудет их обычаи, он вернется к нам.

— Это ты заблуждаешься, Мхенди. Я наблюдала за ним весь день, и мне казалось, что передо мной белый человек, у которого почему-то черная кожа. Ему слишком много лет. Он уже не переменится. Ты прав, он очень долго жил среди белых. И он никогда не вернется к нам. Он стал нам чужим.

— Будь добра к нему, Селина. В душе он такой же, как мы, несмотря на все его странности. Будь добра к нему. Он уже стар. Ему нужна Африка.

— Все эти годы у него была белая женщина?

— Они были у нас у всех.

— Я знаю. Но ты, Удомо, Эдихбой — вы только спали с ними, а сердца ваши принадлежали Африке. Сколько времени он прожил с этой женщиной?

— Ты должна быть добра к нему, Селина. Кроме Африки у него нет ничего на свете.

— Сколько времени, Мхенди?

— Двадцать лет, сестра.

— Ну вот видишь...

— Но он оставил ее, чтобы вернуться на родину.

— Боюсь, что поздно. Но посмотрим.

— Дай ему время. Он привыкнет, обживется, вот увидишь! И, пожалуйста, будь добра к нему. Прошу тебя!

— Я постараюсь, ради тебя и ради Удомо. Боюсь только, что поздно. И не я одна так думаю... Ладно... Посмотрим... Иди, Мхенди. Долго ты будешь заставлять девушку ждать?

Мхенди слегка качнулся.

— А она красивая?

Селина пристально посмотрела на него. В глазах затеплилась нежность.

— Слушай меня внимательно, Мхенди. Два года назад — а то и больше — в стране, которую называют Плюралия, расстреляли твою жену. Я видела ее фотографию. Войди в комнату. Женщина, которая ждет тебя там, похожа на нее. Я искала ее для тебя и нашла. Если ты

захочешь, она станет твоей женой, потому что в твоих жилах течет африканская кровь. А теперь иди, брат мой, и отдохни.

— Значит, ты слышала о ней? — негромко спросил Мхенди.

— Слышала... Иди. И пусть утихнет твоя боль и пройдет одиночество. Ты среди своих.

— Селина,— он взял ее тонкую черную руку.— Мне было очень трудно.— Глаза его помрачнели.

— Я знаю, Мхенди,— ласково сказала она.— Знаю.

Она ушла. Он постоял немного у двери, затем открыл ее и вошел. На постели сидела женщина, сложив на коленях руки. Мхенди замер на месте, не отрывая от нее взгляда. Я пьян, подумал он. Круглое личико и большие темные спокойные глаза. Такой была та, другая, которую он так никогда и не узнал по-настоящему. Его жена, которую они убили. И вдруг здесь, в чужой стране, чужая женщина, как две капли воды похожая на нее... Женщина встала и подняла на него глаза.

— Как тебя зовут? — тихо спросил он.

— Мария,— ответила она.

— Сядь, дитя мое.— Он подошел и сел рядом с ней на постель. Такое же лицо, фигура... Постарше, пожалуй, чем была его жена, когда он видел ее в последний раз. Но будь она жива сейчас, она, наверно, выглядела бы так же. Он почувствовал, что Марии не по себе от его пристального взгляда, и отвел глаза.— Сколько тебе лет?

— Двадцать шесть.

— И у тебя нет мужа?

Она улыбнулась, точь-в-точь как улыбалась когда-то та, другая.

— Он умер. У него не было брата, который взял бы меня в жены, и я вернулась к матери.

— А...— он хотел спросить: «Ты любила его?», но вместо этого спросил: — У тебя есть дети?

— Мальчик,— сказала она,— он живет у моей матери.

— Где? — Я должен протрезветь. Должен.

— Мой дом на севере, на берегу большого озера.

— А как ты оказалась здесь?

— Селина прислала за мной. Год назад она останавливалась переночевать в доме моей матери. А две недели назад прислала деньги и письмо, чтобы я приехала сюда.

— И ждала меня?

— И ждала вас. Она показала мне фотографию вашей жены. Я очень похожа на нее. И рассказала мне, как убили вашу жену.

— И ты согласилась прийти в эту комнату и ждать меня?

— Сначала я не хотела, потому что не знала вас, и потом, вы ведь родом не отсюда... Но я смотрела на вас весь день. И пришла.

— Почему?

Она наклонила голову и отвернулась от него.

— Я смотрела на вас весь день и теперь знаю — вы наш, хотя и не отсюда родом... И еще я увидела, что вы одиноки. Даже сейчас. Это слышится в вашем голосе...

Он обнял ее.

— Я был очень одинок, дитя мое.

— Иди же ко мне,— прошептала она, взглянув на него.

Мхенди привлек ее к себе. Та, умершая, вдруг ожила для него, только стала старше, увереннее, опытнее.

Потом, когда она лежала в его объятиях, он сказал:

— Ты умеешь любить. Где ты научилась этому?

— А разве в твоей стране девочек не учат искусству любви? У нас учат всех.

— У нас тоже учат, но им далеко до тебя. И я подумал было, что тебя учили другие мужчины.

Она взглянула ему прямо в глаза:

— Я не знала мужчин после смерти мужа.

— А если я попрошу тебя остаться со мной? — он дотронулся до ее щеки.

— Я соглашусь, Мхенди. В тебе столько нежности.

— И ты будешь любить меня?

— Ты научишь меня, Мхенди. Я хочу любить тебя. А теперь спи...

Она стала нежно поглаживать его, пока он не уснул. Потом тихонько встала с постели, оделась и пошла искать Селину.

— Что такое? Почему ты здесь? Он недоволен тобой?

— Нет, Селина, он очень доволен. Он спит.

— Так в чем же дело, дитя? Почему ты ушла?

— Мы с ним стали родными. Это случилось вдруг. И теперь я боюсь, может, вы не хотели этого.

— Ты тревожишься из-за чужого человека, которого впервые сегодня увидела?

— Он больше не чужой мне. Я прикоснулась к его сердцу.

— Так быстро?

— Так быстро. Его сердце переполнено нежностью.

— И ты боишься, вдруг я не захочу, чтобы ты привязалась к нему.

— Да. Или чтобы он ко мне.

Лицо Селины смягчилось.

— Не бойся, дитя мое. Я сказала ему, что он может взять тебя в жены, если ты согласишься. Ухаживай за ним хорошо, чтобы он мог хорошо служить Африке. Иди к своему мужу. Не верь тем, кто говорит, будто Селина хитра и бессердечна. Это только с врагами нашей страны, с врагами Африки она такая. Иди к своему мужу, чтобы он не проснулся один в чужой постели. Мы все устроим.

Мария вернулась. Мхенди еще спал. Лицо его было спокойно. Она присела на край постели и стала смотреть на него.

2

— Ну, теперь можно и поговорить.

Удомо откинулся на спинку кресла. Время близилось к полуночи. Они сидели в гостиной прекрасного нового особняка, выстроенного для него партией.

— Какой замечательный день! — счастливым голосом сказал Лэнвуд.

Эдибхой с веселым смешком отвернулся от окна.

— А теперь рассказывайте,— сказал Мхенди.— Ведь это дело ваших рук. Расскажите нам то, чего не было в газетах.

— Как бы я хотел быть здесь в те дни,— вздохнул Лэнвуд.

— Вы принесли больше пользы, оставаясь в Англии. А Удомо — сидя в тюрьме.

— Вот видите,— усмехнулся Удомо.— Я всего лишь марионетка. Создали партию Эдибхой и Селина. Настоящие хозяева они. А, Эди?

Глаза Удомо весело искрились, но Мхенди почудилась в его голосе серьезная нотка.

Эдибхой расхохотался. Он подошел к столику, заставленному бутылками, налил себе виски и передал бутылку Мхенди. Удомо пригубил свой херес и поставил рюмку.

— Его у нас прозвали Остряком,— сказал Эдибхой.

— Видите... Они в лицо смеются надо мной. Удомо — остряк!

— Ну, будет вам. Рассказывайте.

— Ты рассказывай,— сказал Удомо.

Эдибхой сел на ручку кресла Удомо.

— Сейчас он шутит, но сам прекрасно знает, что, не напиши он тогда призыва к народу, ничего бы не вышло...

— Выдающийся исторический документ,— сказал Лэнвуд.— Обязательно включу его фотокопию в свою книгу.

— Да рассказывайте же, наконец! — нетерпеливо воскликнул Мхенди.

Удомо поднял голову и посмотрел на Эдибхоя. На губах у него играла какая-то странная улыбка.

— Так вот, они решили немедленно конфисковать весь тираж. Ну, а пока они решали, мы вывезли часть газет у них из-под носа, чтобы их могли читать не только в Куинстауне. Селина блестяще все организовала, ей понадобился на это всего один день. А в Куинстауне мы создали кружки, где читали призыв Удомо. Каждый грамотный человек — будь то мужчина, женщина или подросток — должен был прочитать призыв по крайней мере десяти неграмотным. Поэтому партийная газета и называется теперь «Призыв». Все это происходило в тот день, когда Удомо арестовали. А вечером была создана партия. На следующее утро мы выпустили листовку, где говорилось о том, что Удомо в тюрьме плакал, глядя на митинг. Как это всколыхнуло народ! Ну, о суде вы и так знаете. Тут уж репортеры хлынули к нам со всех концов земли. На заключительном заседании Удомо произнес речь, призывая ко всеобщей забастовке. На следующий день ни один человек не вышел на работу. Жизнь в стране оказалась парализованной. Тогда они объявили чрезвычайное положение. Объявили партию вне закона и запретили всякие сборища.

— И все это время, все эти три месяца я проторчал в тюрьме,— насмешливо вставил Удомо.

— Партия ушла в подполье и продолжала работу. И тут Росли сделал свою последнюю ставку. Он опубликовал проект новой конституции, пообещав, что она вступит в силу через месяц после окончания забастовки. Правительство и Совет вождей и старейшин думали, что этим они подорвут влияние партии.

— И чуть было не подорвали,— негромко сказал Удомо.— Несмотря на чрезвычайное положение, Эндьюре разрешили ездить по стране и агитировать за новую конституцию, которая якобы была его творением. Какое-то время казалось, что народ пойдет за ним.

— Но тут в работу включилась Селина и другие женщины,— снова заговорил Эдибхой.— Они бросили все свои дела и стали ходить из города в город, из деревни в деревню. Они не созывали митингов. Они шли к людям и разговаривали с ними. Произошел перелом. Сопротивление снова окрепло.— Внезапно Эдибхой расхохотался на всю комнату.— Представьте себе, Том, является раз Эндьюра в деревню, где только что побывала Селина со своими женщинами. Жители такой ему устроили прием, что он едва ноги унес. Потом его прогоняли из большинства деревень.

— И поделом! Поделом ренегатам! — резко сказал Лэнвуд.

Эдибхой налил себе виски.

— Вот, собственно, и все. Жизнь в стране оставалась парализованной, пока Удомо не вышел на волю.

— Поэтому мне сократили срок «за хорошее поведение», и вместо пяти месяцев я отсидел только три.— Удомо усмехнулся.

— До них в конце концов дошло, что народ и пальцем не шевельнет, пока ему не скажет Удомо... На вас произвела впечатление встреча,

которую вам оказали сегодня. Но вы бы видели, что делалось, когда Удомо вышел из тюрьмы. Потрясающе! О чрезвычайном положении все просто забыли. Люди пришли в Куинстаун со всех уголков страны, и у правительства хватило ума не вмешиваться. Удомо ознакомился с конституцией и посоветовал партии попробовать ее в действии. Партия решила прекратить забастовку. И так как решение было подписано Удомо, люди вышли на работу. Спустя два месяца состоялись выборы. Мы завоевали пятьдесят одно место из шестидесяти, и Росли не оставалось ничего другого, как поручить Удомо сформировать правительство. Верно я говорю, земляк?

— Первая победившая африканская революция,— задумчиво сказал Лэнвуд.— И к тому же бескровная. Замечательно! Вы, мальчики, совершили поистине великое дело.

— Не забывайте и о женщинах,— сказал Удомо.

— А как дела обстоят теперь? — спросил Мхенди.— Англичане сотрудничают с вами?

— А что им остается делать? — вспыхнул Лэнвуд.

— Те, кто не сумел перестроиться, покинули Панафрику,— сказал Удомо.— Смизерс — бывший начальник канцелярии губернатора — не сумел, ему пришлось уехать. С его преемником Джонсом работать можно. Росли сотрудничает с нами. О большем мы их и не просим.

— Что-то новое для этого мошенника,— сказал Лэнвуд.

Удомо едва заметно покачал головой, но ничего не сказал.

— И еще кое-кому придется уехать,— сказал Эдибхой.— Людям, которые не умеют сотрудничать с африканцами, здесь не место.

Мхенди быстро перевел взгляд с Эдибхоя на Удомо. По этому вопросу у них разногласия, подумал он.

— С африканизацией страны мы автоматически избавимся от англичан,— сказал Лэнвуд.

Эх, Том, вздохнул про себя Мхенди. До сих пор он как-то не замечал, что бедняга Том начисто лишен интуиции. Уж лучше молчал бы.

— У нас сейчас много трудностей,— сказал Удомо.— Для того чтобы заменить англичан, нужны люди. Управлять министерством потруднее, чем произносить речи.— Он говорил спокойно, но в голосе его звучало раздражение. Он посмотрел на Эдибхоя.— Тебе, Эди, это известно лучше, чем кому бы то ни было...

— Ты прав,— нехотя подтвердил Эдибхой.

Как бы Том не брякнул что-нибудь неподходящее, подумал Мхенди и быстро сказал:

— Это верно. Иной раз мне кажется, что завоевать власть — самое простое.

— Ваш опыт говорит о другом,— презрительно усмехнулся Лэнвуд.

— Мхенди прав,— сказал Удомо, пропустив мимо ушей слова Лэнвуда.— Управлять страной труднее, чем завоевать власть. Эди и некоторые другие члены партии очень нетерпеливы. Они готовы провозгласить независимость хоть завтра. Им кажется, что я чересчур медлителен. Разве нет, Эди?

Так, подумал Мхенди. Значит, разногласия действительно существуют.

— Англичане останутся и на наших условиях,— сказал Эдибхой.— Мы им слишком хорошо платим. Кроме того, мы учим наших людей, и учим быстро. Я просто считаю, что надо поменьше зависеть от них. Вот и все.

— Мэби шлет вам привет,— поспешил вставить Мхенди.

Насмешливый огонек мелькнул в глазах Удомо.

— И мне тоже?

А ты изменился, мой друг, подумал Мхенди и ответил:

— И тебе тоже.

— Мы вызовем его сюда,— сказал Эдибхой.— Нам нужен человек, который мог бы войти в правительство как представитель горских племен. Оппозиция, возглавляемая Эндьюрой, обхаживает горцев, то и дело напоминает им, что они никак не представлены в Ассамблее.

— Поул соберется в два счета,— сказал Лэнвуд. Он наклонился к Удомо и продолжал в тоне отеческого наставления, так хорошо удававшегося ему: — Знаете, Майк, на вашем месте я бы не допустил, чтобы какие-то прошлые размолвки влияли на мое решение. Нужно уметь встать выше личных отношений.

Мхенди закрыл глаза. Идиот! О господи, какой идиот!

— Хорошо.— Удомо вдруг выпрямился. Лицо его стало суровым.— Займись этим завтра, Эди... Видишь, Мхенди, все, что от меня требуется,— это подписывать принятые решения.

Эдибхой удивленно взглянул на него.

— Значит, ты согласен...

— Да, согласен. И пусть Селина внушит этому беспомощному старикашке — министру просвещения и национального руководства,— что в интересах страны он должен уступить свой пост Мэби. Только не бегайте ко мне жаловаться, если он не пожелает расстаться с министерскими благами.

— Все будет в порядке, земляк. Даю слово! Против него выдвинуто обвинение: он поддерживает дружеские отношения с европейцами.

— Да? А почему я ничего об этом не знаю?

— Ты был так занят последнее время...— начал Эдибхой не очень убедительно.

— Это верно,— согласился Удомо.— И все же ты мог бы предупредить меня, что собираешься сменять министров в моем кабинете.

— Но послушай, земляк...

Удомо не дал ему говорить:

— Во всяком случае, я хочу знать ваши планы еще до того, как вы начинаете приводить их в исполнение.

— Есть такое дело! — сказал Эдибхой.

— Отлично,— сказал Лэнвуд.— Завтра же напишу Поулу. Я обещал ему поговорить с вами.

— Значит, это он просил вас поговорить со мной? — с любопытством спросил Удомо.

— Нет. Это была моя идея. Но я сказал ему, что сделаю это. Ну, с этим покончено. А как насчет нас? Насчет меня? Я ведь приехал сюда работать. Я мечтал об этом всю жизнь. Наше время — своего рода пробный камень, которым проверяется человеческая личность.

— Как, Эди? — в голосе Удомо звучала явная насмешка.— Что ты наметил для Тома?

Эдибхой перестал улыбаться и опустил глаза. Наступило неловкое молчание. Лэнвуд переводил взгляд с одного на другого.

— А разве вы не за тем вызвали меня домой, друзья? — Он вдруг почувствовал неловкость.

Удомо подошел и сел рядом с ним.

— Видите ли, Том, все это не так просто. Вы же знаете, что комиссариат не подвластен правительству — следовательно, это отпадает. В Ассамблее в данный момент вакансий нет. Но если и были бы, не можем же мы послать вас туда. Такой возможности ждут сотни заслуженных партийных работников.

— Но вы только что сказали, что Поул...

— Ах, Том! Вы же не новичок в политике. Среди горских племен Мэби пользуется большим авторитетом. Сейчас Эндьюра старается переманить их на свою сторону. Эди говорил вам. А если в Ассамблее их будет представлять Мэби, они пойдут за нами...

— А я не представляю никого,— тихо проговорил Лэнвуд. И все вдруг увидели, какой он старый.— Я креол. Мои предки были вывезены за океан, и, хоть сам я вернулся, корней у меня здесь нет. Но я отдал борьбе всю жизнь.

— Ваши отец с матерью, Том, вернулись, когда вы были еще ребенком. Вы здесь не чужой. Просто вы очень долго жили в Европе. Народ должен получше узнать вас. И не забывайте, здесь еще очень сильны племенные связи. Нужно разрушить их. Нужно противопоставить им национальное единство. Эндьюра играет на предрассудках и суевериях, которые породил племенной строй. Мы должны бороться с ними, иначе мы никогда не построим сильное государство, которое могло бы встать в один ряд с любым из современных европейских государств. Чтобы мир прислушивался к голосу Африки, надо создать сильные современные государства. И тут вы сможете принести нам большую пользу. Вы говорили о книге. Пишите ее. Партия ее издаст. Пусть это будет началом. Узнавайте заново свой народ. Но будьте осмотрительны: наши люди не похожи на европейцев. Не забывайте о наших обычаях... А теперь пошли спать. Завтра у меня трудный день. Встреча с белыми промышленниками. А это народ хитрый. Мы еще поговорим на эту тему.

Он встал. Лэнвуд никак не мог прийти в себя. Мхенди старался не смотреть на него. Эдибхой налил себе виски и с бутылкой в руке подошел к Мхенди.

— Давай, что ли, по последней? — сказал он и одним глотком осушил свой стакан.— До свидания.

Удомо сказал Эдибхою:

— Приходи ко мне пораньше. Джонс тоже придет. Я стягиваю все силы против господ бизнесменов.— Он неожиданно улыбнулся.— Жаль, что нельзя позвать Селину...

Они вышли на веранду вместе с Эдибхоем. Звезды ярко сияли на черном небе. Двое рослых часовых в лунном свете походили на призраки. Шофер Эдибхоя проснулся, едва его хозяин взялся за ручку дверцы. Часовые распахнули ворота...

■

Через полчаса Удомо неслышно вошел в комнату Мхенди.

— Я ждал, пока заснет Том,— прошептал он.

Мхенди зажег настольную лампу и удивленно посмотрел на него:

— Ты еще не раздевался? Я думал, ты уже спишь.

— Только в это время я и могу заниматься бумагами. Приходится вникать буквально во все. У нас в кабинете три пустых места, три человека, которые считают, что подписывать бумаги — единственная обязанность министра. Не представляю, что бы я делал без Эди... Ну, да я пришел к тебе не за тем, чтобы плакаться. Выпьешь что-нибудь?

— Нет, спасибо.

Удомо присел на край кровати.

— Что же нам с ним делать?

— С Томом?

— Да.— И вдруг его прорвало.— Черт возьми! Что я, слепой был там, в Англии? Ведь он совсем не изменился. Или, может, я опять ошибаюсь?

— Нет, он не изменился, постарел немного, а в остальном — тот же.

— Просто не верится. А впрочем, чего там не верится. Так оно и есть. Достаточно вспомнить Англию. А ведь сколько лет я на него богу молился... Но все-таки, что нам с ним делать? Он будет здесь только мешать.

— Ты говорил с Селиной?

— И с другими тоже. Да я и сам вижу. Я подумывал о руководящей должности в партии — закулисной, разумеется. Но он не годится для этого.

— Ты уверен?

— А ты нет?

Мхенди вздохнул.

— Том уже старик, ему скоро шестьдесят. Всю жизнь он мечтал о революции в Африке и писал о ней. В его представлении все это очень просто. Он здесь только первый день и видит все сквозь призму собственных сочинений. Эта революция — цель его жизни, мечта, ставшая явью.

— Все это я понимаю. Но как он ведет себя! Вздумал поучать исполнительный комитет партии — и конечно восстановил всех против себя.

— Он ведь считает себя отцом революции, Майк...

— И по-прежнему играет в бирюльки.

— Но эта игра для него дороже жизни.

— В том-то и дело! Мы могли бы дать ему место в палате Ассамблеи, но вряд ли теперь исполнительный комитет согласится. Раньше они бы не возражали. Да и я сам, как ни люблю Тома, не хотел бы, чтобы он был в Ассамблее.

— Пусть он немного освоится, Майк. Может, он еще поймет.

— А может, натворит бед. Пойми, я должен сохранить единство партии. Во что бы то ни стало.

— Он говорил о книге, пусть себе пишет. Это нужная работа, пишет он хорошо. Если он почувствует, что никому здесь не нужен, это его просто убьет. Как только он получил твою телеграмму, он порвал с Мэри Фелд. После ужасной сцены. При мне. Никогда не подозревал, что можно так ненавидеть человека и продолжать жить с ним. Ему теперь и вернуться некуда.

— Ну, назад-то я его не отошлю.

— Я поговорю с ним, Майк. И ты тоже. Ведь намерения у него добрые.

— Надо сделать это немедля, пока он не нажил себе врагов.

— А нельзя ли на время убрать его из Куинстауна?

— На будущей неделе я отправлюсь в поездку по стране.

— Возьми его с собой, Майк.

— Д... да... Пожалуй, ты прав. Я возьму его,— задумчиво сказал Удомо.— Ну, а теперь поговорим о тебе.

— Ты знаешь, зачем я приехал. Мне бы не хотелось доставлять тебе лишние хлопоты.

Удомо усмехнулся.

— Завтрашние переговоры, из-за которых я так волнуюсь,— часть моего проекта индустриализации страны. Как ты, наверно, догадываешься, этот проект встречает сопротивление среди некоторых членов партии. Они протестуют не против индустриализации, как таковой,— мне удалось убедить их в конце концов, что только индустриализация может поставить нас в один ряд с мировыми державами. Протестуют они против привлечения европейских специалистов и европейского капитала. Но другого выхода нет. Наше внутреннее море может стать источником электроэнергии для всей страны. Но без европейского капитала и европейской помощи мы ничего не сделаем. Это одна из причин, почему так нежелательны антикапиталистические выпады Тома. Наша земля —

особенно в горных районах — богата золотом и ураном. И здесь опять нужен европейский капитал и техника. Все это очень непросто, Мхенди. Эндьюра прекрасно понимает сложность моего положения. Я обещал выдворить отсюда европейцев. Народ поддерживает меня именно потому, что я обещал это. Ты, может, думаешь, что у меня неограниченная власть. Отнюдь нет. И тем не менее европейцы мне нужны до зарезу. И их еще нужно убеждать, что их деньги не пропадут. Можешь не верить, но единственные люди, которые понимают меня,— Росли и Джонс, да еще этот мошенник Эндьюра. А моя партия мне не доверяет.

Он замолчал. Развел руками, как бы выражая покорность судьбе. Внимательно посмотрел на Мхенди.

— И вот тут...— он говорил почти шепотом.— Твои соотечественники — белые плюральцы — сделали мне очень выгодное предложение и в отношении технической помощи, и в отношении финансирования. Завтра я должен встретиться с ними,— он снова развел руками и стал смотреть в сторону.

— Понимаю...— тихо сказал Мхенди.

Удомо чуть заметно улыбнулся.

— Понимаешь?

— Может, и нет. Объясни мне, что это означает для меня?

Удомо положил руку на плечо Мхенди.

— Не беспокойся, друг. Не то, что ты думаешь.

— Тогда что же?

— Только то, что все это очень сложно. Ты сам знаешь, что такое ответственность. Человек не всегда волен делать то, что ему хочется.

— Ну?

— Не волнуйся, друг!

— Тебе легко говорить! — вспылил Мхенди.

— Твоих планов это не коснется,— тихо сказал Удомо.— Одно должно быть совершенно ясно — я к этому не имею никакого отношения. Я об этом ничего не знаю. Я — премьер-министр страны. А премьер-министры не оказывают помощи революционерам соседних стран, особенно если они зависят от этих стран в финансовом и техническом отношении. О том, зачем ты здесь, не знает никто, кроме Селины. С этой минуты не знаем ничего и мы с Эдибхоем. Только ты и Селина...

Мхенди вздохнул с облегчением.

— Теперь понимаю.

— Действительно понимаешь, друг?

— Да.

— Я рад. Для меня это очень важно.

— Мне лучше переехать отсюда.

— Селина позаботилась обо всем. Можешь на нее положиться. А знаешь, мы нашли бы для тебя дело. И ты был бы нам очень полезен. Это было бы безопасно — и для тебя, и для меня.

— Там мой народ. Как же я останусь?

— Я знал, что ты это скажешь. Завтра, по всей вероятности, ты переедешь отсюда. Да, между прочим, Росли просил передать тебе привет. Говорит, пригласил бы тебя к себе, если бы не наша политика в отношении личных контактов. Он хороший парень. Без его поддержки я не смог бы вытащить тебя сюда. Нам всячески старались в этом помешать.

— Он не знает, зачем я здесь?

— Он знает, что ты хотел вернуться в Африку. Я боролся за право предоставить убежище африканскому патриоту... Забавно, что люди, с которыми можно говорить откровенно, отгорожены от тебя барьером запретов. Иногда мне просто необходимо поговорить с кем-то, как мы сейчас говорим с тобой.

— Вождь революции кончает тем, что становится пленником революции. Изречение, достойное Тома.

— Вот именно! Мне даже кажется, что я слышу его голос. Но, если бы это сказал Том, нам было бы нечего о нем беспокоиться.

— Может, он еще поймет...

— Надеюсь... Ну что ж, очень рад, что удалось поговорить с тобой. Неизвестно, когда теперь придется. Завтра ты переедешь. Я постараюсь при случае повидать тебя. Когда ты рассчитываешь двинуться в путь?

— Чем скорее, тем лучше. Я поговорю с Селиной.

— Она позаботится о тебе.— Удомо встал. Протянул руку.

— Значит, ты понимаешь?

— Не беспокойся, Майк. Я понимаю.

— Скажи мне,— Удомо замялся, глаза его смотрели мимо Мхенди. Он попытался улыбнуться.— Ты видел Лоис перед отъездом?

— Нет. Я уже больше года не видел ее.

— Да?

— Через несколько месяцев после твоего отъезда она бросила школу и уехала из Англии.

— Домик в горах?

— Да.

— Красивое место.

— Да.

— Ты знаешь, руководящие работники нашей партии дают клятву не жениться на белых.

— Вот как. Я не знал.

— Да, вот так.

— Понимаю.

Некоторое время Удомо стоял молча. Мхенди знал, о чем он сейчас спросит, и мысленно готовился к ответу. Но Удомо вдруг прошептал:

— Я не могу ее забыть, брат.

Что можно сказать на это? — подумал Мхенди.

И тут Удомо улыбнулся. Распрямил плечи. Снова стал деловит и бесстрастен.

— Спокойной ночи, Мхенди. У нас у обоих впереди много работы. Желаю тебе успеха.— Он взглянул на часы.— Боже мой! Скоро три...

Он вышел так же беззвучно, как вошел.

Мхенди потушил свет и лег. Он лежал, глядя в темноту широко открытыми глазами.

Итак, Удомо познал тоску одиночества — удел вождей. Странно, но это словно придало ему силы. Уверенности в себе.

— Почему я не такой? — пробормотал он.

Не найдя ответа, Мхенди повернулся на бок и закрыл глаза.

3

Мария спала, положив голову на колени Мхенди. Отчаянная тряска не мешала ей. Он придерживал ее за талию. Она так разоспалась, что, не держи он ее, соскользнула бы на пол прямо к ногам шофера.

Но вообще-то в кабине рядом с шофером им было совсем не плохо. В кузове несчастных пассажиров набили, как сардин в банку. Там было даже несколько женщин с грудными детьми.

Мхенди отвел взгляд от ярких фар, вырывающих из темноты ленту дороги, и посмотрел на шофера. Тот сидел, согнувшись над рулем, пристально вглядываясь в ночь. Этот шофер был старше двух предыдущих и внушал больше доверия. Он старался объезжать ухабы, а на ровной

дороге не превышал пятидесяти миль в час. Хотя откуда быть ровным, прямым дорогам в этой части страны? Жаль, что не поговоришь с ним,— он знает только свой родной диалект.

Они находились в пути уже тридцать шесть часов. Три раза меняли грузовики. День и две ночи отделяли их от Куинстауна.

По-настоящему Мхенди успокоился только после второй остановки. Уже в первой деревне, где они остановились, их встретил какой-то человек. Он отвел их в дом, где они помылись, поели и отдохнули. Им не пришлось бежать на рыночную площадь и с боем добывать места в машине. Грузовик заехал за ними, и шофер взял их к себе в кабину. Но могло быть и так, что им просто повезло, случайно попался расторопный, исполнительный человек. И только когда глубокой ночью на второй остановке произошло то же самое, Мхенди понял, что дело тут не в везении, а в хорошей организации. Тогда он успокоился и стал с интересом рассматривать унылую равнину, через которую лежал их путь. Почва здесь была скудная — не то что плодородный краснозем его родной Плюралии,— твердая, буроватая, поросшая кустарником и чахлыми деревьями. Деревушки с домами из тростника и глины, мимо которых они проезжали, в большинстве своем выглядели убого и жалко по сравнению с деревнями его родины. Но зато его поразили люди. Без сомнения, они были счастливы. Всюду приветливые лица, непринужденное веселье. Так что забывалась окружавшая их бедность. Такого смеха, как здесь, он никогда еще не слыхал.

В глазах у его народа была вековая печаль. Она сквозила даже в смехе людей, даже в их развлечениях. И тембр голоса у здешних жителей был другой. И форма головы, и строение тела. Отличие было разительным. А белые — вот глупцы! — валят всех африканцев в одну кучу. И все же есть у всех африканцев что-то общее, рожденное общностью судьбы. Интересно, исчезнет эта связь, когда рухнет империя? Ведь она создавалась искусственно империей, белыми. Может быть, когда империи не станет, африканские народы будут так же отличаться друг от друга, как немцы или англичане от французов? И тогда цвет кожи не будет играть для Селины такую важную роль.

Селина. Странная женщина! Три недели продержала его в полном неведении. А потом пришла и сказала:

— Все устроено. Завтра вечером выезжаешь. В пути никого ни о чем не спрашивай. И не беспокойся. Тебе во всем помогут.

И вот он катит на грузовике в ночи, изнемогая от усталости и не в силах уснуть. Мария, которая всю дорогу заботилась о нем, спит крепким сном.

Интересно, как они будут пробираться через джунгли? Вдвоем? Мария знала только, что их будут ждать. Но кто именно, она не знала. А по ту сторону джунглей — если им удастся пройти — начинается мир, знакомый ему. Страна, которую он должен освободить. Как непохожа она на эту страну! Как непохожа...

Шофер достал из кармана смятую пачку сигарет и протянул Мхенди. Мхенди предпочел бы свою трубку, но все-таки взял одну. От сигарет у него всегда деревенеет язык, особенно в минуты усталости. А в горле и без того першило от густой дорожной пыли. Шофер никак не мог прикурить, и Мхенди раскурил для него сигарету. Сигарета, выкуренная вместе ночью, сближает людей, не знающих языка друг друга, роднит их. Табак был едким, но Мхенди не обращал внимания. Выкуренная вместе сигарета сближает людей...

Он выкинул окурок. Уселся поудобнее, чтобы поменьше болела затекшая поясница. В кузове заплакал ребенок. Мхенди поднес руку к светящемуся щитку машины — половина четвертого. Скоро рассвет.

Каким одиноким чувствует себя человек перед рассветом! Озеро теперь уже близко. Ребенок перестал плакать. Наверно, мать дала ему грудь. Мхенди закрыл глаза...

Его разбудили голоса. Брезжил рассвет. Мария проснулась.

— Видишь горы? — сказала она.

Вдалеке виднелись неясные очертания гор, тронутых синевой, подсвеченных еще невидимым солнцем. Казалось, это сплошная, непроходимая горная цепь. Первые горы, которые увидел Мхенди в этой равнинной стране.

— Мы должны перевалить через них?

— Да, но сначала мы заедем ко мне. Ты должен познакомиться с моей матерью и со своим сыном.

Грузовик обогнул невысокий холм, и они увидели огромное озеро — черное в этот предрассветный час. Грузовик, подпрыгивая, катил по неровной песчаной дороге. Вокруг клубами ходила пыль. Пассажиры уже проснулись и громко переговаривались между собой. Впереди виднелся город, конец долгого пути.

Мхенди заметил, что земля здесь была плодородней, а растительность обильней, чем на равнине. Эти места напоминали ему родные края. Он ощущал волнение Марии. Еще бы — она едет домой. Сердце, наверно, так и бьется.

— Рада? — спросил он.

— Это мой дом.— Она прижалась к его плечу.

— Да,— сказал он, вздохнув.— Дом!

— И твой тоже,— быстро добавила она.

Как она умела откликнуться на его настроение, всегда знала, что сказать ему! Он погладил ее руку. Посмотрел на окутанные дымкой горы. Его дом там — за этими горами.

Через полчаса грузовик с грохотом остановился возле рынка. Пассажиры начали спрыгивать на землю. Шофер что-то сказал Марии.

— Мы подождем здесь,— сказала она Мхенди.— За нами приедут. Тут стоит английская часть, много белых. Лучше, чтобы тебя не видели. Но ты не бойся. Просто нам нужно быть осторожнее, пока мы не переправимся на тот берег, вот и все.

Шофер ушел, оставив их в грузовике.

— Большой город,— заметил Мхенди.

— Самый большой после Куинстауна,— сказала Мария.

— А что тут делают белые?

— Здесь торговое отделение «Панафрика компани». И миссионерская школа, в которой я училась.

— Наверно, и Мэби в ней учился,— задумчиво сказал Мхенди.

— Мэби? — переспросила Мария.

— Один мой друг. Тоже из горских племен. Сейчас он в Англии.

— Я слышала только об одном человеке с гор, который живет в стране белых.

— Это он и есть.

Остальные пассажиры уже разошлись, и только они двое сидели в грузовике. Торговцы, пришедшие пораньше, чтобы захватить лучшие места, с любопытством поглядывали на них. Мхенди уже начал беспокоиться, когда возле грузовика остановилась легковая машина. Кто-то невидимый открыл заднюю дверцу и окликнул их.

— Это за нами,— сказала Мария.— Пошли.

Они пересели из грузовика в машину, шофер дал полный ход, и машина понеслась по улицам города.

Мхенди скорее почувствовал, чем увидел, что рядом с ним кто-то сидит. Мария успокаивающе сжала его руку.

— Не тревожьтесь, мистер Мхенди,— сказал по-английски сидевший рядом человек.— Дело в том, что здесь недалеко граница, и власти вечно охотятся за контрабандистами. Через наш город перебрасывается довольно много контрабандных алмазов, и за всеми посторонними, естественно, слежка.

Мхенди почувствовал беспричинную, инстинктивную неприязнь к этому человеку. Он буркнул что-то в ответ и замолчал. Автомобиль остановился возле небольшого дома на окраине.

— Идите за мной.

Они вошли в дом. Он провел их в большую комнату и зажег керосиновую лампу.

Мхенди увидел толстенького суетливого коротышку с глазами-буравчиками. И тотчас понял причину своей неприязни. Он встречал таких людей по всему свету. У них мог быть разный цвет кожи — черный, желтый, белый, но суть одна: у этих людей была жажда власти и корыстный огонек в глазах. Их выдавал голос и презрение к честным людям, которое они не могли скрыть.

— Добро пожаловать, мистер Мхенди. Не каждый знает, кто вы, но я-то знаю. Газеты Куинстауна писали о вашем приезде. И когда мне приказали встретить важное лицо и переправить его через озеро, я сказал себе: «Это или мистер Лэнвуд, или мистер Мхенди». Но мистер Лэнвуд сопровождает нашего славного премьер-министра в поездке по стране, значит, тот, кого я встречу,— мистер Мхенди. Добро пожаловать, сэр! Меня зовут Симон Чинва. Я возглавляю местную партийную организацию. Можно предложить вам виски?

— Для виски, пожалуй, рановато,— сказал Мхенди.

— Вот чаю он выпьет с удовольствием,— сказала Мария.— И я тоже.

Симон Чинва повернул к ней улыбающееся хитрое лицо. Развел руками.

— Время не терпит, сестра. Гребцы ждут.

— Тогда надо идти,— сказал Мхенди.

— Но сначала вы должны переодеться, сэр. Ваш костюм может вызвать подозрение. Из Куинстауна мне прислали для вас прекрасное покрывало и сандалии. Белые глупы. Если на вас покрывало, они не станут к вам приглядываться, и вы легко сойдете за местного жителя. А если вы будете одеты по-европейски, они сразу поймут, что вы не здешний.— Чинва указал в угол.— Ваше платье там, сэр.

— Я помогу тебе,— сказала Мария.

— Я сейчас вернусь,— Чинва вышел, оставив их вдвоем.

— Я ему не верю,— прошептала Мария,— до прихода Удомо он был за белых.

Мхенди поспешно раздевался.

— А Селина знает?

— Она все знает.

— Тогда почему же?..

— Селина никому ничего не объясняет. Т-сс...

Вошел Чинва и заулыбался во весь рот.

— Вот теперь, сэр, вас не отличить от местного жителя. Свои вещи лучше оставьте здесь.

— Нет,— сказала Мария.— Я заберу их. И вот еще что — Селина велела сказать, что каждому, кто станет слишком много болтать, отрежут язык, а потом будут гонять его голым из деревни в деревню и бить.

— Это она мне велела сказать? — в его голосе прозвучал страх.

— Вам и вообще всем, кто знает о нашей поездке.

Чинва успокоился.

— А я ничего не знаю. Я знаю только, что должен встретить вас и приготовить для вас каноэ. Это я сделал. А больше я ничего не знаю. О чем может болтать человек, который ничего не знает?

— Я только передала вам слова Селины.

— Идем,— сказал Мхенди.

— Может, все-таки выпьете чаю, сэр?..

— Нет. Мы уж лучше пойдем,— сказала Мария.

Она связала в узел костюм Мхенди. Чинва проводил их к машине и что-то сказал шоферу.

— Он отвезет вас, сэр. Счастливого пути!

Машина рванулась вперед. Город постепенно исчезал из виду. Они приближались к озеру. Минут через двадцать машина остановилась в маленькой роще. Мария и Мхенди вышли. Шофер, не задерживаясь ни минуты, помчался обратно в город.

Длинное, узкое, изящное каноэ ждало их у берега. На веслах сидели шесть человек — Мхенди никогда не видел людей, так великолепно сложенных. Старший гребец нетерпеливым жестом пригласил их в лодку. Они сели. Старший оттолкнулся от берега и поставил каноэ носом к горной цепи. Он что-то сказал, и каноэ стрелой полетело вперед. Гребцы поймали ритм, их тела сгибались и разгибались в полном согласии, весла взлетали и опускались, как одно весло. Раз... два... Раз... два... Легкое суденышко стремительно неслось по темной воде. Они гребли спокойно, размеренно и неутомимо

— Ты, наверно, хочешь есть, Мария? — спросил Мхенди.

Старший гребец раздраженно сказал что-то.

— Он говорит, чтоб ты не разговаривал,— прошептала Мария,— он говорит, что твой голос отвлек людей, они сбились с ритма, и лодка стала медленнее идти.

— Прошу прощения,— сказал Мхенди.

Раз... два... Раз... два...

Когда солнце поднялось над вершинами гор, сдернув с них голубоватую дымку, они были уже почти на середине озера. Берегов не было видно, и только высокие горы маячили где-то вдали. Гребцы гребли так, словно только что взялись за весла.

Раз... два... Раз... два...

Живот у Мхенди подвело. В горле пересохло. Темно-фиолетовые губы Марии стали пепельно-серыми. Она то и дело облизывала их. Мхенди хотелось сказать ей что-нибудь ласковое. Даже если она голодна вдвое меньше, чем он, если хочет пить вдвое меньше, то и тогда муки ее должны быть невыносимы. В последний раз они поели как следует вчера в полдень. Есть на трясущемся, подпрыгивающем грузовике, в клубах пыли было просто немыслимо. «Ты стал неженкой, Мхенди»,— сказал он себе. Скоро опять полдень. Бедная Мария! За что ей такие страдания? Что ей Плюралия? Он взял ее за руку.

Раз... два... Раз... два...

Кроме них на всем огромном озере не было никого. Будто они затерялись в своей лодочке среди необъятных просторов океана. Но впереди синели горы. Они вселяли надежду.

Раз... два... Раз... два...

Да полно, люди ли эти гребцы? Неужели простые смертные способны вот так, час за часом, держать этот бесперебойный ритм?

Солнце поднялось к зениту, постояло над головой и двинулось на запад. У Мхенди начала кружиться голова. Мария впала в полузабытье. Когда-то его отец тоже проявлял чудеса выносливости, не хуже этих гребцов. В стране с племенным укладом такое было возможно. А потом

Плюралию настиг век машин... Ну, а как с другой, отвратительной чертой племенного уклада — с полным подавлением человеческой личности, уничтожением ее? Вот она — страшная проблема, которая стоит сейчас перед Удомо; ему, Мхенди, никогда не придется столкнуться с этим в Плюралии. Независимо от того, победит он или нет, народ Плюралии на целое столетие опередил народ Панафрики. Не хотел бы он быть на месте Удомо. Ни за что на свете!

В этом отношении белые принесли народу Плюралии большую пользу. Почему только они остановились на полдороге? Их дело могло бы стать поистине великим, если бы они относились ко всем людям одинаково, независимо от цвета их кожи. Тогда и борьбы не было бы никакой. Во всяком случае, этой бессмысленной расовой борьбы... Бедный Удомо!

Раз... два... Раз... два...

Мхенди закрыл глаза, потом открыл. Мираж не пропал. Он протер глаза. Мираж не исчезал. Должно быть, горы отсвечивают на солнце. Солнце было на западе, далеко позади них, у самого горизонта. Что же это — солнце или действительно земля так близко? Старший гребец кивает ему и улыбается. Он снова человек, а не деталь механизма, называемого племенем. Кивает и улыбается? Значит, это земля!

— Мария, Мария! Берег!

Мария приподняла голову и открыла глаза.

— Берег! — повторил он.

Она слабо улыбнулась и кивнула.

Двое мужчин ждали их у самой воды. Каноэ мягко толкнулось носом в берег. Мужчины вытащили лодку на песок. Мхенди попробовал встать. И не смог. Судорогой свело ноги. Ему помогли выйти. Боже мой! Они подумают, что я жалкая развалина.

— Мария, скажи им, что я сильный, здоровый человек. Объясни им, что мы сутки ничего не ели и двое суток ехали без остановок.

— Не волнуйтесь, они все знают. Они знают, сэр, что вы сильный человек.

Это сказал один из тех, кто пришел встречать каноэ.

— Кто ты?

— Не узнали меня, сэр? Я старший в отряде, который пойдет с вами. Я видел вас у Селины. Она послала меня вперед, чтобы все подготовить. Пойдемте, сэр. Мы поговорим потом, когда вы отдохнете.

— Не называй меня «сэр». Я не белый.

Юноша улыбнулся, протянул Мхенди сильную руку.

— Эй, кто-нибудь, поддержите женщину, а то она упадет,— приказал он.— Они оба еле живы от голода и усталости. У них была трудная дорога.

■

Мхенди проснулся в темноте. Некоторое время он лежал неподвижно, стараясь сообразить, где он. Наконец сдался.

— Мария, Мария!

Она вышла, держа в руке оловянную плошку с растительным маслом, в котором плавал горящий фитилек.

— Проснулся? — спросила она.

— Долго я спал? Где я?

— В доме моей матери. Ты проспал ночь и весь день, а сейчас опять ночь. Джозеф велел не будить тебя, пока ты сам не проснешься.

— Джозеф?

— Ты сразу узнаешь его, когда увидишь. Ты встречал его у Селины. Это она его послала подготовить все для нашего путешествия. Он ждет тебя здесь. Позвать его?

— Подожди. Я оденусь. А как ты? Отдохнула?

— Да.

Мхенди сел. Он находился в хижине, построенной из глины и тростника, как две капли воды похожей на ту, в которой родился. Годы, проведенные в Европе, отодвинулись далеко-далеко.

— Поди сюда, Мария.

Она поставила светильник на табуретку и подошла к нему. Он притянул ее к себе. Она прижалась к его груди.

— Я так благодарен тебе, Мария, за все, что ты для меня сделала, за то, что разделила со мной это трудное путешествие, за то, что я больше не одинок.

— Мужу не надо благодарить свою жену. Она делает то, что должна делать, и это доставляет ей радость.

— Все равно, я хочу, чтобы ты знала.

— А я и так знаю, что ты благодарен мне, Мхенди.

Мхенди почувствовал прилив безграничной нежности. Сильнее прижал Марию к себе.

— Я родился в таком доме,— сказал он.

— Знаю,— ответила она.

— Я тебе не рассказывал об этом.

— Мне рассказало сердце.

Он потерся щекой о ее щеку, потом отстранил ее.

— Я должен одеться. Пришли сюда этого Джозефа.

— Хорошо. Пока вы будете говорить, я приготовлю ужин. Люди нашей деревни хотели устроить пир в твою честь, но Джозеф сказал, что не надо. Поэтому они будут приходить по нескольку человек, чтобы приветствовать тебя. А ужинать останется только наш вождь.

Мхенди сидел с Джозефом на склоне холма, возвышавшегося над озером. Полная луна нависла над темной водой.

— Нас всего двенадцать человек,— сказал Джозеф.— Остальные ждут у самых джунглей. Мы добирались сюда, разбившись на группы, чтобы не вызвать толков.

— Но вы убедились, что тропа существует?

— Существует, это точно.

— А как насчет провианта?

— У нас с собой есть все. Что действительно было трудно, так это найти тропу. Две недели ушло на поиски, и я уже начал думать, что старики попросту выдумали все это.

— Когда мы выходим?

— Это уж вам решать, мистер Мхенди.

— Вы знаете, что нас ждут опасности?

— Знаем.

— Хорошо. Тогда выступаем завтра.

— Значит, завтра. А теперь вам надо отдохнуть, сэр.

Джозеф ушел. На холм поднялась Мария.

— Завтра отправляемся,— сказал Мхенди.

— Я готова,— ответила она.

Он взял ее за руку, и они пошли вниз по склону, к дому.

■

Дни во мраке, темень ночи, дни без солнца, ночь без звезд. Полно, есть ли месяц в небе? И на месте ль небосвод?

А есть ли у небосвода место?

Что есть время, что движенье? Что есть свет и что есть тьма? Ведь деревьям нужно солнце, жизни нужен воздух, свет.

Где оно — солнце?

Дни во мраке, темень ночи, джунгли ночью, джунгли днем. Что есть джунгли? Кто их создал? Как родилась в джунглях жизнь?

Сырая земля, ни травинки.
Влага, жара, духота.
Деревья-гиганты и темные воды.
Шорох и шепот, шипенье и тишина.
Шаг крадущийся, подползающая опасность —
Это джунгли и есть?

Джунгли — не только деревья, высокие, как башни, не только тьма, что темнее ночи, не только трясина, не только предательские озера, где затаилась смерть, не только огромные змеи или звери, караулящие жертву.

Это время, которое застыло на месте, издевается над человеком. Это мрак в сердце человека. Это страх человека. Человека не было на земле, а были джунгли.

С оглядкой ступай, человек,
или в джунглях погибнешь ты.
Не лгала твоя мать, когда
в детстве пугала тебя,
С оглядкой ступай, человек!

Они вырвались из джунглей только на десятый день. Они бежали к свету, бежали, задрав головы к небу, которое наконец видели снова, и весело смеялись.

Первым опомнился Мхенди.

— Дальше ни шагу! — крикнул он.

Они остановились и пошли назад к тому месту, где стоял он.

— Нам нельзя разбивать лагерь под открытым небом,— сказал Мхенди.— Его могут обнаружить с самолета, нас может выдать дым костра. Нужно вернуться назад в джунгли. Мы в Плюралии, нужна осторожность.

Он почувствовал, что ими снова овладевает страх. Они, сильные смелые люди, боялись этих загадочных джунглей. Ведь они были еще так молоды.

— Где мы разобьем лагерь? — спросил Джозеф.

— Главное, чтобы нас не заметили с самолетов. Где-нибудь недалеко от опушки будет безопасно.

Джозеф принялся командовать. Двоих послал за водой. С остальными пошел искать место для стоянки. Над головой было небо, светило солнце, и к людям быстро возвращалась храбрость.

Мхенди пристально вглядывался вдаль. Перед ним была Плюралия — страна его предков. Он не чувствовал усталости. Сегодня же, как только стемнеет, он отправится в путь.

К нему подошла Мария. Он посмотрел на нее и снова — в который раз! — с благодарностью подумал, сколько она вытерпела ради него. Он обнял ее за плечи.

— Вот мы и пришли,— негромко сказала она.

— Трудно тебе было,— сказал он.— Лучше бы ты осталась.

— Там мне было страшно,— она посмотрела в сторону джунглей.— Но, если бы надо было, я бы снова пошла с тобой... Вот, значит, твоя земля. Красивая!

— Земля красивая. Не свободная только.

— Ты завоюешь ей свободу... Когда ты хочешь идти?

— Скоро. Сегодня вечером. Так лучше. Ты знаешь, что я не могу взять тебя с собой?

— Знаю. Но ты вернешься, Мхенди?

Он прижал ее к себе. Сколько покоя она принесла ему...

— Я все сделаю, чтобы вернуться, дитя. Пойдем, мне нужно поговорить с Джозефом.

Они пошли назад, в надежный сумрак джунглей.

Джозеф оказался хорошим организатором. В его отряде была поистине военная дисциплина. Одни расчищали место, другие разбивали палатку. Те двое, которых он посылал за водой, уже вернулись и сейчас разводили небольшой костер, почти не дававший дыма. Мхенди оглядел ся по сторонам и довольно кивнул. Они здесь не пропадут.

— Скоро будет готов ужин, сэр! — крикнул Джозеф.

Мхенди подозвал его.

— Ну, как твои ребята?

— Сейчас ничего.— Джозеф смущенно улыбнулся.— Испугались мы джунглей. А ведь мы солдаты партии. Удомо называет нас своим ударным отрядом, и нам стыдно, что мы не сумели побороть страх.

— Мне тоже было страшно, Джозеф.

— Спасибо, сэр. Я скажу моим людям. Это подбодрит их. Но теперь мы уже ничего не боимся.

— Я хочу идти сегодня вечером. Мне кажется, лучше не мешкать.

— Слушаюсь, сэр.

— Сколько времени вы сможете ждать меня здесь?

— Сколько прикажете, сэр.

— У вас хватит еды на месяц?

— Хватит. Даже больше, чем на месяц. Кроме того, я могу послать своих ребят за провиантом. Второй раз им будет легче идти через джунгли. Надо еще доставить оружие для людей, которых вы приведете с собой. Чтобы у вас был свой ударный отряд, их нужно учить.

Мхенди улыбнулся.

— Я передумал, Джозеф. Сейчас нужны новые методы борьбы. Мы уже выступили однажды с оружием в руках, но победить их не смогли. Конечно, оружие пригодится, хотя мы постараемся не прибегать к нему. Но главное другое — нужно вернуть людям мужество, заставить их поверить в то, что мы победим, внушить им, что никто не должен выйти на работу, когда мы объявим забастовку. Я напишу обо всем этом Селине. И пусть твои люди захватят письмо с собой, когда пойдут через джунгли.

Мы организуем отряды молодежи — ударные отряды, как вы их называете. Пусть режут провода электростанций, пускают под откос товарные поезда. Пусть жизнь в стране станет для белых неуютной. Пусть они нас боятся. Когда люди узнают, что за этим стою я, они поймут, что это означает. И тогда мы объявим всеобщую забастовку, которая парализует жизнь в стране. Конечно, они будут искать меня. Но я вернусь сюда, и они меня не найдут. Потом я опять пойду к своим землякам, расскажу им, что делать дальше, снова вернусь сюда... И они никогда не смогут найти меня.— Мхенди помолчал немного. Затем сказал: — Я напишу об этом Селине, а вы позаботьтесь, чтобы письмо не попало в чужие руки.

— Замечательный план, сэр! Как бы я хотел пойти с вами!

— Ты должен остаться здесь и беречь Марию, хорошенько беречь,— и ждать меня. Если же я не вернусь через месяц — значит, меня взяли...

— Нет!..— воскликнула Мария.

— Это может случиться, дитя мое.— Он погладил ее по щеке.— А теперь я буду писать письмо.

— Ваша палатка готова, сэр,— Джозеф проводил их в палатку.

Мхенди сел на раскладную кровать и, положив блокнот на колени, стал писать письмо. Писал он долго, обдумывая каждое слово. Может быть, это письмо станет его завещанием.

Один из юношей принес ужин. Они поели, и Мария ушла, чтобы не мешать ему.

Наконец письмо было написано. Он позвал ее, и они остались вдвоем.

Когда на землю спустилась ночь, он отправился в путь. Мария и Джозеф проводили его до опушки. Прощаясь, Джозеф дал ему автоматический пистолет.

— Доброго пути, сэр. Да здравствует свободная Африка!

Мхенди пожал ему руку.

— Я вернусь через месяц, Джозеф. До свиданья! Береги Марию.

Мария прошла с ним еще немного. Потом остановилась и обняла его.

— Будь осторожен, муж мой, береги себя!

— Я вернусь,— сказал он. О женщины, которые любят и ждут! — Я вернусь, милая моя!

Он высвободился из ее рук и быстро зашагал прочь. Тьма поглотила его. А Мария все стояла, пристально вглядываясь вдаль.

Прошло много времени, прежде чем Джозеф подошел к ней и дотронулся до ее руки.

— Пойдем! Он ушел. Теперь мы должны ждать.

— Да,— прошептала Мария.— Теперь я должна ждать!

(Окончание следует)

В. ДНЕПРОВ

УСТАРЕЛО ЛИ КЛАССИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО?

(Из опыта западного романа)

9

Модернисты не желают видеть главного: связи реализма с народно-освободительными движениями XX столетия. Вместе с подъемом антиколониальной революции разгорается в странах Азии, Африки и Латинской Америки пламя реалистического искусства. Уж конечно не к паническому модернизму, не к искусству пессимистов-плакальщиков станут обращаться борющиеся народы. В Испании после тяжелейшего поражения и многих лет подавленности восстановил свои внутренние силы рабочий класс — и в неразрывной связи с этим встрепенулся и испанский реалистический роман. На волне народного недовольства в США конца 20-х — начала 30-х годов возвысился до полного расцвета роман критического реализма. Из французского Сопротивления выросла реалистическая поэзия Элюара и Арагона, без итальянского Сопротивления не было бы неореализма. Столь же очевидна связь модернизма с периодами национальных катастроф и полосами нравственного упадка в народных массах. Даже буржуазные историки не могут не видеть зависимости, которая существует между ростом экзистенциалистских влияний и состоянием «национального унижения» в странах, испытавших военное поражение.

Окончание. Начало в № 2.

Преобладание народных мотивов влечет за собою глубокую перестройку поэтики романа. Как на берегу моря все звуки слышатся на фоне несмолкающего шума прибоя, так и в романе мы воспринимаем все происходящее на бескрайнем народно-поэтическом фоне.

В книге «Самостоятельные люди» Лакснесса форма прозаического романа и форма поэтически-богатырского сказания как бы наложены друг на друга.

Все, что так или иначе подчинено богатству и наживе, образует содержание чисто прозаическое, мелочное и бесплодное. Разумеется, на жизнь угнетенных тоже давит гнетущая и монотонная проза. «Этот дождь, однообразный и ровный,— пишет Лакснесс,— падал... над хутором, заслоняя от него весь мир. Глухой, безнадежный, непрекращающийся шум проникал, казалось, во все уголки дома, закладывая уши, обволакивая все далекое и близкое,— как прозаическая повесть самой жизни, повесть, в которой нет ни ритма, ни подъемов, ни падений и которая все же захватывает своей ширью и глубью». Но этого рода проза становится поэзией не только оттого, что ее освещает взгляд художника, а еще более оттого, что внутри нее живут и рвутся наружу реальные поэтические силы и стремления. Оттого, что как из камня вырезан характер главного героя — хуторянина Бьяртура, сконцентрировавшего в себе гордость и упорство своего народа.

Мысли ворочаются в голове Бьяртура медленно и тяжело, как жернова, но то, что уложилось в его душе,— это навсегда, это накрепко. «Если меня разрежут на куски, я не сдамся»,— говорит он, готовый бороться «один против всех».

Поэзия возникает оттого, что обыкновенный исландский мужик приковал все без исключения помыслы и действия свои к еди-

ной цели, став рыцарем идеи, правда, утопической, противоречащей ходу истории и терпящей крушение, но по-своему свободолюбивой. «Тот, кто никому не должен,— тот король». Бьяртур решил полагаться только на себя, на свои руки, на свой разум, отделившись от мира богатых и отвергнув вмешательство всякой нечисти в свои дела. Никому не покоряться, никого не слушаться. В душевном мире Бьяртура с замечательной рельефностью представлено то, что Маркс называл рассудком и предрассудком крестьянина. И все же, когда идея гордости трудящегося человека пронизывает и подчиняет себе целую жизнь, рождается истинная поэзия. Она рождается еще и потому, что «самостоятельный человек» стоит бесконечно выше богатых, защищая идеальные ценности от их всеразрушающей корысти и их беспринципного эгоизма. И не в меньшей степени потому, что вся его жизнь отдана труду.

Революции XX века изменили взгляд художников на труд, открыв им воочию глубину и многосторонность той, казалось бы, простой истины, что труд каждого человека — главный момент жизнестроительства. Красота труда стала центром социалистического реализма, но даже и в критическом реализме она заняла новое место среди эстетических ценностей. Чтобы вполне убедиться в этом, достаточно вспомнить «Иметь и не иметь», «Старик и море» Хемингуэя или фильм Кането Синдо «Голый остров».

Необъятный роман Пруста проникнут философией и психологией жизнепотребления, в нем с неистощимыми подробностями показано, как люди созерцают, развлекаются, едят, любят, но нигде на многотомном протяжении прустовского эпоса впечатлений не показано, как люди работают, добывают средства к жизни и даже вообще что-нибудь создают. Есть, пожалуй, только одно исключение: на нескольких превосходно написанных страницах рассказано о впечатлении героя, которое внезапно превратилось в слово, объективировалось в художественный очерк пейзажа. Здесь единственный раз затронут акт творчества, а после этого мы слышим лишь оправдания молодого человека по поводу своего «ничегонеделания». Из оправданий можно понять, что Пруст и сам чувствовал неловкость, сознавая, что полностью выключил человеческую деятельность и работу из своего произведения, и хотел заранее ответить на возможные упреки, связанные с этим. Но как бы то ни было, люди приходят в его роман с вполне готовым положением и богатством, а движение к этому положению и богатству (если не считать того, что персонажи от времени до времени получают наследство) остается за кулисами книги. Так что анализ социальных различий в «Поисках утраченного времени» может осуществляться лишь в применении к сфере пользования жизнью, к сфере украшения, к формам салонного и бытового общения, к манере наслаждаться и т. п.

Пруст усматривает главную сферу красоты за пределами деятельности, в созерцательной поглощенности бытием. У Лакснесса, напротив, прекрасное сближается с человеческой работой. Труд становится внутренним критерием для оценки всех явлений жизни, и Лакснесс представляет универсальность этого критерия с последовательностью истинного художника.

Работа для Бьяртура не только средство к существованию, она неразрывно связана с идеальной жизненной задачей, неотделима от смысла жизни. В достижение цели Бьяртур вносит тот фанатизм, который свойствен идейным и могучим, но ограниченным и узким натурам.

Лакснесс сообщает, что лицо у Бьяртура было некрасивое. И все же он видит своего героя прекрасным. Он видит развернувшееся во всю свою силу тело работающего человека. Тело с движениями соразмерными и точными — по-своему легкое, несмотря на огромность. Спокойные умелые руки с толстыми пальцами. Могучая шея несет упрямую голову. Лицо важное и осмысленное — в нем отразилась напряженная и благородная внутренняя жизнь. На Бьяртуре как бы лежит отблеск гармонической связи с окружающей природой — связи, созданной трудом и высшей целью этого труда. «На пустоши стояла совершенная тишина. И в этой тишине, в этом свете, среди этой природы был совершенен и человек, искавший то, что придавало смысл и содержание его жизни». По сравнению с Бьяртуром люди из мира наживы кажутся безобразными: «Надо сказать, что рядом с ним эти господа казались какими-то нелепыми, почти уродами, не то шестипалыми, не то трехглазыми».

Мы, к сожалению, лишены возможности проследить все поэтические оттенки и

В. ДНЕПРОВ
УСТАРЕЛО ЛИ КЛАССИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО?

смыслы романа Лакснесса, связанные с трудом. Но в конце концов труд срастается в душе героя с самым чувством бытия, с жаждой жизни, с исполнением желаний, со всем, что есть хорошего на свете,— он сливается с истоками прекрасного. Если бы Бьяртур потерял возможность приложить к делу свои большие руки, возможность создавать и творить — это было бы для него почти равносильно смерти.

Положительная поэзия находится не только в авторской точке зрения, не только в слове и стиле — она в самих изображаемых явлениях. Роман меняет свой характер, прозаическая сторона современной действительности перестает играть в нем доминирующую роль, он превращается, если можно так выразиться, в роман прозаическо-поэтический, основанный на переплетении и сложном взаимодействии прозаических и поэтических мотивов. Рядом с отрицаемым жизненным содержанием становится содержание, утверждаемое художником. «Неужели этот маленький хутор,— пишет Лакснесс,— забыт всем миром? А эти безвестные люди, неужели никто не прославит их героизм, не напишет о них книги?» И на самом деле, книга Лакснесса рассказывает о героической поэзии обыденной жизни. Бьяртур не просто хороший человек, загубленный неправедным обществом. Он могучий боец, вызвавший это общество на единоборство. Он человек деятельный, негнущийся, несдающийся. Бьяртур во многом похож на упрямых, верных своему принципу героев Ибсена, но вместе с тем он стоит выше их: его корни в толще народной, он не только протестует во имя неопределенного идеала, он осуществляет свой идеал, строит свой мир в противовес ненавистному миру богатых («Честным людям там плохо приходится»). Он пытается соорудить некий микрокосм, крохотную замкнутую сферу, в которой воцарится труд и свобода. Своему сыну, уезжающему в Америку, он говорит: «...слышать не хочу об этом дьявольском мире!.. Что такое мир? Мир здесь. Летняя обитель, мой хутор — вот он, мир». Бьяртур жертвует самыми дорогими своими привязанностями, он остается брошенный и одинокий, и ибсеновская формула «сила — в одиночестве» начинает превращаться в его голове в другую — унылую и беспросветную формулу: «Выходит, что одиночество — это и есть цель жизни».

Герой Лакснесса увидел, что главный его принцип: «не искать помощи у других» потерпел банкротство, но одновременно он начал духовное движение к новой истине — истине рабочей солидарности, истине «коллективного общества», «где никто не может наживаться на труде другого». Поэтому Бьяртур может жить дальше, учась добиваться «самостоятельности» уже не только для себя лично, а для всех трудящихся и угнетенных. В этом переходе от идеала, осуществляемого личным трудом и борьбой, к идеалу, реализуемому коллективной борьбой и трудом миллионов, в этом переходе от строительства «хутора» к строительству общества заключен также и переход от современного критического реализма к реализму социалистическому.

10

История знала переходные эпохи, когда произведения искусства заключали в себе кусочки различных и противоположных миросозерцаний. На переломе от античности к средневековью мотивы христианского страдания совмещались с образом атлетического Христа, а христианские базилики хранили еще черты античной невозмутимой ясности. Точно так же в эпоху Возрождения атеистический по сути своей взгляд на мир выступал до поры до времени в религиозной оболочке, женщина, цветущая жизненной силой и прелестью, называлась божьей матерью, подобно тому как природа, не нуждающаяся ни в каком творце, называлась у Спинозы богом. Буржуазная литература, нападавшая в XVIII веке на аристократический абсолютизм, вместе с тем нередко подчинялась в формах своих выросшему на абсолютистской почве классицизму.

Но, быть может, никогда еще борьба сталкивающихся мировоззрений внутри художественного произведения не была столь ожесточенной, как в нашу эпоху. Новый мир стал преемником классической традиции, и Ленин энергично воевал с Пролеткультом, отказавшимся от наследства классического искусства. С другой стороны, ни один прошлый строй не сопротивлялся исторической неизбежности так отчаянно, так опасно для человечества, так изворотливо и так беспринципно, как сопротивляется капитализм. Духовные проявления своего упадка и умирания он превратил в оружие идеологической борьбы, навязывая философию декадентства, разочарования и безыдейности эксплуатируемым массам. Своими старческими болезнями, духовной усталостью, опусто-

шающим сексом, неверием в будущее, страхом перед жизнью и обессиливающей мыслью о смерти он пытается — и не всегда безуспешно — заразить людей труда.

Художники, не знающие, как передать общий смысл иррациональных явлений действительности, подавленные обилием зла и жестокости, запутавшиеся в капиталистическом лабиринте, не умеющие поэтически расшифровать антипоэтическую реальность, поддавались влиянию упадочных концепций и втягивали эти упадочные концепции в процесс своего художественного творчества. И вместе с тем они, сознательно или несознательно, сопротивлялись губительному влиянию, вели с ним внутреннюю борьбу, подобную той, которую всякий живой организм ведет с проникшими в него смертельными ядами. Необычайно поучительно следить, как в зависимости от результатов этой борьбы определяется художественный состав произведения, специфическое строение его сюжета, основной конфликт и ритм и даже присущий ему характер фразы, как вся художественная форма кристаллизуется по равнодействующей этой борьбы.

При этом неизменно оказывается: чем больше забирает верх идея модернистская, тем больше удаляется произведение от реализма в сторону отвлеченности, фантасмагории, субъективизма, в сторону мистического преображения обыденной жизни и «поэзии сновидений». Реальная мистификация отношений, о которой так много замечательного сказано в «Капитале» Маркса, не является в этом случае предметом сознательного изображения — сама фантазия художника оказывается втянутой в процесс мистификации и художественное произведение мистифицируется. Формы действительной мистификации переносятся в художественное произведение, тем самым отражаясь в нем, но отражаются тем способом, каким больной отражает в себе формы и законы своей болезни. Поэтому истинное содержание подобного рода произведений открывается лишь сознанию, свободному от болезни и мистификации.

Кафка поставил в центр своих произведений жуткую и невыносимую для самого поэта идею: идею целесообразной неразумности мира, его конечного несоответствия всему подлинно человеческому. Вместо предустановленной гармонии — предустановленная дисгармония. Космический бюрократизм стал естественным образным выражением высокоорганизованной нелепости, хитроумной бессмысленности бытия. Иррациональное выносилось из социальной сферы и передвинулось в центр художественной вселенной — все движется вокруг иррационального с такой же закономерной упорядоченностью, с какой планеты движутся вокруг солнца. Метафора «небесная канцелярия» — она и в обыденной жизни означает, что человек так и не получает от судьбы ответа на свои нужды и мольбы, — разрослась у Кафки до некой призрачной и вместе с тем непреложной реальности, систематизировалась в художественном образе, достойном занять место среди больших образов мировой литературы.

Переходя от первого романа Кафки «Америка» к «Процессу» и «Замку», мы замечаем направление, в котором развивалось романическое творчество художника. В «Америке» изображаемые отношения и формы человеческой жизни еще прикреплены к своей исторической основе — новейшему капитализму, особенности которого Кафка чувствовал с удивительной остротой. Но уже в этом сочинении строение общества незаметно сливается с мирозданием, и гостиница, в которой работает лифтером герой романа, разрастается в нечто бесконечное. Буржуазные отношения во всей своей иррациональности, жестокости и равнодушной черствости грозят охватить и поглотить всю вселенную.

Гигантская бюрократическая механика со своими бесчисленными колесиками, бесцельной писаниной, нелепостью, безответственностью, со всей своей небрежностью и неукоснительностью, безличной холодностью и беспощадностью становится злой и печальной карикатурой на мировую целесообразность и провидение. В этом мире человек обречен. Властвующий над жизнью закон захлестывается, как петля, вокруг шеи человека и деловито, не торопясь, душит его — в этом и состоит смысл «Процесса». В XVII веке оптимистическая метафизика говорила о нашей земле как о лучшем из миров. Кафка в XX веке стал говорить о ней как о мире наихудшем.

В «Замке» рвутся последние связи с эмпирической реальностью. Перед глазами читателя возникает странная, архаически упрощенная действительность, подобная миражу и вместе с тем обставленная точнейшими деталями, характеризованная при помощи весьма реальной психологической динамики.

В. ДНЕПРОВ
УСТАРЕЛО ЛИ КЛАССИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО?

Кафка задался целью изобразить истинную сущность миропорядка в отличие от временных и обманчивых форм его проявления. Писателя не интересует поэтому сходство с доступной наблюдению современностью. Явления не воссоздают больше картину жизни, как она выступает на поверхности и как мы ее видим, они прямо выражают нравственный смысл бытия, его конечные тенденции.

Люди, населяющие «деревню» (аллегорическую деревню), показаны также в прямом соответствии с конечными результатами нравственного миропорядка. Мало того, что люди эти покорны, как овцы, и послушны всему земному и небесному начальству (чиновничья табель о рангах согласно намеченной в «Замке» топографии поднимается в самое небо, так что небесная власть становится продолжением и увенчанием власти земной), раболепные и податливые, они даже во взглядах на самих себя усвоили точку зрения помыкающих ими чиновников. В отличие от придавленных людей Достоевского, они вовсе не чувствуют себя ни оскорбленными, ни униженными, и в этом самодовольстве падения яснее всего выражается окончательность их перерождения. И, быть может, последний отблеск человеческого проявляется в них как страх, зависть, презрительное уважение, недоброжелательное почтение по отношению к пришельцу, намеренному — подумать только, какая наглость! — сравняться с начальством и до конца упорствующему в безнадежных попытках осуществить свое намерение.

Только такими, полагал Кафка, должны быть люди, приспособившиеся ко всемогущей необходимости, выражающие ее своим нравственным сознанием, примирившиеся с непобедимостью мирового зла. Писателю была абсолютно чужда мысль об использовании исторической необходимости на пользу человеческой свободе. Объективные законы получают у Кафки определенный нравственный характер — они коварны, зловещи и враждебны всему идеальночеловеческому. Сжиться с объективностью человек может лишь на условиях духовного рабства. А требования субъекта, предъявляющего свои права миропорядку,— поистине глас вопиющего в пустыне.

Перенося социальную несправедливость в масштабы космоса, Кафка становится мистиком. Отсюда, однако, вовсе не следует, что его «мир» управляется каким-либо богом. Если уж кто-нибудь командует кафковским «миром», то это, конечно, дьявол. Но и этого Кафка не говорит. Необходимость в его книгах безлика, слепа; она уходит в неопределенность. Осуществляющие ее персоны — только исполнители, только органы объективного, не охватывающие ни смысла, ни цели того, что они делают. Их ряды заполняют всю вселенную, образуя дурную, монотонную, скучную бесконечность. Мы узнаем лишь о немногих звеньях поднимающейся вверх иерархии, а за этим следуют не имеющие конца «и так далее». В этом «и так далее» — вся суть, оно означает, что нам может открыться лишь бессмысленность жизни, но никогда не откроется ее смысл, никогда не откроется ее целое.

Кафка с поражающей меткостью фиксирует иррациональность капиталистической действительности. Иррациональное не выдумано Кафкой, оно на деле составляет необходимый момент в форме проявления капиталистических противоречий. Маркс в «Капитале» на каждом шагу отмечает иррациональность и кажущуюся бессмысленность буржуазных отношений: «производство ради производства», «деньги, рождающие деньги», «цена земли» и т. д. Маркс изображает мистику буржуазной реальности. Но у Кафки иррациональное из мистифицирующей формы проявления становится конечной целью и сутью жизненного процесса. Форма жизненных явлений абстрагируется и затем приобретает полноту самостоятельного бытия — таков в большинстве случаев путь художественного обобщения у Кафки. Предикат становится субъектом, субъект — предикатом. Сам писатель со свойственной ему искренней откровенностью признает, что в поле его зрения как художника находится лишь отрицательная сторона действительности. Он идеализирует в отрицательном направлении, убирая из жизни ее революционизирующие и преобразующие тенденции. Остановившаяся реальность. Своего рода пессимистический классицизм. Человек движется в полной тьме, ощупью, пытаясь угадать дорогу: то там, то здесь вспыхивают на момент огоньки, завораживающие и сбивающие с толку, человек мечется среди обманчивых вспышек надежд и иллюзий; все тщетно, все печально, все гибельно. И в своем «Замке» Кафка создает модель образцово дурной действительности. Зачем одни люди угнетают и мучают других? Низачем. К чему ведут страдания людей и их сопротивление? Ни к чему. На все-

мирный трон усаживается торжествующая бессмыслица.

Творчество Кафки едино и вместе с тем заключает в себе напряженные и движущиеся противоречия. Социальная критика сливается у него с метафизикой. И все же в столкновении между непостижимым миром и пытливо-рассудительным человеком, между реальной беспросветностью и стойкостью надежды, между давящей объективностью и неистребимостью идеальных стремлений, между бессмыслицей бытия и человеческим уважением к разумно осмысленному, между одиночеством и любовью, между смутной подсознательностью и классической прозрачностью и отчетливостью повествующей речи — во всем этом и многом подобном сказывается борьба между началами классическими и началами модернистскими, определившая художественный строй произведений Кафки.

Герой «Замка» обречен и все же не сдается. Он не продает своего первородства за чечевичную похлебку и отвергает теплые местечки, предложенные в обмен на человеческое достоинство. Он бесконечно слаб по сравнению с враждебной ему необходимостью, но он старается проникнуть в самое чрево чуждого мира, хлопочет и суетится, как букашка, в поисках выхода. Он бывает мелок, податлив соблазну, становится игрушкой влечений, хитрит по пустякам — но не лебезит, не холуйствует, держит себя с предержащей мировой властью как равный, непорабощенный. Он ничего не добьется, но от своего от отступит.

Мы видим ничтожество героя и вместе с тем не можем отказать ему в уважении. Мы знаем, что его усилия тщетны, и с волнением и болью следим за его метаниями.

Но до чего же трудно было поэту осуществить такое представление о мире! Тем более Кафке, человеку отзывчивому, ощущающему свое одиночество как разорванную привязанность, способному переживать идеальное чувство с силой, потрясающей душу.

Да и свой образ мира писатель, по-видимому, воспринимал не только как выражение особого жизнепонимания. В не меньшей степени он видел в образе этом зеркало своего непонимания, художественное изображение жизни в ее непонятности.

Это выразилось, в частности, в том, что концепция мира и концепция человека оказались у Кафки совершенно несогласованными друг с другом. Более того — они абсолютно друг другу противоречат. Рок бесплоден, сух, губителен, скучен и беспощаден, а человек, несмотря ни на что, несмотря на бесконечно печальный свой опыт, продолжает надеяться и рваться к идеальному, стремиться и биться в тоске головой об стенку, продолжает упорно мечтать о гармонии между собою и миром. Откуда берется идеальное начало в человеке? Как попадает оно в него — живущего в уныло-чиновничьем, бесцветном мире? Уж не бог ли уронил в него искру духовности?

Кафка отбрасывает все подобные вопросы: они касаются изначальной тайны, составляющей конечную сущность бытия. Художник не должен, не имеет внутреннего права создавать видимость, будто приближается к постижению жизненной тайны, его задача состоит, напротив, в том, чтобы воспроизвести загадочность, скрывающуюся за явлениями, казалось бы, ясными.

Писателя угнетала, душила им самим создаваемая картина действительности, но всякую иную картину он почел бы неправдой и фальшью. Написав первую строку нового сочинения, он одновременно вонзал себе в сердце железное острие, и с каждой последующей страницей острие уходило все глубже, а боль нарастала, становясь невыносимой. Тогда Кафка прекращал писание, почти никогда не возвращаясь к брошенному произведению. Всякий, кто сколько-нибудь проследит историю творчества Кафки по его дневникам и письмам, сейчас же заметит присущее художнику чувство недовольства собою, доходящее до признания полнейшей художественной неудачи как раз в тот момент, когда конец сочинения совсем уже близок. В писательской душе Кафки жила активная сила самоотрицания — она не могла заставить поэта изменить свой творческий путь, но заставляла отвергать результаты, добытые на этом пути Оконченные произведения стали исключением, неоконченные — правилом. Последним актом самоотрицания было завещание Кафки, предписавшее душеприказчику, не читая, уничтожить все рукописи писателя — большую и главную часть его творений.

11

Глубокий и основательнейший анализ модернистского искусства дан не в каком-либо эстетическом трактате, а в романе Т. Манна

«Доктор Фаустус». Проникая в самую суть дела, Т. Манн доказывает: разрыв художественной преемственности, стремление к радикальному обновлению формы — явление вторичное. Его скрытая первопричина—разрушение поэтического миросозерцания, лежавшего в основе классического искусства. Художник потерял веру в те идеи, которые скрывались в фундаменте эстетического идеала классики. Он стал относиться скептически ко всякому пафосу и его поэтическому выражению. Пафос стал для него чем-то банальным или хуже того — лицемерным. Вместе с тем он еще не сознает зависимости своих новых вкусов от надлома мировоззрения и мироощущения и связывает возникшее в нем отвращение ко всякой художественной традиции с непосредственным действием подвинувшегося вперед времени.

Так возникает формализм как одностороннее выражение модернизма, как его ранняя, наивная форма. Но без опоры на общую мысль, на определенное отношение к миру искусство сколько-нибудь долго жить не может. Неизбежно приходит момент, когда модернизм теряет свою формалистическую стерильность. Утеряв светлую идею, художник обращается к идее черной; утеряв перспективу, он обращается к идее «конца»; усомнившись в разуме, он горестно спрашивает: не властвуют ли над человеком силы иррациональные, инстинкты животные, склонности злые?

Томас Манн находит в модернизме две стороны: формализм и упадочную идею — декадентство. В итоге мучительных испытаний и дум он приходит также к выводу, что упадок может принимать разные обличия, что декадентом является не только слабый, убегающий от жестокой жизни в сферу прекрасного Ганно Будденброк, а также и говорящий о силе и здоровье, «прорыве», отстаивающий «философию жизни», насквозь агрессивный Фридрих Ницше.

Разумеется, эти две главные стороны модернизма не всегда совпадают, не сразу совпадают и выражают лишь конечный смысл идеологического процесса.

Экзистенциалисты, например, доказывающие человеку, что он свободен, выводят художественную задачу из своей философии и с неодобрением отзываются об искусстве формалистическом, бессвязном и бессодержательном. Камю хочет, чтобы философию абсурда воплощали ясно, упадочную идею прозрачно отразили в образах жизни. В своей речи при получении Нобелевской премии Камю говорил: «Искусство для искусства, развлечение одинокого художника — это искусственное искусство, искусство салонов или чисто формальное искусство, питающееся манерностью и абстрактностью и приходящее к разрушению всякой действительности. Несколько произведений восхищает несколько человек, в то время как грубые выдумки окончательно портят вкус. В конце концов искусство, оказавшись вне общества, само перерезает свои живые корни». И в другом месте: «Отказавшись от всего, вплоть до традиции собственного искусства, современный художник создает себе иллюзию, будто может быть сам по себе законом, и кончает тем, что принимает себя за бога, видит себя в силах сотворить собственную реальность. Вдали от общества он создает тем не менее лишь формальные и абстрактные произведения, трогательные как опыты, но лишенные плодородия настоящего искусства, призвание которого — соединять. Современные ухищрения и абстракции отличаются от произведений Толстого или Мольера, как вексель, выданный в счет невидимого зерна, отличается от земли, взрытой бороздами плуга». Как видим, Камю отвергает худосочное или истерическое, не доступное массам, поставившее себя вне жизни искусство формализма. И вывод его естествен и необходим: «Претензии реализма законны». Но тут начинается игра парадоксальными антиномиями, характерная для философствования Камю и демонстрирующая беспечную антинаучность его размышлений. Камю выбирает нелепейшее из всех возможных понятий о реализме и на этом основании объявляет реализм художественно невозможным. Художники «должны, но не могут быть реалистами». Особенно достается, как и следует ожидать, реализму социалистическому, хотя последний осуществляет акт выбора, который Камю справедливо считает принадлежностью всякого истинного искусства. Выбор, да не тот! Камю отбрасывает неугодное художественное направление на основании соображений, которые кажутся удивительными. Само выражение «социалистический реализм» представляется ему соединением несовместимых противоречий. Можно ли говорить всерьез о картине действительности, какова она есть, если отбор фактов производится исходя из будущего, исходя из того, чего еще нет, если художник неизбежно приходит к «искусству пропаганды», выдвигая вперед явления желательные и умалчивая о нежелательных: «В конце

концов это искусство становится социалистическим как раз в той мере, в какой перестает быть реалистическим».

Камю не желает видеть того, что в социалистической стране литература имеет дело с историей, подчиненной сознательной деятельности людей. Будущее выполняется — пусть с ошибками и с неимоверными трудностями,—преобразующей и согласованной работой миллионов трудящихся. Советский Союз — строительная площадка, на которой возводится будущее. Созидание выражает истину всемирной истории. От каждого его успеха зависит судьба человечества на тысячи лет вперед. Разрешаются противоречия, накопленные за тысячелетия классового строя. Сама действительность устремлена к единой цели, и литература, которая игнорировала бы эту цель, *которая не освещала бы этой целью ход жизни*, заслуживала бы названия литературы ничтожной, и реалистической ее можно было бы назвать только в насмешку. Литература социалистического реализма призвана говорить народу правду о том, что достигнуто и что не достигнуто на пути к цели, насколько глубоко проникло достигнутое в сознание и поведение людей и что является наносным, показным и мнимым, как возникает подлинно новое в человеческих отношениях и что мешает утвердиться этому новому; коммунистическая точка зрения позволяет охватить реальность во всей ее целости и полноте. И когда культ Сталина наносил тяжелый ущерб коммунистическому делу, он в этой же мере отклонял литературу от реалистического пути. Из всей истории советского общества, в том числе из горького опыта, мы обязаны сделать вывод: лишь оставаясь реалистической, верной жизни, может литература наша быть подлинно социалистической. И быть может, еще никогда во всей истории искусства реалистическое подтверждение нравственной подлинности отношений между людьми не было до такой степени нужным, до такой степени необходимым, как в обществе социалистическом.

Впрочем, нет смысла оспаривать какой-либо определенный взгляд Камю, спорить с ним приходится сразу обо всем. Способен ли принять социалистическую революцию человек, отвергнувший науку и разум? «Все штатные рационалисты,— замечает Камю в книге «Миф о Сизифе»,— отчаялись ныне в возможности истинного познания. Если бы кто-нибудь захотел написать единственно действительную историю человеческой мысли, это была бы история ее постоянного отказа от себя и ее бессилия» И в другом месте: «Так абсурдное становится богом, а неспособность понять становится тем, что все объясняет»

Весьма любопытно, что и критический реализм совершенно не устраивает Камю из-за отрицания, из-за суда над действительностью. Не осуждать, а понимать. Понять — простить. «Ни одно гениальное произведение не основано на ненависти и презрении. Вот почему художник,— говорил Камю в речи при получении Нобелевской премии,— в конце концов всегда оправдывает, вместо того чтобы осуждать. Его дело не судить, а оправдывать. Он постоянный защитник всего живущего именно потому, что оно живет». Художник рисует насквозь отрицательную действительность, но сам не вправе эту действительность отрицать, поскольку никакой другой не может да и не должно быть — вот конечная суть эстетики Камю. Тот, кто отверг идеалы, лишается внутреннего права на отрицание — таков неизбежный вывод из его философии. Искусство показывает человеку, обреченному пребывать в абсурдном мире, как выйти к субъективной свободе посредством «индивидуального бунта». Упадочную концепцию жизни художник обязан представить наиболее просто, понятно и убедительно или, как иногда выражается Камю, «классично». «Чем разнузданней то, что он должен упорядочить, тем строже его правила и больше свобода».

Сартр понимает, что не может быть подлинно человечным искусство, равнодушное к страданиям, нуждам и борьбе подавляющего большинства человечества. Он зовет художников идти на помощь угнетенным. Он отстаивает самостоятельность социалистической культуры и предвидит ее конечную победу. Все это очень важно. Сартр является одним из пионеров нового движения лучшей части интеллигенции Запада к социализму.

Но мы совершили бы непростительную ошибку, если бы отождествили влияние Сартра с влиянием экзистенциализма как течения буржуазной философии. Благодаря своего рода благородной непоследовательности Сартр умудряется соединять упадочную философию с социалистическими выводами. Сартр обладает чертами крупного мыслителя: широким интеллектуальным кругозо-

---

В. ДНЕПРОВ
УСТАРЕЛО ЛИ КЛАССИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО?

ром, способностью неутомимо поворачивать добытое понятие, открывая все новые грани и оттенки его содержания, умением находить внутреннюю связь далеких друг от друга идей и явлений. Но ему не хватает того, что образует необходимую принадлежность философа — готовности неуклонно держаться раз принятых предпосылок, своеобразного ригоризма логической последовательности, безоглядного движения от исходного пункта к выводам. В философских размышлениях Сартра мы находим обычно два встречных потока идей: от начальных принципов, представляющихся Сартру несомненными, и от выводов, представляющихся ему справедливыми и необходимыми. Причем потоки эти встречаются на разных уровнях в зависимости от того, на какой круг явлений успел Сартр распространить социальное понимание жизни и человека. Можно было бы всерьез рассчитывать на то, что Сартр в конце концов отбросит экзистенциалистский субъективизм и мистический идеализм как ненужный хлам, если бы он от времени до времени не предпринимал — опять-таки на разных уровнях своей философской эволюции — все новых нападений на диалектический материализм.

Мы полагаем, что влияние Сартра меньше объясняется его общей концепцией и гораздо больше характером сдвигов в его миросозерцании, мотивами изменений его взглядов, влияние скорее зависит от направления личности и деятельности Сартра, чем от его философской системы.

А вот Камю как раз обладает тем самым, чего не хватает Сартру,— цельностью позиции, единством точки зрения, невзирая на нелепость выводов, последовательностью, с какой он соединяет крайний субъективизм с крайним индивидуализмом. Экзистенциализм в изображении Камю прямо ведет к определенному «жизненному стилю» (выражение самого писателя), заключая в себе преобладающее настроение, вполне господствующее мироощущение.

Философия Камю вращается около одного центрального понятия — абсурдности жизни и человека. В этом он следует за датским философом Кьеркегором.

Кьеркегор учился у Гегеля, но стал противником философии своего учителя. Подобно Шопенгауэру, хотя и совсем на другой манер, он ополчился против всего великого и прогрессивного, что было в классической немецкой философии. Реакционному восстанию Кьеркегора содействовало ренегатство Шеллинга и его проповедь «философии откровения». Об этом отступничестве Шеллинга, на которое передовая Германия ответила «тяжелым, каменным презрением», Гейне писал: «Этот человек отрекся от своего собственного учения... прокрался обратно в религиозное стойло прошлого... и проповедует внемирового личного бога, «имевшего глупость создать мир».

Сходным путем идет в «религиозное стойло прошлого» и Кьеркегор. Ему не нравится, что в системе мира, построенной Гегелем, человеческий разум играет роль настолько важную, что без его посредства абсолютная идея (бог!) не в силах прийти к пониманию самой себя, не в силах развить изначально заложенное в ней содержание. «Интеллектуализм» Гегеля ему ненавистен, и с чувствительностью врага он подмечает просветительские моменты гегелевской философии. Кьеркегор решительно отвергает религию, получающую оправдание и санкцию человеческого разума. Нет, истинная религия, по его суждению, дело чистой веры, противоречащей всякому разуму. Но ведь то, что противоречит разуму, абсурдно? Кьеркегор нисколько не боится этого вывода, наоборот, он к нему всеми силами стремится.

Яснее и ярче всего «диалектика веры» изложена Кьеркегором в сочинении с характерным названием: «Страх и трепет».

Бог велел Аврааму убить своего любимого и прекрасного сына. Зачем этот возмутительный приказ, зачем бессмысленная жестокость, зачем богу смирение столь безнравственное и нечеловеческое? Затем, полагает Кьеркегор, чтобы указать человеку: мир— не твоего ума дело. В соответствии с этим Авраам «верит в то, что противоречит разуму». И дальше: «Он верит в силу абсурда, ибо не может быть и речи о человеческом осмыслении (Berechnung) мира». Эту мысль Кьеркегор повторяет с гипнотизирующим упорством. В противовес классической философии, всегда исходившей из единства законов человеческого ума и законов мироустройства, Кьеркегор настаивает на несоизмеримости разума человеческого и божественного: человек действует в сфере возможного, бог — невозможного. Так же резко противопоставлен человек верующий человеку идейному. Второй является трагическим героем, поскольку подчиняет свою личность благу народа, высшим государственным интересам — одним словом, чему-то всеобщему. А герой веры совсем отказывается от всеобщего и тем самым рационального, он оставля-

ет себе только свою единичную личность, он переступает пределы этического, вступая в личные отношения с богом.

Узнавая мир, человек обнаруживает, что в нем господствует несправедливое, иррациональное, нелепое, жуткое, ужасное. Человеческий разум приводит к абсурду и отчаянию. Но подобное состояние непереносимо, и оно становится трамплином для прыжка к богу.

Эта философия является возвратом к миросозерцанию, с которым вступило в борьбу Просвещение XVIII века, но миросозерцание излагается на языке XIX века и при помощи понятий, добытых новейшим мышлением. Поэтому в самом точном и глубоком смысле слова философию Кьеркегора можно назвать реакционным модернизмом XIX столетия.

Некоторые современные экзистенциалисты, например Ясперс или Марсель, используют весь цикл идей Кьеркегора: банкротство разума — отчаяние — прыжок к богу. Но не так обстоит дело у Камю.

Камю признает сознание абсурдности не переходным, а конечным сознанием, решительно отказываясь прыгать к богу. Из цикла идей религиозной философии Камю делает атеистические выводы. Почему, собственно, пребывание в «абсурдном мире» непереносимо? Оно отлично переносимо и скорее является тем, что греки называли состоянием мудреца, обеспечивая человеку наиболее спокойное, безболезненное существование.

Камю исходит из всестороннего крушения разумности. И в попытке узнать и понять мир. И в попытке найти смысл человеческой жизни. И в поиске объективно-разумной закономерности, которая могла бы стать опорой человеческим желаниям. И, разумеется, в стремлении переделать жизнь в соответствии с разумом и наукой.

В результате этой катастрофы сознание наше повсюду оказывается перед абсурдными противоречиями, то есть противоречиями, которые никуда не ведут и лишь создают положение тупика, разорванности и безвыходности. Это некоторые из тех противоречий, с которыми боролась классическая философия, но с удивительно поверхностного взгляда. Камю даже и в голову не приходит углубиться в их внутреннее содержание и движение, и он ограничивается лишь тем, что находит для них парадоксальные формулировки.

Человеческая жизнь нелепа, ибо она может протекать только во времени, а время — главный враг жизни. Человек всегда направлен в будущее, он ждет того, что случится «завтра», «потом», а «завтра», «потом» оказывается, что пора умирать.

Противоречие человека и природы абсурдно, ибо человек, являясь частью природы, вместе с тем видит в ней чуждую себе стихию, с громадной интенсивностью «отрицающую» его «я». «Эта непроницаемость и чуждость мира есть абсурдное» (здесь и дальше — «Миф о Сизифе»).

Столь же нелепо противоречие, состоящее в том, что другой субъект делается непреодолимо таинственным существом для нашего «я». «Человек говорит за стеклянной перегородкой по телефону, его не слышат, видят только его бессмысленную мимику и спрашивают себя: отчего он живет? Это неприятное чувство от бесчеловеческого (то есть объективного, материально-телесного.— *В. Д.*) в самом человеке... это, по выражению современного писателя, «отвращение» и есть абсурдное».

Столь же неподвижно и потому нелепо противоречие между стремлением к знанию и невозможностью знания. «Сама по себе наша вселенная неразумна — это все, что можно о ней сказать. Абсурдной же является противопоставленность иррационального и жгучей потребности в ясности, свойственной человеческой душе».

Мы привели несколько образцов бесплодных противоречий Камю именно потому, что в них отчетливо видна сущность модернизма. Модернизм предлагает нам мысли не только из столетней давности антинаучных рассуждений Кьеркегора, но и из тысячелетней давности донаучной мудрости.

Модернизм — это возвращение как обновление, это отжившие, обветшалые понятия в модной, сегодняшней, соответствующей духу времени упаковке, это стародавнее содержание в современной форме.

Но как же быть человеку в «абсурдном климате»? Отвечая на этот вопрос, Камю обнаруживает способность быть последовательным. Из единого центра он строит душевный мир и характер, получивший важное значение для современной литературы на Западе.

В. ДНЕПРОВ
УСТАРЕЛО ЛИ КЛАССИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО?

Человек живет в иррациональном и хаотическом мире и должен рассчитывать только на себя, должен сам устроиться в царстве бессмыслицы. Но, может быть, это невозможно, может быть, следует, подобно атеисту Кириллову, убить себя? Такой выход Камю решительно отвергает. «Прежде всего следует уяснить себе, обязательно ли найти смысл жизни, чтобы жить. Похоже, напротив, на то, что жить тем лучше, чем меньше жизнь наполнена смыслом». Разумеется, в этом случае единственной перспективой окажется безнадежность, но с безнадежностью в конце концов можно сродниться. Отсутствие надежды должно вести не к отчаянию, а к индифферентности, к безразличию. По выражению Камю, человек вынужден пить «вино абсурда» и есть «хлеб равнодушия». Раз «все потеряно», из-за чего, собственно, беспокоиться?

Безразличие распространяется также и на сферу человеческой свободы. «Меня нисколько не интересует знать, свободен ли человек. Я могу доказать лишь свою собственную свободу». Она состоит в просторе и самодовлении субъективности, отбросившей все, что может ее внутренне связывать: идеалы, конечные цели, дисциплину объективного мышления и даже принудительность нравственного закона.

«Поставив перед собой жизненную цель,— пишет Камю,— человек приноравливается к требованиям, вытекающим из стремления к этой цели, и тем самым становится рабом своей свободы». Своего рода философия отречения от всех целей человечества. И Камю нисколько этого не скрывает: «Чем больше я надеюсь, чем больше тревожусь из-за истины, определяющей мое существование и мою деятельность, чем больше, наконец, я устраиваю свою жизнь, подчиняя ее определенному смыслу, тем больше создаю я рамок, в которые насильственно заталкиваю свою жизнь».

Субъективизм действует как сила тотального разрушения. И в этом разрушении есть своя безумная логика. Если единственной достоверностью является то, что все недостоверно, если отринуты все общие задачи и перспективы человека, тогда уничтожается и духовная направленность в будущее, сама психологическая ориентация на будущее. Камю с полнейшей определенностью формулирует этот вывод: «Не существует никакого Завтра». Чтобы прожить в нашей нелепой вселенной, необходимо в первую очередь «равнодушие по отношению к будущему и страстная потребность исчерпать все данное». Вот он, исконный консерватизм модерниста!

Но если нет будущего, тогда вплотную придвигается смерть, тогда нужно жить рядом со смертью или, как часто выражается Камю, «перед лицом смерти». Мы устанавливаем значение своих переживаний и наслаждений, измеряя их масштабом смерти. Отвергая самоубийство, Камю предлагает человеку роль «приговоренного к смерти».

Все, что мы говорили о взглядах Камю, убедительно свидетельствует, что в философии абсурда очень точно программирован современный художественный «абсурдизм». Разве не находим мы у Беккета специфического сочетания безнадежности с равнодушием, устранения внутренней ориентации человека на будущее — именно здесь и наносится решающий удар психологизму.

12

Экзистенциалистские идеи скверно переносят многократность своего художественного воплощения. С какого-то момента понятное, прямое выражение этих идей становится крайне затруднительным. Пессимистическая схема исчерпывает себя еще быстрее, чем схема оптимистическая, и граница банального угрожающе придвигается.

Ясность оказывается опасной и обременительной для экзистенциалистского искусства — она делается средством его невольного саморазоблачения. Возникает срочная потребность в укрытии, тьме непонятного, в таинственности и многозначительном искажении форм, в мистике и символике уродливого. Так появляются некоторые произведения Ионеско или Беккета, произведения, неотделимые от миросозерцания экзистенциалистов. Разумеется, миросозерцание воздействовало на них не своими частными подробностями, а слитным смыслом, своей равнодействующей, своим преобладающим эмоциональным характером. И, как нам кажется, произведения эти дают наиболее адекватный образ экзистенциалистского взгляда на мир. Во всяком случае их форма вполне соответствует их содержанию.

Экзистенциалистское искусство проделывает в обратном порядке ту эволюцию, которую Томас Манн описал в «Докторе Фаустусе»: Леверкюн шел от формального модернизма к упадочной идее, экзистенциализм движется от упадочной идеи к модернистскому извращению форм.

Связь этих двух важнейших сторон модернизма, незаметная в тот или иной момент, непременно сказывается в движении искусства. Иногда она обнаруживается более непосредственно и открыто. Например, в отношениях между фрейдизмом и сюрреализмом. Разумеется, склонность к подсознательному, отвращение к разумному и определенному родились в художниках сюрреализма по причинам более глубоким, чем влияние какой-либо психологической теории. Но фрейдизм дал толчок, действовал как проявитель, помог осознанию и выбору пути. Сюрреалисты прямо ориентировались на ту тайную, алогическую душевную сферу, которую считали «доменом» психоанализа. Они рассматривали связь явлений не так, как она устанавливается явно, а так, как она складывается — со всей ее абсурдностью — во сне или галлюцинации.

Вслед за Фрейдом они видели во сне и бреде удобнейший способ проникновения в сокровенные глуби, закрытые области психики. «Я верю,— писал Бретон в своем первом манифесте,— в будущее соединение этих двух, с первого взгляда столь противоречащих друг другу состояний — сна и действительности,— в некую абсолютную, «сюрреалистическую» действительность». Сон принимается за вторую, по меньшей мере равноправную реальность. Основатели сюрреализма неоднократно определяли прием, с помощью которого искусство успешнее всего может достигать искомого и волнующего эффекта — странного, загадочного, призрачного и противоестественного. Для этого нужно сближать вещи, существенно чуждые друг другу, в существенно чуждой им ситуации, «соединять несоединимое». Столь же важен и другой прием, тесно связанный с техникой психоанализа: подчинение художественной фантазии автоматизму ассоциаций, выведенных из-под контроля разума. Бретон писал: «Сюрреализм — чистый психический автоматизм... запись мышления, которое совершается вне какого бы то ни было контроля разума и по ту сторону каких-либо эстетических или нравственных соображений. Сюрреализм основан на вере в высшую действительность определенных форм ассоциаций, до сих пор остававшихся в пренебрежении, во всемогущество сна, в незаинтересованную игру мыслей».

Точно так же и представление сюрреалистов о магическом значении вещей, вырванных из своих естественных связей и намекающих на тайное, невыговариваемое содержание, соответствует учению Фрейда о символическом значении душевных образов. Сюда же относится разрушение нормальных отношений между отдельным словом и фразой — слово вынимается из фразы, оно безоговорочно господствует, оно перестает зависеть от логической последовательности, связывающей фразу воедино.

Западные критики очень обижаются, когда марксисты говорят о декадентской философии или декадентской культуре. Они рассматривают слово «декадентский» как общеупотребительное в социалистических странах ругательство.

В этом они неправы. «Декадентство» — научное понятие, имеющее более чем полувековую историю. Изучая экономику и политику загнивающего, умирающего капитализма, Ленин глубоко вдумывается во внутреннюю диалектику упадка. Упадок, как показывает Ленин, совмещается с быстрым, более быстрым, чем когда-либо раньше, прогрессом отдельных областей экономики или техники; процесс упадка в его целом заключает в себе также и моменты развития, содержит в себе тормозящие и противодействующие тенденции. Умирание капиталистического общества тем и отличается от умирания отдельного организма, что оно само по себе не приводит к смерти — если у низших классов не хватит силы надломить умирающий строй, он снова и снова будет находить выходы из положений, казалось бы, безвыходных. Притом ни один класс не сопротивлялся исторической необходимости с таким упорством и бешенством, как буржуазия. Рядом со слоями, представляющими в буржуазной среде тенденцию к рантьерской неподвижности, застою, оскудению жизненной силы, мы находим также и слои, выражающие агрессивное начало, активное стремление к насилию, навязчивую, демонстративную жизненность. Рядом с Прустом — Ницше. Ленин много раз говорил о том, что классы, устремленные в будущее, не отделены стеною от больного и разлагающегося общества, которое подкупает, развращает определенную часть трудящихся, всеми способами толкая их к продаже своего первородства за чечевич-

---

ную похлебку. Даже представители класса, историей призванного создать новый мир, не обладают иммунитетом против упадочных влияний, разнообразно проявляющихся и маскирующихся. Тем более не обладают им художники. Истинные художники с громадной силой чувствуют «общее состояние мира» (Гегель). Их побасенками о «народном капитализме» не проведешь, и, сколько бы капитализм ни имитировал здоровяка, они видят печать обреченности и смерти на его челе. Достаточно таких книг, как «Зима тревоги нашей» Стейнбека или «Суть дела» Г. Грина, чтобы опровергнуть все вранье ученых сикофантов буржуазии. Художники находятся внутри исторического потока, несущего к катастрофе и гибели, они всем своим существом чувствуют это, и нужно обладать большим запасом силы, особой внутренней стойкостью и мужеством, чтобы грести против течения.

Если своей душой, своей восприимчивостью, своей общей настроенностью этот писатель связан не с новым миром, которого он пока еще не понял и не почувствовал по-настоящему, а с миром старым, то он не может разрешить и трудных вопросов, поставленных перед ним упадком общества, в котором он живет. Смерть ощущается им повсюду, поселяется в его душе, совершая там свою разрушительную работу. Сознание бессилия превращается в чувство нежизнеспособности. Писателю кажется, что иначе быть не может, но он знает, что так не должно быть. Он отлично видит внутреннюю свою зависимость от декадентской культуры, и буржуазная критика попросту говорит неправду, отрицая это.

Размышляя о каждодневном сопротивлении человеческого существа смерти, Пруст замечает, что сам он не обладает силами для такого сопротивления и — более того — идет навстречу «непрерывно вторгающейся смерти». «И в таком нервном существе, каким был я, в существе, чьи нервы-посредники плохо исполняют свои функции — не останавливают на пути к сознанию жалобу обреченных на гибель ничтожнейших элементов нашего «я», а, напротив, открывают ей туда доступ во всей ее отчетливости, полноте, неизмеримости и болезненности,— томительная тревога, возникавшая во мне под этим незнакомым и слишком высоким потолком, была лишь выражением протеста со стороны не умершей во мне привязанности к привычному и низкому потолку» Сознание выслушивает жалобы умирающих ощущений, становится кладбищем умирающих чувств. Смерть отбрасывает тень на весь процесс бытия. При этом Пруст, с одной стороны, чувствует всю ненормальность своего мироощущения, а с другой — внутреннюю его связь с характером времени.

В «Дневниках» Кафки отразились не только страдания, вызванные жестокостью и гнетом окружающей действительности, но в не меньшей мере страдания, порожденные сознанием личной неприспособленности к этой действительности, своей негодности, бессилия жить. Кафка не сомневается в своем литературном даре, но вместе с тем до ужаса боится остаться бесплодным, остаться только при «оборванных началах». Его терзает мысль о своей неполноценности и слабости, он не устает называть себя человеком «жалким» и «грязным».

Кафка сознает свою обязанность жить для истины, для искусства, для человека. Но жить ему так тяжко и страшно, что смерть представляется избавлением, желанным покоем. Нарастает ощущение полного крушения. Спать невозможно. Бодрствовать невозможно. Невозможно переносить самый процесс жизни. Со всех сторон надвигается безумие. Самосознание прирастает к страданию: «Лишь тогда, когда я бываю невыносимо несчастен, я обретаю истинное чувство своей самости».

Возлюбленная Кафки, Милена, очень верно писала о нем в письме к Максу Броду: «Нет, Франц не может жить. Он не обладает способностью жить. Он никогда не выздоровеет. Он скоро умрет... Он как нагой среди одетых».

Как удивился бы сам Кафка, если бы ознакомился с писаниями современных критиков, рьяно защищающих его от «обвинений» в декадентстве и усердно разгадывающих пророческое значение самых темных его символов.

Нет, отстаивание основ классического искусства и критика модернизма нужны западным художникам как воздух! Разумеется, критика не догматически огульная, а серьезная, убежденная, входящая в суть дела и рассматривающая ее со всех сторон.

13

Современное реалистическое искусство отличается от искусства модернистского вовсе не степенью смелости в использовании новых и современных художественных

форм. Оно употребляет в дело любые формы, если это нужно, чтобы полностью выразить оригинальный жизненный смысл. Подражательность, формальная косность вообще не относится к числу классических традиций. К ним, напротив, принадлежит бесстрашное движение навстречу небывалому и особенному содержанию, готовность по его требованию радикально менять способы художественного выражения. Неужели Гоголь даже в формальном отношении менее самобытен, чем Джойс? Художественное слово Гоголя своей неимоверной выразительностью, взрывчатой силой, обволакивающей гибкостью, богатством интонаций, ошеломляющей неожиданностью и смелостью оборотов вызывает и в наши дни буквально изумление. Столь же поразителен Гоголь в умении сливать реальное и призрачное, различать степени самой реальности. По гоголевской мерке новаторство Джойса, если даже ограничиться только формальной стороной, выглядит весьма умеренным. Упорное проведение раз выбранного приема делает прозу Джойса достаточно вялой и однообразной. Ее формы в самом лучшем случае могут выразить особенности времени лишь отрывочно, выборочно, односторонне. Бальзак, Гете, Толстой или Чехов строили новое по всему фронту литературы, а новаторство Джойса коснулось лишь небольшого его участка.

Двадцатый век, если сравнить его с девятнадцатым, отличается, по правде говоря, скорее медлительностью и своего рода консерватизмом в развитии повествовательных форм. Дистанция между прозой Франса или Пруста и прозой Камю несравненно меньше дистанции, отделяющей французскую прозу начала века от прозы Флобера или Мопассана.

Найдите в XX веке пример столь быстрой, интенсивной и всеобъемлющей эволюции повествовательных форм, какой представила нам русская литература от Пушкина до Толстого и Достоевского и далее до Чехова и Горького.

В прочих видах искусства дело может обстоять совсем по-другому. Архитектура совершила в XX столетии переворот форм и стилей, далеко превышающий по своему значению и плодотворности все достигнутое в этой области XIX веком — воистину плохим веком для архитектуры.

Согласно ходячему представлению, модернизм вводит в оборот современные формы, недоступные устаревшей классике. С этим нельзя согласиться. Во-первых, уже потому, что в подавляющем своем большинстве формы, о которых идет речь, вовсе не изобретены наново, а лишь осознаны в своем особом значении, лишь выбраны, выделены из огромного арсенала реалистического искусства. Правда, в последнем формы эти даны чаще всего в текучем состоянии, в естественных взаимопереходах, в сплетениях с другими формами, модернизм же их изолирует, уединяет, фиксирует в качестве приема, делает более устойчивыми и жесткими и даже повышает до начал всеобщего стиля.

С этим нельзя согласиться, во-вторых, потому, что реалистическое искусство, как и всякое подлинное искусство, не слишком считается с тем, что мое и что твое, и готово, не чинясь и не гордясь, позаимствовать формы не только у модернистов, но у самого черта, если только это хоть сколько-нибудь может помочь верному изображению нашей эпохи. Каждый читатель вспомнит примеры такого использования, и было бы глупо отрицать несомненные факты из фальшивого опасения уронить престиж реализма. Плеханов, который был суровым и непримиримым критиком модернизма, все же признавал его возможную подсобную роль в качестве формального эксперимента. Одно из важных преимуществ реализма состоит как раз в его необычайной формальной гибкости — без такой гибкости ему не удалось бы уловить, выразить дух и стиль жизненной перемены. Вспомним, как в свое время Бальзак или Гоголь пересаживали на почву действительной жизни мотивы романтической фантастики, романтические сюжеты и формы и как при этом видоизменялись их функции, значение и место. История искусства явственно свидетельствует, насколько велика впитывающая, абсорбирующая, растворяющая способность реализма. В этом, в частности, один из его перевесов над модернизмом. Модернизм узок, заражен духом эстетического сектантства. Он настаивает на данной форме, маниакально сосредоточиваясь на ней, третируя все прочие формы как несовременные. Реализм широк и многообразен, как широка и многообразна лежащая перед ним действительность. Он претворит и усвоит все формы, которые находятся в живом контакте с эпохой, даже и в том случае, если они найдены модернистами.

Но он их поставит в связь, о которой модернисты и не мечтали, связь, вытекающую из строения действительных отношений, он найдет для них специфическую область применения, лишит их центрального положения или переместит на внешнюю периферию художественного произведения и т. д.

Суть различия между классической традицией и модернизмом лежит не в отношении к новизне и современности форм. Суть в коренном изменении роли художественной формы, вытекающем из модернистского разрушения поэтической основы. В классическом искусстве форма фунционирует принципиально иным способом, чем в модернистском. В первом она выражает содержание в себе, во втором она замещает его собою. В первом форма достигает наиболее общих стилевых определений, выявляя действительное исторического содержание и только через его посредство. Во втором форма непосредственно передает всеобщие свойства эпохи, минуя ее действительное содержание и смысл.

Непонятность и путаницу жизненных фактов модернистский писатель прямо отражает в непонятности, бредовости и темноте речей и образов — иначе, мол, исчезнет эстетическое сопричастие художественной формы и формы времени. Из ритма эпохи, без всяких переходов и промежуточных звеньев, выводится скачкообразный, прерывистый, стихийно-ассоциативный, а не логический строй фразы, сопрягающий разрозненные части, а не соподчиняющий их. Или ход повествования, располагающий изображаемые явления по случайной смежности вместо причинной связи. Опыты в этом роде проделали Андрей Белый, Джойс, Пруст, Дос Пассос и некоторые другие писатели. Из способа представления, свойственного современности, одни извлекают короткую простую фразу, сочетающуюся с регулярно возникающей паузой, а другие — с неменьшим успехом — фразу сложно ветвистую, почти неуловимо сливающуюся с другими фразами и как бы стремящуюся к непрерывности словесного потока.

Стоит хоть на минуту обратиться к «устарелому» и отброшенному модернистами понятию содержания — и сразу становится видной вся неудовлетворительность подобных эстетических опытов.

Вытекает ли из преобладающего характера эпохи короткая простая фраза или фраза сложная и длинная, стиль лаконичный и скупой или стиль детализирующий, уходящий в оттенки, поворачивающий объект все новыми и новыми сторонами? Вопрос вполне соответствует уровню и духу модернистской эстетики, но по существу он вполне бессмыслен. Как будто вопрос о совокупном смысле, о равнодействующей нашего времени не составляет ни малейшей проблемы для модернистских критиков и трудность лишь в том, какой отсюда вывести всеобщесовременный стиль. Как будто для решения этой последней задачи достаточно произнести несколько убогих, тривиальных фраз и назвать несколько произвольно вырванных «признаков» современной действительности (приняв, например, во внимание скорость городского транспорта и способ созерцания у человека, едущего в автомобиле или летящего в самолете, но совершенно игнорируя при определении «духа XX столетия» величайшую из революций, втянувшую миллиарды людей в мировую историю и в корне изменившую понятие о читателе и зрителе). Как будто длинная и сложная фраза, развертывающий подробности и многословный стиль Томаса Манна или Фолкнера менее современен, чем простая фраза и скупой стиль Хемингуэя или Камю. Не говоря уже о том решающем обстоятельстве, что, ставя в один ряд фразу Манна и Фолкнера, мы чисто внешне сближаем стилистически разные вещи — внутренние силы содержания, определившие сложный строй фразы у этих двух писателей, глубоко отличаются между собой.

Модернизм во всех решающих отношениях противостоит классической эстетике. Значение этой противоположности становится особенно ясным, как только мы переходим к вопросам поэтического миросозерцания. Тут губительность модернизма обнаруживается с удручающей очевидностью.

Критический пункт—изображение отрицательной действительности. Флобер, не щадя ни себя, ни других, рассказал, как жизнь задушила бедняжку Бовари. Он не скрыл ничего и ничего не приукрасил. Отношения выступили в своей мелочности, своекорыстии, скуке, черствости, жестокости. Но они выступили на экране красоты. Образы, враждебные всему человеческому, всему поэтическому, движутся в потоке слова до того музыкального и чудесно завершенного, что просто дух захватывает. Сцены человеческого ничтожества разыгрываются среди природы, чью прелесть Флобер так остро чувствовал и так полно выражал в слове; при свете неба, при блеске воды, при запахах земли и травы, при шелесте темнеющих на

горизонте деревьев. И в самой Бовари писатель увидел телесную и душевную красоту — пусть не способную к сопротивлению и к победе, но все же красоту подлинную.

Как ни горек был взгляд Флобера на жизнь, его искусство не обошлось без положительной идеи: отрицательное вырисовывается на фоне прекрасного. Благодаря этому углубляется наше восприятие художественного содержания. Мы воспринимаем одновременно и то, что есть, и то, что могло бы быть — позади образа искаженного и сдавленного человека смутно мерещится полнота возможной гармонии человеческого существа. Действительность, войдя в искусство, проясняется. Она течет в нем объясненная, как-то понятая. Осуществляется требование Дидро к искусству, достойному этого имени: делать видимыми скрытые причины явлений.

Изображать отрицательную действительность во всей ее отрицательности, но при свете красоты и при свете разума — таков великий принцип классического искусства.

Этот великий принцип отброшен модернизмом. В нем жизненно отрицательное перемножается на пессимизм искусства. В нем реальное безобразие оттеняется безобразием формы. В нем действительные иррациональности усиливаются иррациональностями художественными. В нем художественная форма своей отрицательностью лишь подтверждает отрицательность смысла. Утверждается в нем только безнадежность.

Характерный пример такого модернизма — пьеса Беккета «Конец игры» Она производит впечатление в своем роде сильное, но существенно близкое к впечатлению человека, полежавшего некоторое время в могиле. В ней господствует выраженный ритм, но ритм, напоминающий мерное движение похоронных дрог. Леверкюн создал «Ораторию конца», Беккет пишет пьесу конца. Это провозглашено в первых же ее словах: «Кончено, все кончено, все кончится, все может кончиться». Но у Леверкюна мы слышим стоны и плач гибнущих, в оратории пролетают гигантские эсхатологические видения. Здесь же — невнятное бормотание уже погибших. Ничего нет. Ничего не будет. Да и было ли что-нибудь?

Пустая, пыльная, тускло освещенная комната. Четыре старика, четыре говорящих трупа.

«Хамм. Но как я узнаю, умер ли ты или всего лишь там у себя на кухне?

Клов. Ну, так... в конце концов завоняет.

Хамм. Ты уже воняешь. Весь дом воняет трупом.

Клов. Весь мир».

В пьесе безраздельно господствует уродливое, тошнотворное. Разговоры о выпавших зубах, катетерах, испражнениях. На каждой странице отвратительные ругательства. Ровно никакого действия. Даже слова пьесы — не вновь при нас возникающие, а уже много раз сказанные, неизменно повторяемые, окаменевшие старческие реплики, потерявшие связь с течением времени. «Всю жизнь одни и те же вопросы, одни и те же ответы». Диалоги нередко загадочны, но за этой загадочностью скрывается только бессмыслица, чепуха — и автор хочет, чтобы мы знали это. Атмосфера унылой тоски. Родители слепого, прикованного к креслу старика запихнуты в два мусорных ящика. У них совершенно белые лица, у сына — красное. От времени до времени они поднимают крышки, высовываются из ящиков и ворошат словами выцветшие воспоминания о былой любви и молодой радости. Тщетно. Не только любовь, но и память о ней умерла. Когда их шамканье надоедает сыну, он говорит слуге: «Заткни его»,— и Клов вдавливает папашу в ящик. Немного живее оказалась ненависть, связавшая хозяина и слугу. «Если бы я мог его убить, я бы умер счастливым человеком». Но и она поблекла, увяла, стала привычкой и чуть ли не привязанностью.

Природа существует лишь как гнющая природа.

«Хамм. Природа о нас позабыла.

Клов. Нет больше природы.

Хамм. Нет природы? Ты далеко заходишь.

Клов. В окрестности.

Хамм. Но мы же дышим, изменяемся. Мы теряем волосы, зубы! Свежесть! Идеалы!»

Этот диалог характерен для построения пьесы Беккета. Среди всяких пустяков вдруг произносятся слова, претендующие на многозначительность. Их простой смысл: все непонятно, все беспросветно.

«Хамм *(с надрывом)*. Но что же происходит, что же происходит?

Клов. Что-то идет своим чередом. *(Пауза.)*»

Или:

«Х а м м. Может быть... может быть... нами осмысливается что-то?

К л о в. Осмысливается? Нами осмысливается? *(Короткий смех.)* Ничего себе, пошутил».

Когда Клов наконец заглядывает в окно, он видит там только одно — «серость»: «Серо-черное. Во всем мироздании».

В последней своей реплике Клов подводит итог всему: «Я открываю дверь своей конуры и ухожу. Я так сгорблен, что вижу только свои ноги — и немного черноватой пыли между ногами. Я говорю себе, земля потухла, хоть я никогда не видел, чтоб она горела».

В темной яме отчаяния копошатся какие-то тени. Безнадежность сблизила между собой все возможные смыслы. Мрак непонятности прикрывает убожество идеи. Читая пьесу, мы чувствуем с ужасающей ясностью: отказ от красоты, от поэтической точки зрения грозит искусству гибелью.

14

Учения современной буржуазной эстетики, сколько бы они ни расходились между собой, образуют общий фронт против реализма. Все они исходят из того, что реализм, изображающий действительность такой, какова она есть, безнадежно устарел и чужд духу XX столетия. В XIX веке люди искали в искусстве сходства с действительностью, в XX — ищут несходства. В XIX веке искусство воссоздавало объективные формы и структуры современной жизни, в XX — запечатлевает субъективную жизнь художника и притом главным образом постольку, поскольку в ней выражены дисгармонии и разрывы между человеческой душой и объективным миром. В XIX веке господствовал принцип изобразительности, в XX — господствует символизм, в XIX веке первенствовало содержание, в XX — первенствует форма.

Тут все поставлено на голову, все истинные связи искажены. Верно ли, что условные образы и символы приобрели особое, повышенное значение в искусстве XX века? Верно. Но это связано, скорее, с потребностью выразить одичание старых общественных связей, переживших себя и дошедших до немыслимых крайностей, чем с потребностью воплотить по-настоящему новую, исторически творческую реальность. Это связано также в большей мере со стремлением — пусть за счет упрощения и отвлечения — выделить и зафиксировать вечночеловеческие ценности в противовес мучительной путанице социальной и политической жизни капитализма, чем со стремлением показать, как рождаются и формируются эти ценности в процессе революционной борьбы народа.

Как раз для выражения действительности в самых основах своих положительной и новой более всего необходимыми оказались те способы реалистического изображения, которые основаны на воспроизведении наблюдаемых жизненных отношений, на сходстве между образом и жизнью. Условность и символику нелегко применить, когда речь идет о явлениях, впервые возникших, вполне оригинальных, для которых не найдены еще масштабы измерения и аналогии, которые должны быть не только поэтически воплощены, но также засвидетельствованы, подтверждены искусством. Важное значение имеет также и то обстоятельство, что реалистические формы, о которых мы здесь говорим, за пять столетий своего развития и изменения приобрели огромную гибкость и приспособляемость, какой — по крайней мере сейчас — не обладают еще формы условно-символические.

Это доказано не только опытом советского романа, но также и опытом западного романа, обратившегося к великой теме народной революции.

Модернисты отвергли не только форму, они отвергли также идейную основу классики, признав ее опровергнутой и наивно оптимистической. Они вознамерились создать искусство, основанное на отрицательно-пессимистической идее или вообще освободившееся от «гнета» идеи. При этом обнаружилось, что сами они достигли художественности лишь в той мере, в какой их творчество удерживало хоть частичку, хоть момент из классического художественного идеала, или в той мере, в какой их творчество выражало боль и томление из-за потери положительной идеи, то есть скрытую потребность в ней.

Классическое искусство — это не поучительное прошлое, оно — настоящее и будущее художественного развития.

Творчество многих художников нашего столетия определено внутренней непрекращающейся борьбой между принципом классическим и принципом модернистским. Это с несомненностью обнаруживается не только исследованием и анализом, но и непосредственным эстетическим впечатлением и схватыванием. Результат борьбы у каждого из них совсем разный, но характерно

то, что классическое и модернистское начала своим оригинальным сочетанием и противоречием образуют, как любят говорить в современной науке, особую структуру. Отнимите противоречие, устраните сопротивление классического идеала — и произведение громадного художника и мастера неизбежно потерпит художественное крушение. Когда Томас Манн забывал о Гете и Толстом и помнил лишь о Шопенгауэре и Фрейде, он терпел тяжкие поражения.

Многие художники, испытавшие влияние упадочных концепций, сохранили в творчестве своем классический художественный идеал как силу противоборствующую. Без такого противоборства, без начала идеального они не могли бы создать большое искусство. И все же во многих даже очень значительных творениях XX века заметнее выделились моменты дисгармонической односторонности, непропорционального развития частей, болезненного перенапряжения; процессы полного развертывания всех возможностей формы сменяются в них процессами судорожного ее сжатия и искривления; места, проникнутые изумительно прекрасной динамикой, сменяются местами вялыми, откровенно играющими роль соединительной ткани или демонстрирующими вновь найденный прием. Борьба литературы с самой собой мешает ей достигать вершин красоты, гармонии и цельности, каких достигали в своих лучших созданиях Гете, Пушкин, Толстой, Флобер или Чехов, но вместе с тем именно эта борьба содействовала возникновению многих, пусть несовершенных, но весьма замечательных художественных произведений нашего столетия.

Идеал теперь то, что реализуется в освободительной борьбе народных масс. Главная жизненная и творческая энергия искусства нашего времени — энергия революционная, энергия реального отрицания несправедливых порядков.

В свое время роман перешел от избранных явлений к описанию, так сказать, сплошных сред. В него вошла вся сфера прозаической каждодневности. Это была великая победа поэзии над прозой жизни, победа, которая навсегда останется достоянием искусства. Ею воспользовалась не только драма, но даже и лирическая поэзия. Подлинное искусство никогда больше не станет летать высоко над жизнью, касаясь лишь ее вершин. Даже при коммунизме критика, преодоление останутся необходимыми элементами художественного. Достигнутое умение охватывать человеческую действительность плотно, всесторонне, целиком, без остатка — это наследство, от которого будущие поколения вряд ли захотят отказаться.

Однако в XX веке сама история вышла за рамки прозаической действительности. Революция качественно превзошла прозаическую реальность. Более ста лет назад Белинский со свойственной ему гениальной проницательностью говорил, что проза жизни глубоко проникла в поэзию жизни. Ныне становится все более верной обратная формула: поэзия жизни глубоко проникает в прозу жизни. И именно этот процесс составляет главную линию новаторства в современном романе.

В революции поведение и деятельность рядовых людей внешне и внутренне связаны с высшими целями народа, связаны фактически и душевно, практически и нравственно. Идеальная энергия изнутри освещает каждодневность. Можно ли, не будучи человеком злонамеренным, отрицать поэтический характер действительности, изображенной с беспощадной правдой в «Тихом Доне» Шолохова, «Разгроме» Фадеева или «Бронепоезде» Вс. Иванова? Речи Фиделя Кастро читаешь как стихи, и вся маленькая, смелая, стойкая Куба кажется окруженной видимым всему миру ореолом поэзии.

Не теряя способности прочно стоять на земле, видеть ясно и трезво все окружающее в его плохом и хорошем, роман реалистически подтверждает поэтический характер революционной действительности. Ничуть не отступая от величайшего достижения — художественного воплощения человека, представляющего рядовую массу, роман вместе с тем становится героическим, то есть рисует народную массу в борьбе.

Мы, разумеется, могли бы это показать на творчестве писателей, чья революционность неотделима от реалистической устремленности их творчества. Но мы, постоянно имея в виду художников, открыто ставших на сторону революции, рассмотрели в данной работе более трудные случаи — произведения художников, которых верность реализму приводила к отражению революционных движений эпохи и которые

уловили величайшее обновляющее поэтическое значение революционного содержания жизни. Опыт современного искусства доказывает, что существуют оба пути: от революции к реализму и от реализма к революции.

Даже и критический реализм, как большое направление искусства, может создавать современную поэзию и вполне современную художественную форму лишь в том случае, если воплотит не только новые факты действительности, но также и новый тип художественного идеала, сложившийся в эпоху великих революций. Он может осуществить это, приобретая народную основу. Противоречие между реализмом и капиталистическим обществом становится все более непримиримым, вражда буржуазных идеологов к реализму — все более слепой. Такой писатель, как Камю (и притом в лекции, прочитанной после получения Нобелевской премии в Упсальском университете), позволил себе говорить следующее:

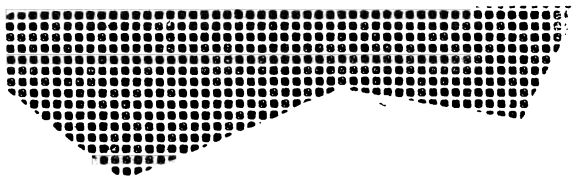
«Что, например, в нашей жизни реальнее человеческой жизни и можно ли надеяться воспроизвести ее вернее, чем в реалистическом фильме? Но при каких условиях возможен такой фильм? Эти условия невыполнимы. В самом деле, для этого нужно представить себе идеальную камеру, которая, будучи днем и ночью направлена на данного человека, станет беспрерывно фиксировать малейшее его движение. В результате получился бы фильм, показывание которого заняло бы целую человеческую жизнь и который поэтому могли бы увидеть лишь зрители, согласившиеся отказаться от собственной жизни исключительно из интереса к деталям жизни чужой. И даже при этих условиях такой воображаемый фильм не был бы реалистичным по той простой причине, что реальность человеческой жизни не находится обязательно там, где находится человек... Единственным художником-реалистом может быть бог, если он существует. Другие художники в силу необходимости грешат против действительности».

Читаешь и глазам своим не веришь. Как будто имеешь дело с пародией, выполненной в духе Свифта. А ученые мужи все это слушали и кивали головами: реализм вообще невозможен. Как это интересно!

В самой основе классической эстетики лежит весьма общая, неясно очерченная, но определенным образом направленная идея: идея безграничной способности человека к совершенствованию, справедливых и гуманных отношений между людьми, идея единства и гармонии между человеком и природой, человеком и обществом, идея полноты личности и счастья для всех людей. Освещать даже самые отрицательные явления поэтически — это значит освещать их с точки зрения положительной идеи.

Марксизм — наследник классической культуры. Он исходит из того неопровержимого факта, что человек в конце концов бывает таким, каким он нужен истории. Разумеется, кто-то не может приспособиться к новым социальным условиям и формам жизни. Реалистическая литература не оставила без внимания таких выбивающихся из социального ряда и с большой силой драматизма рассказала об их неминуемой гибели. Разумеется, приспособление — процесс иногда очень трудный и длительный, сознание отстает от бытия и не сразу овладевает переменой. Но никогда еще человеческая натура не помешала осуществлению назревшей исторической задачи. Не помешала и не помешает, вопреки тому, что говорит упадочная «новая наука». Марксизм является естественным союзником классического искусства, с изумительным богатством представившего социальное формирование личности, точно так же как модернизм является естественным союзником пессимистического взгляда на человека.

Марксизм — законный преемник классической культуры. Духом классического мышления, пафосом доверия к преобразующей силе разума, теоретической истины и науки проникнута социалистическая революция. И совсем не случайно оказалось, что новый мир стоит на стороне классики, а старый — на стороне модернизма. Искусство социалистическое подтвердило способность классических форм изменяться таким образом, чтобы в них уложилось оригинальное содержание и поэзия нового общественного строя. А вот отчаяние мира гибнувшего потребовало радикального разрыва с самой сущностью и основой классического искусства.



Критика

И. АНИСИМОВ

ЭСТЕТИКА БЕХЕРА

1

Новая эпоха всемирной литературы находит в этом немецком поэте и мыслителе свое последовательное и глубокое выражение.

Иоганнес Бехер рано начал свои поэтические *поиски решения*, еще задолго до того, как он пришел к сознанию необходимости социальной революции. И от этой далекой поры иллюзий, когда стремления молодого поэта еще остаются в границах экспрессионистского бунтарства, до великих революционных достижений творчество Бехера стремительно проходит огромный путь восхождения и открытий. Активное участие в революционной борьбе рабочего класса было причиной и основой того переворота, который совершился в его творчестве и который ввел его в фарватер социалистического реализма.

Для истории всемирной литературы — это пример стремительного и радикального изменения самого типа художника. Процесс становления социалистического реализма в творчестве Бехера приобретает полную наглядность, когда мы охватываем взором весь сложный и долгий путь его исканий. Проявляется универсальность его таланта, и вместе с тем переход на сторону социалистической революции вносит в эту универсальность не только силу глубочайшего реализма, но и всю смелость идеологии, устремленной к социальному переустройству мира.

Творчество Бехера может быть понято во всем его историческом значении лишь в том случае, если мы берем его как целое. В представлении буржуазной критики, которая не способна подняться до серьезных обобщений, существуют лишь отдельные разрозненные эпизоды, которым она стремится придать желательную ей окраску. Так поступает она и с Бехером.

В 1960 году мне пришлось посетить открывшуюся тогда в Мюнхене выставку, которая называлась «Экспрессионизм. Литература и искусство. 1910—1923».

Экспрессионизм был показан здесь как один из существенных вариантов модернистской моды, которая сегодня выдает себя за нечто способное изменить ход литературного развития. И речи о том быть не могло, что все это быльем поросло. Экспрессионистскую браваду здесь старались показать как нечто глубоко значительное, сохраняющее актуальность для современной литературы.

Витрина под номером 40 привлекла наше внимание. Ранний Бехер был представлен здесь прежде всего известным портретом Людвига Майднера, на котором изображен экстатический, как бы разрываемый своими внутренними переживаниями молодой человек: несуразно вспученный лоб, остановившийся взор, растрепанная шевелюра, судорожно жестикулирующие руки. Под этим — цитата из Альфреда Гюнтера, писавшего о первых выступлениях Бехера еще в 1914 году: «Иоганнес Р. Бехер не совместим ни с чем, он одержим идеей. Все подлинно творческие натуры родственны ему по крови... Художественный дар этого молодого поэта — его способность пророчествовать. Таков он сам, таковы его требования и ха-

рактер. Из благородного материала страстной и сосредоточенной души образуется его поэзия».

Выставлены некоторые книги — «Verfall und Triumph» (1914), «An Europa» (1916). Этот сборник сопровождает цитата из Оскара Лерке, который писал в «Die neue Rundschau» в 1919 году:

«Думайте о нем, что хотите: его стихи — не добавление к жизненной силе нашего времени, а часть этой самой силы. И если иногда они не приносят ничего, кроме шума и грома, то причина этого не в их бессилии, а в бессилии нашего современного существования. Полные экстаза, возбуждения, отчаяния «Стихи к Лотте» и проникнутые увлеченностью политические признания «Ко всем» — представляют явления новаторские. Пронизанный молнией хаос. И трогательно спокойные островки посреди — уцелело посреди разрушения? Захватывающее начало нового творения?»

Обе цитаты, Гюнтера и Лерке, дают представление о духовном климате экспрессионизма, из которого Бехеру предстояло выбраться на свежий воздух, к широко распахнувшимся горизонтам. Но именно об этом и умалчивает выставка в Мюнхене, для которой время как бы остановилось.

Выставлено письмо Бехера к Герману Казаку, предположительно относимое к началу 1918 года. По мысли устроителей выставки, это должно послужить напоминанием, что между почтенным президентом Дармштадтской Академии языка и литературы, кем в 1960 году являлся Герман Казак, и экспрессионистом Бехером, вскоре ставшим на сторону революции, была определенная творческая связь. Письмо незначительно по содержанию: Бехер посылает «глубокоуважаемому господину доктору» ряд своих произведений — и все, но по существу этот экспонат весьма интересен. Он приглашает сопоставить революционную стремительность развития Бехера и пассивное, почти бездвижное творческое существование тоже талантливого человека, Германа Казака. В год выставки это был академический сановник Федеральной Республики, выступавший в литературе как автор глубоко пессимистических, прямо-таки безнадежных произведений, пророчивших гибель человечеству. Это была старая-престарая экспрессионистская песня, давно утратившая полет какого-либо бунтарства и уже выставляющая напоказ внутреннюю опустошенность.

Об этом расщеплении экспрессионизма и напоминает письмо Бехера, включенное в экспозицию.

Выставлены еще два сборника: «Gedichte für ein. Volk» (1917) и «Zion» (1920) и список произведений с 1911 по 1923 гг. Характерна деталь. На выставке отсутствует маленькая красная книжечка, сборник стихов «An Alle» — «Ко всем» (1919), которая представляет первый и очень смелый шаг Бехера в сторону от экспрессионизма. Если пользоваться известным термином современной авиации, то произошло катапультирование поэта из экспрессионистской системы. Он не просто делает шаг в сторону, его обращение к новому имеет необычайно бурный характер, о чем свидетельствует маленькая книжка в красной обложке. Это не только документ, относящийся к истории творчества Бехера, но и убедительнейшее доказательство того, что началось расщепление экспрессионизма, выход из-под его влияния всего передового и способного послужить будущему.

На первой странице сборника «Ко всем» читаем: «Розе Люксембург, Карлу Либкнехту, революционному пролетариату посвящается».

«Вы соль земли» — это и есть главный вывод всего поэтического сборника, который состоит из произведений, еще чисто экспрессионистских по своей форме. Еще торжествует «майднеровское» начало, но вместе с тем отчетливо слышны и другие мотивы.

Человек восстал. После бегства. Назад.
К действию! К счастью!

Как видим, разрыв логических связей уже не может затемнить жгучее и очень ясное содержание.

В «краснокожей» книжечке содержится не только заряд яростной ненависти к буржуазному порядку, но и энтузиазм революционного действия, хотя «майднеровское» косноязычие еще связывает Бехера. Над всем торжествует призыв: «Настало время действия».

В этих «новых стихотворениях» раннего Бехера оставила свой след энергия колоссального взрыва, преобразовавшего его творчество. «Гимн Розе Люксембург», где она еще «святая», патетические отрывки, посвященные историческому Спартаку, и грандиозный реквием «Смерть Спартака», посвященный немецким спартаковцам, павшим за дело революции,— в этих революционных в своей сущности произведениях

экспрессионистская фразеология, уже не выдерживающая напряжения нового огромного содержания, как бы готова отпасть, но еще висит клочьями.

О том, что время, когда возникает «Ко всем», было временем грандиозного размежевания, свидетельствуют отовсюду торчащие несообразности и контрасты, именно своей чересполосицей определяющие поэтический строй «новых стихотворений». Здесь новое продирается сквозь настоящие джунгли экспрессионистской литературщины. Но в новом заключена великая сила, которую не могут остановить никакие преграды.

Путь Бехера к новому отличается огромной целеустремленностью, и его письмо к Казаку, наивно понимаемое устроителями выставки как документ своеобразного умиротворения, есть свидетельство крайне обостренных противоречий, которым вскоре предстояло определиться во всей их силе.

Бехер и Казак расходятся в противоположные стороны, и эта их полярность полна значения, она свидетельствует о том, что в немецкой литературе XX столетия социальное размежевание шло полным ходом.

В краткой, очень краткой биографической заметке, которой открывается витрина Бехера на выставке, есть строчка: «Находится под влиянием русской советской культуры».

Эта засушенная строка по-своему выразительна. В ней сказалась ограниченность кругозора устроителей выставки. То, что советская культура имела для Бехера колоссальное значение, как и для каждого революционного писателя нашего времени, не укладывалось в их привычные представления. Увлечение молодого поэта в любой стране капиталистического мира революционными идеями, участие в борьбе рабочего класса обязательно ведут к тому, что его творчество сближается с идеями и творческими открытиями советской литературы.

То, что устроители выставки поставили в упрек великому немецкому поэту как нечто способное умалить национальную его самобытность, является лишь совершеннейшим выражением его немецкой революционной самобытности. Каждый подлинно революционный художник нашего времени вступает на исторический путь интернационализма, и на этом пути находит наиболее целостное выражение национальная неповторимость его творчества.

Близость Бехера к советской литературе — это одна из важнейших сторон его творческого развития. Уже в сборнике «Ко всем» мы находим его программное стихотворение «Привет немецкого поэта Российской Федеративной Советской Республике», где он еще в экспрессионистских выражениях называет нашу страну «святой державой» и «раем», но где уже вполне отчетливо выражено то чувство уверенности в победе, которое внушает немецкому революционному поэту существование Советской России. Оно наполняет новым смыслом давно сказанные слова: «С востока свет», которыми начинается это стихотворение.

Впоследствии связи Бехера с советской литературой станут постоянными и тесными, и он будет говорить о значении этих связей и в стихах, и в теоретических работах. Это огромная тема, занимающая в его творчестве важное место.

Бехер приехал первый раз в Россию в 1927 году. После сборника «Ко всем» прошло почти 10 лет. За это время в Бехере многое изменилось.

Ему предстоял судебный процесс за его роман «Люизит» и поэтический сборник «Труп на троне», которые показались слишком опасными правителям Веймарской республики. И надо вспомнить, с какой энергией защищал поэта от нападок «демократической» юстиции Горький, проницательно разгадавший в Бехере все то, что принадлежало будущему.

В том Бехере, которого мы увидели в Москве, уже не оставалось ничего «майднеровского». Его путь к реализму еще только начался, но уже было трудно узнать в нем того «одержимого», того выходца из «хаоса», который так импонировал Гюнтеру и другим критикам экспрессионистского направления. Зато в нем сразу бросалось в глаза необычайное напряжение антикапиталистической ненависти. Это был спартаковец, полный энергии участник начавшейся схватки. Он был очень прост, подвижен, и он был дома. То, что так сразу сблизило его с Москвою 1927 года, было энергией сражений, которые он уже вел и которые ему еще предстояли.

Бехер жил в маленьком отеле в переулке, выходящем на теперешнюю улицу Горького. Напротив возвышалось здание телеграфа, которое было первым выдающимся архитек-

турным сооружением советской Москвы. Я зашел к нему и, думая, что он будет подробно расспрашивать меня о советской поэзии, о Маяковском, о Есенине, был готов познакомить его с положением дел, но он интересовался прежде всего Москвой, интересовался улицей, которая теперь называется улицей Горького, гораздо больше, чем литературой. В дальнейшем это стало совершенно очевидным, и я понял, что на улицах Москвы, с которой он породнился с первого взгляда, он видит не только то, что вижу я, приглядевшийся к этим улицам, он видит больше. Вглядываясь в лица человеческого потока, вместе с которым мы куда-то неслись, он читал в этих лицах нечто иное, чем я.

Это была Москва суровых времен, бедная Москва, которая, казалось, почти ничем не могла привлечь к себе внимание. Но Бехер все то, что он видел, проницательно воспринимал как картину нового мира. Он вступал на улицы Москвы и сразу ощущал здесь родственную близость ко всему, что его окружало. Он был уже совсем другим поэтом и другим человеком, чем в те, казавшиеся теперь очень далекими, времена, о которых напомнила нам Мюнхенская выставка с цитатами из Гюнтера, с письмом Казаку и т. д.

Он уже был далек от экспрессионистического своего прошлого. В его поэзии кипела революционная ненависть к врагу, ненависть ко всему, что поддерживало устои старого капиталистического мира. Великая ненависть, утратившая парализовавшую ее абстрактность, не скованная «майднеровскими» навыками, стала теперь доминантой его творчества.

Это был устремленный в будущее человек. Именно в этом смысле Москва была для него средоточием огромных духовных богатств. Она постоянно восхищала его, и об этом бесконечном узнавании невиданного он с удовольствием рассказывал. Так расширившая горизонты его творчества встреча Бехера с новой действительностью свидетельствовала о том, что он далеко и уверенно пойдет вперед.

Когда в 1935 году он приехал к нам надолго, он сразу же начал свою идеологическую атаку против фашизма, восторжествовавшего в Германии. Бехер был теперь прикрыт щитом Советского Союза, и он жил, зная, что это залог победы.

О том, какое значение имел московский период в его жизни,— когда он борется с коричневой фашистской чумой, находясь не в эмиграции, как многие немецкие писатели, а в рядах советских писателей сражается за победу коммунизма,— Бехер не раз и подробно будет говорить впоследствии. Своеобразный путь становления национального немецкого поэта, почерпнувшего так много в глубинах интернационального единства, свидетельствует о том, что во всемирной литературе нашего времени действуют новые закономерности.

В этой связи представляет особый интерес, что именно в Москве начался удивительно глубокий процесс сближения Бехера с национальной немецкой традицией. Он сам в трогательном стихотворении рассказывает, как в доме в Лаврушинском переулке в эти трагические для его родины годы немецкая классика пришла к нему как утешительница и стала его опорой.

Возникла возможность нового, небывалого соотношения между прошлым и настоящим. В разгар боевой антифашистской работы это обращение к классике имело особое значение. Оно вносило нечто существенно новое в его творческое развитие: социалистическое понимание немецкой классики поддерживало и обогащало его новаторские поиски.

В 1949 году я слушал в Веймаре речь Бехера, посвященную Гете. Речь называлась «Освободитель». Слушая эту речь, можно было ощутить, как долог и мучительно сложен был путь Бехера к ней. Это была потрясающая, очень умная, глубокая речь, в которой было очень просто, убедительно и ясно сказано, что современному немцу Гете нужен как воздух. Нельзя было не восхищаться глубоким знанием Гете, которое обнаружил Бехер, а также тем, как удивительно естественно он связал духовное наследство Гете с проблемами сегодняшнего дня.

В 1955 году, уже как министр культуры Германской Демократической Республики, Бехер произнес в Веймаре свою знаменитую речь на юбилее Шиллера. Эта речь называлась очень многозначительно: «Denn er ist unser» — «Ибо он наш». Снова в ней убедительно прозвучало то, что строители коммунизма считают основным в понимании классики: она входит в состав социалистической культуры, обретая новую жизнь и глубоко импонируя нам своими обращенными к будущему чертами. Все это Бехеру удавалось выразить в понятиях, удивительно ясных и глубоких.

Мы уже говорили, что это глубокое единение с духом Гете, Шиллера, Гёльдерлина непосредственно было связано с новыми открытиями в области социалистической поэзии. Оно оказало воздействие и на тот огромный труд теоретического обобщения, который Бехер взял на себя в конце своей жизни. Вершиной его творческого развития являются не только поэтические произведения послевоенных лет, но и посвященная проблемам социалистического реализма тетралогия: «Защита поэзии» («Verteidigung der Poesie»), «Поэтическое исповедание» («Poetische Konfession»), «Власть поэзии» («Macht der Poesie»), «Поэтический принцип» («Das poetische Prinzip»).

Полно значения то, что явившееся большим литературным событием шеститомное собрание «Избранного» было опубликовано в 1952 году одновременно с первой частью теоретической тетралогии.

Идейное богатство этой завершающей работы Бехера огромно. Уже много написано о тетралогии, получившей мировую известность, но еще только начинают вырисовываться ее подлинные масштабы.

Здесь все проникнуто чувством нового, и здесь впервые с такой полнотой осознаны новые отношения, которые возникают между отдельными национальными литературами, вступающими на социалистический путь. Творчество Бехера имеет глубоко национальный, насквозь немецкий характер, и вместе с тем оно уже давно, начиная с очень наивного еще стихотворения «Привет немецкого поэта», обращенного к Стране Советов, движется по неведомой ранее орбите. На него оказывают воздействие новые закономерности, порожденные социалистической революцией, и национальное начало вступает в постоянное взаимодействие с интернациональностью. Вот что сближает Бехера с советской литературой, и эта близость ничему другому не служит и не может служить, как проявлению его национального своеобразия, становясь возможностью новых творческих открытий.

Это великолепный пример того, что называется коллективным опытом социалистических литератур.

Влияние советской литературы на Бехера может быть показано во многих направлениях и на многих примерах, и тетралогия постоянно подтверждает и близкое знакомство с советской литературой, и умение почерпнуть из опыта советской литературы наиболее существенное. С такою же определенностью надлежит говорить и о том, что творчество Бехера представляет крайне характерный и многозначительный пример влияния его на развитие советской литературы. В частности, его взгляд на весь процесс формирования социалистического реализма, его проницательные обобщения новаторского опыта социалистического реализма, его высоко компетентная и поистине сокрушительная критика модернистских течений в современной литературе с их самой разнообразной «авангардистской» маскировкой — все это стало нашим общим оружием и вошло в качестве важнейших моментов в нашу общую эстетическую концепцию.

Советская литература и другие литературы могут сказать о Бехере: «Он наш», отнюдь не собираясь отторгнуть его от немецкой литературы и лишь подчеркивая, что в наше время все более властно проявляются новые, не встречающиеся раньше взаимоотношения литератур.

2

Тетралогия носит общее название «Опыты» («Bemühungen»). Она складывалась вместе с поэтическим творчеством Бехера, которое в этот период было очень интенсивным, и эта непосредственная связь теоретических рассуждений с работой поэта определяет весь внутренний строй «Опытов».

Можно предполагать, что, приступая к выполнению своего замысла, Бехер не имел перед собой окончательного плана, и первый том («Защита поэзии») еще не связан с какими-нибудь продолжениями. Ему свойственна внутренняя завершенность, и важнейшие проблемы современной литературы рассматриваются здесь во всем их объеме.

«Защита поэзии» опубликована в 1952 году. Через год выходит продолжающий ее том — «Поэтическое исповедание», а в 1955 — третий — «Власть поэзии», завершающий том «Поэтический принцип» выходит в 1957 году. Таким образом, время, потребовавшееся на выполнение грандиозного замысла, не велико.

Хотя тетралогия возникла без заранее составленного плана, это глубоко цельное произведение. От первого тома к последующим идет развитие важнейших проблем теории социалистического реализма, которые представлены в связи со всей сложностью современного литературного процесса и ка-

саются не только немецкой литературы, но и литератур всего современного мира.

Поэтому необходимо рассматривать тетралогию не только в общем комплексе развертывающихся идей, но и в ее композиционном своеобразии, взаимной связи ее частей и переходах от одного тома к другому.

Начнем с самого начала — с «Защиты поэзии». Почти все фрагменты датированы, что позволяет проследить последовательное развитие основных мыслей. Первый фрагмент относится к 1940 году, последний по времени — к 1952. Таким образом, хронология тома охватывает большой и сложный отрезок времени: вторую мировую войну, разгром фашизма, начало восстановления Германии и вступление передовой немецкой литературы на новый путь.

В «Защите поэзии» освещаются исторические условия, в которых происходило собирание сил и дальнейшее развитие прогрессивной немецкой литературы. Один из ранних отрывков носит название «Литература — вопрос жизни». Уже в 1942 году, в разгар войны, Бехер задумывается о будущем немецкой культуры. «Литература для народа — вопрос жизни и смерти. Литература — самый развитый орган самопознания и самосознания народа». Вот принцип, исходя из которого Бехер строит планы будущего, осмысливая возможность возникновения великой народной литературы в Германии.

Он убедительно показывает, что все возможности этой литературы связаны с ее служением революционным задачам. Только как выразительница глубочайших социальных изменений может возникнуть в Германии новая литература. «Возрождение национальной литературы в духе социализма — только на этом пути мы сможем снова создать великую национальную литературу».

Бехер внимательно вбирает в спектр своего анализа все то, что может уже считаться новым в немецкой литературе, в частности все то, что сделано было революционными немецкими писателями в эмиграции. Он отмечает, что в Советском Союзе немецкие писатели получили возможность подготовлять будущее своей национальной литературы.

Бехер делает совершенно наглядным вывод, что эти изменения открывают самые благоприятные перспективы. Само название книги «Защита поэзии» подчеркивает, что Бехер сближает понятия политического и поэтического, видя в этом подсказанном жизнью соединении признак того художественного переворота, который на его глазах совершается в передовой немецкой литературе: защита поэзии равнозначна защите новой действительности.

Важнейшим условием развития новой литературы Бехер считает ее органическую связь с классическим наследием. В годы войны, находясь в Советском Союзе, Бехер глубоко вникает в исторические судьбы культуры, в судьбы классического немецкого наследства. Это запечатлелось в его великолепной серии сонетов. Рименшнейдер, Бах, Гёльдерлин, Гете стоят здесь в одном ряду с Данте, Микеланджело, Сервантесом, Рембрандтом, Шекспиром, Байроном.

В «Защите поэзии» вовлечены в обсуждение злободневнейших творческих вопросов Толстой, Готфрид Келлер, Стендаль, Паскаль и особенно Гете, Гёльдерлин. Не ограничиваясь этим кругом великих имен, Бехер обращается и к наследию той немецкой классики, которая никогда еще с такой силой не поднималась из глубины веков, чтобы зазвучать столь современно. Таково творчество Мартина Опица и Андреаса Грифиуса, в котором находит свое отражение мрачнейший период немецкой истории, связанный с Тридцатилетней войной, и которое так далеко от отчаяния.

Бехер показывает, что в новых условиях немецкую классику ожидает изменение ее исторических судеб. И если раньше «выдающиеся немецкие поэты и мыслители жили и творили среди своего народа как чужие», то отныне они становятся «своими» в самом глубоком смысле слова, и эта родственность классики и революционной современности есть одна из важнейших предпосылок новаторства современной литературы.

«Новая немецкая культура не может возникнуть из ничего. Она должна опираться на лучшие традиции нашего народа». Развивая всесторонне эту мысль, Бехер имеет в виду то, что является подлинной классикой, что связано с будущим, что играло и в прошлом прогрессивную роль. Это разграничение отчетливо.

И в отношении Бехера к «наследию» Ницше можно почувствовать всю силу его диалектики понимания прошлого. Ницше, который был, при всей своей талантливости, фигурой, выражавшей самые реакционные и самые отвратительные идеи германского империализма, должен быть отброшен пол-

ностью и как автор тех или иных произведений, и как философ, влияние которого сказалось во многих явлениях немецкой литературы XX столетия.

В связи с тем, какую огромную роль в формировании новой литературы Бехер отводит классическому наследию, находится его отношение к той роли, которую должна играть история литературы в современных условиях.

Бехер, сам превосходно осведомленный в истории немецкой литературы, требует, чтобы подлинно научное и подлинно революционное изучение классического наследия было поставлено в порядок дня и стало бы прямой поддержкой тех поисков нового, которые являются потребностью современного литературного развития. «Нужно заново написать историю литературы». «Без истории литературы, то есть без постоянного стремления найти новые масштабы отношения к прошлому, помогающие по-новому увидеть и по-новому осознать его,— без такого необходимого самопознания не может быть и речи о развитии национального начала литературы». Нельзя не вспомнить здесь постоянных забот Горького о том, чтобы весь опыт мировой литературы служил основой творческих завоеваний социалистического реализма. И близость позиций Бехера и Горького глубоко закономерна.

Бехер постепенно подходит к решению важнейших для литературы вопросов: в чем же смысл ее, что лежит в ее основе, и тоже по-горьковски на них отвечает. «Литература обращается в первую очередь к человеку». «Голос поэзии» это «голос очеловечивания», и это направление новой литературы делает ее возможности неограниченными.

«Самое существенное в Гете, гетевская всеобъемлющая человечность, лежит в будущем»,— замечает Бехер, чтобы сделать вывод: современная литература не только должна быть на уровне гуманистических стремлений классики, но и пойти дальше, не забывая о том, что ее историческая обязанность — реализовать то, что для Гете «лежало в будущем».

«Целостный человек» — идеал классического гуманизма, который так и не стал обычной и широко распространенной нормой. Победа социализма вызывает к жизни «новый тип целостного человека», и наше время становится эпохой «подлинного открытия человека». «Всесторонний человек», человек как «наивысшее выражение человеческого» — это изумительно богатая область художественного изображения, и, овладевая ею, литература становится новой ступенью в художественном развитии человечества.

Очень ясные и требовательные формулировки нового человека и новой действительности получают в «Защите поэзии» отнюдь не отвлеченное значение. Именно в революционном гуманистическом начале новой литературы заложены все возможности ее развития. Отсюда начинается ее новая эпоха, и здесь ожидают ее великие открытия.

Подзаголовок «Защиты поэзии» — «О новом в литературе». Это и есть основное. Однако автор обращается к раскрытию самого главного в своем замысле только после того, как приведены в ясность исторические и философские предпосылки совершающейся в наше время художественной революции. И самый переход от темы революционного гуманизма к теме нового представляет важнейший рубеж книги «Защита поэзии».

«Новое искусство никогда не начинается с новых форм, новое искусство всегда рождается вместе с новым человеком». Это исходное положение раскрывается во всей своей значительности, во всем богатстве эстетических идей, стянутых в этом фокусе.

Бесплодно так называемое «новаторство», которое не связано ни с чем новым в действительности. Бехер не устает повторять, что «устаревшее нередко стремится выдать себя за революционное, придумать себе видимость самоновейшего». Он саркастически замечает, что «броские формальные эффекты и самодовольное, хвастливое модернизирование всегда подозрительны».

Еще в самом начале книги, с благоговением называя имя Ленина, гениально разгадавшего «тайну века», имя наставника и вдохновителя всего революционного в современном мире, Бехер заявляет о том, что, только овладев революционной теорией, передовой художник окажется способным выдержать то решающее «испытание правдой», перед которым ставит его наша эпоха.

Требование глубины имеет особое значение для революционного художника. Он способен и он обязан проникнуть в самые недра действительности. К этому Бехер возвращается постоянно, и особенно высоким его теоретическим достижением является

тезис о том, что метод социалистического реализма представляет невиданные возможности полноты художественного раскрытия. «Великие проблемы, ожидающие нашего разрешения, можно одолеть лишь творческим методом исчерпания»,— пишет Бехер. Такое понимание социалистического реализма особенно ценно тем, что в нем обосновано эстетическое своеобразие нового творческого метода.

Естественно, что Бехер прежде всего думает о творческих задачах социалистической немецкой литературы и исходит в своих суждениях из анализа ее опыта, в том числе собственного творческого опыта, но он ищет решения больших проблем на большом просторе интернационального искусства, и поэтому вся художественная концепция, которую с такой силой убедительности он развивает, является всеобщей концепцией социалистического реализма, которая основана на всем процессе революционных изменений во всемирной литературе нашего времени.

Бехер постоянно опирается на достижения советской литературы, на характерные особенности ее исторического развития. «Возрождение эпических форм мы видим в Советском Союзе»,— пишет он и не только дает историческое и философское объяснение этого явления, но и подчеркивает его значение для всемирной литературы нашего времени, для литературы будущего, о которой можно сказать, что для нее «даже Гомер был только прелюдией».

Бехер прямо связывает понимание нового с тем, что в немецкой литературе и в других революционных литературах действуют писатели нового типа — «поэты, устремленные в будущее, поэты нового». Вместе с тем он постоянно продолжает подчеркивать значение классики в поисках новых творческих решений. Характерно в этом смысле требование «стендализировать», обращенное к современным авторам. Самый термин возникает в определенной ассоциации с тем, что Маркс и Энгельс говорили о шекспиризации. Тонкий и мудрый совет стоит буквально рядом с требованием открытия нового, с требованием все большего углубления в современную действительность, и это полно значения. Бехер приводит цитату из Готфрида Келлера и неоднократно к ней возвращается, чтобы сформулировать закон взаимосвязи и взаимозависимости старого и нового: «Новым в глубоком смысле слова является лишь то, что возникает из диалектики развития культуры». Действительно, это кажется сказанным сегодня.

Новое в представлении Бехера неизбежно должно сталкиваться с той ложной, модернистской литературой, которая пытается прикрыть свое творческое бесплодие псевдоноваторством. Много внимания уделено в «Защите поэзии» демаскированию модернизма, критике претензий «каких-нибудь» — Элиота, Готфрида Бенна, Кёстлера, Оруэлла — на то, что они могут сказать нечто значительное, двигающее вперед литературу. Он разрушает до основания их «бесплодные концепции». Даже к более академическим вариантам модернизма, связанным, например, с Валери, о котором не раз заходит речь, Бехер относится с полной непримиримостью. Он предостерегает от легкомыслия, показывая ядовитость модернистских литературных концепций, всем своим существом обращенных против революции и народа, против социалистического реализма.

«Переворот во всех областях нашей культурной жизни может произойти только тогда, когда мы под знаком боевого гуманизма ополчимся против разложения, которое навязывается нашему многострадальному народу в Западной Германии американским монополистическим капиталом».

Это фрагмент 1951 года. Вся сила его внутренней логики сохраняется полностью и сегодня. Наступление на декадентство и модернизм, которое Бехер ведет с таким сокрушительным успехом, является неотъемлемой частью его теоретической позиции. Он клеймит литературу распада с ненавистью гуманиста, защищающего поэзию от угрозы обесчеловечения. Замечая, что и среди литераторов, считающих себя передовыми, есть такие, которые «изо всех сил стараются придать правдоподобие абсурдному», господствующему в современном модернистском искусстве, или пококетничать с сюрреализмом, он высмеивает подобные подлинно абсурдные попытки.

Бехер противопоставляет бесплодию модернистской аффектации «выполняющую задание века» концепцию социалистического реализма во всей ее силе и плодотворности, в ее «интеллектуальной честности», во всем богатстве ее подлинных открытий, в ее преемственности с наследием классического прошлого.

Он неоднократно возвращается к фигуре Леверкюна из последнего романа Томаса Манна, с его безумной идеей «взять обратно» великие достижения Бетховена и музы-

кальной культуры XIX века, заменив их додекафоническим безобразием, весьма соответствующим безобразию капиталистического мира.

Все ценности классики и все ее заветы обращены против уродства и опустошенности литературы модернизма. Бехер приводит самые разнообразные проявления современного распада, «спекулирующего на ужасе» и кичащегося своей «хаотической чудовищностью». Саркастически говорит он об «экзистенциалистской болтовне», проникнутой унизительным недоверием к человеку и вместе с тем заявляющей претензию на родство с идеями гуманизма. Это одна из гримас того «периода обесчеловечения, обесценения всех ценностей мысли и чувства», выражением которого является модернистская литература.

В критике модернистских явлений Бехер не раз ссылается на ранний период своего творчества, на тот самый «майднеровский» период, о котором мы уже говорили и который для Бехера сейчас столь же неприемлем, как и современные формы модернизма. Это свидетельство большого мастера социалистического реализма, аргумент особой убедительности.

В целом книга «Защита поэзии. О новом в литературе» представляет глубоко значительную попытку одного из крупнейших писателей современности связать свой поэтический опыт с теоретическими обобщениями и показать, как само развитие литературы подводит к философским и эстетическим выводам, и его целостная концепция социалистического реализма возникает на основе стремительно расширяющегося опыта новой литературы, отражающей великие революционные изменения действительности.

3

«Поэтическое исповедание», подобно «Защите поэзии», возникает из творческой практики, «из необходимости самопознания». Отмечая это, автор говорит, что «последующие выпуски «Поэтического исповедания» будут выдержаны в духе этого же метода». Это еще раз доказывает, что очертания тетралогии вырисовывались лишь в процессе работы над ней, и «Поэтическое исповедание» было задумано как единое целое, отдельные части которого впоследствии получили особые наименования.

В «Поэтическом исповедании» получают дальнейшее развитие мотивы, которые возникли в «Защите поэзии». Происходит их обогащение и всестороннее углубление.

Речь идет о литературе «бурных времен», о литературе, относящейся к «великой эпохе в истории человечества». Уже этим определяется масштабность социалистической литературы, перспективу которой намечает тетралогия. И литература должна быть достойной нашего великого времени.

«Литература является ведущей тогда, когда она может сказать решающее слово о решающих вопросах своего народа в решающий момент». Бехер дает в этих словах содержательное определение социалистического реализма и в свете такого критерия рассматривает современные явления всемирной литературы, и прежде всего становление новой литературы в ГДР.

Современный исследователь, если он честен, не может не видеть возникающей на его глазах великой литературы нового мира. К этому основному выводу стягиваются все лейтмотивы «Поэтического исповедания». Сознание того, что своим творчеством он участвует в коренном преобразовании литературы и действительности, наполняет социалистического писателя наших дней ощущением счастья и гордости.

«И мы в самом деле можем смело, не потупляя взор, не отворачиваясь, смотреть в глаза всем поколениям мировой истории». Все время в «Поэтическом исповедании» речь идет об огромных задачах, стоящих перед новым искусством, которое достойно себя «лишь в той мере, в какой оно приобщает нас к человеческим поступкам, к человеческим судьбам». Условия социалистического строя «необычайно расширили новые возможности литературы», она получила возможности небывалые, в ней совершаются процессы, которых она не знала в прошлом.

Литература социалистического мира исходит из «признания величия человека», ей свойственны невиданные возможности раскрытия «всего человека, всех человеческих способностей». Это поистине литература, способная «показать человека в его титаническом всемогуществе».

Гуманистический пафос социалистического реализма и требование полной правды, предельной глубины постижения действительности неделимы. Искусство и литература являются отражением действительности,

но «следует обращать внимание на то, в каком именно зеркале она отражается. Бывают зеркала мутные и слепые, разбитые и кривые, зеркала безжалостные, искренние, всепрощающие, зеркала, которые подчеркивают лишь все некрасивое и которые не заставишь отразить что-либо хорошее в тебе». Всякая великая литература, литература социалистического реализма в том числе, может быть уподоблена «зеркалам, правдиво воспроизводящим действительность», «зеркалам красноречивым, как сама действительность, зеркалам, в которых сама правда (в отточенных предложениях, в убедительных образах) дает ответ на вопрос о том, какой должна быть настоящая жизнь, на вопрос о смысле нашего существования, на вопрос: «Что делать?»

В «Поэтическом исповедании» широко исследуются проблемы формы в искусстве, рассматриваемые в свете актуальных задач правдивого отражения действительности.

Приводя пример исключительного композиционного мастерства Арнольда Цвейга, являющегося настоящим «архитектором романа», воздавая должное совершенству формы, Бехер в то же время резко возражает тем, кто думает, что наиболее значительным художественным произведением является «отточенное по форме». Он напоминает, что многие шедевры всемирной литературы не могут быть причислены к таким «отточенным по форме» произведениям, вместе с тем их значение колоссально, поскольку они были выражением огромного жизненного содержания.

Обращаясь к работе Фридриха Георга Юнгера «Ритм и язык в немецком стихосложении» и выделяя положительные моменты этой богатой наблюдениями работы, Бехер вместе с тем показывает, что, игнорируя момент содержания, Юнгер в конце концов заходит в тупик и, пытаясь судить немецкую поэзию только «судом метрики», не в состоянии дать глубокого о ней представления.

Большое место занимает в «Поэтическом исповедании» критика современного литературного распада, критика модернистских течений в литературах буржуазного мира. Очень точными являются характеристики Готфрида Бенна, Стефана Георге, говорящие о том, что духовная опустошенность полностью захватила творчество этих писателей.

Отвечая западногерманским литераторам, спрашивавшим, почему в ГДР не издаются Элиот, Бенн, Кафка, автор «Поэтического исповедания» говорит, что «речь идет не о запретах, а о том, что при тех общественных изменениях, которых мы достигли, определенные писатели оказались чуждыми, прямо-таки вызывающе бесполезными». Вот почему, говорит Бехер, социалистическое общество не проявляет к ним интереса.

Бехер безоговорочно отвергает модернистские претензии на новаторство, показывая, что их тяготение к «абсурднейшему», «клинический характер» их произведений делает их «общественно опасным злом и бичом искусства». Имея в виду некоторых молодых авторов, которых сбивает с толку самореклама модернизма, Бехер прямо говорит о «маньяках новаторства», которые, утратив содержание, пытаются отыграться исключительно на формалистическом фразерстве.

Он не упускает из вида, что определенная часть литераторов в социалистических странах проявляет интерес к модернистским течениям, и убедительно показывает, что за внешней броскостью «ультрасовременных» эстетических программ модернизма нет ничего, кроме оглушительной пустоты. Разоблачая современные попытки идеализации старых модернистских течений, он приводит убедительные примеры из истории экспрессионизма, где многие авторы, пытливо искавшие выхода из капиталистического тупика, были обмануты иллюзиями «чисто искусственного» бунтарства.

И в этой книге он говорит о «раннем Бехере», имея в виду давно преодоленное экспрессионистское прошлое и возмущаясь тем, что некоторые «ничему не научившиеся модники» пытаются навязать «абсурдный модернизм» молодому поколению, кивая на то, что творчество «раннего Бехера» имело экспрессионистское направление.

Против модернистской концепции искусства Бехер выступает во всеоружии исторического опыта, который дало развитие социалистического реализма, во всеоружии глубоких знаний классического наследства, во всеоружии своего собственного писательского опыта, что делает его самым компетентным судьей в этих вопросах. Он выступает от имени социалистической литературы, как всемирно-исторического движения.

4

«Власть поэзии» первоначально представляла собой вторую часть «Поэтического

исповедания». Впоследствии она была обособлена, что соответствует внутренней самостоятельности этой книги.

В ней продолжается нарастание глубины теоретического обобщения. Над всем господствует мысль о такой литературе, которая способна «с мощной силой убеждения выразить исторически насущные проблемы эпохи», о насыщенности новой литературы великими идеями современности, о полном использовании ею «превосходства нашего мировоззрения».

«Ведь сила нашего убеждения неодолима, ибо источник ее — сама жизнь и сама правда, и ею руководит дух всего лучшего, о чем мечтали, думали, что переживали и что было создано на памяти людской».

Масштабность литературы определяется тем, какие задачи ставит перед нею современная эпоха. Литература, подымающаяся до социалистического реализма, имеет возможность охватить действительность во всей ее сложности, показать не только торжество и победу, но и все то трагическое, через которое мы проходим. «Мы достаточно мужественны, чтобы посмотреть в лицо действительности, даже когда она для нас мучительна, когда она наполняет нас страданием»,— пишет Бехер там, где он говорит, что современная немецкая литература должна обратиться и к теме гибели Эрнста Тельмана.

Сама проблема реализма, на всем протяжении истории связанная с проблемой человека, в условиях социалистического общества приобретает глубоко гуманистический смысл. «Реалистическое» становится равнозначным «подлинно человеческому», и становится бесспорным то, что «реалистическое раскрытие есть высшая форма художественного выражения, форма подлинно художественная, подлинно человечная».

«Задача всего искусства, задача великого художника — воссоздать человека в целом», и это есть основное требование, предъявляемое к литературе социалистического реализма. «Поэтичность самой действительности социалистического общества открывает совершенно новые возможности для поэзии — в возникающем здесь царстве Человека и поэзия будет находиться в своем собственном царстве». Человек как «покоритель времени» все больше и больше вступает в кругозор современной литературы.

И речь идет, конечно, не о какой-либо «чрезмерной героизации», а о раскрытии подлинной действительности.

Бехер постоянно обращается к Ленину, ищет и находит у него ответы на самые сложные проблемы, которые перед ним стоят. Но Ленин для него не только величайший мыслитель, Бехер с поэтическим вдохновением говорит об «образе советского человека, воплощенном в Ленине, сформированном им». Это образ «Нового человека, который рисовался в прекрасных мечтах человечества», это подлинный «покоритель времени», к изображению которого только подходит социалистическая литература.

И если в условиях буржуазного общества писатель так часто испытывает муки от сознания того, что «действительность в высшей степени непатетична», и ищет спасения в иллюзиях, которые всегда тщетны, то «общество, неуклонно освобождающееся от убожества, требует пафоса и создает почву для подлинной патетики».

Бехер хорошо знаком с ленинской теорией двух культур, приводит знаменитые положения и постоянно руководится ими в противопоставлении двух направлений современного литературного развития, защищая социалистическое, передовое, новое и развивая наступление против упадочной культуры буржуазного мира, стремящейся выдать свое разложение за нечто сверхсенсационное.

С целью показать, что подлинный реализм изображения очень далек от натуралистического «копирования» действительности, он приводит знаменитое изречение Либермана: «Чтобы нарисовать яблоко, которое на столе, его нужно рисовать так, как будто оно парит на один миллиметр над столом». Если этот либермановский миллиметр не уловлен, не будет соблюдена и реальная перспектива. И в этом напоминании о либермановском миллиметре смелость и окрыленность подлинного реализма сопоставлены с ремесленническим убожеством, старающимся придать изображению внешнее сходство.

С позиций социалистического реализма, способного охватить всю сложность современного мира, Бехер рассматривает те псевдоноваторские претензии, которые так шумно рекламируются в буржуазном мире. И литературный распад «в ницшеанском варварском смысле», который до сих пор еще дает о себе знать, и наисовременней-

ший Микки Спиллейн, уголовные романы которого являются характернейшим примером вырождения литературы, превращения ее в проповедь убийства, насилия, кровожадности, и другие явления, в которых находит свое выражение процесс обесчеловечения, идущий все дальше и дальше, все это является предметом «хирургического» исследования.

Во «Власти поэзии» содержится и «тема ФРГ», тема другой Германии, где литература существует в совсем иной атмосфере, чем в социалистической Германии. Это «атмосфера психоза», где господствует умонастроение, представляющее какую-то «отвратительную смесь жадности к жизни и страха», где аморальность проникла во все поры общественной жизни. Резко обозначенный контраст двух Германий придает суждениям Бехера об общенациональном значении строительства социалистической культуры в ГДР глубочайший смысл.

5

Заключительная часть тетралогии — «Поэтический принцип».

Широчайшая перспектива социалистической литературы нашего времени, всемирно-исторический масштаб этой литературы, взаимодействие между советской литературой и литературами других стран социалистического мира, место литературы ГДР в этом процессе и все насущные проблемы развития передовой немецкой литературы составляют первый план книги, и мы видим, как новая эстетическая концепция возникает на основе стремительно накапливающегося богатейшего творческого опыта.

«Мы слишком мало теоретизируем, раздумываем, философствуем»,— говорит Бехер, имея в виду, что обобщение этого огромного опыта запаздывает и сама задача теоретического обобщения в высшей степени актуальна.

Литература социалистического общества должна «создать для себя новые теоретические законы», которые имеют в своей основе ленинскую теорию отражения и которые способны охватить все то, что предстает перед литературой в исторический момент, когда она «присутствует при основании нового человеческого порядка».

В такой момент «создание великой литературы» является исторической необходимостью.

Характернейшей особенностью социалистического реализма является то, что он в состоянии «открыть завтрашний день в сегодняшнем», и эта небывалая возможность столь «глубокого, всестороннего эстетического завоевания мира» налагает на писателя огромную ответственность за участие в переустройстве мира.

Социалистический реализм проницателен не только по отношению к будущему, но и к прошлому. Рикарде Хух принадлежат слова: «Кто оглядывается назад — признает себя побежденным»; с ними нельзя согласиться, ибо писатель, уверенно идущий вперед, должен оглядываться на прошлое, соизмерять свои творческие поступки с великой исторической традицией.

«Дело писателя — художественно проникнуть в новые области нашей жизни». В социалистическом смысле это нечто более сложное, чем выполнение старого уитменовского совета. И прямо-таки ошеломляющее преображение действительности, которое происходит на глазах у художника, надо рассматривать как «процесс, полный противоречий и конфликтов», что требует особой творческой сосредоточенности, высокой идейности, прозорливости. «Нужно иметь мужество сказать то, что необходимо, и нужно иметь мужество не иметь мужества сказать то, что необходимо».

Подчеркивая постоянно, сколь существенна для социалистического реализма его способность проникнуть в будущее, автор возводит это свойство к революционной сущности нового творческого метода: «О будущем может говорить только тот, у кого оно есть, и только у того есть будущее, кто в состоянии видеть то, что обычно называют перспективой, а она в свою очередь является выражением идейной концепции».

Проблематика формы в заключительной части тетралогии занимает особенно важное место. Прежде всего, это диалектика нового содержания и соответствующей формы. «В распоряжении нового,— говорит Бехер,— множество различных способов для того, чтобы возвестить об этом новом и претворить его в жизнь». И далеко «не всегда содержание может породить новую форму» — новое может прийти и в уже существовавшей до него форме. Бехер категорически отвергает мысль о том, что новое начинается с формы — оно всегда заключено в содержании, а изменение форм «есть очень сложный процесс взаимопроникновения, который богаче фантазий, хитрее

абстрактных спекуляций и надуманных антагонизмов».

В частности, все большее значение приобретают в развитии новой литературы «жанры во всем их многообразии». Бехер придает процессу новообразования в области жанров огромное значение, поскольку «законы искусства, находящие свое выражение в существе литературных жанров», вступают в определенное отношение с теми «новыми измерениями, новыми критериями», которые устанавливает социалистическое литературное движение, и весь процесс развития новой литературы с этим неразрывно связан.

«Жанры встают и предъявляют свои требования». Изучая этот процесс возникновения новых и изменения ранее существовавших жанров, мы не только обогащаем теоретическую мысль, но и помогаем литературе двигаться вперед.

Развитие и укрепление социалистического реализма не может не встречать враждебного сопротивления. Буржуазная культура цепко держится за свою гегемонию и в противовес социалистическому реализму выдвигает целый строй исключающих его эстетических концепций, иногда открыто агрессивных, иногда замаскированных под «нейтральность».

Распространяющееся в определенных кругах мнение, что «для современного искусства характерен отказ от деталей», неприемлемо для социалистического реализма, ибо оно продиктовано сознанием творческого бессилия и неспособности охватить действительность во всем ее многообразии. И неизбежно «бездетальное целое оказывается не целым, а абстракцией». Подобный страх перед деталью может испытывать только упадочное, утратившее жизненность искусство.

«Пренебрегать деталью — значит противоречить не только художественной закономерности, но и гуманистическому принципу».

Рядом с этим надо поставить столь же остро и глубоко аргументированные возражения Бехера против другой заимствованной с Запада моды: «культ фрагмента в современном искусстве». Это также результат внутренней опустошенности — с социалистическим реализмом этот культ ни в какой мере не может согласоваться. Это положение далеко зашедшего духовного кризиса, и «эпоха, сама себя именующая эпохой фрагментарного», ничем другим не будет отмечена, кроме распада и уничтожения художественных ценностей. «Но эта эпоха не наша, она противостоит нашей эпохе, ибо мы мечтаем о совершенстве и как раз созданием совершенного порядка претворяем в жизнь образ совершенного человека».

Современный литературный распад принимает обличье модернизма, кокетничая со словом «современность». «Старое рядится в новое, чтобы его нельзя было выбить из его укрытий». Разложение заявляет о своих претензиях на новаторство. Но «только узколобые и близорукие люди могут сводить современное искусство к абстрактному искусству или сюрреализму». «Абстрактная или сюрреалистическая интермедия, разыгранная в искусстве нашего века, послужила, вопреки воле и без ведома ее авторов, лишь углублению художественного самопознания и утверждению реализма», поскольку это «много шуму из ничего» показало всю несостоятельность и пустоту громогласно провозглашенных обещаний.

Бехер обнажает природу пессимизма, который присущ модернистской литературе. Этот вошедший в моду отвратительный пессимизм ни к чему не обязывает, и эти «денди ужаса» щеголяют своим наигранным отчаянием безо всякого риска. Любой такой «пессимист слишком труслив для того, чтобы стать пессимистом по отношению к самому себе».

«Не нужно пугаться трагически-гротескных вывертов подобных лютых литературных мещан и бояться раскрыть суть этих кривляний, часто приводящих в бешенство: это не что иное, как последние судороги пораженного насмерть подлого мещанства».

Критика современных явлений модернизма сопровождается у Бехера и историческими экскурсами, особенно часто в историю экспрессионизма, где было достаточно вполне соответствующего современным вкусам ни к чему не обязывающего пессимизма. Знаменитое в свое время и сегодня уже ничего не говорящее «Светопреставление» Якоба Ван-Годдиса, экспрессионистское изуверство Готфрида Бенна, игра в эпатирующее возмущение, которая когда-то обманывала и самого Бехера,— все это напоминание тем молодым современным писателям, которые недостаточно разбираются в природе так называемого авангардизма.

В противовес духовному кризису, охватившему буржуазную литературу, писатель социалистического мира, участник великого созидания, создает положительные ценности. Он выступает перед «самим форумом мировой истории», и вся художественная концепция его творчества проникнута духом подлинных исканий, духом утверждения. Само понятие таланта приобретает «углубленный и расширенный» характер — это не только врожденные способности, но и большая культура воспитания, большая подготовка к выполнению творческой задачи.

Творчество социалистического писателя несовместимо с чем-либо поддельным, ненастоящим, фальшивым. Он не становится «имитатором чувств» и предпочитает холодной изолированности современного «маньеризма» «произведения, потрясающие душу». Речь идет о создании великой литературы, которая выступает «на сцене, означающей мировую историю».

Два замечательных немецких писателя, умерших в пятидесятые годы,— Эрих Вайнерт и Бертольт Брехт — помянуты как примеры величия, это вершины новой немецкой литературы, ее классика.

Народность была стихией социалистической поэзии Вайнерта, и ее «потрясающая душу» действенность была мерой ее художественных достоинств.

Творчество Брехта явилось великим социалистическим открытием, ознаменовавшим, что «будущее наступило, начался грядущий век». Творчество Брехта принесло бесконечно много нового и уже становится классикой. «Сила мира, сила рабочего класса, социализма дали творчеству Брехта сознание силы, полноту силы, могущество силы, и оно излучает неодолимую мощь».

В основе всего созданного им лежал «социалистический принцип, которому он служил», и его творчество представляет одну из самых значительных побед этого великого «принципа», которому служит и теоретическая тетралогия Бехера.

■

Словами самого Бехера можно сказать, что «присутствие Горького» постоянно чувствуется на всем пространстве его теоретического труда. Но это также и «присутствие» Ленина, который так много дал немецкому поэту и мыслителю.

Охватывая взором достигшее такого масштаба последнее произведение Иоганнеса Бехера, этот исторический документ современной литературы, мы убеждаемся, с какой силой проникновения запечатлены на его страницах этапы большого идеологического сражения. Победа нового во всемирной литературе показана здесь не только в поразительных по своему значению результатах, но и в самом ходе схватки, в самом процессе утверждения. Поэтому критика буржуазного литературного распада занимает в тетралогии важнейшее место, и вся потрясающая конкретность нового воспринимается с особой наглядностью.

Ленинская концепция двух культур, из которой исходит в своих обобщениях Бехер, дает ему возможность показать все напряжение и всю ожесточенность борьбы внутри каждой национальной культуры буржуазного общества, борьбы, исход которой определяется не теми или иными случайными обстоятельствами, а всем процессом исторического развития современности.

Бехер стремился проложить широкий путь новому в немецкой литературе, и он никогда не отделял особо трудных и особо сложных задач национального развития немецкой литературы в условиях разделенной Германии от современного состояния всемирной литературы.

В 1956 году, на Четвертом съезде немецких писателей, Бехер сказал, обращаясь к тем, кто противопоставляет социалистическому реализму соблазны декадентского распада: «Мы, немецкие писатели, научены тяжелым и горьким опытом нашей истории, и мы не позволим себя одурачить, не пойдем на поклон к идолу безжизненного, бездушного, обесчеловеченного искусства».

Эта отповедь сторонникам эстетического компромисса между реакцией и прогрессом, столь же неприемлемого, как и всякий другой идеологический компромисс, проникнута чисто бехеровской уверенностью в силах литературы, которой принадлежит будущее.

«Мир, думающий о своем конце, это уже не мир человека, в мире, который погружен в постоянное обдумывание своего конца, не остается пространства для человеческого существования».

Этот контраст мира без будущего и мира, который полон живого интереса к будущему, постоянно возникает в «Опытах».

Впечатляющей особенностью тетралогии является активность ее отношения к текущим явлениям литературы. Бехер всегда

стремился оказать своими оценками и соображениями прямое воздействие на современное литературное развитие. Автор ставит своей задачей внушить новой немецкой литературе уверенность в своих силах и научить ее правильному отношению к великому наследию классики, из которого должно извлечь драгоценнейший его опыт, научить подлинной диалектике новаторства, прямо связанного с новой действительностью, и непримиримо враждебному отношению к модернистским обманам.

Бехер выступает как основоположник немецкой литературы социалистического реализма, и своей неустанной работой ради мудрого и проницательного обобщения он четко и точно наметил магистраль ее развития *.

Своим поэтическим творчеством и своими теоретическими работами Иоганнес Бехер послужил не только победе социалистического реализма в немецкой литературе, но и его широкому распространению и развитию во всемирном масштабе. Историческая закономерность тех глубинных изменений, которые совершаются в наше время во всемирной литературе, раскрыта в «Тетралогии» с большой силой обобщения и прозорливостью, делающими этот последний труд Бехера достойным продолжением и развитием того, что совершено было для оформления теории социалистического реализма Горьким.

---

* Вышедшая в 1962 году обширная антология «Иоганнес Р. Бехер. О литературе и искусстве» («Über Literatur und Kunst») содержит ряд более поздних работ, а также некоторые работы, предшествовавшие «Опытам» или не включенные в них, еще раз свидетельствуя о том, какой огромный размах имели труды Бехера в области теоретических и исторических проблем литературы. К сожалению, в этом издании тетралогия разъединена и разбросана по множеству рубрик, и читатель лишен возможности представить ее как единое целое.

С. ЛУРИ

США: НОВЫЕ КНИГИ, НОВЫЕ ЧИТАТЕЛИ

Вопрос — что сейчас читают в Соединенных Штатах — надо несколько конкретизировать: кто и что сейчас читает в Соединенных Штатах. В противном случае любой ответ, содержащий интересную информацию, будет неполным. В Америке, разумеется, всегда была и сейчас существует категория вдумчивых, понимающих и осведомленных читателей, которых волнуют судьбы отечественной литературы и ее деятелей. Новое же в культурной жизни Америки состоит в том, что все более и более широкие круги читателей, не отличавшихся прежде особой разборчивостью, начинают относиться к чтению по-другому. Раньше они хватались за первую попавшуюся книгу, лишь бы это была беллетристика, и при этом их интересовал не ее автор, а прежде всего сюжет — детективный, любовный, порнографический, сюжет знакомого фильма (причем нередко — к собственному удивлению — узнавали, что фильмы снимаются по книгам).

Вот факты. Раньше Эрнеста Хемингуэя в Америке читала по преимуществу интеллигенция, студенты, любители настоящей литературы. Сейчас его книги читает широкая публика. Последние четыре месяца «Праздник, который всегда с тобой» Хемингуэя неизменно возглавлял список бестселлеров. Сейчас «Праздник, который всегда с тобой» по-прежнему стоит в списке бестселлеров, но уже не под номером первым. Первое место заняла «Моя биография» Чарльза Чаплина.

Американская критика не единодушна в оценке этой очень интересной книги. В большинстве отрицательных отзывов подвергается сомнению способность Чаплина писать книги. Одни это делают из соображений политических. Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности, которая организовала травлю Чаплина и в конце концов добилась по сути дела его изгнания из Соединенных Штатов, не может простить ему титула, который он сам себе присвоил. «Я — поджигатель мира»,— заявил Чаплин.

Другие толкуют об отсутствии у Чаплина литературного таланта. Это по меньшей мере смешно! Почему человек, который сам себе и сценарист, и композитор, и режиссер, человек, создавший всеми любимого маленького Чарли с шаркающей походкой, дергающимися усиками и вертящейся тросточкой, должен быть к тому же и великим писателем? Более того, ведь лишь в своих последних фильмах Чаплин заговорил, а до этого он хранил красноречивое молчание.

Безупречна или нет в стилистическом отношении «Биография» Чаплина, но чтение ее во всяком случае доставляет огромную радость. Особенно запоминаются главы о детских годах в Лондоне. Это не только увлекательный рассказ о жизни Чаплина; мы проникаем во внутренний мир знаменитого «маленького бродяги». Главы о детстве рисуют мир бедности, лишений и жестокости, о котором — по крайней мере автор этих строк! — читал лишь в классических творениях Диккенса.

Включение автобиографических произведений Чаплина и Хемингуэя в список бестселлеров особенно знаменательно, если учесть, что эти книги не входят в раздел беллетристики, то есть относятся к той категории книг, которую раньше в США читали очень мало.

Пожалуй, наиболее убедительным доказательством того, что необычно много американцев начинают интересоваться писателями своей страны, является сенсационный успех испепеляющих душу книг бле-

стящего в своей гневной силе обличения писателя-негра Джеймса Болдуина. Книги Болдуина расходятся в миллионах экземпляров. Их покупают не только в книжных магазинах и в университетах. Их продают на станциях метро, в табачных лавочках, газетных киосках, универсальных магазинах. И везде их выставляют на видном месте, потому что, по словам одного продавца универсального магазина, «если это книга Болдуина, ее быстро раскупают. Его имя знают все». Продавцу и в голову не могло прийти, какой иронией прозвучали эти слова: одна из самых горьких, пронизанных самоанализом книг Болдуина, где он стремится выразить себя как личность, как негр, как художник, называется «Никто не знает моего имени».

Хотелось бы написать, что в список американских бестселлеров включены только талантливые книги. Но это не так. Надо иметь в виду, что список бестселлеров может использоваться и используется некоторыми издателями и книготорговцами для того, чтобы продвинуть ту или иную книгу.

Так, например, первым номером в новейшем списке бестселлеров по беллетристике стоит роман «Герцог» очень одаренного писателя Сола Беллоу.

«Герцог» — шестая книга Беллоу. Мне трудно в немногих словах изложить сюжет и тему этого произведения, потому что в известном смысле в нем нет ни того, ни другого.

Мозес Герцог — преуспевающий профессор. У него есть деньги, уютный дом, красивая жена, дети, которых он любит. И вот, по непонятным причинам, он внезапно уезжает, оставляя все, и отправляется на поиски неведомо чего. И по мере того как он ездит, пересаживается с поезда на поезд, убегая от своих несуществующих демонов, он пишет письма, множество писем — семье, друзьям, видным общественным деятелям, людям, которые давно умерли... Пишет и не отправляет. В письмах много фраз на изысканном французском языке, но от этого смысл их не становится яснее. Настойчиво повторяются в письмах порнографические и клинические описания, что также не помогает читателю понять, куда бежит Герцог, куда он хочет отправиться, предаваясь сожалениям по поводу надвигающейся старости.

В известном смысле роман начинается нигде и кончается нигде. И тем не менее «Нью-Йорк таймс» называет «Герцога» «шедевром». «Нью-Йорк геральд трибюн» заявляет, что в лице автора «Герцога» Америка наконец получила писателя, которому по плечу занять место ушедших от нас Уильяма Фолкнера и Эрнеста Хемингуэя. «Сатердей ревью» называет Беллоу «ведущей фигурой современной американской литературы». «Чикаго трибюн» объявляет, что «этот роман написан в великой традиции Толстого».

Почему же этой книге возносят хвалу? Выдвижением подобных книг хотят противодействовать тенденциям гуманизма, реализма, активного вмешательства в решение насущных проблем, стоящих перед американским народом. Подтверждением тому, что эти выступления — часть целой кампании, является тот факт, что за один день только «Нью-Йорк таймс» и «Геральд трибюн» (не считая других газет) поместили по восемь рекламных объявлений, призывающих покупать и читать эту «самую замечательную» книгу нашего времени.

Но, как говорил великий Авраам Линкольн, можно дурачить некоторую часть народа все время и весь народ некоторое время, но нельзя дурачить весь народ все время. Далеко не вся американская критика проявляет энтузиазм по поводу «Герцога». Одна кливлендская газета (штат Огайо) написала: «Герцог пустился в плавание по океану моральной разнузданности. Выбитый из колеи неудачами личной жизни, он дошел до изучения социальной значимости понятия «ничто».

Почему же я сказала выше, что Беллоу — талантливый писатель? Потому что, когда он забывает о том, что ему надо быть античеловечным и непонятным, он с блестящим мастерством описывает города Америки и Канады, которые хорошо знает, и людей, которые там живут.

Крайнее презрение Беллоу к обычным людям подтверждает также постановка на Бродвее его первой (и пока единственной) пьесы, которая совпала с выходом в свет «Герцога». Это — просто бессмыслица, пьесу невозможно понять. К счастью, шла она лишь десять раз, в основном при пустом зале.

Но вот другого автора «антикниги», о которой также много говорят, никак не назовешь талантливым. Речь идет о «Нова Экспресс» Уильяма Бэрроуза, который с гордостью называет себя гомосексуалистом и наркоманом. Его «книга» — это сплошная тарабарщина, написанная на языке, созданном его больным воображением. В ней есть такая фраза: «Все внутреннее поднялось и шло из него, как вой, который никому не заглушить». «Нью-Йорк таймс», осуждая эту книгу, задает по этому поводу вопрос: «Так ли уж необходимо нам быть знатоками рвотного процесса?» В то же время Терри Саузерн, блюститель сомнительной нравственности и вкусов невысокого пошиба, написал в «Нью-Йорк геральд трибюн», что Бэрроуз — неподражаемый писатель, по сравнению с которым «Хемингуэй выглядит как дилетант».

Ну, хватит об этом.

По-прежнему пишет Джон Чивер. Его известные романы «Скандал в семействе Уопшот» и «Хроника семейства Уопшот» печатаются в газетных приложениях. Это интересные книги. Автор знакомит нас с неким маленьким городком Новой Англии, показывая слабости, предрассудки, глупость его обитателей. Написаны книги хорошим языком и чаще всего с добрым юмором. Чаще всего, но не всегда: порой леди и джентльмены, которые очень серьезно относятся к самим себе, к своим бесполезным занятиям и маленьким греш-

кам, выглядят такими, какие они есть на самом деле,— людьми, ведущими паразитическое существование. Чивер не пишет трактатов и проповедей. Он пишет романы. Очень хорошие романы.

Среди писателей, произведения которых пользуются сейчас в Америке популярностью, назовем еще Гора Видаля и Луиса Очинклосса. Их последние романы привлекают много читателей.

Гору Видалю сейчас тридцать восемь лет. К тридцати годам он написал восемь романов, имевших успех. Видаль — автор двух пьес, тепло принятых зрителем. По его пьесе «Самый достойный» (острая сатира на политические сделки, заключаемые в Америке при выдвижении кандидатов на выборные посты) сделан одноименный кинофильм, который пользуется большим успехом. Сценарий написал сам автор.

Видаль прекрасно знает политическую жизнь Америки. Он вырос в семье государственных деятелей, в числе которых был сенатор от штата Оклахома. Видаль был близким другом покойного президента Джона Кеннеди. Недавно, после многих лет молчания, Видаль опубликовал роман «Юлиан» — большое историческое полотно, рисующее жизнь и эпоху римского императора IV века Юлиана Отступника. Роман написан в форме автобиографических заметок самого Юлиана, сопровождаемых остроумными комментариями двух его наставников в области греческой философии. Далекое прошлое представлено в «Юлиане» очень живо и свежо. Увлекательно и с глубоким знанием материала описаны картины сражений, в которых нашли выражение честолюбивые устремления Юлиана — стать вторым Цезарем в Галлии и вторым Александром, отправляющимся завоевывать Индию. Но самое интересное, как Видаль трактует антихристианскую политику Юлиана: он видит в ней безуспешные попытки преградить путь потоку насилия и фанатизма, которым молодая христианская церковь того времени хотела затопить мир. Гор Видаль откровенен в своем сочувствии усилиям Юлиана.

«Юлиан» — объемистая дорогая книга и отнюдь не «легкое чтение». Тем не менее ее с увлечением читают очень многие.

Луиса Очинклосса некоторые называют Джоном Голсуорси современной американской литературы: он пишет романы о нравах американской буржуазии, которую хорошо знает, понимает и, пристально рассматривая критическим взором, описывает с большим мастерством и изяществом.

Новый роман Очинклосса «Ректор школы «Джастин» знакомит нас с фешенебельной частной школой для мальчиков в Новой Англии. Здесь подающие надежды сыновья американских крупных буржуа готовятся для поступления в Гарвардский, Йельский и им подобные университеты и для будущей деятельности в высших сферах американского капитализма. Роман рассказывает об учениках и педагогах «Джастин» (так называется школа), о событиях школьной жизни. Он проливает свет (и в этом самый главный его смысл) на настроения юной элиты капитализма. Автор также видит сомнения и горести части богатых юношей, которые не только богаты, но и интеллигентны и не лишены способности тонко чувствовать. Школа «Джастин» — весьма прозрачный намек на школу, в которой мальчиками учились Франклин Д. Рузвельт и Джон Кеннеди.

Что еще читает Америка?

Очень много книг (не менее 14) об убийстве президента Джона Кеннеди. Далее — «Невидимое правительство» Дэвида Уайза и Томаса Росса, книга, содержащая критику деятельности Центрального разведывательного управления. Тираж ее необычайно велик для такого вида литературы — «небеллетристики».

Мы рассказали о наиболее известных сейчас американских писателях и о нескольких интересных книгах, которые читают американцы.

Нью-Йорк

В БУДАПЕШТЕ ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ»

Конференция «круглого стола» международного ПЕН-клуба, происходившая в октябре прошлого года в Будапеште, собрала значительное количество участников и гостей — более 100 писателей из 30 стран. Венгерский ПЕН-клуб, как и вся общественность республики, приветливо встретил зарубежных литераторов и создал самые благоприятные условия для их работы. Полагаю, здесь уместно вспомнить, что после известных событий осени 1956 года венгерский ПЕН-центр под натиском реакционных кругов исключен из международного ПЕН-клуба. Спустя несколько лет он был принят обратно — при сопротивлении некоторых деятелей того же политического толка. Эта «предыстория» по-своему освещает факт проведения конференции «круглого стола» именно в Будапеште, ставший возможным вследствие инициативы венгерских писателей и положительного отклика на нее со стороны руководства международного ПЕН-клуба.

Вопреки предсказаниям недоброжелателей, социалистическая Венгрия предоставила возможность участия в конференции всем членам ПЕН-клуба, пожелавшим приехать на берега Дуная: так, в международной печати сразу же было отмечено, что в числе участников «круглого стола» были и некоторые венгерские литераторы, эмигрировавшие из страны в 1956 году и до сих пор занимающие по отношению к ней не слишком лояльную позицию. Как и все другие гости, они выступали в дебатах, общались с кем хотели и могли собственными глазами видеть сегодняшнюю жизнь венгерского народа. Можно было встретить на конференции и некоторых других так называемых «писателей в изгнании», в политическом плане занимающих, прямо скажем, недвусмысленно реакционную позицию. Правда, в литературных дискуссиях их голоса не прозвучали.

Советские писатели, как известно, не входят в ПЕН-клуб. Взаимному сближению, помимо всего прочего, до последнего времени препятствовали антисоветские тенденции некоторых кругов, представленных в этой международной организации. Но стремление установить плодотворные контакты с крупнейшим писательским коллективом, играющим столь видную роль в развитии современной мировой литературы, видимо, берет верх в политике исполкома ПЕН-клуба над устаревшими тенденциями и представлениями. Еще в 1960 году представители Союза писателей СССР были приглашены в качестве наблюдателей на XXXI конгресс международного ПЕН-клуба в Бразилии, но последовавшие затем оговорки и «разъяснения» в конечном счете свели приглашение на нет. В дальнейшем наши отношения с ПЕН-клубом на некоторое время осложнились после международной встречи писателей в Ленинграде, организованной Европейским сообществом писателей, когда в заявлениях ответственных деятелей Сообщества, направленных против антикоммунизма, руководители ПЕН-клуба усмотрели едва ли не покушение на «хартию» своей организации (многие члены Европейского сообщества одновременно входят в ПЕН-клубы). Но это — одна сторона дела, а есть и другая, и она заключается в растущем понимании деятелями ПЕН-клуба необходимости тех или иных контактов с писателями СССР, в осознании того, что без участия советских литераторов сам ПЕН-клуб, как указывал в свое время Б. Брехт, имеет довольно ограниченное значение.

Короче говоря, представители советской литературы были приглашены в качестве наблюдателей на конференцию в Будапеште. Союз писателей СССР принял это при-

глашение, и таким образом делегация в составе Г. Маркова, К. Симонова, В. Мачавариани, автора этих строк и литературоведа М. Салганик оказалась в просторных стенах венгерской Академии наук, где происходила конференция ПЕН-клуба.

Следует сразу же сказать, что политический климат на этой конференции был здоровым и в целом благоприятным для серьезного разговора на тему, обозначенную в порядке дня: «Традиция и новаторство в литературе нашей эпохи». Любителей политической демагогии, мастеров затасканных фраз, призванных «уязвить» социалистический строй и социалистическую литературу, здесь не нашлось, и это, несомненно, пошло на пользу дискуссии.

Нет надобности представлять здесь отчет о двухдневной работе конференции, а также о многих интересных встречах и беседах, происходивших вне ее программы. Ограничусь лишь краткими и наиболее общими впечатлениями от дискуссии да еще некоторыми попутными мыслями.

Писатели, принявшие участие в обсуждении проблемы традиций и новаторства в современной литературе, представляли разные идеологии и разные художественные направления. С трибуны конференции выступали, скажем, М. Бютор (Франция), чье имя связано со школой «нового романа», и В. Купер (Англия), отстаивавший реалистические традиции литературы, и Б. Дадье (Берег Слоновой Кости), связавший стремление «сохранить ценность человека» с существенно важной для его литературы фольклорной традицией, и А. Курелла (ГДР), убедительно говоривший о том, что «эпитета «подлинно современный» заслуживает новый реализм социалистических стран», реализм социалистический. Естественно, возникали споры по многим аспектам затронутых вопросов. Но одна характерная для этой дискуссии черта заслуживает быть отмеченной особо.

Венгерский еженедельник «Элет эш иродалом» в своем отчете о конференции справедливо пишет, что мысль о диалектической взаимосвязи и взаимозависимости традиции и новаторства высказывалась едва ли не большинством выступающих. По-своему ее выразили и К. Симонов («Традиции и новаторство — сиамские близнецы»), и венгр Г. Хегедюш («Современность может оказывать воздействие только в полном единстве с традицией»), и голландец В. Брандт («Между традицией и новаторством существует только кажущееся различие»), и англичанин У. Аллен («Традиция зависит от новшеств, но их следует подключить к традиции»), и гватемалец М. А. Астуриас («Мы должны уважать традиции, но все время обновлять их»), и представительница Югославии М. Алечкович («У великих новаторов нашей эпохи современность и традиция переплетаются»), и тот же М. Бютор («Нет современности без традиции, и нет традиции без современности»). Я привожу лишь наиболее «ударные» формулировки по газетному отчету. Ясно, что в понятия традиции, современности, новаторства здесь во многих случаях вкладывается далеко не одинаковое значение. Но уже само признание неразрывного единства этих понятий, которые столь часто противопоставляются в нынешней эстетической мысли Запада, говорит о трезвом, разумном подходе большинства участников дискуссии к одному из острых художественных вопросов современности.

И, пожалуй, главное, чем окрашены мои личные впечатления от дискуссии,— это тот убежденный, решительный протест против формалистического псевдоноваторства, который прозвучал в ряде выступлений наших западных коллег, в том числе тех, которые отнюдь не считают себя сторонниками социалистического реализма. «Когда мы употребляем такие слова, как «эксперимент», «новаторство», то мы, образно говоря, снимаем шляпу,— говорил в своем вступительном докладе к дискуссии о прозе видный английский романист В. Купер.— Однако иногда мне кажется, что мы снимаем голову... То, на что я нападаю,— это безголовый подход к новаторству, экспериментy». Писатель с горечью говорил о засилье в странах Запада чисто внешнего литературного «новаторства», подчиненного законам моды, рекламы и напоминающего французские велосипедные гонки, где победитель на очередном отрезке дистанции получает желтое трико, передавая его затем следующему. «Сейчас мода является большим противником искусства, чем когда-либо, она опошляет его, ограничивает новое внешними, эфемерными нововведениями. «Желтый трикотизм — современная чума». Самоценный формальный эксперимент, по мнению оратора, принес немалый вред современному английскому театру, где такие школы, как «абсурдный театр», «варварский театр», нередко пользуются официальной поддержкой. Что же касается современного романа, то здесь надо говорить не о кризисе жанра, а о кризисе формалистических способов его обновления. «Десять лет назад меня пригласили на одну дискуссию, темой которой был вопрос, действительно ли умер роман. Время показало, что на этот вопрос следует ответить отрицательно. Умер не роман, а своеобразная форма его обновления, которая сложилась в период между двумя войнами». В этом смысле, утверждает В. Купер, в современном антироманe «бедный старый авангард стал арьергардом».

Докладчик по драматургии Ж. де Беер (Франция) также вынужден был признать, что театр на Западе «все больше становится абстрактным искусством, в котором какая-то загадочная алгебра заменяет человека, его психологию, общество».

«Новый роман» и «новая техника» утонченно модернистского свойства разрушают литературу и образ человека в ней, утверждает председатель французского ПЕН-клуба Ив Гандон. «Новые писатели,— говорит он,— игнорируют общественного человека, и

в результате этот человек упрощается, обесчеловечивается. Спор происходит не между старым и новым, а между романом и нероманом».

«Новый роман», несмотря на очень сдержанное и даже как бы «примирительное» выступление М. Бютора, вызвал на конференции почти всеобщую критику. «Предметы не дали себя победить «новому роману», имеющему характер банального документа и натуралистической фотографии»,— говорил в своем выступлении бельгийский писатель и эссеист Д. Жиллес. Приведя высказывание Роб-Грийе о том, что его больше всего интересуют «оторванные слова», остановившееся время, предметы, лишенные функций, оратор сказал, что вопреки этому остаются в силе слова Гёте о задаче писателя: «Выражение существующего вовне мира при помощи мира, существующего внутри меня».

Не следует думать, конечно, что такое отношение к декадентскому лженоваторству было свойственно всем участникам конференции или что оно в каждом случае опиралось на принципиальное отрицание эстетики модернизма. В иных выступлениях реализм отождествляли с натурализмом и на этом основании делались выводы об опасности... со стороны реализма. Можно было услышать на конференции и заявления о том, что поэт адресуется не к обществу, а лишь к отдельной, неповторимой личности, и оправдания ни к чему не ведущих экспериментов, которые проводятся лишь на том основании, что литература не должна быть «ленивой». Странным образом в подобных рассуждениях — последнее из них принадлежит М. Бютору — упускалась из виду та истина, что «активность» или «леность» литературы определяются в первую очередь ее познавательной энергией и стремлением активно помочь человеку, а не трудностью или легкостью формы, которую она избирает.

Как уже упоминалось, в конференции принимали участие представители ПЕН-клубов из социалистических стран Европы. Их выступления внесли много ценного и важного в освещение проблемы, стоявшей в порядке дня. Если некоторые ораторы из стран Запада, рассматривая взаимоотношения традиции и новаторства, оставались преимущественно в сфере вопросов стиля, формы, языка, то представители социалистических литератур, вооруженные научной, марксистской методологией, ставили эти вопросы на прочную и реальную основу, определяемую жизненным содержанием искусства. Хорошо эта мысль прозвучала, например, в речах болгарских писательниц Л. Милевой и А. Каменовой, утверждавших, что поэтическое новаторство всегда является следствием: Уитмен, Маяковский, Вапцаров, конечно, обновили форму, но они хотели в первую очередь обновить не форму — они открывали новый поэтический мир. Подлинное обновление искусства обретает свой смысл и жизненную почву лишь в связи с обновлением общества. «...Мы сталкиваемся,— говорил в своем докладе о поэзии венгерский поэт Д. Ийеш,— с большой проблемой не только нашего совещания, но и всей нашей эпохи: может ли поэт найти отклик в народе? Может ли идти одновременно обновление искусства и общества? Общество отвечает: да. А искусство?» Искусство, помогающее обновлению общества, говорит словами Аттилы Йожефа: почет человеку! Д. Ийеш отмечает, имея в виду социалистическое искусство, что это такой огромный результат, перспективу и богатство которого сегодня мы даже сами не осознаем в полной мере.

Узкие проблемы формы и стиля в выступлениях многих представителей социалистических литератур приобрели широкое общеэстетическое значение, будучи тесно связанными с вопросами идейного содержания творчества, общественной позиции художника. О роли и призвании писателя в современном мире убедительно говорили румынская поэтесса М. Бануш, венгерский романист П. Вереш, чешский поэт и переводчик Л. Чиврны. И если в речах иных ораторов едва ли не самым существенным аргументом было «мне нравится» или «мне не нравится», то здесь чувствовался тот широкий и точный подход, который прочно и неотделимо связывает судьбы искусства с судьбами общества, с борьбой за социальный прогресс.

Потеря перспективы, «бесплодная ностальгия», возникшая в результате утраты веры в человечество,— вот в чем, например, видит венгерский литератор П. Надь причину «плохого настроения», отразившегося в хаотических и бесплодных поисках многих писателей Запада. Нельзя не согласиться, что такое объяснение весьма убедительно. И не случайно, что вопрос о вере в будущее, в социальный и нравственный прогресс человечества так или иначе вставал перед участниками конференции в их размышлениях о художественном новаторстве и традициях. Несколько неожиданно его повернула американская писательница М. Маккарти, обратившись к представителям социалистических стран с вопросом: почему только они способны верить в будущее человека? Почему они способны на это в большей мере, чем писатели Запада, хотя и те, и другие живут на одной планете? Предпосылку для ответа на этот вопрос можно было обнаружить уже в докладе французского писателя Ж. де Беера, говорившего, что подлинно великая литература — всегда в первую очередь утверждающая литература. Писателям социалистического мира есть что утверждать — вот в чем главное. И К. Симонов, может быть, наиболее убедительно ответил американской писательнице в той части своей речи, где говорил о впечатлениях от встречи с героями нашего очередного космического рейса, с которыми писатель беседовал сразу же по приземлении корабля «Восход». Обращаясь же непосредственно к М. Маккарти, советский писатель сказал: конечно, коммунисты не хотят присваивать веру в будущее только себе, «можно верить в различное будущее, но все же лучше верить в различное будущее, чем ни во что не верить».

Вдумчиво и принципиально подытожил дискуссию венгерский писатель И. Болдижар, отметивший, что главное значение для решения любых литературных проблем имеет вопрос об отношении человека к обществу. «Об этом,— сказал он,— может быть, мало говорилось в прямой форме, но эта мысль постоянно присутствовала на конференции». Все же, сказал И. Болдижар, в дискуссии не всегда ощущалось сознание того, что мы живем в атомную эпоху, когда человек может полностью уничтожить свой род. Борьба за предотвращение ядерной катастрофы, которой неминуемо стала бы новая война,— не только дело государственных деятелей, но и прямой долг писателей.

Следует отметить всеобщий интерес, который вызвало присутствие на конференции ПЕН-клуба — впервые в его истории — делегации советских писателей. Желание руководства ПЕНа укреплять и улучшать отношения с Союзом писателей СССР было надлежащим образом подчеркнуто и в дружественных беседах, которые имели с советской делегацией председатель международного ПЕН-клуба В. Ван Фрисланд и генеральный секретарь ПЕН-клуба Д. Карвер.

Л. Новиченко

ЖИВОЙ С ЖИВЫМИ

Путешественник, впервые приезжающий в ГДР — даже если у него и нет специального интереса к литературе,— сразу же встречается с именем и наследием Иоганнеса Р. Бехера. На его слова, как известно, написан Государственный гимн республики. Строки стихов Бехера, тексты из его работ о литературе и искусстве глядят на нас со стен общественных зданий, выставочных залов, из витрин книжных магазинов, цитируются в газетах и политических речах — и входят в сознание граждан ГДР начиная со школьных лет.

...За годы фашистской диктатуры в Германии советские издательства выпустили двадцать четыре книги Бехера на языке оригинала. В Германии в те годы имя поэта было предано забвению. Его голос доходил до сограждан лишь изредка — через радиопередачи, которые немецкие антифашисты слушали с риском для жизни, через стихотворные листовки, которые во время Отечественной войны разбрасывались с самолета над местами расположения гитлеровских войск.

В эмиграции Бехер, как известно, написал некоторые из наиболее значительных своих произведений — книги стихов «Искатель счастья и семь тягот», «Сонеты», «Второе рождение», роман «Прощание», драму «Зимняя битва». После разгрома фашизма все это впервые стало достоянием немецких читателей. Впрочем, всех ли немецких читателей? В Западной Германии Бехера до сих пор знают плохо или почти не знают. В ученых трудах и популярных пособиях по истории немецкой литературы, выходящих в ФРГ, крупнейшему германскому поэту XX столетия с поистине академической объективностью отводится когда пять, когда и целых десять строк, а иногда и ни одной...

Мне вспоминаются встречи с западными филологами на международном коллоквиуме по романским культурам в Бухаресте в 1959 году. Там в составе делегации ФРГ был старый, очень видный профессор-лингвист из Тюбингена, настолько эрудированный по части романской филологии, что он сумел даже, к удовольствию наших любезных хозяев, сочинить четверостишие в честь Румынии на провансальском языке. Но знает ли этот заслуженный ученый поэтов своего родного народа? Я невзначай сказала, что его город мне давно знаком по прекрасному сонету Бехера «Тюбинген, или Гармония». И тут на лице профессора, обычно благожелательно-любезном, обозначилась некая смесь недоумения и отчужденности: не знаю, мол, и знать не хочу!

Когда я была в ГДР в октябре прошлого года, мне рассказали, что западногерманские издательства совсем недавно впервые заинтересовались поэтическим наследием Бехера. Дело не в нем одном. Рост политического авторитета Германской Демократической Республики сказывается и в области культурных связей. В Западной Германии изданы или готовятся к изданию некоторые произведения современной прозы ГДР. В рабочем кабинете Анны Зегерс я видела несколько изящных томиков в белых обложках — собрание сочинений писательницы, выходящее в западногерманском издательстве «Люхтерханд». Кажется, и появление первого в ФРГ однотомника Бехера не за горами — давно пора.

В ГДР произведения Бехера еще при его жизни вошли в широкий читательский обиход. За шесть лет, истекших со времени его кончины, для увековечения его памяти сделано многое. К этой работе привлечены далеко не только специалисты-литературоведы. В мае 1961 года в здании Государственной оперы в Берлине было торжественно отмечено 70-летие со дня рождения поэта, выступили видные писатели, артисты, музыканты. Но больше всего мне запомнилось выступление большого объединенного хора школьников. Мальчики-подростки в синих блузах, девочки в пестрых летних платьях пели песни Ганса Эйслера на слова Бехера — «Когда рабочие и крестьяне...», «Песнь об ученье», «Мы изменяем мир»,— пели со вкусом и с любовью.

Все глубже идет научная разработка наследия Бехера. Еще в 1961 году в Иенском университете, где поэт некогда учился, была устроена конференция его памяти,

труды которой были изданы отдельным сборником. В 1964 году появились первые литературоведческие монографии о Бехере — книги Эрики Хинкель «Современность и традиция» и Хорста Хаазе «Германия в поэзии Бехера». Молодой филолог Эдгар Вайс защитил диссертацию на тему «Бехер и Советский Союз» — эта работа тоже скоро выйдет отдельной книгой. Готовится большое собрание сочинений Бехера в 18 томах — туда войдет много забытого, неизвестного и неизданного.

Перед теми, кто изучает и пропагандирует наследие Бехера, встают сегодня не лишенные сложности задачи. В ГДР Бехера знают широко и повсеместно; важно, чтобы его верно понимали, а главное — чувствовали. Важно, чтобы за государственным деятелем не пропадал поэт, а за теоретиком искусства — живая, неповторимая личность. Маленький коллектив энтузиастов, работающих в Архиве Бехера, прилагает все усилия к тому, чтобы автор Государственного гимна республики воспринимался читателями, и особенно подрастающим поколением, без «хрестоматийного глянца» и «бронзы многопудья».

Еще на конференции в Иене научный сотрудник Архива Эрнст Штейн, в прошлом учитель, говорил о том, как это существенно, чтобы облик поэта в школьном преподавании не оказенивался, не застывал, становился для молодежи привлекательным и понятным, а не величественно-недосягаемым. Штейн рассказал об опыте своих выступлений перед юношеской аудиторией. Ребят вовсе не волнует, когда им в сотый раз говорят, что Бехер был «великий поэт, великий борец, великий пример». А когда подростки слышат, что Бехер был не только «министром и писателем», но и страстным спортсменом — тут «мраморная статуя» или «гипсовый бюст» для них оживает, раскрывается с близкой им стороны... «Наверно, мы еще непозволительно мало сделали, чтобы показать молодежи поэта прежде всего как человека: пусть видят в нем не объект любования, стоящий на пьедестале, а человека нашего времени, который разделял нашу жизнь и участвовал в ее созидании.

Все это вспомнилось мне, когда я ходила по залам недавно открытого Музея Бехера в Берлине. Над ним немало потрудилась вдова поэта Лилли Бехер, заведующая Архивом Ильза Зиберт и Эрнст Штейн. Организаторам музея было бы, наверно, не так трудно добиться, чтобы для такой цели дали представительное здание в центре города. Но они решили иначе: музей должен быть там, где поэт жил после возвращения на родину,— в особнячке на Маяковски-ринг, 34. Пусть даже это помещение недостаточно просторно и находится на отлете, на некотором расстоянии от станций метро — беда невелика: важно, чтобы Дом Бехера носил отпечаток его личности. Ничего парадного, пышного, внешнего: пусть поэт предстанет перед современниками — а затем, быть может, и перед «товарищами потомками» — человечным и живым.

Внимательный посетитель может почувствовать этот замысел с первых же шагов. Осмотр начинается с репродукций трех картин. Это «Подсолнечник» Ван-Гога, «Улица на Монмартре» Утрилло и «Гроза над Толедо» Эль Греко. Рядом даны тексты Бехера, стихотворные или прозаические, относящиеся к этим картинам. Поэт-революционер сразу же раскрывается как человек, который тонко ощущал прекрасное и интересно, по-своему мыслил об искусстве.

Экскурсанты-школьники всматриваются в ученический аттестат Бехера — в книге посетителей есть даже запись группы подростков о том, что этот документ подействовал на них «ободряюще»; еще бы, там есть отметки далеко не отличные...

Разумеется, в музее широко представлено творчество Бехера разных периодов. Показаны издания, в которых он сотрудничал,— от органа левых экспрессионистов «Акцион», с которым поэт был тесно связан в годы первой мировой войны, до литературных журналов Германской Демократической Республики. Мы видим произведения Бехера, изданные в разные годы не только на немецком, но и на армянском, венгерском, китайском, итальянском, латышском, польском, русском, чешском, эстонском, японском языках.

Однако Бехер никогда не был «только» поэтом. В музее отражены разные этапы и стороны его общественной, политической деятельности. Рядом с фотографиями, иллюстрирующими юность поэта, выставлены документы о его участии в создании революционной студенческой группы в Иене. Выразителен снимок, где Бехер, министр культуры ГДР, приносит присягу президенту республики.

Во всех разделах музея поэт показан в окружении собратьев по литературному творчеству. Фотографиями, автографами, документами представлены ближайшие друзья и соратники Бехера — Анна Зегерс, Вилли Бредель, Бертольт Брехт... Многие материалы музея дают представление о работе Бехера как собирателя сил немецкой антифашистской интеллигенции. Мы читаем письмо Томаса Манна: «Глубокоуважаемый господин Бехер, большое Вам спасибо за дружеские строки... «Интернациональную литературу» я всегда раскрываю с живым интересом». Привлекает внимание номер газеты «Теглихе рундшау» от 11 октября 1945 года — там целая страница посвящена Гауптману. Бехер встретился с престарелым писателем и написал о нем большую статью под названием «Потонувший колокол».

После возвращения на родину Бехер многое сделал для того, чтобы привлечь к делу демократического обновления национальной культуры старых ее мастеров, травмированных долголетним прозябанием в гитлеровской Третьей империи. Отчасти именно в итоге этих усилий родились такие ценные книги-свидетельства, как «Пляска

смерти» Б. Келлермана и посмертный роман Ганса Фаллады «Каждый умирает в одиночку».

Тема дружбы с Советским Союзом сопутствует всей истории жизни поэта, раскрывающейся в залах музея,— это само собой разумеется, иначе оно и не могло быть. Мы перечитываем стихотворение «Привет немецкого поэта РСФСР», видим первое издание поэмы «У могилы Ленина». Бехер праздновал свое пятидесятилетие в Москве, мы видим приветствие, подписанное Алексеем Толстым, Фадеевым, Фединым... Видим фотографию дома в Лаврушинском переулке, где жил поэт, и дачу, где он проводил лето (не о ней ли говорится в известной его поэме «Деревянный дом»?).

Общая привлекательная черта экспозиции музея — ее лаконизм. Ничего лишнего. На небольшом, легко обозримом пространстве отобрано действительно важное, то, что может помочь посетителю лучше понять поэта, почувствовать своеобразие его личности, драматизм его жизненного пути.

Те, кто хочет изучить Бехера глубже, могут найти много ценного в его Архиве. Хочется особо отметить один из интересных неопубликованных документов, хранящийся там,— интервью, которое поэт дал корреспонденту берлинского радио 30 мая 1956 года. Здесь затрагиваются коренные вопросы художественного творчества, здесь высказаны любимые мысли Бехера о том, насколько благотворна для деятеля искусства связь с повседневной жизненной практикой, участие в ней. Здесь Бехер формулирует то, что он считал своим жизненным назначением: воплотить в поэзии «первую половину XIX века» — «всю проблематику, всю противоречивость этой половины столетия»... Он с присущей ему беспощадной откровенностью говорит о себе: «Мое творчество или, лучше сказать, мои работы прошли определенный путь развития, и я сам — итог длительного развития, а это развитие совершалось не без противоречий... Я человек очень противоречивый и богатый конфликтами — вплоть до того, что я наряду с некоторыми вещами, которые, мне кажется, удались, написал много такого, что мне не кажется удачным». Показательна для Бехера и эта бескомпромиссность самокритики, и утверждение, что его творческое развитие шло нелегким, сложным путем.

У нас иногда бытует школьное представление о том, что такой-то или такой-то крупный зарубежный писатель с такого-то времени «перешел на позиции» социалистического реализма. Стоит напомнить о том, что первые, старшие мастера социалистического реализма в зарубежных литературах не принимали новый метод в сложившемся виде, а участвовали в его созидании. Бехер по натуре своей не был из тех, кто приходит на готовое. Он отвергал эксперименты декадентского, формалистического характера, но сам всю жизнь экспериментировал, пробовал, критически (иногда даже слишком критически) пересматривал и перечеркивал уже сделанное — и пробовал снова. Он не боялся браться за крайне трудные задачи, даже когда не мог быть полностью уверен в успехе их выполнения.

Все это важно иметь в виду при оценке такого произведения Бехера, как поэма «Великий план», которая была им написана в 1931 году и инсценирована «Немецким театром» в Берлине летом 1964 года.

Мне памятны обстоятельства, при которых складывался замысел этой поэмы. Я слышала доклад Бехера «Угроза войны и задачи революционных писателей», произнесенный им на Международной конференции революционных писателей в Харькове в ноябре 1930 года. Заключительный раздел этого доклада назывался «За пятилетку — против военной угрозы!». Бехер говорил: «...Просто страшно подумать, как мало, как чертовски мало знаем даже мы, казалось бы интересующиеся этим вопросом, об огромном, неизмеримом, не имеющем прецедента в истории строительстве, происходящем в Советском Союзе. Наша ужаснейшая, катастрофическая ошибка в том, что мы до сих пор еще не научились и до сих пор не умеем конкретно, живо, непосредственно, простым языком, понятным для каждого, отобразить, объяснить, что там создается новый мир... Да, в СССР осушается огромное вековое болото. Его осушает 150-миллионная масса, работая с необычайным напряжением сил...»

В журнале «Литература мировой революции» была в свое время помещена фотография: делегаты Харьковской конференции осматривают строительство Днепрогэса. У подножия гигантской плотины, с которой еще не сняты леса,— маленькие человеческие фигурки. Даже через лупу не разберешь, где здесь Бехер, где Арагон, но они оба были там. Впечатления от поездки в СССР, от знакомства с его первыми великими стройками отозвались у Арагона в поэме «Красный фронт», а у Бехера — в большом эпическом произведении «Великий план».

Бехер считал самой главной своей задачей в этой поэме — рассказать немецкому читателю о советской пятилетке, объяснить, в каких героических трудах «создается новый мир». Он намеренно отказался от лирического «я» и постарался предоставить слово самим участникам событий. В ту пору в среде пролетарских писателей Запада еще имела хождение концепция, так сказать, анонимности героя. В поэме Бехера и строители пятилетки, и ее враги выступают чаще всего суммарно, как нерасчлененная масса. Очень легко, в свете сегодняшнего художественного опыта, подвергнуть этот давний эксперимент поэта строгой критике. Но в условиях Германии начала 30-х годов написание такой поэмы было новаторским и мужественным делом.

«Великий план» был поставлен в Берлине в театре «Юнге фольксбюне» за несколько месяцев до фашистского переворота. Спектакль был осуществлен в духе

тогдашнего немецкого «агитпроп-театра» как сценическая оратория с хоровой декламацией. Он имел успех у тех зрителей, для которых он предназначался,— у передовых рабочих и интеллигентов, у революционно настроенной молодежи. Известный поэт Стефан Хермлин, который 17-летним юношей видел эту постановку, свидетельствует, что она произвела на него сильное впечатление.

Однако сегодня нельзя ставить «Великий план» так, как он был поставлен свыше тридцати лет назад! Коллектив «Немецкого театра» во главе с режиссером Вольфом-Дитером Панзе нашел для «Великого плана» верное, современное сценическое решение.

В глубине сцены — гигантский портрет Ленина, перед ним — хор, сопровождающий действие. Острым углом на авансцену выходит треугольное возвышение. Сюда поднимаются поочередно участники отдельных сменяющихся эпизодов. По одну сторону треугольника — создатели пятилетки, по другую — ее противники. Западные милитаристы, белоэмигранты, антисоветские заговорщики обрисованы в гротескной манере, даны скорей как маски, чем как живые лица, они напоминают тех буржуев, которых рисовали когда-то на плакатах Моор или Дени. Театр как бы не хочет слишком детально всматриваться в лица врагов — он только напоминает зрителю о том, что они были и есть. Но зато образы строителей пятилетки даны с тщательной и любовной индивидуализацией — и в этом большая удача театра.

Перед зрителем встают разнообразные типы советских граждан конца 20-х — начала 30-х годов. Хозяйственники в гимнастерках, партийные активисты в слегка поношенных костюмах строгого покроя, молодые рабочие и работницы в спецовках, казахи, строящие Турксиб,— каждый из них имеет свой неповторимый облик, и каждый из них несет живые черты людей первой пятилетки, черты, дорогие и памятные моему поколению.

Надо сказать, что в спектакле участвуют первоклассные актеры, хорошо известные немецким зрителям и любимые ими. Инга Келлер, исполняющая главную роль в «Ифигении в Тавриде», Герварт Гроссе, играющий Шоу в «Милом лжеце», Хорст Дринда, недавно сыгравший Гамлета, видная артистка старшего поколения Эрика Пеликовски — все они здесь выступают в небольших эпизодах, находятся на авансцене в течение считанных минут. И все они вносят в исполнение своих маленьких ролей лучшие традиции немецкой реалистической театральной школы, высокую культуру чтения стиха. Стиль поэмы Бехера, аскетически суровый, несколько рационалистичный, приобретает в их исполнении теплоту и человечность интонаций.

Стоит особо отметить отдельные актерские удачи. Бурные аплодисменты вызывает Фридрих Хофбауэр, который играет старого крестьянина с Кавказа, впервые попавшего в большой город. Вольфганг Гейнц, один из ведущих артистов ГДР, кстати сказать, участник первой постановки «Великого плана», актер очень широкого реалистического диапазона (мне еще несколько лет назад посчастливилось видеть его в главной роли трилогии «Валленштейн», а потом слышать в его превосходном чтении толстовского «Поликушку»), веско и убедительно-сдержанно проводит совсем небольшую роль пожилого советского работника. Большой радостью для меня было снова увидеть на сцене Вольфганга Лангхоффа, давнего гостя и друга московских писателей: он очень умно, проникновенно произносит один из центральных фрагментов поэмы — монолог старого коммуниста «О восхождении на высокие горы», опровергающий рассуждения скептиков.

Именно когда я слушала этот монолог, мне стало особенно ясно: для зрителей ГДР то, что происходит на сцене,— далеко не только история! Для немцев тут дело вовсе не только в том, что они видят страницы прошлого Советского Союза, истоки того общественного строя, который сокрушил гитлеровский фашизм. Важнее, что у них возникают поводы сопоставить то, о чем они слышат со сцены, с хорошо известной им действительностью. Конечно, большие стройки ГДР осуществляются в совершенно иных исторических, да и иных технических условиях, чем в свое время строительство Днепрогэса или Турксиба. Но напряжение большой коллективной работы, которая делается в сжатые сроки, подчас в сложной обстановке для блага народа в целом, страны в целом,— это знакомо и строителям химкомбината «Лейна-II», и тем, кто возвел новые жилые районы в Дрездене, или Ростоке, или совсем недалеко от помещения «Немецкого театра» в Берлине, вокруг Александерплац... А когда на сцене возникают эпизоды из жизни семьи переселенцев, которая, убоявшись трудностей пятилетки, отправилась искать счастья в капиталистическом мире и жестоко просчиталась, по залу проходит легкое волнение. Тут возникают ассоциации очень актуального характера. Думается, что секрет успеха постановки отчасти именно в том, что прошлое перекликается здесь с современностью.

В последние годы общественностью ГДР уделяется много внимания традициям немецкой социалистической культуры. Это внимание глубоко оправдано — не только уважением к жизненному труду старых мастеров пролетарского искусства, но и насущными потребностями страны. Пример спектакля «Великий план» показывает, что обращение к традициям этого искусства может обогатить сегодняшнюю культурную жизнь республики.

Т. Мотылева

ПУБЛИЦИСТИКА

АРНОЛЬД КЕТТЛ

АНГЛИЙСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И МАРКСИЗМ

30 августа 1960 года Бертран Рассел давал по телевидению последнее из четырех коротких интервью, посвященных проблемам современного мира. Философу — видному представителю английской либеральной традиции — был задан вопрос о будущем. Что он думает о ведущих тенденциях и перспективах современного развития человечества? Какие из них внушают ему надежды, что вызывает тревогу? Ответ Рассела занял пятнадцать минут. Примерно двенадцать из них было отдано сомнениям. Бертран Рассел говорил о мире, в котором, на его взгляд, скорее всего возобладают регламентация и бездушие. Нарисованная им картина напоминала созданный Олдосом Хаксли, а то и почти оруэлловский образ мира управляемой генетики, мира, подчиненного бюрократам и ученой элите, в котором не будет места ни личной свободе, ни проявлениям индивидуальности, где доброта, терпимость, блеск таланта, свободная игра воображения неким роковым образом утратят какой бы то ни было смысл и значение. Эти свои опасения, этот пессимизм, выраженный с изысканной отточенностью, столь не похожей на невротический сумбур навязчивых кошмаров Оруэлла, Рассел относил хотя и не всецело, но в основном за счет коммунизма. Я не хочу сказать, что он позволил себе вульгарную антикоммунистическую тираду... Но было совершенно очевидно, что, при всей готовности посвятить себя делу борьбы против ядерной войны, при всех симпатиях к советским предложениям о разоружении, он находится во власти представлений о коммунистическом обществе как антитезе всего, что дорого интеллигенту-либералу.

Затем, когда до конца интервью оставалось около трех минут, философа спросили, не хочет ли он в заключение выступить с обращением к человечеству. Он ответил утвердительно. И произнес исполненные красноречивой убежденности слова о своей надежде: в недалеком будущем на земле утвердится мир, где человек больше не будет угнетать человека, мир изобилия, в котором у людей будет столько свободного времени, что они смогут полно проявить все способности и таланты, мир торжества науки, служащей разуму, самый совершенный, богатый, счастливый мир из всех, которые когда-либо знала история человеческого общества.

Эти последние фразы были произнесены со спокойной уверенностью, можно сказать перечеркивавшей облик 1984 года, нарисованный в этом же выступлении. С каким же волнением слушал я, коммунист, старого философа-либерала, воспроизведшего в словах, емкости которых мог бы позавидовать любой марксист, не что иное, как прообраз коммунистического будущего!

Найдется ли более сильный аргумент в пользу той истины, что коммунизм отнюдь не только не являет собой, как изображают его противники, антитезы гуманистическим идеалам, но, наоборот, гуманистическая традиция, если она подлинна, должна непременно привести к коммунизму.

Возникает законный, хотя и грозящий несколько упростить чрезвычайно сложную проблему вопрос: почему же в таком случае Бертран Рассел не коммунист, а скорее противник коммунизма? Или — еще шире — почему многие деятели культуры Запада, включая самые выдающиеся, самые искренние таланты, склонны относиться к социализму — если только речь не идет о туманной, далекой от реальной практики концепции — скорее с подозрением, чем с надеждой?

Телевизионное выступление Бертрана Рассела может послужить не только интересным зачином для размышлений по поводу этого более общего вопроса, оно, можно сказать, окрашивает в живые тона самое существо, самую природу проблемы.

Ибо если верно, что либерально мыслящая интеллигенция Запада сегодня отвергает коммунизм, то столь же справедливо было бы сказать, что надежды свои она связывает тем не менее именно с коммунизмом: утверждать только первое либо только второе было бы равно ошибочно. Характерно, что Рассел двенадцать минут рассуждал категориями оруэлловского скептицизма

и лишь в три уместил оптимистические предвидения. Но не менее знаменательно, что именно эти три минуты по-настоящему убеждали и впечатляли. Хорошо было сказано в свое время о последней книге «Путешествий Гулливера»: вся правда на стороне изящных лошадей, однако жизнью распоряжаются йеху. Кстати, даже одна эта формула позволяет увидеть, что гуманизм Свифта в конечном счете не приводится к одному пессимизму. Подобным образом убежденность гуманиста, которую ощущаешь за нарисованным Расселом прообразом общества, коммунистического по самой своей сути, на поверку действует сильнее — эмоционально и интеллектуально,— нежели столь элегантный и в то же время неглубокий анализ бедственного положения, угрожающего человечеству, отданному на растерзание машинам, науке, бюрократии — дань типично либеральному образу мышления со всеми комплексами его опасений и страхов, со всей его поверхностностью.

Гуманизм действительно сильнее, основательнее, научно состоятельнее, чем буржуазный либерализм, и должен в конце концов в сознании каждого честно мыслящего человека одержать верх.

И только отказ от ограниченности либерального образа мышления может преобразовать гуманистическую традицию в мировоззрение, способное объяснить и разрешить насущные проблемы современного мира.

■

Понятие гуманистической традиции обретает плоть лишь в контексте реальной истории. Гуманизм — не есть некая определенная философия или система неизменных принципов. Он развивался и видоизменялся по мере того, как менялся уровень представлений человека о мире и о себе самом, о своих слабостях и возможностях. История гуманизма — это история борьбы человека за идеалы человечности.

Говоря о гуманизме Ренессанса, важно заметить, что он связан не только с развитием науки, но и с развитием демократии. Я вовсе не хочу сказать, что Шекспир, или Макиавелли, или даже Мильтон были демократами в нашем современном смысле слова. Речь идет лишь о том, что эти первые представители гуманистической традиции отлично понимали, что прогресс человечества не есть нечто постигаемое с помощью одних только возвышенно-отвлеченных категорий и идеалов. Бэкон писал о человеке как о помощнике и истолкователе природы, который может действовать сознательно, лишь сталкиваясь с нею и проникая в ее тайны. Природу можно покорить, лишь подчиняясь ее законам. Иначе говоря, человеческие знания и возможности — две стороны одной медали.

Другими словами — только погружаясь в реальную действительность, а не витая в сфере абстрактных представлений о неких идеалах, способны люди овладеть подлинным знанием научных закономерностей, чтобы с помощью этого знания преобразовать мир и самих себя в духе своих идеалов. Таково назначение человека; таково назначение человечества. Позиция Бэкона — с его взглядом на материальные силы как первооснову всего, с верой в способность человека изучить их, овладеть ими — разительным образом контрастирует с концепцией Бертрана Рассела, три столетия спустя утверждающего, что человек свободен лишь в тех пределах, в каких он может абстрагироваться от груза материального мира, уйти в мир чистого духа.

«Представим себе,— писал Рассел,— что многое в мире, который мы знаем, подлежит усовершенствованию и что идеалы, которые мы исповедуем, недостижимы в сфере материального. Сохраним же свое уважение к истине, к красоте, к идеалу совершенства, к которому жизнь не позволяет приблизиться... Если власть плоха, отрешим свои души от мыслей о ней. В этом — ключ к истинной свободе Человека — в решимости присягать лишь божеству, созданному нашей собственной любовью к добру, поклоняться только небесам, дарующим нам блаженство неповторимых мгновений. В действительных, реальных стремлениях мы вынуждены вечно отдавать себя во власть тирании привходящих обстоятельств, зато в мыслях, в устремлениях духа мы свободны, свободны от своих ближних, свободны от ничтожества жалкой планеты, по которой беспомощно пресмыкаются наши тела, свободны даже — пока мы живы — от тирании смерти. Научимся же извлекать энергию из своей веры, дарующей нам возможность, опускаясь в область действия, в мир фактов, всегда иметь перед собой образ добра, образ своей веры». *

Здесь заслуживает внимания сам ход рассуждений идеалиста. Неблагородным этот строй мысли никак не назовешь. Он воскрешает в памяти вереницу мучеников, рыцарей духа, перед которыми все мы преклоняемся. Да, их подвигом был отказ от компромисса с «тиранией привходящих обстоятельств». Да, черпая свою силу в решимости ни разу в жизни не потерять из виду образ своей веры, они возжигали в темные времена све-

* Бертран Рассел. A Free Man's Worship (1903), перепечатано в «Мистицизме и логике» (Penguin, 1953), стр. 53. Возможно, эти строки и не выражают с точностью сегодняшние взгляды автора, но меня здесь интересует сформулированная в них общая тенденция.

тильники, которые не удавалось погасить силам антигуманизма. Нет сомнения, образ некоего идеала, еще не осуществленного, нередко дает людям силу выстоять — сколь бы неодолимыми ни казались силы зла.

Что же в таком случае делает эти рассуждения столь неудовлетворительными для марксиста? Прежде всего, разумеется, проникающий их пессимизм, быть может, наиболее явно выраженный в последней фразе этого эссе: «Объединенные со своими собратьями чувством, сильнее которого связать ничто не может,— чувством нависшего над всеми рока». На мой взгляд, отчасти этот пессимизм коренится в акцентированном «одиночестве» — этой сущности позиции либерала, всегда рассматривающего человека в первую очередь как изолированного индивидуума и только потом как члена группы, коллектива; связанного с другими своего рода контрактом — вынужденным или добровольным,— скорее, чем органической, насущной потребностью в этих связях — насущной настолько, что без них жизнь воистину лишается какого бы то ни было значения и смысла.

Но главное — за этим пессимистическим тоном скрывается чувство (странно, что его может испытывать тот, кто знает цену науке!), представляющее антитезу подходу Бэкона,— убежденность в полной беспомощности человека перед силами, которые он не в состоянии обратить себе на службу. Позиция эта, в сущности, мало отличается от взгляда, который сам этот философ-идеалист назвал бы безнадежно простодушным,— упования на некий идеальный, потусторонний мир, единственно способный компенсировать убожество реальной действительности.

Бертран Рассел не говорит, что интеллигенции не следует действовать. Сам он, к чести своей, не убоялся «опуститься в мир фактов». Но знаменателен этот оттенок глагола. Мы **опускаемся** в мир реальности. Свобода — это свобода от наших собратьев, от нашей убогой планеты, словно наши все усложняющиеся представления о пространстве не зависят от того, что мы знаем о земле и о себе самих, как ее созданиях.

■

Что же произошло с гуманистической традицией со времен Фрэнсиса Бэкона до Бертрана Рассела? Чем объяснить замедление ее пульса, сильнейшую инъекцию пессимизма, ее уход с авансцены? Разумеется, было бы несправедливо распространять толкование единственного абзаца из труда современного философа на всю историю. Однако обратимся к творениям других видных мыслителей и писателей-либералов — Е. М. Форстера, Г. Уэллса, Томаса Манна, Конрада, Сартра, Оруэлла, Жида, Гроса, Ливиса. Разве не свойственна для всех них идея упадка, заката, наиболее отчетливо выраженная либо в виде мысли о бесплодности действия, безрезультатности каких бы то ни было усилий, либо в беспросветной мрачности взгляда, не позволяющих даже сравнивать их всерьез с их великими предшественниками-гуманистами. Из числа литературных интеллектуалов (пользуясь определением Ч. П. Сноу) крупнейшие фигуры века либо совсем отошли — подобно Т. С. Элиоту — от гуманистической традиции, либо — как Ийтс, Пруст, Джойс, Лоуренс — избрали позицию «эксцентрической касательной» по отношению к ней. Эта эксцентричность, не умаляя значения самих творческих индивидуальностей этих писателей, крайне неблагоприятно влияет на характер их воздействия и на молодых писателей, и на общество в целом.

Самой серьезной слабостью гуманистической традиции на протяжении более столетия была тенденция к философскому идеализму. Идеалистическое мышление весьма удобно правящему классу современного общества, ибо, культивируя примат мысли над действием, оно исходит из существования некой независимой сферы принципа, который может быть провозглашен и почитаем без необходимости постоянного соотнесения его с критериями реальной действительности. Идеалиста в конечном счете больше интересует оппозиция капитализму, чем преобразование его в иной строй.

Утопические идеи Томаса Мора, без сомнения, представляли величайшую ценность для прогрессивного человечества. Примерно до середины нашего века утопические концепции социализма играли полезную роль в развитии человеческого сознания. Но с той поры, когда поднялся класс, способный совершить социалистическую революцию, противопоставление действительности утопических идеалов, отвлеченно устремленных к социалистическому миропорядку, становится регрессивным, и эта суть его не меняется — независимо от того, что утверждение и отрицание чаще всего производится как будто во имя гуманистических принципов.

Следует сказать, что тенденция такая наблюдается со стороны либеральной интеллигенции, порой даже в левых кругах. Помимо всего прочего она проявляется и в отношении к Советскому Союзу и другим государствам, где социализм реально осуществлен или находится в стадии осуществления.

Ибо тот факт, что практическое построение социализма, особенно в странах, экономически сравнительно отсталых, по самой природе вещей оказывается делом более трудным, чреватым ошибками, менее «привлекательным», чем любая отвлеченная **идея** социализма, порой мешает и прогрессивной интеллигенции отнестись к социалисти-

ческой трети мира с чувством безоговорочной солидарности.

Важно заметить, что в результате более всего страдает социалистическое движение в капиталистических странах. Ибо невозможно достигнуть социализма в такой стране, как Англия, без ясного понимания всех причин и следствий реальных процессов, происходящих в социалистическом секторе мира. Можно ли убедить английский народ в необходимости стремиться к победе социализма, если большую часть доводов приходится тратить на разъяснение не его достижений и преимуществ по сравнению с капитализмом, а на истолкование его несовершенств с точки зрения некоего абстрактного идеала. Как и всякая другая страна, Англия найдет свой собственный путь к социализму, и определит своеобразие этого пути специфика именно английских условий. Но ни одна страна в середине XX века не может построить социализм, оставаясь на позициях «нейтралитета», не говоря уж о «превосходстве» по отношению к практике тех стран, где социализм реально претворяется в жизнь. Международная социалистическая солидарность — это не просто возвышенный девиз, это — практическая необходимость, вне которой невозможно прийти к социализму.

Другая опасность утопических воззрений — тенденция современного интеллектуала возводить в достоинство непрактичность. Дилемма гуманиста Ренессанса, раздираемого противоречиями между кажущейся безграничностью возможностей раскрепощенного человеческого разума и невежеством, предрассудками, убогим уровнем окружающих его действительных социально-научных условий, носила вполне реальный характер. Быть может, наиболее глубокое и яркое выражение она получила в шекспировском «Гамлете». Современные буржуазные интерпретаторы стремятся обратить Гамлета в неврастеника, а неспособность его найти выход, решить стоящую перед ним проблему представить как наиболее характерную, наиболее полно выражающую его сущность черту натуры.

Самая в этом смысле типичная позиция нынешних критиков — толковать принца Датского как личность сверхвосприимчивую, постигающую не первопричины деградации современного ему общества, а размышляющую над отвлеченной проблемой смысла — а точнее, бессмысленности действия как такового. У одного известного современного критика Клавдий оказался «политиком, мудрым и добрым королем» — олицетворением некоего человечного и разумного политического начала, против которого восстает нигилист Гамлет. Подобные интерпретации меньше говорят о шекспировской пьесе, чем об определенных тенденциях современных интеллектуалов, которым часто не терпится возвысить исторически объяснимую неспособность Гамлета к практическому действию в ранг некоего абсолютного свойства, неизлечимого дефекта самой человеческой природы.

■

В чем причина отхода либеральной интеллигенции к идеализму, к утверждению превосходства мысли над практикой, слишком часто заставляющему активные прогрессивные аспекты гуманизма уступать место либо академизму, либо сугубо индивидуалистическому выражению личного протеста?

По-моему, основа здесь в уходе такого рода интеллигенции от центральных сфер общественного действия и руководства и в предоставлении ей нынешним правящим классом некоторых привилегий, которые ею ценятся больше, чем реальная возможность управлять ходом событий. Несмотря на то, что интеллигенция в Англии в подавляющем большинстве существует на заработную плату, продает свой труд и не эксплуатирует чужой, она тем не менее поставлена в условия, выделяющие ее из остальной массы трудящихся.

В результате особого положения эта интеллигенция по взглядам приближается к мелкой буржуазии — незначительному и относительно маломощному слою, приемлющему капитализм, хотя и критикующему его.

Указывая на мелкобуржуазное происхождение ряда ключевых идей части западной интеллигенции 60-х годов, мы, таким образом, вовсе не имеем в виду ее непосредственную принадлежность к классу мелких эксплуататоров. Объединяет их сознание «независимости» («во всяком случае, себе я сам хозяин», «во всяком случае, я свободен говорить то, что хочу») и в то же время чувство бессилия реально изменить порядок вещей, ибо командные высоты занимают и тон задают крупные капиталисты, монополисты. И все же, хотя независимость эта почти иллюзорна, есть в ней нечто и от правдоподобия, ибо она основывается на действительных привилегиях. Меру их не следует ни недооценивать, ни преувеличивать.

Интеллигенция в Англии XX века небогата. Хотя какие-то ее круги причастны к миру предпринимательства, крупных сделок и спекуляции, бóльшая часть живет на зарплату, платит подоходный налог и прибегает к поддержке профсоюзов. Оплачивается труд специалистов достаточно высоко — в этом смысле интеллигенция принадлежит к разряду привилегированных тружеников (хотя труд низкооплачиваемых категорий интеллигенции не достигает уровня высокооплачиваемых категорий промышлен-

ных рабочих). Но не менее существенна для многих представителей интеллигенции другая привилегия — почти уникальная в условиях капиталистической системы — заниматься делом, которое они любят, считают интересным и полезным.

Это очень важно. Здесь источник особого рода профессиональной ответственности — чувства, знакомого многим английским специалистам. Именно оно побуждает массу школьных учителей работать во много раз больше установленной нормы. Это чувство заставляет задерживаться в больницах медицинских сестер — категорию, не только не пользующуюся экономическими привилегиями, но, наоборот, скандально низко оплачиваемую и всячески унижаемую.

Сознание профессиональной ответственности, о котором идет речь, не связано с какими-либо правами контроля или руководства в своей сфере, и распространено оно более всего среди таких категорий специалистов, которые ближе всего связаны с практикой и менее всего сопрягаются с самой идеей «интеллектуала». Скорее наоборот — чем «интеллектуальнее» род деятельности интеллигента, тем менее занимают его проблемы общественно-профессиональные. Если он работает в университете, то основной своей работой считает не преподавательскую, а исследовательскую. Артист склонен полагать, что его амплуа никакой общественной ответственности не предполагает — разве что перед вечностью.

Но самое главное — в капиталистическом обществе сознание профессиональной ответственности почти абсолютно изолировано от реальной возможности управлять перспективами в той или иной отрасли. Медицинский совет, скажем, имеет право запретить мошеннику заниматься врачебной практикой, но не полномочен строить новые больницы или добиваться ассигнования фондов, требуемых для противораковых исследований.

Такой разрыв между характером деятельности и системой взглядов интеллигенции, с одной стороны, и практическими мерами, могущими повлиять на управление страной, с другой,— явление сравнительно новое.

Галилею не давали жить и заниматься наукой политики, идеологи правящего класса, но, борясь против них, он и в мыслях не имел сокрушаться по поводу неуместности самого вторжения политических обстоятельств в жизнь ученого. Концепция полной независимости искусства и науки как неких высших сфер человеческой деятельности, никак не соприкасающихся с областью практики, морали, весьма «молода» — возраст самого словаря модернистской эстетики не достигает и двух столетий. Говоря о взглядах, типичных для либерально-мыслящей интеллигенции XX века, важно рассмотреть их в историческом контексте, чтобы понять, насколько характерны они для данного этапа общественного развития.

Интеллигенция в условиях буржуазной демократии выполняет важную роль — обеспечивает прогресс в сфере науки и художественного творчества, оставаясь при этом в стороне от управления этими отраслями жизни и время от времени пытаясь даже выдать это ограничение за некое преимущество, иначе говоря, наслаждаясь состоянием безответственности, свободы от необходимости вмешиваться в политическую практику.

Эту возможность отделить свои взгляды и даже образ жизни от сферы политического действия на протяжении последнего столетия английская либерально мыслящая интеллигенция привыкла полагать едва ли не самым необходимым условием своей свободы.

Таково происхождение строя взглядов, не зря называемого буржуазным либерализмом. Практическое политическое действие брезгливо третируется им, как область, которой следует избегать, развращающая по самой своей природе.

А той порой буржуазия, лишенная каких бы то ни было предрассудков, получает в свое неограниченное пользование власть, необходимую ей для поддержки системы, той самой, которую она столь милостиво разрешает презирать интеллектуалам.

Традиция существования в своего рода политическом (в смысле причастности к сферам власти) «вакууме», приводящая многих представителей интеллигенции ко взгляду на политику, как на нечто заслуживающее презрения, делает уязвимой их концепцию «истины» и «объективности». «Истину», говорят они, можно выразить либо в категориях, подлежащих строгой проверке данными естественных наук (таким образом, в критериях достоверности отказывается множеству сторон человеческой деятельности), либо в понятиях столь субъективных, что они вообще исключают возможность какого-либо обсуждения.

Марксисты не имеют в виду предлагать для этих весьма сложных проблем какие-либо облегченные и прямолинейные решения, пригодные для телевикторин. На одном они настаивают: в современном буржуазном обществе от чрезмерного сужения или, наоборот, расширения критериев «истины» реально выигрывают именно те, в чьих руках сосредоточены бразды правления и кого менее всего интересует сама «истина», будь она эмпиричная или абсолютная.

Важно при этом заметить, что ни один трезво мыслящий коммунист не станет утверждать, что позиция ответственности в вопросах социально-политических и культурных сама по себе застраховывает от опасности ошибок или искажений.

Да, верно, что в социалистическом обществе, особенно на ранних его этапах, может проявиться тенденция понятие ответственности перед обществом толковать более узко, не всегда точно, в частности, излишне утилитарно относиться к искусству, лишь как к форме прямой пропаганды. На первых порах после эпохи, когда культура в основном была на службе у класса эксплуататоров, такого рода ошибки социалистического общества мне кажутся почти неизбежными. Можно по этому поводу лишь утверждать, что они легче поддаются исправлению и по характеру своему более человечны, нежели тенденции обратного свойства, о которых речь шла выше. И наиболее надежная гарантия свести их к минимуму — готовность интеллигенции отстаивать свои прогрессивные идеи и в то же время в полной мере принимать на себя ответственность перед демократическим обществом. Степенью реального участия в борьбе всего народа за его права определяется моральное право интеллигенции претендовать на осуществление своих профессиональных требований в области культуры.

Между идеалом, расселовским «образом добра» и действительностью в здоровом обществе должна существовать дистанция такого же порядка, как между образом законченного здания, существующим в воображении архитектора, и рабочими эскизами на его столе. Случается, архитектор берет на себя непосильную задачу, тогда в результате может родиться нечто вроде собора Бове, столь же внушительного, сколь и уродливого памятника несбывшимся надеждам скорее, чем произведения искусства. Другая сторона медали — недооценка реальных возможностей,— более характерная для наших дней, рождающая сооружения тусклые, лишенные одухотворенности, хотя нередко здесь дело бывает не столько в качестве идеала, сколько в скаредности местного муниципалитета или отсутствии воображения у клиентов.

В классовом обществе подавляющее большинство людей воспитывается с расчетом на недооценку их возможностей. Великолепно об этом сказал Бернард Шоу устами капитана Шотовера из «Дома, где разбиваются сердца» по поводу босса Менгена и делателей денег: «Мы ежедневно убиваем лучшее в себе, чтобы умилостивить их. Одно сознание, что эти люди существуют для того, чтобы обескровливать все наши идеалы и устремления, просто лишает нас каких бы то ни было идеалов...»

Марксизм — гуманистическая философия, вобравшая в себя и развившая все ценное, что было в гуманистической традиции прошлого. Но это такая гуманистическая философия, в которой не осталось и следов идеализма, ибо она опирается на объективную возможность слияния теории и практики, разделенных в классовом мире,— и потому она неизмеримо более конкретна по сравнению с любой гуманистической концепцией прошлого. В этом одна из причин того, почему для современных деятелей культуры, верных традициям либерального гуманизма эры буржуазной демократии, столь притягателен марксизм и почему в то же время им трудно его принять. Нередко им кажется, что в каких-то направлениях они уже перешагнули пределы, предусматриваемые строго конкретным марксистским мышлением. Если это положение можно принимать всерьез, то лишь в том смысле, что выдвигаемые ими идеалы и ценности недостижимы в действительности.

Для марксиста нераздельность теории и практики означает проверку всех идей и всех ценностей критериями должного и возможного с точки зрения реальной действительности, с позиции такой реализации идей на практике, которая создает новые предпосылки для прогресса человека.

■

Я попытался показать, почему гуманистическая традиция, к которой привержена западноевропейская интеллигенция,— традиция, столь блестящая, яркая, столь много обещавшая на заре буржуазной революции, сегодня растеряла былое обаяние и стимулы настолько, что, по-прежнему сохраняя черты, приближающие ее к коммунизму, она в то же время отвергает идею необходимости его осуществления.

Могут спросить, почему я обошел стороной слабости, ошибки прогрессивного движения вообще, коммунистического в частности. «А как насчет Сталина?» — вопрос этот у нас можно услышать довольно часто... Да, было в истории самой трудной и самой революционной из всех революций в мире, знаменующей переход от классового к бесклассовому обществу, и злоупотребление властью, и трагические его последствия. Здесь коммунисты принимают на себя полную меру ответственности, не пытаясь утверждать, что ошибки были неизбежны, а наоборот, разъясняя открыто их суть, чтобы предотвратить возможность их повторения.

Все это так. Но было бы проявлением крайней моральной безответственности обернуться к прошлому и сосредоточиться на одних ошибках, отказываясь видеть самую природу происшедших, несмотря на эти ошибки, изменений — безоговорочно положительных, триумфальных, с точки зрения любых объективных критериев прогресса человечества.

Когда оглядываешься на века истории, наиболее важным оказывается не то, что субъективно ограничивало луч-

шие умы человечества в их служении делу прогресса, а мера, в какой эту ограниченность им удавалось преодолеть. И думаешь о подвиге не только тех, кого можно назвать героем или мучеником, но тех, чьи имена забыты и кто, временами ошибаясь и оступаясь, подобно многим из нас, все-таки продолжал борьбу. Думаешь и о таких классиках, как Диккенс, в чьей жизни было немало компромиссов, кроме одного — никогда не солидаризировался он с «теми, кто правит», против «тех, кем правят», или как Бернард Шоу, нашедший, правда, себе убежище в презираемом им буржуазном мире, но ни разу не позволивший легкомысленным словом или неосторожным поступком задеть государство рабочих — Россию — в самые сложные для его судьбы дни и свернувший с собственного пути, чтобы назвать себя, подобно тому как вчера это сделал Вильям Моррис и сегодня Пикассо, коммунистом.

Проблему служения интеллигенции обществу не исчерпаешь двумя-тремя гладкими фразами. Надо ли говорить о том, что не все написанные с добрыми намерениями книги хороши и что кое-какие произведения оказались хорошими, несмотря на то что их авторы субъективно придерживались реакционных политических убеждений.

Не следует обольщаться ни соблазнительностью готовых легких решений, ни возможностью избежать решающего выбора, остаться в стороне.

Утверждая, что деятель культуры должен сознавать себя «завербованным», марксист вовсе не выступает в амплуа проповедника. Он констатирует факт. Все, с чем мы сталкиваемся, так или иначе побуждает нас служить обществу, в котором мы живем, делает нас свидетелями решений, которые каждый день принимают люди. Предпочтительно при этом, чтобы готовность к такому служению была вполне осознанной, а не просто инстинктивной, ибо только в этом случае оно может быть последовательным и плодотворным. Но сознательность в служении идее человеческого прогресса не есть некая гарантия его осмысленности. Настоящие плоды в сфере духовной жизни это служение может принести лишь постольку, поскольку оно становится органическим и инстинктивным. Все это в мире, бурлящем страстями классовой борьбы, не приходит само по себе, не усваивается как дважды два и не представляет простую функцию волевого акта. Что касается тех, кто обращается к коммунистическому движению в надежде обрести божество для поклонения, то через какое-то время они, разочарованные, снова отходят от него.

Одно из распространенных заблуждений по поводу «завербованности» — полагать, что речь идет о служении некой отвлеченной идее, в данном случае идее социализма. Такой взгляд мне кажется просто новой разновидностью буржуазно-либеральных иллюзий. Нет ничего легче, чем, обладая богатым темпераментом, провозгласить себя слугой идеи, и нет ничего труднее, чем дать объективный ответ, разъясняющий, что при этом имеется в виду. Самая суть «завербованности», на мой взгляд, состоит в признании факторов первостепенного значения, объективных, вне меня существующих. Иначе говоря, я, и мои взгляды, и мои поступки представляют ценность в той мере прежде всего, в какой они служат делу прогрессивного развития общества, делу борьбы за торжество гуманизма. В конце концов судим я буду не судом своей совести, а судом себе равных, моих товарищей по борьбе, с учетом тех фактов, за которые мы с ними вместе несем ответственность.

Единственно разумная в этом свете перспектива для английской интеллигенции 60-х годов — принятие марксизма, понятого не как абстрактная идея, а как руководство к действию, опирающееся на самое точное знание законов мира, в котором мы живем.

Говорить о своей верности идее социализма и не считать, что она обязывает внести свой вклад в реальное осуществление этой идеи,— попросту несерьезно.

Как несерьезно не отдавать при этом отчет в значении, которое имеет для судеб социализма в Англии расширение авторитета и влияния коммунистической партии. Не признавать это — значит оставлять общественную и политическую инициативу в руках правящего класса, чье политическое и идейное банкротство взывает к самим звездам — тем самым звездам, на которые в коммунистическом будущем человек будет взирать с новым пониманием и новыми надеждами.

Ибо когда люди доберутся до звезд, они смогут по-настоящему осознать, сколь безграничны их возможности к совершенствованию, смогут открыть в человеке такой потенциал, какой были не в состоянии разглядеть их отцы. Заключить эту свою мысль я бы хотел словами Бертольта Брехта:

И потому
Мы просим вас, тех, кто играет на сцене
Нашего времени—времени перемен
и безграничного стремления
к совершенству
Всей природы, даже естества самого
человека,— наконец
Измените себя и покажите нам мир
человеческий
Таким, каков он действительно есть:
созданным людьми и открытым
для всех перемен к лучшему.

МИРОСЛАВ ГОЛУБ

АНГЕЛ НА КОЛЕСИКАХ

(Полурепортаж из США)

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ

Краткое руководство, как совершить посадку в Нью-Йорке

Итак, прежде всего: солнце заходит уже второй час подряд, апельсиновый сок впитывается в серую вату неба где-то внизу, море в расселинах между тучами черное и злое. А с запада, из-за необозримых далей, выныривают несколько ядовитых мушек, волокущих за собой белые нити толщиной с волос: реактивные истребители на страже.

Потом внизу проплывает Новая Шотландия, пустынная и каменистая.

А потом реактивный автобус ДС-8 нужно осторожно повернуть влево; тогда тучи расступятся и в глубине внезапно появится черный материк. Как удар в барабан! Как выстрел из пушки! Материк с тысячами нервических, сверкающих, перемигивающихся глаз, с лихорадочными глазами, с глазами маяков, дающих вспышку каждую вторую секунду, с глазами прожекторов, с глазами «на макушке», с глазами на куполах, с глазами сторожевых вышек, с глазами на скалах, с глазами радарных установок, с голодными глазками, с глазками сытого благополучия,

с твоими глазами шока,
с твоими глазами лоботомии,
с твоими глазами электрических разрядов,
с твоими глазами одиночества
(да и с твоими, наконец, тоже, Аллен Гинсберг!),

и в густеющей темноте, в темноте, подобной той, что царит в недрах мозга, разливаются флюоресцирующие города как воспоминания, как надежда, как навязчивая мысль, как идеи, возникшие просто так, без видимой причины, белесоватые, и голубоватые, и зеленые флюоресцирующие города, получившие в силу удивительнейшей преемственности истории такие имена, как Бостон и Норуолк —

черепная коробка континента гулко гудит,— а потом — самое время идти на снижение: три гигантские спирали, когда ДС-8 стоит на крыле, а турбины вгрызаются в дребезжащий воздух, вы висите в световом пространстве над Нью-Йорком, да, да, в этом не может быть сомнений, прибой огней накатывается то справа, то слева, все кипит, бурлит, голубоватое, зеленоватое, белое и красное, улицы, неон, автомобили, теперь это уже не полет, а погружение в силовое поле тьмы и разрядов, очевидно, то же происходит в атоме или галактике, это Нью-Йорк без координат, без верха и низа, без востока и запада, это напоминает движение маятника в городе-шаре, он со всех сторон, теперь это уже не полет, а поглощение:

огромная черная масса самолета подрагивает над пульсирующей пастью, но потом все выравнивается, становится на свои места, появляется верх и низ, под вами простирается обычный плоский вечерний город, где люди в этот момент садятся за стол, растягиваются на диванах, глядят в потолок, выходят на улицу, целуются, вдыхают темноту и выдыхают свет; а вот и аэродром, самолет бежит по бесконечному лугу синих огней, и вы оказываетесь на земле, катите к стеклянным зданиям, репродукторы бесчетное количество раз информируют

всех вместе и каждого в отдельности, пассажиры вытаскивают бумаги, документы и проталкиваются к выходу — это и есть приземление на аэродроме Айдлвилд, находящемся в Нью-Йорке, находящемся в Америке, и я стою и вижу,

что Колумб
Америку не выдумал,
как говорит Ферлингетти.

Ну и что же?

Дородная, повязанная деревенским платочком старушонка, спавшая до последней минуты, теперь продирается перед вами из самолета, застревает в дверях — ни туда, ни сюда, вы пытаетесь ее вытолкнуть, она держится за чемодан и, наконец, задом наперед вступает в Новый свет, а тем временем стюардесса с первой группой пассажиров уже скрылась из глаз, а другая группа, во главе которой, не испытывая ни малейшей радости, оказываетесь вы, начинает беспомощно плутать по бетону, по складам и коридорам, куда посторонним вход строго воспрещен, вас снова вежливо выставляют за дверь, и никто при этом не выказывает ни недовольства, ни желания протянуть руку помощи, пока, наконец, вы не находите нужную дверь, а там уже сквозь строй штемпелей, раскрашенных стюардесс и нераскрашенных таможенников, как бы автоматически, через стеклянные залы и по эскалаторам вас извергают в морозное пространство, в морозный поток огней, катящий волны автомобилей к Манхэттену.

И эти огни, эти надписи, эти дома и эти люди — это и есть Америка.

А потом уже только остается найти кого-нибудь, знакомого или незнакомого, и спросить:

— Ну как, вчера здесь тоже шел дождь?

На открытой террасе аэропорта Айдлвилд

Стеклянные двери автоматически распахиваются, эскалаторы движутся вверх, чиновники автоматически улыбаются, заплатите деньги — и вы автоматически станете пассажиром, чемоданы автоматически уедут, а вы автоматически зайдете в кафе и по телевизору будете смотреть, как улетают самолеты.

Или автоматически опустите двадцатипятицентовик в турникет и пройдете на открытую террасу аэропорта, откуда отправление самолетов можно видеть, так сказать, в натуре. А вдобавок еще можно опустить двадцатипятицентовик в маленький динамик у перил и слушать объявления о самолетах, идущих на посадку и выходящих на старт, указания с контрольной вышки и вообще весь этот быстрый и точный язык аэропорта. На перилах террасы плакат — «Самолет Женщин За Мир», и толпятся здесь элегантные дамы с транспарантами и флагами. Их глаза полны задора и доброй воли.

Между тем их чада носятся по террасе и, основательно запасшись двадцатипятицентовиками, слушают, о чем вещают маленькие динамики. Приближаюсь к двум мальчишкам, которые только что заплатили свою четверть доллара и теперь ловят звуки в эфире. Ребята оборачиваются в мою сторону. Их, кажется, тревожит, что я могу послушать вместе с ними. Сразу как по команде выключают динамики. В их глазах ни намека на добрую волю. Тотчас же отхожу. Не люблю глаз без намека на добрую волю.

Собирается дождь, и элегантные дамы проворно свертывают транспаранты и сзывают своих деток.

Их акция с самолетом за мир, бесспорно, заслуживает уважения.

Но, к сожалению, им, видимо, не тактично просто понять, что существует определенная взаимозависимость между тем, против чего они борются, и злыми глазами их отпрысков, желающих за свой двадцатипятицентовик владеть всеми звуками на свете единолично.

Вдоль автострад лежит Америка

Вдоль автострад тянутся принадлежащие разным фирмам бензозаправочные станции, ремонтные мастерские, моечные станции, каждая лучше предыдущей. Станции оснащены знаками пегаса, динозавра, птицы или другого подходящего зверя, флагами, цветными вертушками на шпагате, бегущими неоновыми надписями, запчастями к автомобилям, ресторанами. Они — в форме мухоморов, индейских островерхих шалашей, стеклянных вилл, вагонов, беседок или просто бензозаправочных станций.

И еще вдоль автострад тянутся мотели, одноэтажные, вытянутые в длину, подковообразные, разбросанные отдельными жилыми домиками и собранные в многоэтажные роскошные и нарядные здания, усеянные огнями, неоновыми звездами, флагами, обещаниями, пестрящие названиями вроде «Стар-Даст», «Эль-Американ», «А-мотель», «Холидей-Энн», с самым большим бассейном, с самой горячей водой и телевизором в каждом номере, свежим кондиционированным воздухом, пальмами. Перед въездом нередко стоит по керамическому гному, медведю, лани или ангелу. В одном мотеле в Джорджии был бассейн с восьмью настоящими и шестью гипсовыми утками, которые отлично уживались друг с другом. Там же сооружен глиняный ковчег праотца Ноя, увенчанный восемью государственными флагами. Мотель на-

зывался «Ноев». В Джорджии я видел и мотель только для цветных. Он представлял собой довольно маленький домишко в лесу, и перед ним росли анютины глазки. Какой-то негр поливал их из маленькой лейки совсем слабой струйкой.

И еще вдоль автострад — нескончаемая череда магазинов, в ассортименте которых есть почти все: от автомобильных шин до искусственных цветов, от продуктов до музыкальных инструментов, от лекарств, крепчайших спиртных напитков и вин до памятников, гипсовых и глиняных статуэток пантер, исполинских карликов, фламинго, ангелов и аллигаторов, иногда на колесиках. Для чего автомобилисту глиняный медведь размером в два с половиной метра, не имею понятия, но совершенно одинаковые глиняные медведи, одной фабричной породы, селятся, так сказать, по всем окрестным мотелям и придают определенный колорит соответствующему отрезку дороги.

Вдоль шоссе располагаются частные врачебные кабинеты. И в особенности ветеринарные лечебницы, так что своего многоуважаемого попутчика, пуделя или белку, вы можете подремонтировать на месте и без всяких хлопот.

Вдоль шоссе располагаются кинотеатры и церкви.

В безлесной части Висконсина на обочинах автострад в магазинчиках идет торговля рождественскими елочками и аллигаторами. В пустыннейшем одиночестве каменного нагорья в Южной Калифорнии продают змей. Во Флориде вдоль дороги там и сям разбросаны зоопарки, африканские деревни и первобытные индейские леса, все забаррикадировано плотной изгородью и весьма ощутимой платой за вход. Рядом буфет. Перед входом в зоопарк топчется слон или жираф. Привязанные за ногу, они печально взирают на нескончаемый поток автомобилей. В горах Аризоны у автострады можно в любом количестве приобрести аквариумных рыбок.

И еще вдоль шоссе располагаются города. Те, что поменьше, отличишь только по большому количеству бензозаправочных станций, ресторанов и мотелей, светофорам да нескольким зевакам, торчащим на углах улиц. В городах покрупнее — больше домов, в которых нет ни бензина, ни ресторанов, ни бара. Примета города с населением, перевалившим за полмиллиона,— усиленное строительство жилых домов, универсальных магазинов, заводов, застройка окраин. На перекрестках уже никто не торчит, все куда-то спешат. Центры миллионных городов вымахивают ввысь кристаллическими друзами небоскребов, а автострады теряются в геометрической системе бульваров.

Ну, и еще вдоль шоссе — реклама. Рекламу воспринимаешь не как искусственное сооружение, она кажется частью живой природы. Реклама рождается, вянет, умирает подобно многолетним травам. Реклама произрастает всюду. Даже там, где нет ни мотелей, ни ремонтных станций, ни городов, ни магазинов, ни пивных. Проезжая по автостраде, невольно перелистываешь великую книгу рекламных щитов и вывесок: «Посетите заведение Говарда Джонсона!» (изображено заведение), «Ешьте такое-то мороженое!» (изображено мороженое в виде двух полушарий головного мозга на одном блюде), «Если хочешь первую скрипку играть, должен газету «Курьер» читать!» (изображен мистер с газетой, явно первая скрипка американской жизни), «Сегодня пепси-кола напиток тех, кто духом молод!» (изображены молодые духом), «О да, мистер, это мой банк!» (изображен мистер под зонтиком), «Отстоять мир — дело каждого: Дж. Ф. Кеннеди» (изображен Дж. Ф. Кеннеди), «Рука господня вас охраняет!» (изображена рука над автомобилем), «Не оставляйте кровь на дороге, отдайте ее Красному Кресту!» (изображена невообразимая автомобильная катастрофа машин этак на шестьдесят и красный крест), «Алкоголь убивает!» (без картинки), «Пейте виски «Старый ворон»!» (изображен преуспевающий ворон с бутылкой), «Сигары «Король Эдуард» (без картинки, но зато обязательно пять щитов подряд), «Вступайте в ВМФ США!» (изображен ВМФ США с улыбающимся крейсером), «Лучшие отбивные в Балтиморе делает Р. Ф. Уайт!» (изображен Р. Ф. Уайт), «Самая большая военно-морская база мира — через две мили направо!» (при этом база — засекреченная, и ее нельзя фотографировать; реклама властвует над государственной тайной), «Лимонад 7-ир любит Вас, а Вы любите его!» (нарисованы поклонники лимонада 7-ир. О, это грандиозное чтиво! По сей день перед моими глазами стоят те, кто молод духом. Это чтиво окрыляет: за свои доллары вы можете получить отбивные, «шевроле» последней модели и... благословение господне...

Ну, а там, где железные рекламные щиты уже не растут, вы обязательно обнаружите надписи белилами на скалах или, на худой конец, самодельные бумажные плакаты вроде: «Орехи, орехи. ОРЕХИ за 25 центов фунт, через 100 метров направо!»

Таков он — бетонный материк Ферлингетти, усеянный плакатами, рисующими перед взором путника обывательский образ счастья.

Такова библия этой цивилизации, вездесущая библия, освещаемая в ночи прожекторами, таковы эти огненные письмена, таково самосознание континента.

МИРОСЛАВ ГОЛУБ
АНГЕЛ НА КОЛЕСИКАХ

Обывательский? Пожалуй, но по-своему совершенный.

И, наконец, вдоль автострад тянутся леса или, вернее, не леса, а перелески, или, еще вернее, не перелески, а девственные рощицы, как, например, в городской черте Вашингтона, девственные потому, что не имеет смысла за ними следить и держать для этой цели лесника.

А вот в Северной и Южной Каролине есть большие леса с цаплями и негритянскими хижинами на полянках. А в Калифорнии — деревянные фермы и плантации, разлинованные по линейке, и ребята весной запускают «змеев». И пасутся лошади. И есть чащобы и орел на старом дереве. Но все это обнесено изгородью, и с автострады туда не попасть, автострады связывают только с мотелями, и городами, и с бензином «Тексако».

Именно это и есть настоящая Америка.

Вдоль автострад лежит Америка, действительная или в образе реклам, большая, аккуратная, вобравшая в себя все, комфортабельная, наивная, самоуверенная, приспособленная для стокилометровых скоростей Америка.

Бруклин

...Мертл-авеню — одна из тех бесчисленных тропинок для железных чудовищ, которые ведут в сердце американской пустоты...

Генри Миллер

Манхэттен — это всего лишь песчинка. Бруклин — плюс-минус бесконечность.

Бесконечность серых и красных невысоких домов, бесконечность кварталов красивых и кварталов некрасивых, улиц с маленькими полуразвалившимися лавчонками и улиц с магазинами самообслуживания на уровне современного американского стандарта, бесконечность со скверами, больницами, трубами, полисменами и почтовыми ящиками, и только люди разные: тут стоят негры, там за бульваром спешат евреи в широкополых велюровых шляпах, импортированных из местечка Новый Ичин, что в далекой Моравии.

По-моему, Бруклин не кончается на берегу Джамайка-Бей и в Конн-Айленд, а там, за качелями и пляжами тянется дальше под поверхностью моря, такого же серого, бесконечного, погрузившегося в свои думы.

А наверху вовсе не небо, а негативный оттиск Бруклина в облаках тумана и дыма.

А в ясные ночи наверху не Млечный Путь, а Флетбаш-авеню, и там, где в других местах мягко светятся Сириус и Кассиопея, с роковой неизбежностью вспыхивают красные огни светофоров.

Нью-Йорк, угол 57-й улицы и Седьмой авеню, 9 часов вечера, февраль

У входа в подземку стоит женщина и улыбается прохожим. Немного устало.

Люди скользят мимо нее, как тени в пещере Платона. Свет банков, свет автомашин, свет реклам — свет идей.

На тротуаре лежит одна из теней. Темное, растекшееся пятно под головой; растекшееся в такой мороз. Тень теней. Никто не останавливается. Лишь полисмен медленно и осторожно пытается перевернуть тело длинной дубинкой.

Женщина у входа в подземку немного устало улыбается прохожим.

Город под городом

На Восьмой авеню стоит очередь за билетами на бокс в Мэдисон-сквер-гарден, красно-зеленые такси поблескивают на солнце, уличные газетчики облокачиваются на кипы свежих газет.

Но под этим городом есть еще один, глубоко на дне, темный и таинственный, где уже окончательно решено и одобрено, что сегодня ночью в Мэдисон-сквер-гарден Гриффит ликвидирует Бенни Парета. «Сильные личности» и деловые господа с сигаретами, висящими в уголках рта, ведут беседу с судьей Голдштейном, коммерсантом, торгующим спиртными напитками. Врачи подкуплены. Оказавшись в нокдауне, Бенни Парет будет продолжать борьбу, так как судья не станет отсчитывать десяти, потому что телевизионные камеры ведут передачу, а для передачи нужна сенсация.

В тот вечер Гриффит действительно убил на ринге Бенни Парета. Парет скончался после десяти дней агонии и десяти дней сенсационных сообщений в печати.

В негритянском квартале Филадельфии молодые ребята столпились перед лавкой зеленщика. Старый негр бредет по солнышку, что-то протяжно напевая высоким голосом. Каждый третий шаг негра — танцевальное па.

Но под этим кварталом — еще один, где распаковывают героин и опиум и готовят шприцы, украденные в клиниках. Этот квартал знает, когда не будет облавы. Щупальца этого квартала протянулись всюду.

На берегу Рио-Гранде роются пятачками в земле веселые кабанчики, а Сьюдад-Хуарес — это бесконечное море глинобитных лачуг, связанных между собой веревками с развешанным бельем,— вы-

брасывает на берег через границу в Эль-Пасо толпы мексиканцев. Мексиканские женщины делают покупки в мексиканских магазинах, где одни лишь тряпки, наваленные грудами до самого потолка, и где любые три «вещи» стоят двадцать центов. «Специально для мексиканцев».

Но под этим Эль-Пасо еще один — мрачный и пасмурный. И в этом Эль-Пасо специалисты сортируют: одних — для стриптиза, других — в «Марокко-Клаб» и «Мун-Гарден», а вот этих, попроще,— на улицы: с утра — на Пайсано-Драйв, а после обеда — на Санта-Фе.

Город под городом, и во власти его любовь, наслаждения, смерть и доллары. В определенном смысле все это равноценно.

Чистильщик сапог

С ящичками под мышкой сидят мальчишки — на Шестой авеню в Нью-Йорке и на 34-й улице, в Мемфисе, и в Чикаго, и в Сан-Диего.

И сидят мужчины, поставив ящички рядом, спиной привалившись к стене, глаза — на мелькающих башмаках.

И у входа в подземку сидят старики и калеки.

На улице в Лос-Анжелесе остановился молодой джентльмен в белой сорочке и начищенных до блеска ботинках, и мальчик с ящиком, уловив его едва заметный кивок, бросился навстречу, чтобы придать его обуви еще больше глянца.

На мальчике новые полотняные штаны. А в ящике — новая щетка. И он подобно молнии, подобно орлу, подобно ангелу, явившемуся за душой, которую ему предстоит спасти, опустился на колени перед сверкающими башмаками, и в глазах его сверкнуло победоносное выражение, означающее: я — лучший из всех чистильщиков, я — один из тех, на ком стоит Америка, я — будущий Эдисон или Рокфеллер. Так он и стоял на коленях в пыли в своих новых штанах и чистил действительно хорошо.

Но в Нью-Йорке, на станции метро Угол Шестой авеню и 103-й улицы, сидел старик с роскошной шапкой седых волос, сидел на своем ящике чистильщика сапог и глядел перед собой в одну точку на земле. Возможно, там было такое пятнышко, что, вглядевшись в него, можно было увидеть барашков, ангелочков, голых девушек, деревья или анютины глазки... Старый человек смотрел в одну точку и, когда перед ним кто-нибудь останавливался и просил почистить ботинки, не поднимал глаз, не отвечал и не чистил.

Никогда в жизни я не видел такого сосредоточенного взгляда. Однако пятнышка я так и не нашел.

Пустое пространство

В Соединенных Штатах больше пространства, где нет никого, чем пространства, где кто-нибудь есть. И именно это делает Америку Америкой.

Гертруда Стайн

Да: бесконечные ряды стоящих автомобилей.

Да: автострады, рассекающие пустыню, как стальной меч архангела.

Да: Вашингтон, где длинным зимним вечером вы — единственный живой кусок протоплазмы; и лишь механические муравьи марки «плимут» и «бьюик» бесконечными рядами проносятся мимо и желтыми глазами фар толкают перед собой свой кусок света.

Да: кино, где вы один с движущимися картинками, один в длинных плюшевых рядах.

Да: бар, где уже никого не осталось, кроме бармена, похожего на пузатую бутылку «бурбона».

Да: номер в гостинице, прибираемый духами, которых вы никогда не увидите.

Да: улица между небоскребами, на которой человеком можно пренебречь, как четвертым знаком в десятичных дробях.

Да, но это пустое пространство оснащено кнопками, которые при нажатии безотказно действуют. Кранами, из которых течет какая положено вода. Рычагами, которые вызывают нужное движение. Автобусами, которые приходят точно по расписанию и в которых вы не стоите, потому что один пассажир сверх нормы означает выпуск на линию новой машины. Автоматами, которые не сорваны. Уборными, в которых никто не расписывается. Стеклами, которые не разбиты. Деревом, которое не сгнило. Сталью, которая не заржавела.

Это пустое пространство исполняет свои обязанности.

И в этом смысле оно не совсем без людей.

Бродвей ночью

Свет течет. Форум. Астор и Глоуб — водопады света.

Толпы пешеходов пытаются перейти вброд это море, над ними встают силуэты прекрасных женщин, а под ногами путается множество заводных пупсиков, зайчиков и автомобильчиков, выскакивающих из открытых дверей магазинов и подпрыгивающих вверх во всю мощь своих стальных пружин.

На Таймс-сквер исполинский портрет горного проводника Боба Байри выпускает из китоподобной пасти облака дыма сигарет «Кэмел».

МИРОСЛАВ ГОЛУБ
АНГЕЛ НА КОЛЕСИКАХ

Свет переливается через край.

В ресторанах подают на серебре манну и тело Христово.

Замкнутый, ионизированный космос благополучия.

Но в двух шагах от 42-й улицы все это кончается, и одинокая тревожная темнота неотступно преследует вас по пятам. За окном какого-то магазина самообслуживания шныряет большая белая кошка, которую я уже видел лет десять назад в одной заброшенной хижине высоко в горах:

открытый космос; дыхание беспредельного одиночества.

К вопросу об определении понятия «свобода»

Еще Авраам Линкольн писал, что мир никогда не имел настоящего определения слова «свобода» и что как раз сейчас американскому народу нечто подобное крайне необходимо.

Некий Барнс заработал несколько миллионов на патентованном лекарстве от ангины. Будучи мужем просвещенным, он накупил несколько тысяч картин — от мексиканских художников-примитивистов до Клее, от Руссо до Миро, от Ван-Гога до Жана Гюго,— соорудил в собственном парке собственную картинную галерею и сочинил несколько книжек по изобразительному искусству. В трудах своих мистер Барнс выдвигал некие оригинальные суждения, популярности не снискал, однако галерее это ничуть не помешало, и с годами ее ценность удесятерилась. Тем не менее настал день, когда мистер Барнс умер, и перед его наследниками встала серьезнейшая дилемма культурно-политического порядка: платить ли налог с частной галереи или же открыть к наследству доступ для публики. Поразмыслив, наследники остановились на втором, а дабы налоги стали еще меньше, сделали этот доступ еще и бесплатным. Поскольку, однако, закон ничего не говорит о том, должна ли быть такая галерея бесплатной и свободно доступной, новые владельцы отнеслись к наследству более чем бережно: в галерею пускают только по пятницам и субботам, да и то по двести человек. Первую сотню — по списку, в который сейчас можно записаться только на полгода вперед, второй же сотне уготован «порядок живой очереди».

И направился я в ту часть Филадельфии, что застроена особняками, и отстоял свое в небольшой очереди, и был в эту пятницу пропущен внутрь сто девяносто восьмым.

И получил я там несказанное наслаждение от джунглей, изображенных художником Руссо, с фантастическими подобиями животных, выпучившими глазища, и от его же белых девушек, там и сям цепенеющих на фоне холмистого пейзажа, и от непередаваемо сладкой зеленой избушки Ван-Гога, и от непередаваемо горестной старой проститутки Ван-Гога, а также от разных уродышей Клее и Миро. Чрезмерное множество трепетных ланьих очей, изображенных Ренуаром, привело меня в состояние некоторой усталости. И тогда я вышел из галереи и на месте, залитом солнцем, поставил ногу на каменный бордюр парковой дорожки и хотел было увековечить впечатление в своем блокноте.

Но тут из близстоящего «форда» выскочил частный полисмен в серой униформе, наследники развели их в этом парке целые стаи. Был он из рода полисменов с неизменным кожаным ремнем, свирепо сдвинутым вниз под нахально выпирающее брюхо, тесным воротничком сорочки и перхотью в волосах, отчего и проистекает их предусмотренное по штату устойчиво-скверное расположение духа.

— Ходить по газонам воспрещается! Проходите!— объявил он.

Я прошел дальше к выходу и остановился на асфальте подальше от каменного бордюра.

Полисмен тут же выскочил снова, могуче свистнул в свисток, повернул шею в тесном воротничке, покраснел от натуги и объявил:

— Здесь останавливаться нельзя! Проходите!

Теперь я уже легкой рысцой поспешил к выходу, пытаясь на ходу написать «г», которым кончается Ван-Гог.

Раздался тревожный свист, из-за угла галерен выскакивали все новые и новые полисмены с перхотью в волосах, а «мой» полисмен орал:

— Ни стоять, ни ходить, ни писать здесь не разрешается! Проходите!

Невольно задержав на всякий случай дыхание, я вылетел за железные ворота парка со скоростью, максимально возможной в рамках приличий.

Широко раздвинув ноги, «мой» полисмен стоял посреди дорожки, с налившимися кровью глазами и засунутыми под широкий ремень большими пальцами. Я смотрел на него сквозь решетку забора и, признаюсь, испытывал чувство известного удовлетворения.

Когда бы мне ни повстречался полицейский, раскорячившийся посреди дороги, со свирепо сдвинутым ремнем и перхотью в волосах, многое в жизни сразу становилось как-то понятней.

Тем не менее к пристойному, культурному определению слова «свобода» мы так и не пришли.

Свободные машины

Интересы предпринимателей повелевают художественными течениями. Подстегивают моду и ускоряют банкротство.

Общеизвестно, что интерес предпринимателей к абстрактному экспрессионизму падает.

Поэтому предприимчивые художники не прекращают поисков.

В этом смысле два года назад особенно преуспел некий швейцарец по имени и фамилии Жан Тенгели. Случилось это в парке Музея современного искусства в Нью-Йорке. Швейцарец установил здесь одну из своих машин, производящих бессмысленные, самые неожиданные действия, которые, как правило, невозможно предвидеть. Машина должна была в парке покончить с собой. Называлась она «Привет Нью-Йорку». Как истинно свободная машина, самоубийством она не покончила, но зато всячески потрескивала, дымилась и наконец взорвалась, так что гасить ее вызвали пожарников.

В этом году Жан Тенгели будет вновь экспонировать свои изобретения. «Нью-йоркер» уже посвятил им исследование объемом в целый номер.

Вся беда в том, что в создании так называемого современного искусства участвуют подобного рода предприимчивые художники — более предприимчивые, нежели художники, и что потом по таким «приветам Нью-Йорку» судят обо всем остальном.

Неабсурдная абсурдность

Хамм: Что делает этот человек в мусорном ящике?
Клов: Плачет.
Хамм: Плачет? Значит, он существует.

С. Беккет. «Конец игры»

Фестиваль абсурдного театра, сопровождаемый соответствующей рекламой в печати и по телевидению, проходил в театре Черри-Лейн. Давали Беккета, Ионеско, Жене, Аррабаля и молодых американцев.

Попал и я туда в последний день, чтобы тоже, вслед за критиками, увидеть «зеркало, в котором ничего нет», и послушать «разговор под водой». В программе на сей раз были молодые: Ричардсон («Юмор висельника») и Олби («Ящик с песком»).

В некотором смысле абсурдным для каждого неискушенного был уже сам «храм Мельпомены», в котором проходил фестиваль. Подобно многим театрам в квартале нью-йоркской богемы Гринвич-Виллидж, этот скорее напоминает большую хибару, нежели маленький театр, годную скорее на слом, чем для фестиваля. На шатких стульях может поместиться человек сто пятьдесят. Было их там около сорока. Молодых, унылых.

Потом подняли занавес, и я сидел и ждал, когда же, наконец, начнется абсурдное, но ничего подобного так и не дождался. Не было бессмыслицы, не было замкнутого действия, не было комплексов навязчивости, да и смещения понятий тоже не было.

Ричардсон — изощренное повествование об осужденном и палаче, построенное по принципу зеркального отражения. Первый, осужденный, нашел в заключении и предстоящей казни то, чего ему недоставало на свободе, второй же стремится уклониться от участия в казни, от выполнения своего служебного долга.

Сюжет «Ящика с песком» не удивит тех, кому доводилось наблюдать образ жизни богатых стариков на приморских курортах Калифорнии или Флориды. Любящие потомки выносят бабушку на пляж, чтобы здесь, в играх и развлечениях, старушка ожидала прихода ангела смерти. Ангел смерти появляется в образе загорелого молодого мужчины в плавках, который в течение всего действия под аккомпанемент флейты выполняет набор незамысловатых вольных движений в духе «руки вместе — руки врозь», что, должно быть, немного и странновато, но зато весьма впечатляет и вполне соответствует стилю пьесы.

Пожалуй, это в самом деле трагические фарсы, хотя к тезису Ионеско: «Отдаю предпочтение тому, чтобы писать ни о чем», они отношения явно не имеют.

С точки зрения финансовой, фестиваль потерпел полное фиаско. Мистер Бэрр, его устроитель, выразился по этому поводу так: «Новые течения в искусстве обычно возникают целыми скоплениями. Это скопление уже распалось».

Мода прошла, и снобов, которые могли бы обеспечить интересы мистера Бэрра, уже не привлекает ни Беккет, ни тем более Олби, в чьем зеркале они не находят ничего для себя любопытного.

Настоящую публику абсурдного театра я застал в «Фениксе», где шла сюрреалистическая пьеса с названием «Папочка, бедный папочка, мамочка тебя повесила в уборной, и теперь я так скорблю».

Во всех этих дамах в чернобурках и розовощеких бизнесменах, разглядывающих сексуально изощренную мамашу с придурковатым отпрыском, с приготовленными в дорогу вещами, в том числе и некими плотоядными растениями (которые время от времени скулят и визжат), говорящей рыбкой в аквариуме, мертвым папочкой в ящике и коллекцией монет в мешке — все это облаченное в чистейший модерн,— право же, во всем этом нет, в сущности, ни грана абсурдного. Вполне жизненная ситуация. Снобы, симулирующие глубину понимания, неизбежны всюду, где симулируется глубина. И это, конечно, имеет место не только в нью-йоркском «Фениксе».

МИРОСЛАВ ГОЛУБ
АНГЕЛ НА КОЛЕСИКАХ

Брехт за Брехтом

В одном-единственном театре Гринвич-Виллидж все билеты были проданы на несколько дней вперед — в «Театр де Лис». Ставили там нечто вроде литературно-сценического монтажа по Брехту: стихи, афоризмы, песни и три отрывка из драмы.

Все очень просто, без декораций, без прожекторов, в глубине сцены у магнитофона человек в комбинезоне, спереди — горсточка актеров с текстами в руках, в обычных костюмах.

Весь спектакль — не что иное, как горькая брехтовская и европейская мудрость, ирония, и юмор, и сарказм.

И публику всех мастей то и дело бросает в дрожь, аплодисменты раздаются чуть ли не после каждой фразы.

Рядом со мной сидели две женщины, видимо артистки, они то смеялись, то плакали.

Да, подумал я, вот что значит Брехт и этот самый европейский интеллект. Здесь это, безусловно, сила!

Чем черт не шутит

Экспорт идей во все времена наталкивался на трудности. Что касается данного континента, то еще в 1528 году здесь был брошен в темницу морской капитан, который, помимо растительного масла, муки, тканей и пряностей, хотел переправить по ту сторону Атлантики также четыре жизнеописания Иисуса Христа, принадлежавших перу Рудольфа Саксонского, четыре «Учебника» Эразма Роттердамского, два «Рыцарских зерцала» и два «Чтения святого Григория». Новый завет, «Золотого осла» Апулея, басни Эзопа и новеллы Боккаччо. Капитан заблаговременно не выправил разрешения. В ту давнюю пору все ввозилось скорее из Европы в Америку, нежели наоборот.

Ныне же американцы решили отплатить человечеству добром животворных идей и в сфере кинематографического искусства. Цветной суперфильм «Чем черт не шутит» являет собой один из плодов этих смелых голливудских акций.

Фильм повествует об американской католической миссии на Востоке, которую всячески изводит и третирует зловещая коммунистическая армия, причем Спенсер Тресси, будучи сперва в компании с Уильямом Холденом подвергнут пыткам, заточению в темнице и преследованию по земле и по воздуху, в конце концов погибает смертью храбрых. В роли главного злодея выступает некий коммунистический полковник, личность настолько демоническая, что по ходу действия он совершает абсолютно все, разве только не насилует Спенсера Тресси. Тем больших эстетических высот достигают авторы впоследствии, когда этого дьявола на предмет изрядной взбучки отдают в руки еще более демонического советского политического советника, классифицирующего методы полковника как недопустимо мягкие. Под впечатлением общения с этим исчадием ада полковник впоследствии неузнаваемо меняется, бежит вместе со своими бывшими жертвами в Кантон и женится на им же предварительно изнасилованной китаянке, которая, однако, в свою очередь все это время не переставая любит Уильяма Холдена.

Словом, боевик! В кинотеатре в Сан-Луис-Обиспо кроме меня на нем присутствовало еще двое зрителей, один ушел после того, как сынок-коммунист (под портретами Маркса и Энгельса!) застрелил собственных беззащитных родителей.

Критика приняла фильм довольно холодно: дескать, картина эта недостойна Маккери, который ее поставил.

Вот уж действительно чем черт не шутит в экспорте идей.

Наиболее серьезное препятствие на пути к вывозу некоторых идей — это сами идеи.

Вест-сайдская история

Разумеется я тоже отправился взглянуть на то, что удостоено не то десяти, не то двенадцати «Оскаров».

Был субботний вечер, и Маркет-стрит в Сан-Франциско сама напоминала цветной суперфильм.

Что касается экранизированной «Вест-сайдской истории», то смело могу сказать, что с таким же успехом она могла бы получить 28 или 114 «Оскаров». Кто бы и что бы ни делал в этом фильме — начиная с хореографа и постановщика, создавших во вступительных кадрах, когда камера съезжает с неба в серое пекло Вест-Сайда и объектив начинает показывать ватагу подростков, исполненных чего-то неописуемого, грозного и сильного, создавших из этого не просто вступление, а совершеннейшую поэму движения, музыки и цвета, от Натали Вуд до последнего пса в этой картине, — все сделано с неповторимым совершенством. Таким, что кое-где это совершенство, быть может, уже почти граничит с весьма необычной разновидностью олеографии.

Когда я снова вышел на Маркет-стрит у меня то и дело возникало чувство, будто я встречаю Риту Морено, а в боковых переулках казалось, вот-вот увидишь на мостовой пятна крови убитого пуэрториканского юноши.

Такое произведение можно ценить поразному: как образец мастерского владения формой либо точности в выборе безотказно заразительных идей. Но не может быть сомнения в единодушном и

искреннем признании зрителями воистину стопроцентного уровня ремесла, ремесла в лучшем смысле этого слова. Даже удивительно, что такое совершенство может воздействовать подобно глубочайшему жизненному откровению, подобно смерчу.

Я не спеша шел вверх, к Твин-Пикс, и в звездах над пальмами и небоскребами, казалось, было больше «звездности», чем когда бы то ни было прежде.

Студент, который разговаривал с сенатором

Он вернулся домой в полночь промерзший и довольный.

Шесть часов он ходил перед Белым домом с плакатом: «Требуем решительной акции правительства на переговорах о разоружении».

— А еще я разговаривал с сенатором,— сказал студент, разгрызая кубики льда из стакана с водой.— А завтра нашу делегацию примет президент,— добавил он, глядя на меня с гордым презрением.

Я попытался перевести на английский одно из самых емких словосочетаний своего родного языка:

— Ну и что же?

Толстая миссис в розовом платье...

В Чарльстоне, Южная Каролина, на автобусном вокзале сняли надпись «Зал ожидания для цветных». Но цветные по-прежнему ждут автобуса в том же самом закутке.

В каждом автобусе висит объявление, запрещающее рассаживать пассажиров в зависимости от цвета кожи; тем не менее цветные продолжают ездить сзади. Я занял место среди них.

Сидевшая впереди толстая белая миссис в розовом платье невероятно возмутилась и потребовала немедленно призвать нарушителя к порядку. Цветные бросали на меня неодобрительные взгляды. Толстая миссис визжала и бурно жестикулировала. Сумей она пройти в проходе между сиденьями, она почти наверняка выволокла бы меня из автобуса. Но проход был узок.

О да, эта толстая миссис в розовом платье всегда стоит на страже традиций, пишет письма в редакции газет, поддерживает ассоциации разных Берчей, которых даже Никсон хотел изолировать от республиканской партии в Калифорнии, знает жизнь, мир и человека, проникнута мудростью и нравственностью расы. Вот только что раса эта не человеческая. Куриная раса.

Это она, всегда она, эта толстая миссис в розовом платье, с которой приходится воевать людям и которой всегда будут аплодировать куры.

Истерическое кудахтанье этой миссис, к сожалению, все еще разносится по континентам. Хотя, с другой стороны, уже курсируют автобусы с узкими проходами.

Боже милостивый

Милостивый господь поистине всеведущ в Америке. Мало того, что храмики божьи греются на солнышке вдоль всех автострад, что готические соборы вклинились в гущу небоскребов на Манхэттене и торчат там, как бельмо на глазу современной архитектуры, что есть церковные школы, в которых ежедневно на трех уроках из пяти преподаются божественные науки, что существуют иезуитские университеты, что на конференции, посвященной пересадке тканей, с докладом о толсто- и тонконогих тритонах выступает иезуит отец Сквадрони, что нейрохирург начинает и кончает беседу по телевидению с именем бога на устах, что ведущий генетик, ученый с мировым именем, не ленится совершить в своем докладе обходной маневр и вернуться к тем временам, когда не было ничего, кроме атомов водорода, но тем не менее дух божий витал над бездной и кусок за кусочком творил эти самые атомы, что в воскресенье телевизоры и радиоприемники начинены ангельскими песнопениями и духовными разглагольствованиями, что не идти в костел куда хуже, чем идти в кино на советскую картину...

Милостивый господь фигурирует здесь на марках, на монетах, на флагах, над баранками в автомобилях и в каждом номере каждой гостиницы — либо лично, либо представленный ведомственным святым. Милостивый господь рекламируется вдоль автомобильных дорог наряду с прочими рекламами: «Посетите нашу лютеранскую кирху!», «Посетите баптистский храм в Таксоне, первый поворот направо!», «Посетите старейший калифорнийский монастырь!» (2,4 мили, на рекламном щите изображен старейший калифорнийский монах и индейский отрок: монах похожий на маринованного угря, отрок — в элегантной юбочке и с выражением столь полного идиотизма на лице, что школьник где-нибудь на дороге под Прагой, побуждающий дисциплинированных шоферов к вящей осторожности, представляется в сравнении с ним существом вполне нормальным). А в Миннесоте у автострады огромная над-

---

МИРОСЛАВ ГОЛУБ
АНГЕЛ НА КОЛЕСИКАХ

пись: «Чтобы войти в рай, нужно родиться второй раз!» (ниже следует подробная инструкция), а на дороге из Сан-Диего в горы, где уже одни скалы, и развалившиеся лачуги, и чахлая растительность, там все же обязательно реклама бензина «Тексако» и на скале размашисто намалевано предупреждение: «Христос придет!» А в Пекосе (Техас) в помещении, посещаемом только мужчинами, и на высоте, на которой обычно останавливается их взор, наклеены листовки с призывным текстом: «Уверуй в бога, и придет спасение!»

И в каждом уважающем себя городке имеется не только зоосадик, но и нежный садик библейский, с библейскими цветочками. А в каждой больнице есть часовня, а в огромной больнице в Бетезде — часовня с вращающимся алтарем, так что богослужения разных культов могут следовать одно за другим без промедления, для чего достаточно нажать кнопку, чтобы повернуть алтарь.

И, конечно, господь бог есть всякий: есть сверхэлегантный, обитающий в новой архитектуры храмах, господь унитарный, благоволящий к наукам, и детским садикам, и к братским собраниям братьев родителей, есть требующий ношения бород господь баптистский, есть господь негритянский, обожающий сбор пожертвований в церковные кружечки и хлопки в ладоши, есть боги разных мирских сект, не слишком благоволящие к делам светским, но и есть господь бог католический, благоволящий к любой деятельности американской, отнюдь не милостивый и не добродушный господь, отнюдь не веселый, находящий удовлетворение в чудесах господь бог итальянский, но строгий и неумолимый господь ирландский, проклинающий всех остальных, а заодно и аборты, противозачаточные средства, битников и атомное разоружение.

И всяк господь издает свою печатную продукцию, разложенную повсюду на остановках и в залах ожидания совершенно бесплатно — бери, читай! Лишь доехав до Калифорнии, я понял, какой это замечательный совет! В большинстве своем эта литература — описание историй, весьма сходных с той, что приключилась с обозником Иозефом Бонгом из «Бравого солдата Швейка».

Неописуемую радость мне доставила история «Заблуждение банкира», принадлежащая перу О. Дж. Смита, первопресвитера и пр. и пр. какой-то секты. Выступающий в ней упорствующий в неверии банкир с перекошенным от злобы лицом отметает доводы, преподносимые ему неким бизнесменом. И все же он оказывается не в силах устоять перед следующим аргументом:

«...Вот каковы ваши дела, мистер! Вы же, в сущности, жалкий, беззащитный бедняк, обреченный на страдания, едва прикрывающий в бедности наготу свою... Всевышний — и только он — великий Банкир! И вы прибегаете к нему с мольбой о милосердии и прощении. Так кто же, по-вашему, имеет право ставить условия, на которых вам может быть от Него ниспослано спасение?..

— О Господи, никогда не подозревал, что мое положение таково...— ответствовал банкир тоном, выражающим крайнее изумление.— В таком случае, конечно, не мне диктовать условия. Богу принадлежит это право. Только ему.

— Но ведь вы же строили свои планы, забыв, что нищие не диктуют! Нищие только принимают! А ведь Бог, этот великий Банкир, все это время предлагал вам спасение сообразно Его планам. Откажетесь вы теперь от собственных планов и примете Его? Готовы вы принять Бога на Его условиях?

— С Божьей помощью готов,— смиренно ответствовал банкир, и новый свет озарил его душу».

Но было бы ошибкой думать, что это просто свет ради света. Просветление в банкировой душе одновременно указывает на простосердечие и устремления душ, которым адресована подобного рода литература. Для многих банкирских и небанкирских душ это, право, не шутка. Вот что поистине любопытно.

Как любопытно и даже понятно то, что секты, вроде той с банкиром, были в Бостоне обвинены в коммунизме, ибо проповедуют мир, подобно коммунистам. Автор этого сногсшибательного выпада был щедро вознагражден местными фирмами.

Любое обвинение в коммунизме нынче чрезвычайно доходно. Доходнее даже, чем иные боженьки.

А вообще-то зачастую всевышний — это скорее нечто вроде белой сорочки с галстуком, в которую облачена душа. Приличные люди, достигнув обеспеченного положения, должны носить такую сорочку. Не более того.

Над Эль-Пасо в Техасе поднимаются отвесные каменные утесы, на самой высокой из них — бетонный крест. И вот там где кончается сплошная стена из скал, в знойном полуденном солнце утопает плоское здание школы, и ученицы в черных передничках и белых блузках бесконечной вереницей тянутся из дверей во двор, выходят на дорогу, поворачивают обратно, поднимаются по лестнице на плоскую крышу и спускаются во двор и ходят, и ходят... монашки поддерживают размеренный ритм процессии, а из громкоговорителей на нее льется наводящий зеленую тоску голос какой-то штабс-монахини, до бесконечности бубнящий «Отче наш». Девушки все красивые как на подбор, с острыми глазками, парятся в своей черной форме, но зато их души — в белых блузках.

Те, что не вышли замуж за банкиров ходят там по сей день.

Ангел на колесиках

Человеку нужно что-то, что было бы больше его.

Вещи? Один телевизор, два телевизора, три автомобиля, бассейн с фонтаном, собственный космический корабль, розовый самолет для любовницы. Замок Херста близ Сан-Луис-Обиспо, наконец!.. включая вольеру для павианов и мраморные пещеры.

Ощущения? Приятное ощущение от вида красивых вещей, приятное ощущение путешественника, приятное ощущение человека, мчащегося с большой и еще большей скоростью, приятное ощущение собственной власти, наслаждение от еды и питья, наслаждение любви. И еще большие наслаждения. И еще больше наслаждений. Наркотики. Галлюциногены. Умный буддизм с умным и ловко перекроенным эпикурейством, обращаться к которому советует, наконец, и сам Олдос Хаксли в своем «Острове».

Цели? Добиться хороших результатов и еще лучших результатов. После смерти — в рай, бог в качестве страхового агента, премия по полису выплачивается с последним причастием. А до тех пор — творить добро. Культура — идеациональна, как утверждает Сорокин *,— она ведет человека, страдающего от распада культуры, воспринимаемой чувствами, и культуры научной — к величинам абсолютным, ибо «человеческую личность следует полагать целью, а не средством» (Кант). Счастье в постижении чего-то абсолютного, как записал для себя в этой стране Моруа.

А может, что-нибудь еще?

Здесь, в этой стране наиновейшей марки, колесики цивилизации не везут ничего, кроме ангела в стиле барокко. Полагаю, что ангел этого не выдержит.

Я полагаю, что есть вопросы, которые не решить не то что одному человеку, но и обществу в целом. Тем не менее в этой стране до сих пор господствует частная инициатива.

И вообще я сомневаюсь в том, что счастье — это ощущение одного человека.

Счастье, коль скоро оно вообще существует, это процесс многих людей. А много людей — это и есть то, что больше человека.

Ну и что же?

Я — любовник, не нашедший ничего,
что я бы мог любить.
Шервуд Андерсон
Не могу ужиться сам с собою...
Аллен Гинсберг

Этот юноша прохаживается вдоль берега моря и вдыхает соленые облака, гонимые ветром.

Ему может принадлежать кусок моря, или кусок суши, или кусок неба.

Ну и что же?

Он может любить.

Ну и что же?

Может добиться любого обещаемого рекламой успеха.

Ну и что же?

Прилетают птицы и садятся на его пальцы.

Ну и что же?

Может говорить все, что ему придет на ум.

Ну и что же?

Может одолеть ангела.

Ну и что же?

Может смотреть, как капли его крови теряются в каплях океана.

Ну и что же?

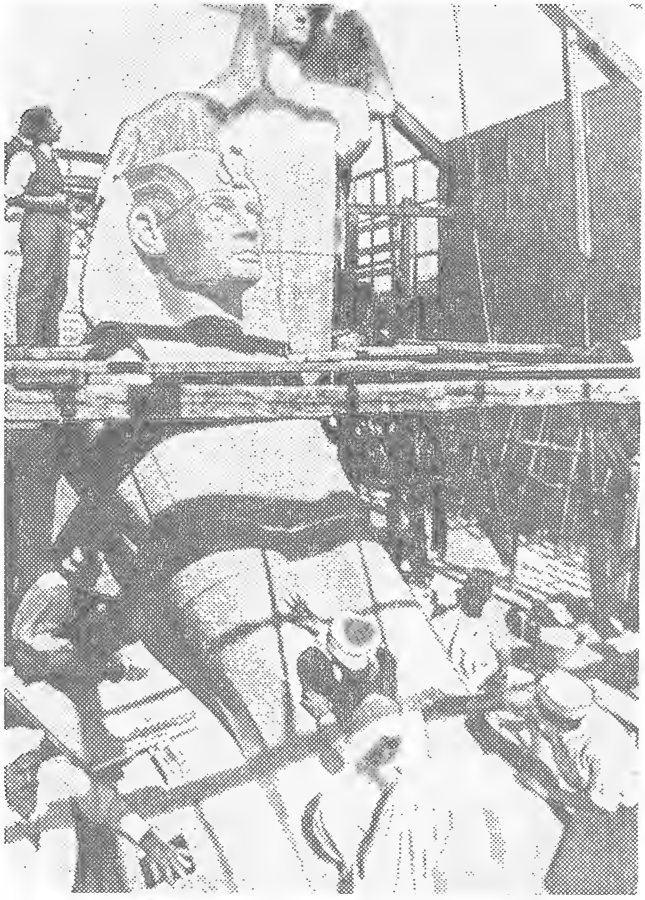
— Молодой человек, вы что-нибудь ищете?

— Нет, спасибо,— отвечает он и уходит. Но плечи его похожи на плечи мальчика, который ищет книгу с картинками. Ту, в которой мама заложила одну главу своей заколкой.

Перевод с чешского С. РЕЛЛИБА

---

* Питирим Сорокин — американский социолог. *(Прим. ред.)*



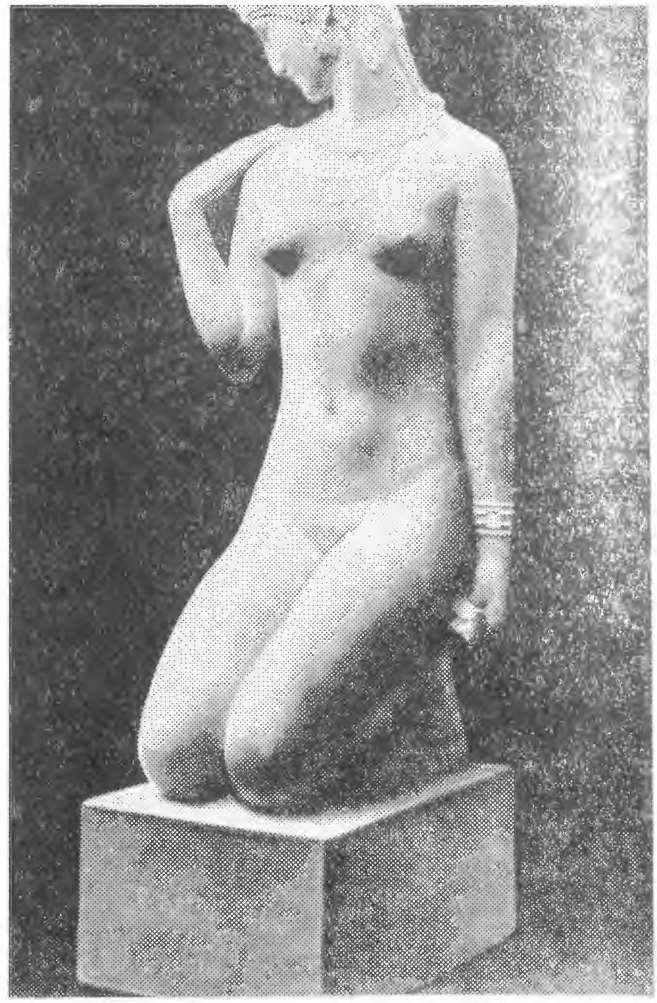
Мухтар во время работы над монументом «Пробуждение Египта»

Один из борцов за национальное освобождение Египта, Саад Заглул, перед монументом

ЕГИПЕТСКИЙ СКУЛЬПТОР МАХМУД МУХТАР

Те, кто бывал в Каире, хорошо знают скульптурную группу «Нахдат Мыср»—«Пробуждение Египта», установленную перед Каирским университетом. Во многих странах мира она известна по многочисленным снимкам, почтовым открыткам, маркам и фирменным знакам египетских торговых компаний: сфинкс и рядом с ним женщина в национальной египетской одежде. Сфинкс явно из той же породы, что и его древние собратья, проспавшие века под сухими и горячими песками пустыни,— сильное тело льва и голова человека в древнеегипетском головном уборе. Кажется, несколько мгновений назад он тоже, подобно им, пребывал в глубоком сне, сохраняя выражение непоколебимого спокойствия, уверенности в том, что все уже познано и ничто в мире не может нарушить ни их вневременного величия, ни славы, не видя и не ведая, как изменилось все вокруг со времен могущественных фараонов— сынов бога солнца. Теперь он как бы очнулся. Его мощные лапы вытянулись и твердо уперлись в пьедестал. Голова приподнялась, широко открытые глаза смело и решительно смотрят на мир—

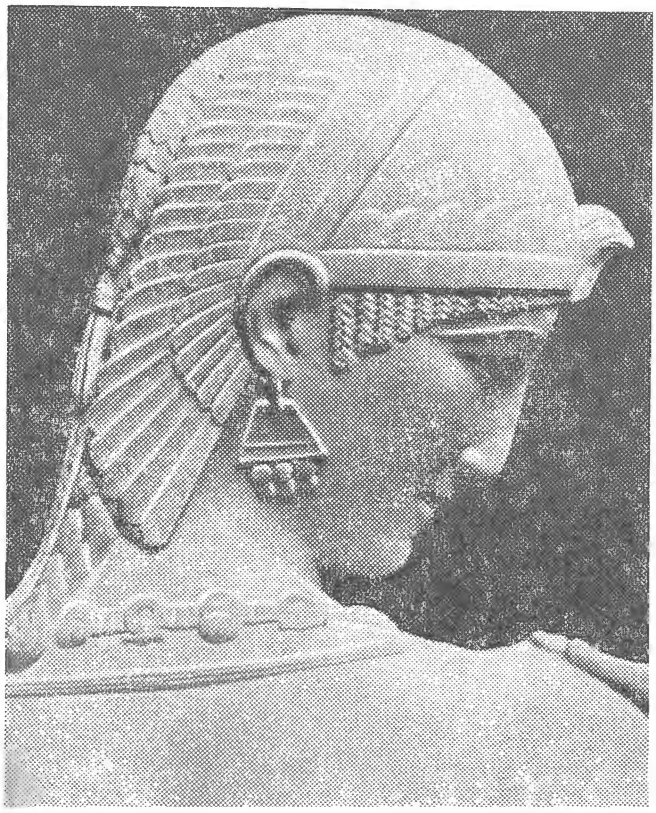
Невеста Нила



не далекого прошлого, а настоящего и будущего. Женщина в простой одежде крестьянки одной рукой опирается о голову сфинкса, другой приподнимает покрывало, много веков закрывавшее ее лицо.

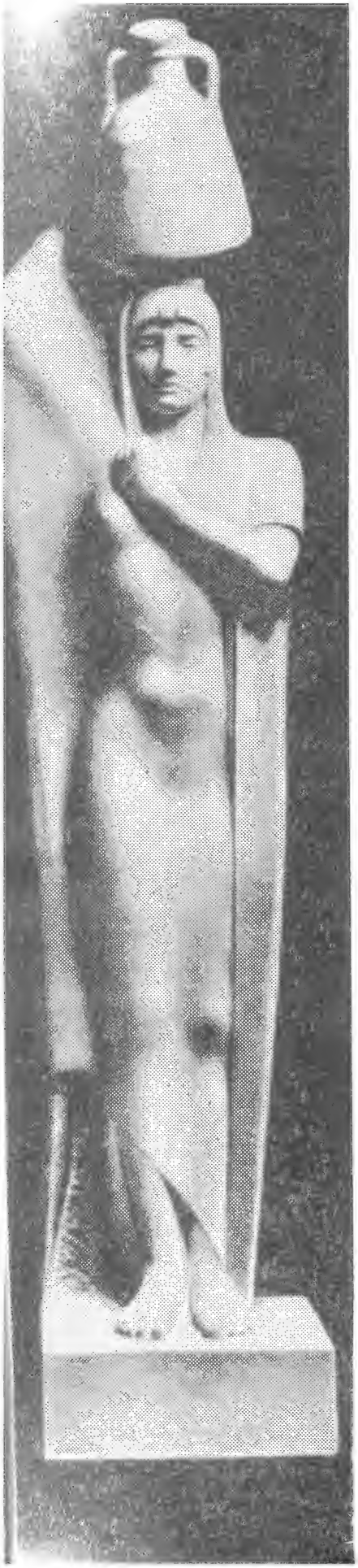
Она олицетворяет собой и сам Египет (по-арабски Египет — «Мыср» — женского рода) и египетскую женщину, отбрасывающую средневековые обычаи и вступающую в новую жизнь полноправным членом общества.

Эта скульптура из асуанского гранита давно уже стала символом нового, современного Египта. Недаром она поставлена перед крупнейшим учебным заведением страны, где обучаются юноши и девушки, будущие специалисты, на которых народ возлагает много надежд. Особенно созвучна скульптура сегодняшнему дню, когда в Объединенной Арабской Республике происходит столько изменений в экономике и социальной жизни.



Автор этого памятника скульптор Махмуд Мухтар родился 10 мая 1891 года в деревне Тунбара недалеко от города Махалла эль-Кубра. Отсюда, из бедной египетской деревни, он вынес и пронес через всю свою жизнь и творчество любовь и уважение к простым людям, горячее сочувствие к их страданиям и горестям. С 1902 года Мухтар вместе с матерью живет в Каире, где вскоре поступает в только что открытую школу изящных искусств. В числе немногих наиболее талантливых учеников Мухтар по-

Невеста Нила (деталь)



Женщина с кувшином

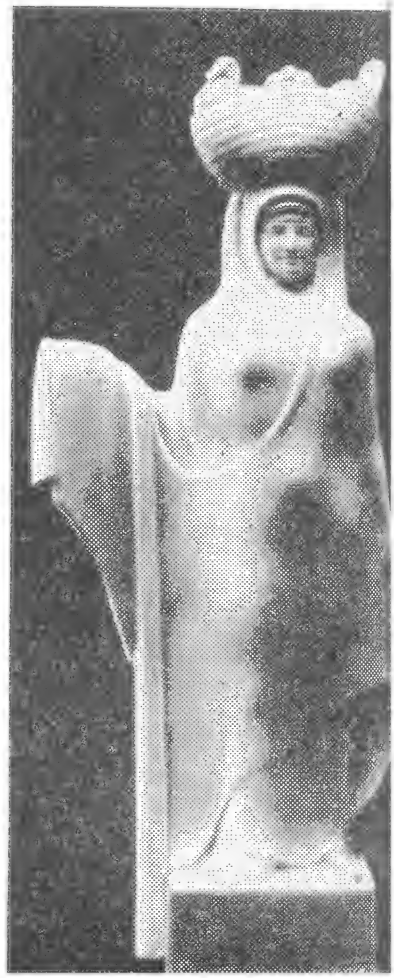
лучает государственную стипендию для завершения образования в Париже. Там, в школе Бонапарта, он учится у известного французского скульптора Кутана. Первая мировая война надолго оторвала молодого скульптора от родины, но это не ослабило его привязанности к ней. Он продолжал жить ее надеждами и стремлениями. Когда после окончания войны в Египте начинается широкое движение за освобождение от английского господства, Мухтар не остается в стороне. Он близко знакомится с руководителями национально-освободительного движения и прежде всего с его лидером Саадом Заглулом, приезжавшим в Париж во главе египетской делегации, которая требовала от международной Версальской конференции предоставления Египту независимости.

Мухтар видит долг художника в том, чтобы выразить языком искусства патриотические чувства, охватившие самые различные слои египетского населения. Замысел скульптурной группы «Пробуждение Египта» недаром созревает в 1919 году, когда египтяне в городах и селах поднимаются на неравную вооруженную борьбу против английских колонизаторов. Героическое восстание терпит поражение, но Мухтар, как и весь народ, верит в победу. В своем произведении, созданном во времена, далеко не лучшие для Египта, он утверждает и провозглашает оптимистический взгляд на историю, веру в то, что древний и талантливый египетский народ добьется свободы, несмотря ни на какие препятствия.

Проект скульптуры демонстрировался на Парижской художественной выставке в 1920 году и получил высокую оценку европейской критики. Но особенно восторженно произведение Мухтара было встречено в Египте, куда он возвратился

Источник

Возвращение с рынка

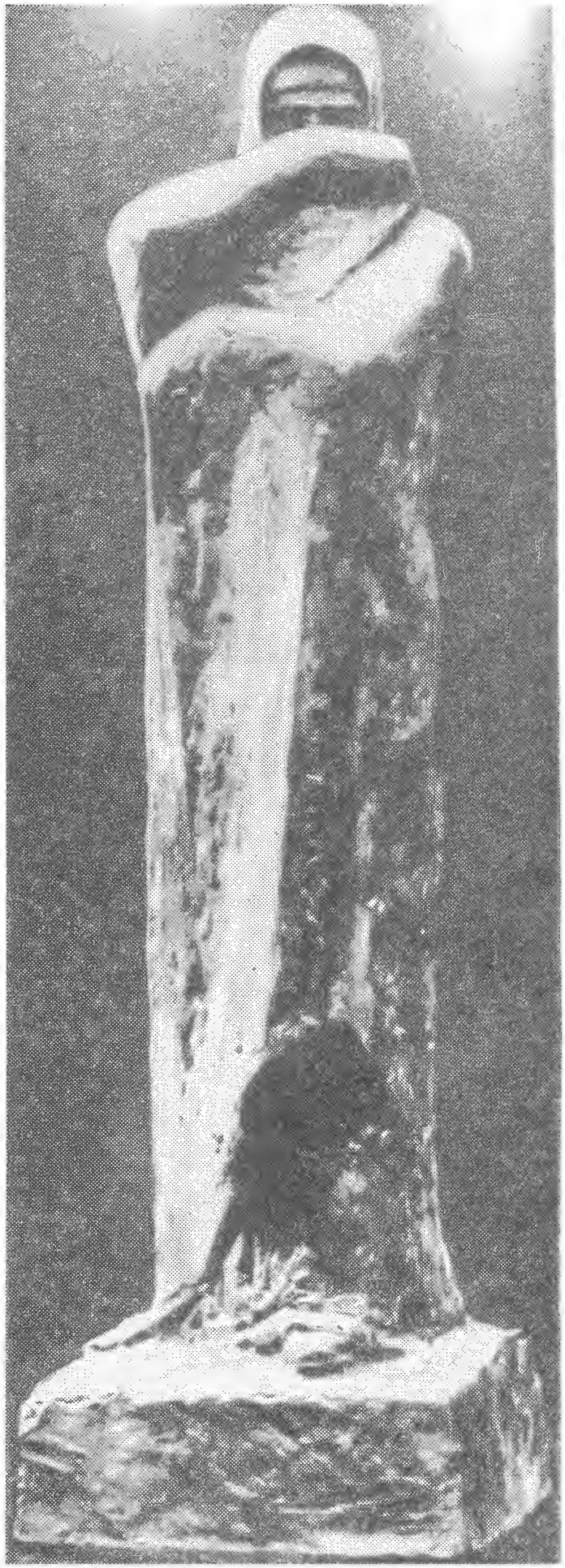


При виде мужчины

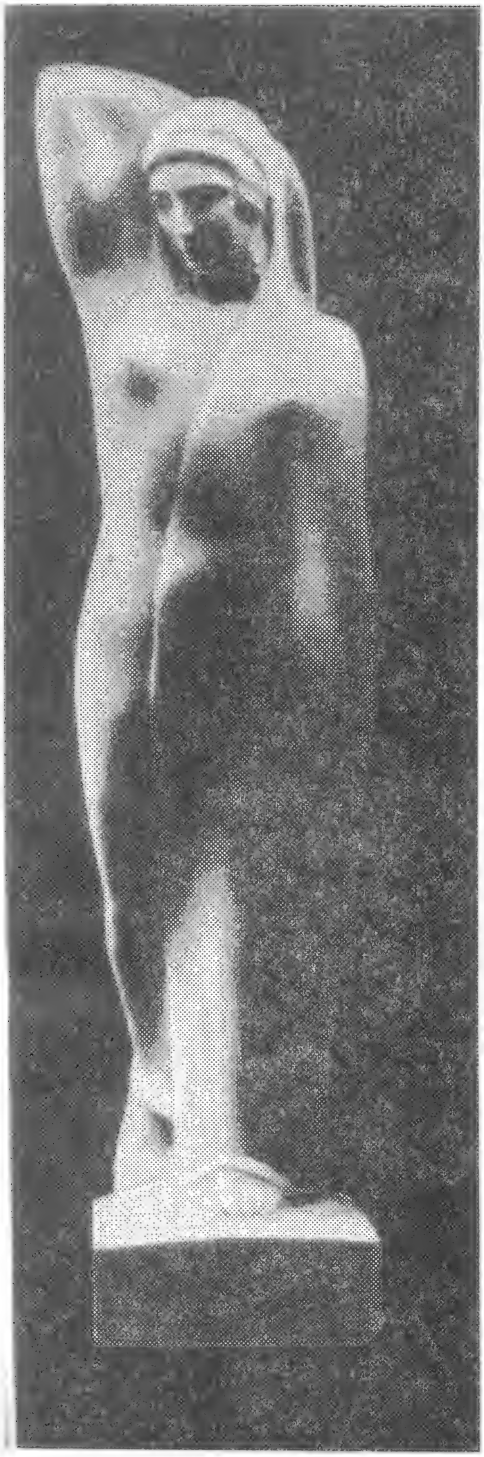
в том же году. Патриотически настроенная пресса призывает население к сбору средств для воздвижения памятника. Много трудностей пришлось преодолеть Мухтару, пока в мае 1928 года этот памятник был установлен в Каире. Среди других его открытие приветствовал своими стихами эмир арабских поэтов Ахмед Шауки. Эти торжества превратились в настоящий праздник национальной культуры Египта.

Мухтар принимает активное участие в общественной жизни страны, стремится поднять уровень художественного вкуса публики, в своих статьях страстно выступает в защиту национального искусства, всеми средствами пропагандирует его.

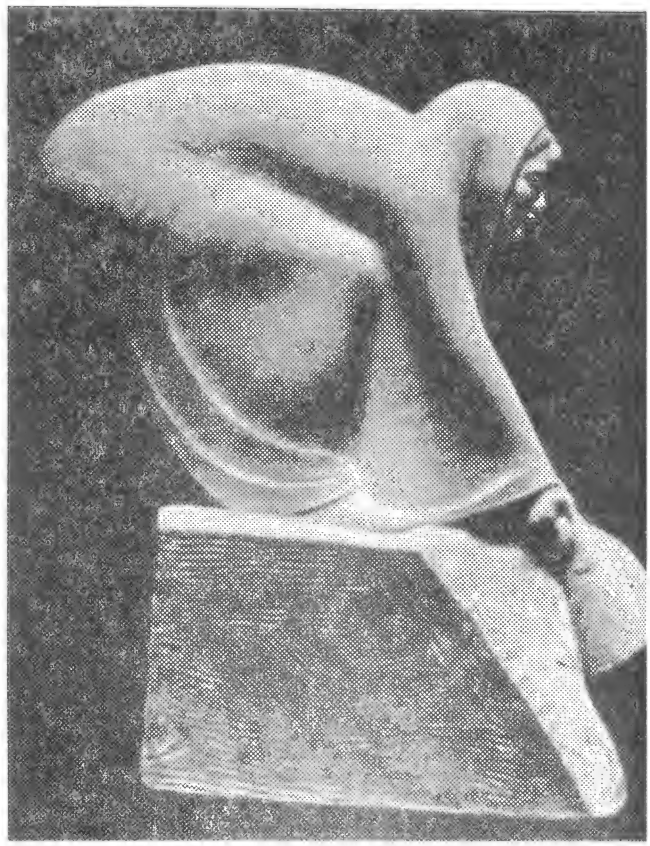
С особенной силой самобытный талант художника выражен в скульптурных статуэтках, создающих целую галерею народных характеров и типов. В этих работах ощутимо влияние древнеегипетского искусства, но это не подражание мастерам древности, от которых автор воспринял обобщенность деталей, законченность формы и, пожалуй, некоторую статичность. Менее всего можно увидеть в этих произведениях стилизацию на «фараонические» мотивы. Они только напоминают зрителю о том, что дух народа вечен и неистребим, что он прочнее, чем гигантские пирамиды. Скульптуры вполне современны и живы. В них передана своя, особая красота египтянок и египтян, их лиц, фигур, национальных одежд, своеобразие их жестов. Есть здесь целые сценки — такие, как «Идиллия», «Возвращение с реки», «Нищие». Часто повторяются мотивы быта крестьянских женщин. Эти исполненные лиризма произведения — подлинная поэма о людях современного Египта, проникнутая страстной любовью автора к своей родине.



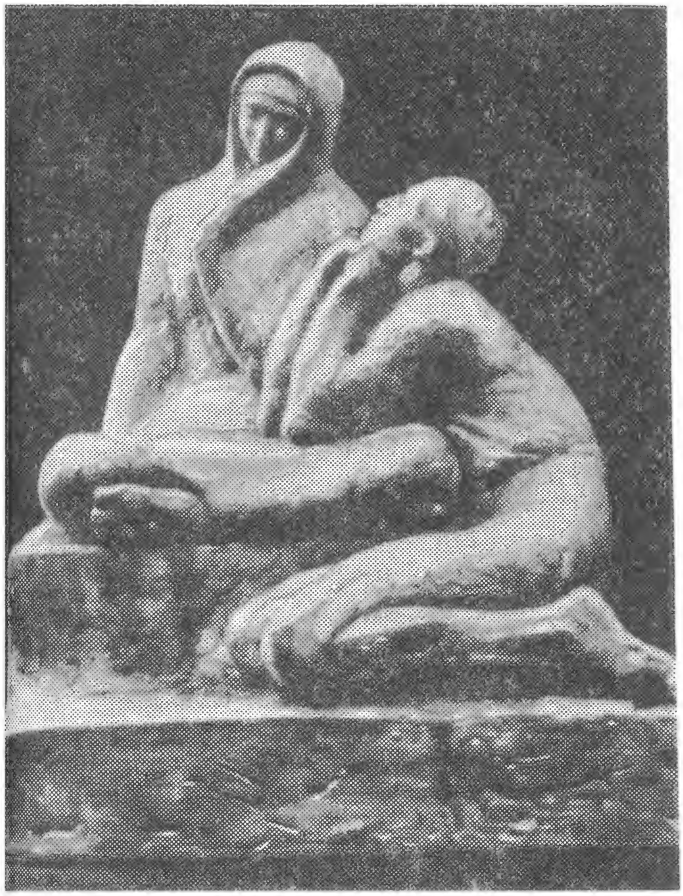
Изида



К любимому



За нильской водой



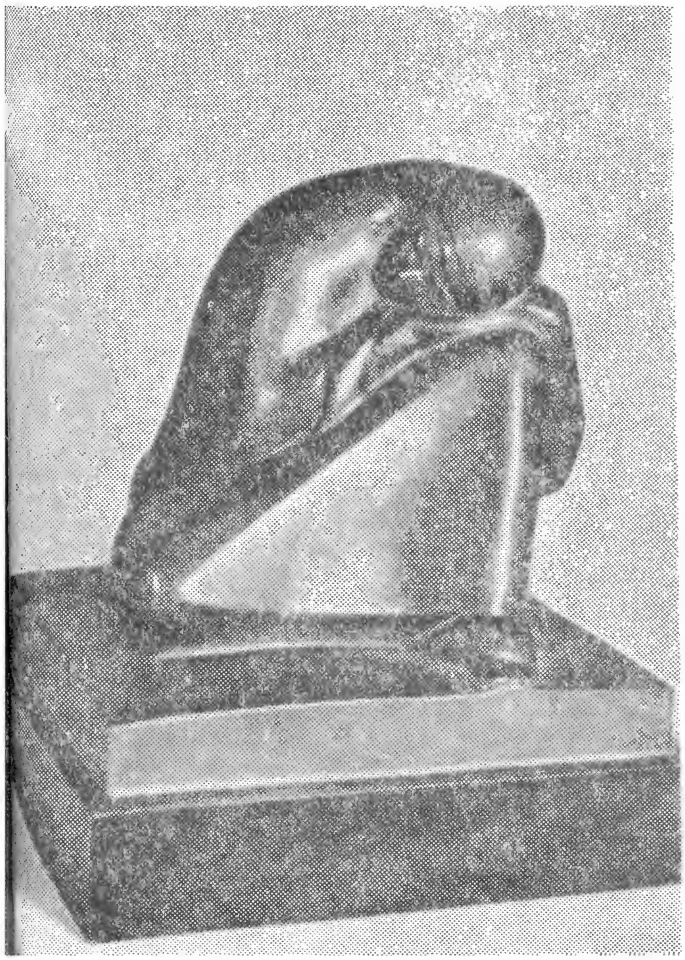
Идиллия

Продавщица сыра

Мухтар писал об искусстве, что это «один из животворных источников общественного богатства и процветания. Искусство не развлечение, а необходимость для каждого народа, который ценит создаваемую им в стране моральную силу».

Творчество выдающегося египетского скульптора Мухтара, умершего более тридцати лет назад, оказало большое влияние на развитие современного искусства в ОАР. Оно дало прекрасный образец честного и самозабвенного служения художника своему народу и времени.

О. Ковтунович



Печаль

ОГОНЬ РОМАНТИКИ РАЗГОРИТСЯ СНОВА

К 85-летию со дня рождения Шона О'Кейси

В марте этого года Шону О'Кейси исполнилось бы 85 лет. Всего лишь несколько месяцев не дожил он до этой даты, но наперскор годам, тяжким болезням и ударам судьбы сохранял удивительную душевную молодость — дар, которым обладают истинно великие художники.

Целая эпоха воплотилась в его творчестве — и в пьесах, и в публицистике, и в его монументальной эпопее, где автобиография Шона Кессиди нераздельно слита с историей его страны и его народа. Творчество О'Кейси — особая и неповторимо яркая глава в развитии современного искусства социалистического реализма. Глубокое знание народной жизни окрылено в книгах О'Кейси страстным убеждением в необходимости ее революционного преобразования. Он безжалостно разоблачает рыцарей красивой демагогической фразы, сеятелей лживых утешительных иллюзий, но не менее ненавистны ему и проповедники пессимизма и отчаяния. Превосходно зная, как безгранична может быть степень человеческой низости и падения, он вместе с тем полон несокрушимой, «выстраданной» и взятой с боя уверенности в силах человека — деятеля, мыслителя и борца, созидателя жизни.

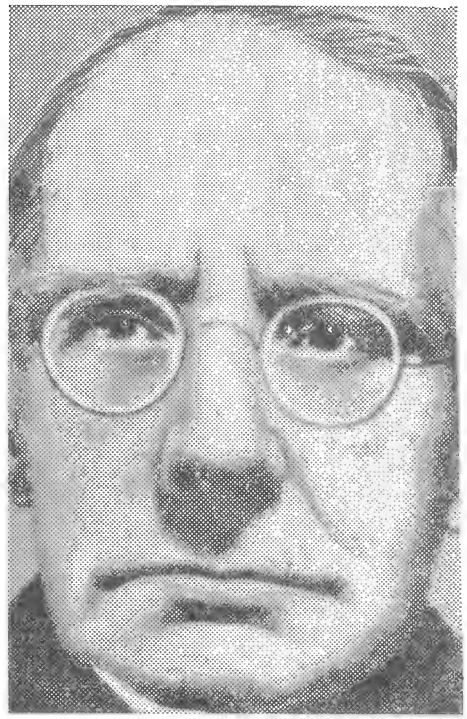
Литературное наследие О'Кейси — явление мирового масштаба. Досадно, что наши переводчики издательства и театры все еще остаются в долгу перед нашими читателями и зрителями и перед памятью художника. Пора бы довести до конца издание русского перевода эпопеи О'Кейси, пора бы открыть дорогу его пьесам на нашу театральную сцену! Задача, конечно, не из легких: в произведениях О'Кейси полифонически сплетаются доподлинные жизненные наблюдения и сатирический гротеск, отголоски фольклора, насмешливая полемическая издевка и вольная игра фантазии, проникнутая глубоким лиризмом. Но зато как благодарна задача показать современникам этого замечательного прозаика и драматурга нашей эпохи, так чутко слышавшего поступь истории и умевшего в настоящем угадывать будущее!

Моя переписка с Шоном О'Кейси завязалась в ту пору, когда я работала над книгой «Наследие английского романтизма и современность». О'Кейси, с присущей ему душевной щедростью живо откликнувшийся на мою просьбу о совете и помощи, продолжал и в дальнейшем интересоваться моей работой 25 марта 1961 года, поздравляя меня с выходом моей книги, он писал: «Да, в Англии были гиганты в те дни. Большинство нынешних английских поэтов, да и многие критики, оглядываясь на те времена, не видят там ничего, кроме маленьких пташек, щебечущих свои ничего не значащие песенки. По моему мнению, они их боятся, они должны преуменьшать масштабы величия тех поэтов, чтобы показаться самим куда больше, чем на самом деле. И они не терпят ни в пьесах, ни в стихах ничего, что хотя бы косвенно взывало к человеческой душе, побуждая к борьбе за будущее человечества».

В письме О'Кейси от 19 марта 1958 года, которое публикуется ниже с некоторыми сокращениями,* этот взгляд на значение для современности поэтического наследия английского романтизма выразился еще более полно. Но письмо это замечательно и во многих других отношениях. Оно показывает, как нераздельны были в представлении О'Кейси, писателя-коммуниста, судьбы искусства и судьбы народа. Оно показывает, как отвращение ко всякому фарисейству, сектантству, узости взглядов органически сочеталось в нем с непримиримостью к современным декадентам, пытающимся отнять у людей надежду на будущее и любовь к жизни. Написанное тяжело больным, полуслепым человеком 78 лет, это письмо звучит как стихотворение в прозе, с юношеским восторгом славящее радость бытия, творчества и борьбы.

А. Елистратова

* Отрывки из этого письма были первоначально опубликованы в книге «Наследие английского романтизма и современность».



Неопубликованное письмо

ШОНА О'КЕЙСИ

Торки, 19 марта 1958 года.

[...] Вы спрашиваете меня, считаю ли я, что пламя, вдохновляющее лучшие произведения романтических поэтов прошлого века, еще горит и пульс его еще бьется. Здесь, в Англии и Ирландии, по-моему, оно не горит, но жар еще не погас, еще теплится то, что мы в Ирландии называем «зерном огня», и я верю, что этот огонь разгорится снова — может быть, по-иному, чем раньше, потому что пламя может окрашиваться в разные цвета. Наука и новое понимание психологии дали нам ясное представление о своеобразных формах жизненной деятельности, и, конечно, мы откликаемся на новые открытия о человеке и его природе. Но ведь и в этих открытиях есть свой романтизм. Мы больше знаем теперь о цветке, о его форме и биологической деятельности, но его краски, его очертания, его аромат остаются столь же прекрасными и радуют так же, как и раньше. Большинство наших английских критиков погрязло в своих представлениях о фрейдизме, исходящих скорее из их собственных домыслов, чем из Фрейда, ибо они набили руку на толковании этого нового и все еще плохо понятого учения о человеческой психике. Но они тянут одну и ту же бесконечную песню, которая представляет собой сплошное издевательство над человеком; они цинично объявляют, что человеческая природа не может измениться и что подсознание определяется низменными животными страстями — как будто живая страсть может быть низменной! Они выдирают из земли розовый куст и указывают на корни, говоря: «Смотрите! Видите, какие они кривые, и грязь налипла на них». Но они будто слепы к алым, белым и желтым лепесткам со всей их яркостью, прелестью и восхитительным ароматом. Эти критики — да и романисты тоже — одержимы идеей «первородного греха»; кажется, словно они приняли как вечную истину слова библейского псалмопевца: «Я родился в нечестии, и во грехе зачала меня мать». Они рассуждают так, словно ни одна птица не щебечет на дереве, не слышно ни одной песни, ни одного цветка нет ни в лесах, ни на обочинах дорог — и всюду мрак. А ведь несмотря на этот «первородный грех» птицы щебечут на деревьях, много юношей и девушек поют свои песни, и цветы расцветают в лесах и вдоль дорог.

Тут-то вот они и сходят со сцены, а я — вхожу. Я глубоко уверен, что уже возникает противодействие этой глупой идее вселенского уныния, и многие отворачиваются от этой толпы плакальщиков в монашеских клобуках. Совсем недавно критик из «Таймс литерари сапплмент», под влиянием статьи в «Дублин мэгэзин», написанной американцем, преподавателем университета штата Огайо, заявил, что пора заново оценить творчество О'Кейси, что он — единственный драматург, который смотрит на жизнь с надеждой, и что хотя в его пьесах слышится погребальная песнь, в них всегда звучит и пляска жизни. А сообщил мне об этом молодой учитель средней школы из Ноттингема, в Англии. Молодежь начинает петь, смеяться и требовать более полной жизни.

Подъем борьбы за жизнь и мир, против всякой войны — борьбы, в которой участвуют рабочие, женщины, матери, жены, сестры и невесты, преподаватели и студенты в университетах,— факт огромного значения. Он будет способствовать созданию условий, при которых не остается места для стенаний тех, кто не надеется увидеть в жизни красоту, и эти новые условия разумной жизни вызовут такие перемены, при которых исчезнут многие причины эгоизма и страха, и огонь романтики разгорится снова ослепительным пламенем. Пока люди способны чувствовать, в них будет жить романтика. Пока существуют солнечные восходы и закаты, приливы и отливы, пока поют птицы и расцветают цветы, пока стоят горы, пока юноша желает девушку, а девушка хочет быть желанной, до тех пор пребудет романтика жизни. Так, Китс в своем стихотворении переходил от печального:

...Жизнь — только день один;
Росинка хрупкая в гибельном паденье
С вершины дерева...

к иному настроению:

...Зачем такой унылый стон?
Жизнь — это надежда еще не расцветшей розы;
Чтение вечно изменчивой повести *.

Это всего лишь день, это росинка, падающая со стебля, но это прекрасный день и сверкающая росинка; а когда мы научимся жить разумно, день станет длиннее, а росинка будет не столь хрупкой. Итак, я верю, что люди повсюду, и даже здесь, поймут это и пойдут по пути к этой цели.

[...] Рассказать Вам о «значении романтических поэтов прошлого века для нашей современности вообще и для моего творчества, в частности» я затрудняюсь. У меня никогда не было времени для изучения этих поэтов, я мог только наслаждаться ими. Дело в том, что в четырнадцать лет я был еще совершенным невеждой, в эту трудную и горькую пору мне пришлось учиться грамоте, географии, начаткам арифметики. Пока я не овладел всем этим, мне нечего было и пытаться читать даже самые простые книги. Когда я чего-то достиг в своем образовании, я решил расширить свои скромные познания и начал покупать книги.

(Тут я оторвался от письма к Вам, чтобы посмотреть по телевизору темпераментные и грациозные пляски вашего Государственного ансамбля танца УССР. «Боевой танец», «Как ткут ковер», «Ухаживание» и знаменитый «Гопак» — все очень красиво и романтично. Я уже видел ваш Ансамбль Красной Армии. Моя жена и дети видели его в Лондоне, но я теперь уже слишком стар для таких поездок и должен довольствоваться тем, что вижу по телевизору — сквозь туманное стекло.)

Когда я принялся за книги, мне пришлось ограничиться классиками (и это было для меня очень большим счастьем, хотя тогда я этого и не понимал). Эти книги можно было покупать подержанными, по дешевой цене. Любую из них можно было купить за шиллинг, большинство даже за шесть пенсов или около того, хотя зачастую и шесть пенсов было нелегко сэкономить. Это были Шекспир, Байрон, Китс, Шелли, Уитмен, Эмерсон, Браунинг, Голдсмит, Колридж — Блейк пришел ко мне много позже. Таким образом, Вы видите, как романтические поэты определили мое первое знакомство с английской литературой. Описать подробно, проникнуть глубоко в то, как они на меня повлияли, я не в состоянии — прежде всего, я думаю, потому, что я не критик. В искусстве критики необходим талант, так как критика — такое же искусство, как любое другое[...] У меня в этой области не было опыта, я никогда особенно много об этом не думал, ограничивался лишь высказыванием отдельных суждений (как, например, в «Зеленой вороне») и потому не могу быть Вам особенно полезен в анализе произведений романтических поэтов. В одном только я уверен — Вордсворт никогда не оказывал на меня влияния, его творчество мне не очень-то нравилось. На мой взгляд, ему не хватало огня — того огня, который пылал в Шелли, Китсе, Байроне, Уитмене, Эмерсоне и даже в Колридже. Китс кажется мне более тонким поэтом, чем Шелли, он изящнее в выборе слов, и образы его привлекательнее, хотя ему недостает энергии и пламенного энтузиазма

* О'Кейси цитирует стихотворение Китса «Сон и поэзия». (Цитаты приводятся в подстрочном переводе).

Шелли. Кроме того, Китс мог быть решителен в своих выводах — как, например, в тех двенадцати или тринадцати строках, в которых он, по мнению Шоу, выразил суть всего того, что было потом сказано и написано Марксом и Лениным *.

Что касается моей драматургии, то никто из них не влиял на меня, так как настоящих драматургов среди них не было. На первом месте здесь для меня стоит Шекспир, хотя в молодые годы, прежде чем повстречаться с этими поэтами, я знал толк в мелодраме, видел много пьес такого рода, а позже, когда мой брат работал плотником в Королевском театре (впоследствии сгоревшем) и доставал мне бесплатно билеты на утренние спектакли, я посмотрел много пьес Шекспира в постановке Фрэнка Бенсона и его труппы, видел я также и Генри Ирвинга — большое событие в моей жизни. Когда я стал секретарем маленькой «Группы национальной драмы», я начал работать над своей первой пьесой, и все, что мне довелось видеть и слышать в театре — и плохое, и хорошее,— хлынуло в мое воображение, так я отдался драматическому вдохновению, которое меня с тех пор почти не покидало.

На мой взгляд, современным поэтам не хватает огня, они не говорят, а бормочут, так что немногие могут разобрать смысл их слов, даже если это и настоящие поэты — как, например, Элиот, чья теологическая философия не вызывает никакого отклика ни в моем уме, ни в сердце.

Между прочим, Вы не упоминаете о том, кого называют последним из романтических поэтов,— о У. Б. Йитсе. Не упоминаете Вы и об Оливере Голдсмите, кротком и — по-моему — очаровательном писателе. Прилагаю рецензию на новую, недавно изданную его биографию, которая может заинтересовать Вас. Приводимая Вами выдержка из «Нью-Йорк таймс» взята из личного письма, которое я послал самому Бруксу **. Вы можете, конечно, цитировать ее сколько Вам угодно. Я был поражен тем, что здесь есть коммунисты, которые очень часто с видимым удовольствием заявляют о своем незнакомстве с великими творениями прошлых поколений. Как-то в Тотнессе у меня была в гостях группа местных коммунистов, и я, к моему возмущению, обнаружил, что они не только не читали Диккенса, но еще и презирают его за то, что он, как они заявляли,— буржуа. Один из них объявил, что не прочел ни строчки Диккенса, и никогда читать не будет и что они исключили из своей группы того, кто пытался обосновать свою любовь к этому великому писателю. Боюсь, что мои товарищи были озадачены, когда я сказал им, что незнакомство с великими творениями прошлого и презрение к ним не имеют ничего общего с марксизмом и что эти сокровища искусства, созданные во славу человека, следует почитать и беречь не только ради нас самих, но и ради будущих поколений. Ну вот, мое письмо и пришло к концу, дорогая Анна. Боюсь, что оно Вам ни черта не даст, а только отнимет у Вас время. Желаю Вам всяческой удачи в Вашей большой работе и благодарю бога за то, что не мне ее делать. Но Вы, наверно, прирожденный критик, и то, что для Вас осуществимо, хоть и трудно, было бы для меня совершенно невозможно. Горячий привет.

Шон О'Кейси

---

* Речь идет о строфах XIV—XVI поэмы Китса «Изабелла», где поэт гневно обличает хищников-эксплуататоров, флорентийских богачей, братьев героини. В статье памяти Китса (1921 г.) Бернард Шоу, опровергая эстетское представление о нем как о «чистом» поэте и доказывая глубокую жизненность его творчества, сослался на эти строфы: «Если вообразить, что Карл Маркс писал бы поэму, а не трактат о капитале, то он написал бы «Изабеллу». Грандиозный обвинительный акт против наживал и эксплуататоров, которым Маркс потряс капиталистическую цивилизацию до самого ее основания, вплоть до ее крушения в России, вкратце уже заключен здесь...

** В рецензии на книгу О'Кейси «Зеленая ворона» американский критик Брукс Аткинсон процитировал следующее заявление О'Кейси: «Я — коммунист в том смысле, в каком ими были Шелли и Диккенс, Байрон, Мильтон и Уитмен — все, кто мыслил широко и красиво и кто заботился о других,— так же, как я коммунист и по Марксу».

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

ДЕРЕВО КРЕПКОЙ ПОРОДЫ

Джон Моррисон. Билет и другие рассказы. Перевод с английского. Редактор А. Киселева. Предисловие Фрэнка Харди. Москва, «Прогресс», 1964. 302 стр.

«Я часто думаю, что лицо Джона Моррисона следовало бы вырезать из куска красного эвкалипта и водрузить на носу парусника, бороздящего моря... Пожалуй, Джону понравилась бы эта затея... Я знаю, он выбрал бы красный эвкалипт для воплощения своего духа. У этого доброго старого австралийского дерева много общего с ним. В нем есть сила и достоинство, оно обнимает австралийскую землю с гордостью и любовью». Так написал о Джоне Моррисоне другой австралийский прозаик. Алан Маршалл.

Джон Моррисон — признанный мастер новеллы. Его произведения занимают прочное и почетное место в австралийской литературе послевоенных лет. Без них не обходятся антологии. Их читают в разных странах, на разных языках. А между тем автору — докеру, садовнику, сборщику фруктов — всю жизнь приходится урывать часы для творчества. То, что им сделано в литературе, это — подвиг воли, уверенности в своем призвании. Творчество Джона Моррисона отмечено глубиной и непосредственностью знания, зоркостью взгляда, душевной отзывчивостью, веской сдержанностью многое повидавшего, много потрудившегося на своем веку человека.

Рассказы сборника «Билет» созданы в 50-е и 60-е годы. Большинство из них впервые появляется в русском переводе. Есть здесь и рассказ, который лет восемь назад положил удачное начало нашему знакомству с Моррисоном,—«Ночной Человек». В истории мальчика, открывшего в таинственном Ночном Человеке молодого, светловолосого, веселого молочника, выражен основной эстетический принцип писателя: «Живой человек и сама жизнь прекраснее всех сказок».

Умение видеть реальную, невыдуманную красоту сочетается у Моррисона с острым ощущением драматизма окружающего мира, его противоречий, скрытых и обнаженных, его конфликтов. В рассказах Моррисона Австралия XX века лишена какой бы то ни было идилличности. Предрассветную тишину раскалывает выстрел—сторож на ферме убивает бродягу, укравшего курицу. Предприниматель придирчиво изучает послужной список рабочего — сам он недавно сидел в тюрьме за слишком откровенное жульничество. В мельбурнском порту уныло стоит канадское судно «Гектор», приведенное штрейкбрехерами,— докеры не желают прикасаться к «черному грузу».

Джон Моррисон известен прежде всего своими произведениями о тружениках моря, матросах и докерах. Это — тема, с которой он не расстается. Никто лучше него не показал большой австралийский порт, далеко раскинувший свои причалы, склады, маяки, слегка загадочный порт назначения, где с океанских кораблей сходят на берег иностранные моряки, и будничный, разведанный до последнего закоулка порт, где ежедневно трудится многотысячная армия грузчиков. Такие рассказы, как «Черный груз», «Загон», «Бо Эббот», воспроизводят подлинную картину условий труда и классовой борьбы докеров, одного из самых славных отрядов австралийского рабочего класса. Но главное достоинство Моррисона — не в исторической познавательности, хотя и эта черта, свойственная реалистическому творчеству, немаловажна. Все элементы его новеллы находятся в сфере «человеческого» притяжения. Характер человека, его сущность, подчас вся его судьба раскрываются на ограниченном законами жанра пространстве.

Социальная значимость человека труда, его мужество, благородство его этики были отображены австралийской новеллистикой конца XIX века — Генри Лоусоном, Эдвардом Дайсоном, Стилом Раддом. В творчестве Джона Моррисона эта великолепная традиция австралийской литературы поднимается на новую, современную ступень.

Герои Моррисона, бесспорно, сродни лоусоновским рыцарям профсоюзного братства и «шапки по кругу». Том Джонстон, молодой неопытный англичанин, не освоившийся еще в Австралии, получает из рук стригаля профсоюзный билет, и уверенность вливается в него. Ветеран доков, молчаливый коренастый Бо Эббот, навещает новичка, повредившего ногу, и, беспокойно поерзав, кладет на стол что-то завязанное в носовой платок: «Мы тут немного собрали для тебя... Девять фунтов шестнадцать шиллингов. Негусто, но сыт будешь, пока не выйдешь на работу. О платке не беспокойся, старый».

Но между свэгменом, мигрирующим австралийским рабочим прошлого века, и героями современной литературы легли десятилетия, насыщенные новым историческим опытом. Товарищество тружеников, воспетое Лоусоном, превратилось в величину международного масштаба. И мотив пролетарского интернационализма звучит в рассказах Моррисона с силой, которая была невозможна для литературного поколения «бурных девяностых», не избежавшего влияния шовинистической доктрины «белой Австралии».

Враждебность капитализму становится у героев Моррисона более осознанной, наполняется новым нравственным содержанием, приобретает неизмеримо более четкую перспективу. Бо Эббот яростно вмешивается в разговор докеров, обсуждающих, куда выгоднее вложить десять тысяч фунтов стерлингов (имей они их!) — в земельные участки, деревенскую пивную или информационное агентство. «И вы еще называете себя членами федерации? Да вы хуже, чем проклятые хозяева!.. Всю жизнь я бился ради того, чтобы три раза в день есть да чтоб была крыша над головой. Все мы боролись за это. Для того мы и создали федерацию. Чтобы мы все чего-нибудь добились. А вы рассуждаете, что бы вы сделали, загребастай вы десять тысяч. Так что же вы сделали бы? Завели бы собственное дело! Сели бы кому-нибудь на спину, какому-нибудь бедняге, у которого нет десяти тысяч...»

Когда секретарь профсоюза моряков коммунист Билл Мэнион после утомительного собрания, которое закончилось поражением правых профсоюзных чиновников, выходит в прохладу ночи, ему кажется, что темень поредела и замерцал свет. Свет надежды, свет будущего, «который озарит... все корабли во всех гаванях мира, все борющееся и страдающее человечество... И широкую дорогу к победе для тех, кто верит в нее и у кого хватает смелости бороться».

Джон Моррисон убежден в способности человека изменять мир и себя к лучшему. Быть может, именно поэтому в его произведениях царит атмосфера высокой моральной требовательности, свободная, однако, от навязчивого дидактизма. В рассказах «Мы мужчины», «Они открывают глаза», «Одно из двух!» исходная ситуация примерно одинакова — выигрыш в лотерее. Но это — непохожие рассказы, и в совокупности они как бы демонстрируют многообразие человеческих реакций, которые определяются не только конкретными обстоятельствами, но и моральными критериями. Причем водораздел между честным и бесчестным выбирается узкий. Поступок, вполне приемлемый с точки зрения существующих законов и норм поведения, незримым судом, судом совести, расценивается иначе.

В бригаде, где работал Маклин, лотерейные билеты покупались сообща, в каждую получку. Удача или неудача — поровну на всех. Но билет, оказавшийся счастливым, был не куплен, а подарен докерам в тот день, когда Маклина, по его просьбе, замещал рабочий из другой бригады, Глен. Выигрыш мог бы спасти семью Маклина от выселения. И все же докер считает, что распоряжаться им вправе не он, а Глен.

Колину Огилви, продавцу мельбурнского магазина одежды, лотерейный билет дал его закадычный друг Рон, в счет пустячного долга, о котором Колин и слышать не хотел. Выигранные деньги Колин не собирается делить пополам. Он не теряет ни одного пенни, он теряет дружбу.

Разрушительное воздействие буржуазного эгоизма на нравственный облик человека, на его деятельность показано в целом ряде рассказов Моррисона, среди них — «Битва цветов». Сестры-близнецы, занятые цветоводством, враждуя и конкурируя друг с другом, доходят в своей злобе до исступления и деградации, моральной и физической. Садовники, вовлеченные ополоумевшими

старухами в «битву цветов», поливают вражеские участки ядом, разбрасывают семена сорняков. И чудесные сады гибнут, зарастая бурьяном и чертополохом.

Моррисон владеет секретом оправданного, точного психологического штриха. Описывает ли он бунтарские выходки неукротимого ирландца Рори О'Мэхони, сценку в пригородном поезде или порядок распределения нарядов на работу, он везде приковывает внимание читателя, естественно втягивая в круговорот переживаний героя любые «прозаические» подробности. Но сильнее всего Моррисон — знаток человеческой души в произведениях, построенных на драматических, трагических коллизиях. Сколько мучительной, горькой правды в переживаниях Аллена из рассказа «Дети», шофера, который не успел вывезти школьников из зоны лесного пожара,— вначале он заехал за своей семьей. Он думал, что успеет,— ведь дым уже поднимался из-за крыши его дома, а возле школы было еще тихо. Но бушующее пламя внезапно отрезало путь. Он спас своих детей, а чужих... потом нашли на дороге, вместе с учительницей. И люди на пепелищах проклинают Аллена и с ненавистью смотрят ему вслед, когда он, раздавленный тяжестью своей вины, вместе с женой и двумя перепуганными малышами навсегда уезжает из этих краев.

Вслед за Вансом Палмером Джон Моррисон обогатил жанр психологической новеллы в австралийской литературе. Его творчество — красноречивый ответ критикам, которые сетуют на приверженность австралийских писателей к героям из социальных низов, якобы исключающую изображение сложных чувств и тонких побудительных мотивов. (См., например, статью «Мифы в творчестве антиподов», опубликованную в «Таймс литерари сапплмент» в 1963 г.)

Стиль Моррисона гибок. Неторопливая обстоятельность и предельно лаконичный, выразительный рисунок. Лирическая форма, типичная для австралийского рассказа, и объективный способ повествования. Моррисона не назовешь ни юмористом, ни сатириком, но интонации спокойного юмора, иронии, сатиры ему не чужды. Саркастически рассказана притча о том, как судья и судовладелец денек поработали докерами. Элемент сатирического развенчания есть в рассказе «Убить змею», где словно невзначай сопоставлены самодовольный бизнесмен и скромная сельская жительница. Для Кейлея охота на змей — опасное приключение, возвышающее его в чужих глазах, повод для бахвальства. Для миссис Мейсон убить тигровую змею, угрожавшую обитателям свинарника,— обыденное, не стоящее громких слов занятие.

И содержание, и стиль рассказов Джона Моррисона обнаруживают реалистическую строгость в исследовании современной жизни и ту необходимую искренность, интенсивность и действенность отклика, тот активный гуманизм, который отличает художника испытанных, передовых убеждений.

А. ПЕТРИКОВСКАЯ

ДВЕРЬ В НОВУЮ ЖИЗНЬ

Армейн Пане. Оковы. Роман. Перевод с индонезийского А. Павленко. Предисловие Вил. Сикорского. Москва, «Художественная литература», 1964. 142 стр.

Нам уже знакомо немало книг передовых индонезийских писателей, созвучных нашему времени, близких нашему пониманию жизни. Таковы произведения П. А. Тура «О том, что прошло» и «Это было в Южном Бантене». К. Рукиях «Письмо с гор», «Возвращение» Т. Мохтара, рисующие народно-освободительное движение, показывающие его героев. Они, разумеется, более современны, чем роман широко известного у себя на родине поэта, писателя, драматурга и публициста Армейна Пане «Оковы», написанный более четверти века назад.

Однако, может быть, именно этой книги и недоставало в «индонезийской библиотечке» советского читателя, потому что она является необходимым звеном в познании исторических изменений в стране. А между тем, на первый взгляд, это книга об очень личных переживаниях людей, о трагедии неудавшейся любви.

Поначалу кажется, что основные ее герои — доктор Сукартоно, его жена Тини и его вторая любовь, певица Айя,— замкнулись в тесном мирке своих любовных переживаний и целиком поглощены мучительным анализом своих чувств, своего прошлого и настоящего. Все, что вне этого, не трогает, не касается их. Поток общественной жизни обходит их стороной, течет мимо. Уж не следуют ли они философии одного из действующих лиц романа Мардани, который проповедует правило: «Держись подальше от всего, что может причинить тебе неприятности! Речка и та облегчает себе труд: встретит скалу на своем пути и обходит ее...»

Подобная житейская философия находит немало последователей, особенно в годы тяжких испытаний. А действие романа Армейна Пане происходит именно в такое время. После жестоко подавленного восстания 1926—1927 годов, возглавленного коммунистической партией голландской Индии, в стране наступил период террора — все, кто стремился к освобождению родины от

чужеземного ига, брошены в тюрьму, уничтожены, загнаны в подполье. В эти годы политическим преступлением считалось даже чтение произведений передовых писателей, таких как Марко Картодикромо, Мохаммад Сануси, Семаун, разделивших судьбу борцов за независимость. Может быть, автор романа «Оковы» ушел в мир любовных переживаний героев, страшась участи сотоварищей по литературе?

Но вот Армейн Пане делает нас свидетелями беседы Сукартоно с дядей его жены Мангунсучипто. Прислушаемся, что говорит Сукартоно: «На жизнь надо смотреть трезво, реально. Наш народ и так слишком долго был погружен в спячку, его нужно разбудить, научить, заставить думать!»

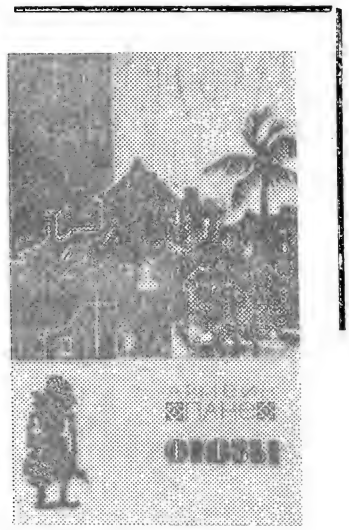
Потом мы присутствуем при разговоре Сукартоно с его другом по институту Хартоно, который утверждает, что у каждого есть свои оковы. Подхватывая понравившуюся ему мысль, Сукартоно замечает: «Это верно, но лишь для тех, кто сам позволяет надеть на себя эти оковы. Однако если напрячь все силы, всю волю, этого не произойдет. Надо верить в себя, верить в свою мечту. Эта вера вселяет бодрость духа, желание жить, рождает новые идеалы и помогает нам сбросить оковы... Не лишенные почвы фантазии, а живые идеи заставляют человека дышать, работать, думать».

Читая эти строки, невольно представляешь себе, как они звучали и воспринимались в дни, когда чужеземцы торжествовали свою мнимую победу. Верится, что эти слова вселяли бодрость духа в разбитых, но не покоренных борцов за освобождение родины, звали к продолжению борьбы. «Значение этой книги в пробуждении индонезийцев огромно»,— заметил о романе «Оковы» известный индонезийский писатель Дайох.

В тон мыслям Сукартоно звучат и слова его жены Тини: «Да, мы, современное поколение, о своей судьбе хотим заботиться сами». А любимая им Айя раздумывает над тем, «...почему у одних есть все, а у других ничего?»

Так читателю открывается второе, скрытое течение романа. Оказывается, его герои заняты не только своими чувствами, сомнениями, переживаниями. Один из них — Хартоно, посвятивший жизнь национально-освободительной борьбе, даже пожертвовал своей любовью к Тини. Для нее он пропал без вести. Уйдя в подполье, он работал под именем Абдулы Хамида. Теперь он соратник Сукарно по Национальной партии Индонезии. Автор говорит об Абдуле Хамиде, что постепенно работа в партии стала неотъемлемой частью его жизни.

Вслушиваясь в эти слова автора и в речи его героев, все настойчивей утверждаешься в мысли: эти раздумья и есть главное в романе. Не ради них ли писалась книга? Недаром издательство колониальных властей отказалось ее напечатать. Роман появился на журнальных страницах только в 1940 году, спустя два года после того, как был написан.



...Дочитываются последние строки романа. Перед глазами заключительная сцена. Айя в нерешительности стоит перед закрытой дверью, за которой слышится звучащий по радио голос ее любимого Сукартоно. Она в раздумье: «Куда ведет эта дверь?»

Писатель привел своих героев к двери. Не будем на него в претензии за то, что он не открыл перед ними эту дверь. Это сделали за него могучие ветры национально-освободительной борьбы. Они распахнули перед народами Индонезии двери в новую жизнь. И хочется верить, что герои книги Армейна Пане нашли в этой жизни свою мечту, свое место.

Роман «Оковы» вызвал многочисленные и разноречивые отклики. Одни видели в нем только положительное, считали его знаменательным событием, новым словом в литературе; другие резко критиковали произведение и заявляли, что оно ничего не дает и чуть ли не является вредным, поскольку ведет интеллигенцию в тупик. Едва ли можно согласиться с восторженными восхвалениями романа и, бесспорно, следует решительно отвергнуть безапелляционные оценки его недоброжелателей. Произведение А. Пане свидетельствует об усилении реалистических тенденций в новой индонезийской литературе: будучи романом о личных переживаниях героев, он не оставляет в стороне и вопросы общественного звучания.

Эту мысль справедливо развивает Вил. Сикорский в предисловии, предпосланном роману «Оковы» и содержащем помимо этого немало полезных сведений о новой литературе древнего архипелага.

Армейн Пане принадлежит к старшему поколению современных писателей Индоне-

зии, ему сейчас пятьдесят шесть лет. Выходец из состоятельной семьи, он в 30-х годах явился одним из организаторов журнала «Пуджангга бару» («Новый писатель»), объединившего вокруг себя наиболее талантливых представителей молодой литературы. Организаторы журнала провозгласили своей заповедью: «Величие нации следует искать не в ее прошлом, а в движении вперед, в будущее».

Верный этой заповеди, Армейн Пане считает, что творения художника должны отражать его время, отвечать правде жизни, и эти слова он подтверждает на практике: его роман «Оковы» — произведение в основе реалистическое, в котором нашла свое воплощение индонезийская действительность 30-х годов.

Писательской манере А. Пане чужды назидательные нравоучения, традиционная цветистость образов и сравнений. Ясный язык, краткость изложения, фразы емкие, как будто спрессованные под сильным давлением — все лишнее выжато и отброшено за ненужностью. Эту особенность стиля Армейна Пане понял переводчик романа Андрей Павленко, который не раз бывал в Индонезии, знаком с жизнью страны, ее культурой. И это благотворно отразилось на переводе.

Н. СМУРОВА

В БОРЬБЕ ЗА ВЛАСТЬ

Мартин Луис Гусман. Тень каудильо. Перевод с испанского С. Мамонтова и И. Триста. Предисловие И. Винниченко и С. Семенова. Редакция перевода Е. Лысенко. Москва, «Художественная литература», 1964. 206 стр.

Борьба за власть, борьба не на жизнь, а на смерть, борьба, поглотившая, вобравшая в себя все прочие человеческие помыслы, чувства и привязанности,— такова главная тема романа Мартина Луиса Гусмана, изданного в Мексике в 1929 году.

Словно развертывающаяся пружина, стремительно движутся, сменяя друг друга, события романа, и, как больно ранящий кончик пружины — пистолетный выстрел у обочины шоссе обрывает жизнь его главного героя, генерала Игнасио Агирре.

После Мексиканской революции Агирре сумел выдвинуться и занял пост военного министра. Казалось бы, ему удалось достичь высокого общественного положения, но на самом деле он лишь чиновник, а вся полнота власти сосредоточена в руках президента, каудильо.

Приближаются выборы очередного президента, и друзья уговаривают Агирре выставить свою кандидатуру. Он отказывается: Агирре знает, что правящий каудильо его не поддержит. Но ни враги, ни соратники не верят Агирре. Его искренний отказ выглядит, как тщательно продуманная политическая игра. Против его воли прогрессивно-радикальная партия выставляет его своим кандидатом, но самое главное — время — уже упущено, и Агирре вступает на путь поражения.

Инициатива постепенно ускользает из рук прогрессивных радикалов. Ряды сторонников Агирре быстро редеют: его противники от демагогических речей переходят к открытым покушениям на жизнь депутатов-радикалов так что на одном из заседаний в вестибюле парламента разыгрывается настоящее сражение, где «соседей, жаждавших убить друг друга, спасало то, что они стояли слишком близко». Бывшие товарищи по оружию один за другим изменяют Агирре и, наконец, руками наемников убивают его вместе с ближайшими друзьями в глухом ущелье. Как заключительный аккорд, тихо позвякивают в руках одного из этих бандитов бриллиантовые серьги, купленные на деньги, залитые кровью Игнасио Агирре...

Изображая в своем романе определенное социальное явление, М. Л. Гусман пытается ответить на вопрос: какая сила тайно направляла эту борьбу различных группировок за власть? Он приходит к выводу, что эта сила — режим личной власти, каудильизм. Это она вовлекала в предвыборную борьбу за президентское кресло и затем размалывала на жерновах политики и демагогии неугодного ей кандидата, это она навязывала своего тупого и узколобого ставленника, это она растлевала правящую верхушку страны и держала в нищете мексиканский народ.

Скупыми средствами, опираясь на строго логичную композицию и сосредоточившись на малом числе действующих лиц, Гусман рисует картину жизни целой страны в определенную эпоху. Более подробно выписаны в романе только его главный герой — умный и мужественный, но беспринципный Игнасио Агирре и ближайший друг генерала — гуманный и склонный к резонерству депутат парламента Ашкана Гонсалес, за спиной которого весьма уютно притаился сам автор романа. Оттеняя по контрасту сильные и слабые стороны характера Игнасио Агирре, Ашкана помогает читателю вскрывать истинную подоплеку изображаемых в романе событий. Остальные персонажи романа намечены как бы пунктирной линией: это — продажные генералы, в мечтах своих не идущие дальше желания обладать кое-какой властью и кое-каким состоянием, столь же продажные политиканы и женщины из разряда «министерских любовниц». Но сквозь эту поверхностную пленку «власть имущих» ясно виден народ Мексики, уже вышедший на путь прозрения.

Л. ФЕЙГИНА

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

ГЛАВНАЯ ТЕМА—СОВРЕМЕННОСТЬ

Камен Калчев. Двама в нови град. София, Профиздат, 1964.

Истекшее двадцатилетие у нас в Болгарии были созданы такие значительные произведения, как «Табак» Д. Димова, «Село Ведрово» А. Гуляшки, «Путь» Ст. Ц. Даскалова, «Обыкновенные люди» Г. Караславова, «Семья ткачей» К. Калчева, «Иван Кондырев» Е. Станева. В них современное перекликалось с прошлым, жизнь героев протекала в годы борьбы против фашизма и в условиях народной Болгарии.

В связи с этим возникает ряд вопросов об отношении писателя ко времени и героям: идут ли его герои в ногу с нашим временем или отстают, какова обрисовка образов в соответствии с их характером, как писатель подходит к изображению явлений двух исторических периодов? Разве названные произведения не современны, если принять во внимание, что они отображают процесс перехода от старого к новому? Разве границы современности не соприкасаются с той жизнью, в недрах которой зрели зародыши нынешнего?

И все-таки двадцать лет — это немалый срок для появления и таких произведений, в основе которых должны лежать явления и жизненный материал двух последних десятилетий. Это время — благодарная почва для создания книг о новой действительности с ее ароматом и неизбежной горечью.

Почему повесть К. Калчева «Двое в новом городе» сразу снискала симпатии широкой публики, как нечто новое? Да потому, что писатель сумел проникнуть в жизнь сегодняшних героев совершенно непринужденно, так свободно и просто, как в привычную ему атмосферу. В последних произведениях К. Калчева — «Влюбленные птицы» и особенно «У источника жизни» — видна большая эмоциональная непринужденность и свобода в изобразительных средствах, которые присущи и повести «Двое в новом городе».

Значение этого произведения, как мне кажется, в том, что оно охватывает весь период социалистического развития Болгарии в целом — от строительства дороги через Хаин-Боазский перевал до наших дней.

Марин Масларский, герой повести, обыкновенный человек труда, шофер по профессии. Как член молодежной бригады, он принимал участие в строительстве Хаин-Боазской дороги, где познакомился с Виолеттой, ставшей его женой, потом разошелся с ней и через десять лет снова встретился в новом городе — по-видимому, в Димитровграде,— где развивается действие повести. Все повествование идет от первого лица, и это ставит героя вплотную к жизни и событиям, происходившим в стране. Коммунист, тяжко пострадавший в период культа личности, Масларский стремится противостоять скептицизму, обиде, подавляя в себе горечь в связи с несправедливым исключением из партии. Его светлая вера коммуниста в будущее не была поколеблена, и потому он мужественно боролся, несмотря на сознание бесцельно утраченного времени и разбитую семейную жизнь.

Автор не отягощает героя праздным глубокомыслием и теоретическими рефлексиями, не усложняет развитие событий литературными премудростями. Удачно определенная психологическая атмосфера повести помогает герою преодолеть дурные чувства — еще остры воспоминания о юношеских порывах, сильны традиции комсомольской закалки. Он понимает, что «заблуждения» преодолены и что жизнь стремительно идет вперед. «Я не отказался от моего поколения»,— в этом признании Марина Масларского автор видит путь его внутреннего логического развития, которое позволяет ему перейти от пережитых огорчений к «тому, что делают все».

В новом городе герой как дома — ведь он один из его строителей. Все ему знакомо, но за время его недолгого отсутствия здесь произошли большие перемены. Завод, улицы, новые дома — все это удивляет и радует, потому что и он отдал городу частицу своей жизни. Вот он на литературных чтениях, которые проводит Виолетта,— слушает поэта, проникает в противоречивость его души. Сам стремится преодолеть душевное смятение: «Я уподобился бумажному змею, гонимому ветром по дорогам и перекресткам...»

Автор как бы проник «под кожу» своего героя, и тот, со своей стороны, спешит раскрыться перед читателем. «Мы были хорошими парнями, даже когда признавали себя виновными, не будучи виноватыми». И затем: «Мы оставались оптимистами... Наступит день, когда истина станет очевидной»... Для нас, читателей, ясно, что это исповедь коммуниста, героя, который и при самых трудных обстоятельствах не теряет своей веры в идеалы.

Простой разговорный язык повести соответствует душевному строю героя и передает в конечном счете богатство жизни. Калчев показывает искренность человека, который без позы осуждает себя, порицает свои слабости... И мы чувствуем, что Масларский не лицемерит. Он несет свою драму молча, мысли его, когда он мчится на своей машине со скоростью сто километров в час и позади остаются деревья, дороги, строения, находятся в движении. Куда стремится он? В сущности, он ищет выход.

Встреча с бывшей женой его не удивляет. Виолетта — «новая» женщина, решительная, противоречивая,— упорствует в своих ошиб-

ках, которые Марин чуть ли не готов простить.. Жизнь в новом городе, работа на заводе, помощь окружающих проясняют его сомнения. Дело в том, что у Виолетты ребенок от другого мужчины. Но он далек от мещанского осуждения «грешницы», чувство товарищеской взаимопомощи, гуманистической морали побеждает.

Камен Калчев хорошо знает и умеет естественно передать душевное состояние героя в различных ситуациях. Марину предстоит решить очень важную проблему, решить в соответствии со своим опытом и социалистической моралью. Он на пороге решения, но художественное чутье автора подсказало ему здесь остановиться. Читателю ясно, какова будет развязка.

«На следующий день я пошел искать Виолетту. В квартире я ее не нашел. Мое желание найти ее проистекало прежде всего от одиночества, на которое я был обречен». И дальше: «Я ничем ей не был обязан. Но в обязанности ли дело? В конце концов она была одна. И кто-то должен был ей помочь. При этом ее позор был и моим позором. И я решил помочь ей как мог и чем мог». Таковы размышления и сомнения Марина Масларского. Он критически относится к окружающим его людям, он требователен к себе и другим. Пусть знают, чего стоят те, кто его оттолкнул и оскорбил,— его чувствительность часто доходит до болезненности.

Что делать с этими мещанами, живущими рядом с ним? Это люди, «пострадавшие» от нового режима, потому что для них ограничена возможность спекуляции, они недовольны малыми доходами, но приспособились к новому, как хамелеоны. И Масларский их презирает, как человек, не связанный с буржуазным прошлым, а сегодняшнее ему дорого — ему он отдал всю свою сознательную жизнь.

Что же остается в памяти, когда мы заканчиваем чтение повести? Впечатление, что мы вместе с героем пережили его жизнь, идущую по орбите современности, познакомились с различными судьбами наших современников, с их мыслями и поступками.

«Мы гуляли по саду... Это были аллеи нового парка... а на этом месте когда-то было чистое поле, и мы первые его вскопали». Сейчас это большой промышленный город, где все новое — и парки, и завод, и люди. Автор в обобщенном виде раскрыл перед нами широкую панораму современных отношений, драматических конфликтов, неизвестных ранее, показал жизнь полнокровно и убедительно.

Небезынтересно отметить, что повесть «Двое в новом городе» привлекла внимание ряда болгарских газет и двух авторитетных литературных журналов — «Пламк» и «Септември». Рецензенты отмечают успех автора, подлинно новаторский опыт раскрытия новой жизни через сознание человека нашего времени.

ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ

г. София.

ЭТО НЕ СТАЛО ПРОШЛЫМ

Maria Rutkiewicz. Granica istnenia. Warszawa, Gzytelnik, 1964.

Маленькая женщина стоит на затемненном аэродроме. Запускают мотор. Что будет с нами? Победим? Погибнем? А кругом только грохот и тьма.

Небольшая книжка Марии Руткевич «Граница бытия» о польских коммунистах, героях Сопротивления, с первых строк приковывает к себе внимание.

Вместе со своими товарищами Мария летит из Советского Союза на родину. Ночью их перебросят через линию фронта. Польша... Она там, за линией огня — истерзанная, поруганная, ждущая.

Самолет начинает снижаться. Раздается команда — и уже стремительно несется навстречу родная земля, вот она коснулась ног, и люди припадают к ней лицом.

Потом Варшава. Чужой говор, надписи на чужом языке, а в трамвае табличка «Только для немцев».

«Только для немцев» — человек должен идти по родному городу крадучись, оглядываясь; торопись, наступает комендантский час.

И лишь теперь видно, как изменилась Варшава, ее так же трудно узнать, как постаревшее измученное лицо, которое ты знал молодым. Душа города словно спряталась, ушла в подполье, чтобы собрать силы для смертельной схватки с оккупантами. Польские патриоты начинают борьбу. Появляются первые листовки и, наконец, первый номер газеты Польской рабочей партии «Трибуна вольности», отпечатанный плохой краской на шершавой бумаге. Но он кажется прекрасным!

Подполье действует. С огромным трудом налаживается радиосвязь. «К бою! На борьбу за свободную и независимую Польшу!»

Мария Руткевич не ведет повествования с хронологической точностью, она берет наиболее яркие эпизоды, в которых отражены самые драматические события того жестокого времени.

Один за другим гибнут товарищи. Все уже и уже кольцо вокруг радистки-подпольщицы. И вот оно сжимается: «Важный гестаповец приказал встать. Засыпал вопросами. Я отвечала гораздо высокомерней, чем намеревалась.

— Я была одна, больше ничего не знаю и отвечать не буду.

— Это типичное польское отродье, большевичка,— взбешенный гестаповец размахнулся и изо всей силы ударил меня по лицу.

Кто-то тихо сказал по-немецки:

— Она беременна.

Ответ был коротким и беспощадным:

— Такие бабы не имеют права рожать.

Я слушала, сжав зубы, и приказывала себе: ты выдержишь не только это; если тебя будут еще избивать, все равно выдержишь, я знаю; уже недолго осталось, потом тишина, никакой боли, ничего. Ты выдержишь».

Сдержанно рассказывает М. Руткевич о себе, о своих товарищах, но под внешней сдержанностью таится огромный эмоциональный накал: человеческая боль, самоотречение, ненависть прорываются сквозь скупые строки.

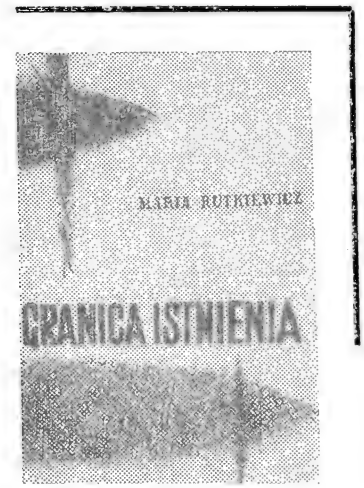
Документальный материал всегда интересен, но когда он передается человеком, литературно одаренным, он действенен вдвойне.

Вот М. Руткевич описывает варшавское гетто... Там за стеной все обречены на гибель. И вдруг гетто восстало. Идет неравный трагический бой. Каждый вечер варшавяне с бессильным отчаянием глядят на зарево, полыхающее за стеной. Но вот зарево гаснет, стихают выстрелы. И только в одном окне обезлюдевшего мертвого дома день и ночь горит свет. Это отсюда обезумевшая мать, увидев гитлеровца, выбросила своего ребенка, а потом была убита сама. И люди, проезжающие мимо в трамвае, подымают голову к этому огню, одиноко светящемуся в мертвом доме. Потом гаснет и этот свет.

Героиня хорошо знает, что такое фашизм. Бесконечные дни следствия, избиений, посулов, угроз. Человек может вынести многое. Но как мучительны размышления за минуту перед расстрелом. Перед глазами проходит вся жизнь. А если бы все повторилось снова, как бы действовала она тогда? Так же! Ее терзает тревога за жизнь крохотных близнецов, родившихся в тюрьме, но она не может отказаться от борьбы, пока на ее земле фашисты.

Трагичны страницы, посвященные мужу, погибшему в немецком лагере. Перед нами встает образ чистого, бескорыстного человека, для которого борьба с фашизмом была смыслом существования.

Уже после войны героиня придет в лагерь, где погиб любимый. Долго она будет стоять на угрюмом плацу — вокруг бараки, колючая проволока и страшная тишина... «Я



бреду, как слепая, и я никогда не узнаю, как он тут жил, как умер».

М. Руткевич старается не забыть ни о ком, с кем она делила тяжелые годы подполья, страшные годы тюрьмы. Красота человеческая больше всего раскрывалась здесь, у границы бытия. Пусть люди помнят о ее товарищах-коммунистах, которые ничего не требовали, а только отдавали, отдавали и самую жизнь.

О своей подпольной работе, наполненной тревогой, опасностью и постоянной угрозой смерти, Мария Руткевич говорит, как о чем-то само собой разумеющемся. И может, благодаря этому возникает обаятельный образ женщины — жены, матери, коммунистки.

Эта повесть не только о прошлом. Люди не должны забывать, что такое фашизм. Фашизм живуч и многолик — он не обязательно обозначен свастикой.

«Я не писательница»,— говорит Руткевич о себе. Но если память несет в себе слишком многое и если в человеке живет постоянная тревога за судьбы людей, он не может молчать. Настоящие книги пишутся собственной жизнью, это можно сказать и о маленькой книжке Марии Руткевич.

Н. СОКОЛОВСКАЯ

«СКОРО, В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ УТРО...»

Soon, one Morning. New Writing by American Negroes (1940—1962). New York, Alfred A. Knopf, 1963.

Литературные антологии похожи на групповые снимки. Бывают снимки явно случайные, представляющие интерес только для семейных альбомов. А есть другие снимки, они порою говорят о времени больше, чем толстые тома. На них мы видим людей, связанных давними, органичными связями или такими напряженными мгновениями, в которых спрессованы годы. Также и антологии. Есть случайные сборища под одной обложкой: авторы объединяются

только датой выпуска, прихотью издателя А есть закономерные, входящие затем в историю литературы. Разумеется, составляющие их произведения обладают вполне самостоятельным значением. Но вместе с тем они — и части определенного целого, когда каждое произведение важно не только само по себе. Соседство помогает и лучше понять целое, и глубже оценить каждое в отдельности. Рецензируемая антология «Скоро, в одно прекрасное утро... Новые произведения американских негров (1940—1962)» дает возможность во многом понять негритянскую литературу современной Америки.

Сорок лет назад в США появился сборник «Новый негр». Так называлось возникшее в 1925 году культурное движение. Негритянская проза и особенно негритянская поэзия начали вливаться в общий поток американской литературы. И отличались прежде всего экзотикой: особыми мотивами, особым специфическим содержанием, особыми ритмами.

Новый негр — так, вероятно, вернее было бы назвать сегодняшнее состояние и жизни, и литературы. Это теперь уже не экзотическая, а реалистическая, вполне зрелая литература, которую и рассматривать можно, только применяя к ней общие критерии.

Антология, выражающая это состояние литературы,— важное явление. Она появилась в знаменательном 1963 году, когда произошли массовые выступления на Юге; в том году, когда был поход на Вашингтон, одна из самых значительных демонстраций американского народа за последние десятилетия; в том году, когда трагический выстрел в Далласе стал отголоском и жестокостей в Джорджии, и убийств в Миссисипи, и бомб в Бирмингеме.

Многие произведения, помещенные в антологии, помогают понять взрыв 1963 года, истоки движения, его глубокие корни, его морально-психологические предпосылки. В самом заглавии сборника выражена надежда: скоро в одно прекрасное утро люди с черной кожей в Америке будут жить почеловечески. Эта надежда смешана с горечью, с иронией: в одно прекрасное утро, то есть некогда, когда-нибудь, в отдаленные времена. В антологии три раздела: публицистика, проза, поэзия. Разные голоса, разные литературные жанры — от модернистской, смятенной, разорванной прозы Лероя Джонса («Система Дантова ада») до бытового, традиционного повествования Энн Петри («Мисс Мюриель»), от потока сознания у Ральфа Эллисона («Из больницы в бар») до реалистической сатиры Лэнгстона Хьюза («Возликуйте, прихожане!»). Антология велика по объему, однако в самом ее составе есть серьезные упущения: отсутствуют книги, созданные левыми писателями, писателями-коммунистами. Нет произведений галантливого Джона Килленза и даже упоминаний о нем; очень пренебрежительно, походя сказано об исторической трилогии Уильяма Дюбуа «Черное пламя», нет ни слова о той сражающейся молодежи, которая потрясла своим мужеством и Америку и весь мир. Ни одна антология, претендующая на широкий всесторонний охват литературы, не может игнорировать эти произведения. Составитель, к сожалению, не включил их в антологию. Но вот что интересно: и без них этот сборник — свидетельство протеста негритянского народа, ибо в широком смысле слова вся негритянская литература есть литература протеста. По самому своему положению в американском обществе это литература радикальная, требующая коренных изменений. На дискуссии «Революция черных и отступление белых», организованной ассоциацией «Художники борются за свободу» в 1964 даже Лерой Джонс заявил: «Я могу позволить, чтобы все это развалилось (имеется в виду социальный порядок в США.— **Р. О.**), потому что мне нечего терять». На этой же дискуссии покойная Лорейн Хэнсберри сказала: «Чтобы разрешить негритянскую проблему всерьез, наше общество должно быть перестроено до основания».

Потому почти во всех произведениях, помещенных в антологии, чувствуется в той или иной степени почва вулканическая, готовая к взрыву, уже взрывающаяся.

В разделе публицистики развернута картина богатой интеллектуальной жизни, поставлены многие проблемы, волнующие негритянскую интеллигенцию, проблемы специфические и вместе с тем всеобщие. В этом разделе помещен очерк Гораса Р. Гейтона «Пикник с Синклером Льюисом», дополняющий наше представление о духовном мире Льюиса; в статье Саундерса Реддинга «Чужая земля Ричарда Райта» тонко и всесторонне анализируется губительное воздействие эмиграции на художественное творчество; в статье Клэра Дрейка «Прятать мое лицо?» прослеживается сложная и противоречивая история негритянского национализма в прошлом и настоящем.

В письмах Джеймса Болдуина из поездки по Ближнему Востоку в 1961 году запечатлены те же мучительные искания, те же противоречия, что и в его книгах. Снова и снова ставит он вопрос: что такое негр? Он пишет: «Эта поездка открыла во мне что-то, и я должен расширять эти открытия, но думается, что я не смогу сделать этого, если я одновременно буду пытаться руководить негритянским движением. Я открыл горький секрет: многих из тех людей, кого собирались спасать, нельзя спасти, потому что тюрьма, созданная цветом кожи, превратилась в их убежище от мира».

Вместе с тем ни на минуту не может Болдуин покинуть поле боя: «Для того чтобы я примирился с современной американской жизнью, я должен оставить все попытки быть самим собой. Такое перемирие означало бы для меня гибель». Вновь убеждаешься, насколько Болдуин-публицист сильнее Болдуина-прозаика *, убеждаешься, сопо-

---

* Статья о творчестве Дж. Болдуина была опубликована в «Иностранной литературе» № 12, 1963 г.

ставляя эти письма и отрывки из помещенного в антологии его первого романа «Идите и вещайте с гор».

Раздел прозы, так же как и раздел публицистики, свидетельствует, что произведения писателей-негров стали органической, неотъемлемой частью американской литературы со всеми ее сильными и слабыми сторонами.

Именно в этом плане воспринимаются публикации из второй части романа Ричарда Райта «Мечта нескончаемая». Работу над книгой прервала смерть. Фишбелли, герой романа, в Париже. Он снова в том мире, в той единственной области американской жизни, где негры равны белым: в игорных домах, среди пьяниц, спекулянтов, проституток.

Переворачивается страница антологии — и входишь в иной мир. Негритянский священник Элдер Джонс решил прославиться. Он договаривается со своим помощником Хиксом, что они вместе инсценируют распятие на кресте. А потом последует «чудо» воскрешения. Однако Джонс не знал, что его возлюбленная — бывшая любовница Хикса, что тот ревнует, ищет случая отомстить счастливому сопернику. Когда в церкви собралась огромная толпа смотреть на заранее разрекламированное чудо, дьякон начал прибивать кандидата в новые Христы не между пальцами, как было условлено, а по-настоящему. Таков сюжет сатирического рассказа Лэнгстона Хьюза «Возликуйте, прихожане!», написанного с подлинным блеском и остроумием.

Ральф Эллисон печатает «Из больницы и в бар», отрывок, который не вошел в основной текст романа «Человек-невидимка» (1952). За этот роман Эллисон получил Национальную книжную премию по литературе. Герой романа пытается бежать из психиатрического отделения гарлемской больницы. Он забыл свое прошлое, однако бессвязно рассказывает няньке-негритянке Мери, как его пытался изнасиловать какой-то белый педераст. Читатель погружен в мир предельно субъективных ассоциаций, мир на грани бреда, патологии. Кафкианское ощущение загнанной жертвы теряет специфические негритянские черты, становится всеобщим, вселенским кошмаром.

За картиной жизни, созданной Эллисоном, нет идеи преобразования мира, однако и эта гротескная картина свидетельствует: человеку *так* жить не должно, загнанному, искалеченному человеку — негру или белому — больно, и эта боль сильно выражена талантливым писателем.

Уиллард Мотли — автор книг «Я стучусь в любую дверь», «Мы рыбачили всю ночь», «Пусть никто не пишет мне эпитафию» — публикует рассказ «Почти белый парень». Банальная история: мулат, больше похожий на белого, чем на негра, страстно полюбил белую девушку. Это высокое, истинное чувство, и он стремится к прочной человеческой близости. Но о браке с «цветным» героиня и думать не хочет. В рассказе Мотли звучит тот же мотив, который пронизывает все произведения антологии: «Люди прежде всего люди». Эти слова маленький мальчик сначала слышит от отца. Есть хорошие люди, плохие, но эти различия не зависят от цвета кожи. «Люди прежде всего люди»,— пытается внушить он любимой девушке, но его убежденность вынуждена отступить перед ее презрением, перед стеной ее предрассудков. В устах самой желанной женщины на свете эти слова звучат горько-иронически.

Один из руководителей негритянского освободительного движения, лауреат Нобелевской премии мира Мартин Лютер Кинг, посвятил последнюю книгу «Почему мы не можем больше ждать» (1964) своим детям «с мечтой, что наступит день, когда их будут оценивать не по цвету их кожи, а по их человеческим качествам». В большинстве произведений, опубликованных в антологии, героев только и можно оценивать что по их человеческим качествам.

Роман Дороти Вест «Легкая жизнь» (1948) посвящен негритянской мелкой буржуазии. Автор пишет о неграх-бостонцах, изображает специфически бостонское высокомерие, отвращение ко всем не бостонцам, как существам низшего порядка, гротескно преображенное у негритянских буржуа. Жена негритянского «бананового короля» Клео воспитывает свою маленькую дочь в презрении к слугам-неграм — так она понимает воспитание «маленькой леди». Вест отлично владеет всеми оттенками смешного, от тонкой иронии до гротеска.

В антологии опубликовано и множество документальных произведений. Эти отрывки из автобиографий — принадлежат ли они известной танцовщице, или ученому, или политическому деятелю — в сумме своей позволяют представить себе формирование негритянской интеллигенции, ее крестный путь, ее громадный вклад в культуру современной Америки.

Негритянская литература — вполне зрелая литература, в которой воплощена и национальная самобытность, и особые немыслимые условия существования негров в США, и вместе с тем это литература всеобщего значения. Лучшие современные книги исторически конкретны, прикреплены к месту и ко времени и близки, понятны всем людям на земле. Ибо в них — страх и надежда, унижение и гордость, любовь и ненависть, в них все, свойственное жизни человеческой.

Скоро, в одно прекрасное утро... Сотни тысяч негров уже не хотят, не могут довольствоваться тем, что это «одно прекрасное утро» когда-нибудь наступит для их потомков. Они требуют свободы, работы, всей полноты гражданских прав сейчас, немедленно. За это они сражаются. Это великая и всеобщая борьба, ибо, как справедливо сказал Джон Килленз,— цель ее «не помочь «бедным неграм», а сделать свободной Америку».

Р. ОРЛОВА

ЗАВЕРШЕНИЕ ТРИЛОГИИ

Chinua Achebe. Arrow of God. London, Heinemann, 1964.

Книга «Стрела бога» входит как составная часть в трилогию талантливого нигерийского прозаика Чинуа Ачебе.

Сегодня, когда все книги трилогии уже написаны (советским читателям уже известна первая ее часть — роман 1958 года «И пришло разрушение»; в 1960 году вышла третья часть «Потеря покоя»; «Стрела бога» — по содержанию вторая часть трилогии), яснее писательский замысел. Трилогия Ачебе — своего рода художественное истолкование различных этапов истории его родной страны, точнее, народности ибо, к которой принадлежит сам автор.

Действие первой книги развертывается накануне того дня, когда в Нигерию приходят колонизаторы, и заканчивается захватом страны англичанами. Это вторая половина XIX века. В «Стреле бога» события развертываются в 10-х—начале 30-х годов, когда власть иноземных захватчиков уже велика и порядки, верования и представления африканцев все больше приходят в столкновение с порядками и верованиями пришельцев. В третьем романе серии, в «Потере покоя», изображена Нигерия накануне получения независимости: события происходят в конце 50-х годов нашего столетия.

В «Стреле бога» множество действующих лиц. Это и африканцы — жители шести деревень Умуаро, объединенные общим культом местного божества Улу, это и англичане — представители колониальной администрации, хотя последних значительно меньше. Характеры немногословно, но очень умело намечены. Не только главный герой романа верховный жрец Эзеулу, но и его жены, дети, родичи, друзья и недруги поступают в соответствии со своей индивидуальностью, в соответствии с нею воспринимают и происходящее вокруг них. Невозможно спутать медлительного, недалекого, завистливого Эдого — старшего сына Эзеулу — с бесшабашным и ловким, любящим пальмовое вино красавцем Обикой. Отличается от братьев и Одуче, отданный отцом в ученье к миссионерам. Но особенно четко, почти как зрительное впечатление, запоминается младший из братьев — задумчивый и не по годам развитый Нвафо Недаром Эзеулу втайне мечтает о том, что именно он станет его преемником...

В романе много описаний быта и нравов, различных ритуалов, маскарадных шествий. И, хотя текст романа — находка для историка и этнографа, писатель отнюдь не развлекает европейца «африканской экзотикой». Конфликты, изображенные в романе, были бы непонятны без этих бытовых «деталей». Заунывно звучит звон колокола церкви миссионеров, похожий на похоронный, и заглушает порой стук трещоток, шум местных празднеств. Когда сын Эзеулу, посланный учиться у христианских священников (мудрый африканец должен постигнуть, в чем секрет неодолимой силы белых пришельцев), пытается, по наущению христианских наставников, убить питона, которого местные жители считают священным, угроза вторжения миссионеров в «мир Улу» впервые становится реальностью. В конце романа христианские священники побеждают Эзеулу в борьбе за души членов африканской общины — и здесь Ачебе верен исторической правде. Впрочем, борьба традиционной религии и христианства лишь одна, хотя и важная, тема книги. И смысл изображенных в романе событий не лежит на поверхности.

Начальник округа капитан Уинтерботтом силой оружия наводит порядок, когда вожди одного села стремятся присвоить себе землю другого. Эзеулу в этом конфликте полностью поддерживает политику «белого начальника». Тот же самый Уинтерботтом через пять лет, наметив кандидатуру Эзеулу на должность «местного вождя» (во исполнение приказа свыше), посылает за ним стражников, когда старик осмеливается пренебречь оказанной ему честью... Позднее больной Уинтерботтом дает приказ своему помощнику Кларку держать Эзеулу под стражей в наказание за неповиновение. Читатель видит распоясавшегося строителя дороги Райта, который избивает молодых африканцев, посмевших опоздать на принудительные работы и не проявивших должного рвения в труде... Все это есть в романе. Но в то же время прав английский критик Т. Стеси, не случайно с удовлетворением отметивший мягкость и даже симпатию Ачебе в этой книге к изображаемым им представителям «противоположной стороны», то есть британской колониальной администрации.

Многократно возвращаясь к рассуждениям о характере политики английских колонизаторов — рассуждения эти, кстати, ведут сами англичане, критикуя недальновидность верховных властей и сопоставляя английскую тактику с тактикой французов,— Ачебе остается в границах легкой иронии.

Сопоставляя все три написанные части трилогии, не можешь не заметить, как изменился угол зрения писателя. Первый роман Ачебе — резкое осуждение колонизаторов, принесших с собой разрушение, растоптавших святыни африканцев, вызвавших трагическую гибель их лучших представителей (Оконкво); «Потеря покоя» лишь намечает контуры конфликтов и проблем, стоящих сегодня перед многими африканцами, проблем, связанных с крушением старинного традиционного уклада. В «Стреле бога» критические интонации заметно ослабевают, и, при всем мастерстве художника, точка зрения писателя здесь не всегда ясна.

Исторические конфликты, назревавшие в первой четверти XX века в Нигерии (как, впрочем, и по всей Африке), Ачебе попы-

тался истолковать и раскрыть через историю «величия и падения» Эзеулу. В центре внимания писателя от начала и до конца романа одно лицо — Эзеулу, его судьба, его характер, его ошибки. Они приводят к непредвиденным катастрофам и к личному крушению верховного жреца.

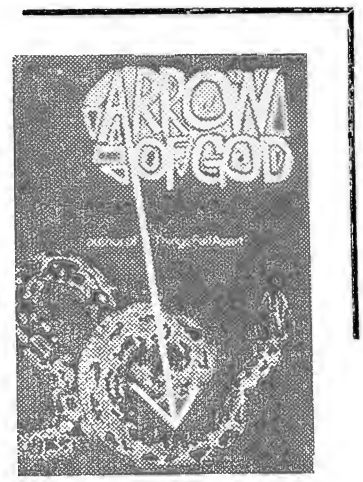
Властный, упрямый, часто деспотичный человек, стоящий на пороге старости, Эзеулу тем не менее бесспорно незаурядная личность. И обаяние этой личности покоряет не только друзей, но подчас и недругов. Целенаправленность его поступков, сила воли, уверенность в себе заставляют жителей шести деревень склонять голову перед его авторитетом. Эзеулу читает и истолковывает «волю Улу», назначает время ритуальных празднеств, он в них центральная фигура. По существу, он направляет всю жизнь шести деревень Умуаро, и, как бы велики ни были претензии местных властей и старейшин, мозг Умуаро — Эзеулу и никто иной

Эзеулу — фанатичный служитель своего божества, и традиционные верования для него святы. Даже тогда, когда его поступки объективно диктуются его собственной волей, Эзеулу убежден в том, что им на самом деле управляет сам Улу. «Трагическая вина» старого жреца — его упрямый индивидуализм, нежелание считаться с кем-либо из окружающих, убеждение в непререкаемости своих собственных суждений. «Он хочет заставить всех — жен, детей, друзей и родичей, даже врагов — поступать и думать так, как поступает и думает он сам»,— говорит старший сын Эзеулу Эдого.

Свой поступок во время междоусобиц из-за Окпери Эзеулу рассматривает как проявление мудрости, внушенной божеством, хотя его недоброжелатели склонны вкладывать в него иной смысл: поддержав белого начальника, пришедшего с карательным отрядом, он, по их мнению, встал против своего народа.

Но критический момент в жизни старого жреца наступает много лет спустя, когда Эзеулу отказывается принять назначение на пост «местного вождя», предложенное Уинтерботтомом. Оказав сопротивление английским властям и пробыв три месяца в заключении, Улу возвращается под родной кров победителем. Им одержана огромная моральная победа, авторитет его несказанно вырос. Но на пороге примирения со своей постоянной оппозицией, во главе которой один из богатейших старейшин племени Нвафо, Эзеулу совершает роковую для него ошибку, именно она и ведет его к катастрофе.

Старый африканец не может простить шести деревням бездействия в дни его заключения и убеждает себя в том, что желание отомстить за себя продиктовано ему самим Улу. Он отождествляет себя с божеством, которому служит, вообразив себя «стрелой бога». Пользуясь правом верховного жреца, Эзеулу от имени Улу откладывает праздник урожая, позволяющий начать жатву. Тем самым он ставит крестьян всего округа перед угрозой голода.



Пойдя против насущнейших интересов людей, для которых его слово десятки лет было святыней, Эзеулу оказывается в одиночестве. Он теряет не только свой авторитет, но становится «врагом народа», как с горечью говорит его старый друг Акуебуе.

Большим лиризмом пронизаны страницы, где Ачебе говорит о трагедии старого африканца. «...Он привык к одиночеству. Верховный жрец, он всегда шел один впереди Умуаро. Но даже не оглядываясь назад, он всегда слышал их свирель или песню, которая потрясала землю, потому что исходила от множества голосов, от ритма многих ног. Были времена, когда голоса разделялись, как тогда, когда шел спор из-за Окпери. Но никогда прежде не было так, чтобы голоса замирали совсем... С каждым проходившим днем молчание Умуаро становилось все более враждебным. Это было то молчание, которое сжигает душу, как синее, тихое, режущее, как лезвие ножа, пламя горящей скорлупы пальмового ореха».

Оставшись один, пережив внезапную и трагическую гибель сына, Эзеулу помешался. Для жителей шести деревень, говорит Ачебе, «финал был прост и понятен»: «Их бог встал на их защиту против своего упрямого и честолюбивого служителя и тем самым поддержал мудрость предков, гласившую, что ни один человек, как бы мудр он ни был, не мог стать мудрее своего народа, что ни один человек не выигрывал тогда, когда против него становился его клан».

Трагедия Эзеулу, потерпевшего крушение в результате отрыва от народа, психологический портрет его разработаны превосходно. В этом сила романа, и именно здесь писатель проявил мастерство зрелого реалиста. Но Ачебе не ограничился — да и

не мог ограничиться, если помнить тот замысел, который он стремился осуществить,— изображением трагедии одной, пусть незаурядной, личности в определенных жизненных обстоятельствах. Писатель трезвыми глазами смотрит на тот мир, который он изображает, но в то же время в книге ощутима грусть, связанная с осознанием крушения старого мира, старого уклада, исконных представлений.

В. ИВАШЕВА

РОСАРИО КАСТЕЛЬЯНОС РАССКАЗЫВАЕТ

Rosario Castellanos. Los Convidados de Agosto, México, Ediciones Era, 1964.

Мексиканское издательство «Эра» начало выпуск серии «Литература Латинской Америки», первые четыре книги которой — «Полковнику никто не пишет» Габриэля Лопеса Маркеса (Колумбия), антология рассказов Мануэля Рохаса (Чили), «Лима, ужасающая» Себастьяна Саласара Бонди (Перу) и «Приглашенные в августе» Росарио Кастельянос (Мексика) — уже появились на книжных прилавках.

«Приглашенные в августе» — вторая книга рассказов Росарио Кастельянос, безусловно одареннейшей и интереснейшей писательницы моей страны. Широта творческого диапазона позволяет молодому автору одинаково успешно работать в различных литературных жанрах. Стихи «Плач Дидо», «Веселые тайны», «Буквально», «Мертвенно-бледный свет» завоевали ей выдающееся место в новой мексиканской поэзии. Два романа Росарио Кастельянос, «Балун Канан» и «Служба во мраке», поставили ее в один ряд с такими блестящими романистами Мексики, как Карлос Фуэнтес и Серхио Галиндо. Наконец в двух сборниках рассказов — «Сьюдад Реаль» и недавно вышедшем «Приглашенные в августе» — Росарио Кастельянос выступает как талантливая рассказчица, обладающая незаурядной способностью поведать читателю о далеком и тревожном крае, который она великолепно знает: о Чиапасе, индейских землях юго-востока Мексики, родине писательницы. И всякий раз читатель сталкивается с драматической картиной: социальная несправедливость с одной стороны, а с другой — человеческие чувства, отступающие перед вековыми предрассудками, перед неудержимой ненавистью, которую местные фарисеи пытаются прикрыть ложью.

Во всех четырех книгах Росарио Кастельянос действие происходит в одной местности, однако в каждом произведении перед читателем встает какая-то иная сторона мексиканской действительности. Если роман «Балун Канан» повествует о борьбе неоновиндейцев за осуществление аграрной реформы, чему противодействуют латифундисты, то «Служба во мраке» представляет собой драматическую историю восстания индейцев против деспотизма, эксплуатации и дискриминации. В сборнике рассказов «Сьюдад Реаль» жизнь индейцев противостоит беспросветной жизни местной провинциальной среды, застывшей на уровне средневековья, когда убивается всякое проявление живой мысли и чувства. Эту же удушающую атмосферу существования мелкой буржуазии Чиапаса мы встречаем в последней книге Росарио Кастельянос «Приглашенные в августе».

Каждый герой трех рассказов и небольшой повести, составляющих новый сборник, оказывается в такой ситуации, когда он должен принять определенное решение, выбрать новый путь в жизни. Следя за судьбой героев, поставленных перед проблемой выбора, мы сталкиваемся с жестоким миром, с миром, построенным на ненависти, в котором самый страшный порок носит маску невиннейшей добродетели. Скованные тяжелыми цепями условностей общества, в котором им суждено жить, герои Росарио Кастельянос не умеют улыбаться и радоваться — да и как можно радоваться жизни там, где царят несправедливость, классовая ненависть, страх перед правдой и естественным проявлением человеческих чувств?

Рассказы «Мимолетное знакомство», «Вальс-каприччио», «Приглашенные в августе» и повесть «Вдовец Роман» помогают понять обреченность того социального слоя, который самой историей приговорен к гибели. Чтобы отсрочить свою смерть, его представители не останавливаются ни перед чем. Ложь, возведенная в ранг истины, злоба под личиной доброты, ненависть под маской братства и прежде всего и превыше всего — полная неспособность увидеть и понять современную эпоху. Такова среда, в которой приходится жить и бороться героям книги «Приглашенные в августе».

Язык Росарио Кастельянос необыкновенно точен, лаконичен и вместе с тем удивительно выразителен, в нем удачно использованы народные слова и обороты (в том числе слова, пришедшие еще в XVI веке и чудом сохранившиеся на земле Чиапас).

Писательница с непринужденностью ориентируется в событиях и конфликтах, которые происходят у нее на глазах уже в течение многих лет, и это чувствуется в ее произведениях.

ЭРАКЛИО СЕПЕДА

г. Мехико

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

За последнее время в Болгарии вышли многие книги советских писателей. Как сообщает еженедельник «Литературен фронт», издательство «Народна младеж» познакомило читателей со вторым томом тетралогии Валентина Катаева «Волны Черного моря» (перевод Атанаса Далчева), со стихами Корнея Чуковского для самых маленьких, с избранными рассказами и сказками Виталия Бианки, а также с детскими пьесами и сказками Сергея Михалкова. В книжных магазинах можно приобрести сборник рассказов Юрия Казакова, вышедший в серии «Меридианы», которую выпускает издательство «Народна младеж». В той же серии будет опубликован сборник повестей Чингиза Айтматова.

В библиотеку приключений «Луч» издательство «Народна младеж» включило несколько книг советских авторов, в том числе повести «Петровка, 38» Юлиана Семенова и «Удар за удар» Василия Ардаматского.

Издательство «Народна култура» выпускает роман Леонида Леонова «Бор», роман Константина Федина «Города и годы», лирику украинского поэта Андрея Малышко, избранные стихи Бориса Слуцкого.

Издательство Национального совета Отечественного фронта готовит к выпуску «Солдатами не рождаются» Константина Симонова и «Записки следователя» Льва Шейнина.

Автобиографическая трилогия Константина Паустовского «Повесть о жизни» опубликована издательством «Минерва» в г. Суботице (Югославия).

Роман Александра Фадеева «Разгром» вышел в сараевском издательстве «Светлост».

Романы Александра Чаковского «Год жизни», Михаила Стельмаха «Правда и кривда» и Бориса Полевого «На диком бреге» вышли в издательствах «Фольк унд вельт» и «Культур унд фортшритт» (ГДР).

В газете «Нейес Дейчланд» помещены стихи Иосифа Уткина и отрывки из «Романа в стихах» Павла Когана, взятые из антологии, которую выпустило издательство «Культур унд фортшритт» (ГДР).

Мюнхенское издательство «Пауль Лист» (ФРГ) выпустило роман Аркадия Васильева «Понедельник — день тяжелый».

В серии «Самые популярные книги мировой литературы» издательством Хобундо (Япония) выпущен роман Василия Аксенова «Коллеги» в переводе Ямаура Фусадзи.

В серии «Советская литература», выпускаемой издательством «Галлимар» (Франция), вышел роман Михаила Шолохова «Поднятая целина» в переводе и с предисловием Жана Катала. Критика отмечает высокое качество перевода романа.

«Исторический момент в развитии советского общества, описанный в романе Шолохова,— пишет критик Жак Анрик в еженедельнике «Франс-нувель»,— пережит им как коммунистом. Трагические события романа утверждают веру в возможность создания подлинно гуманного общества. «Поднятая целина» тесно связана с великими традициями русской прозы — Гоголя, Толстого, Чехова, Достоевского... Имя Шолохова можно с полным основанием внести в список великих прозаиков, таких как Стендаль, Бальзак, Золя, Пруст, Толстой, Чехов. Французский критик подчеркивает в то же время значение «Поднятой целины» как произведения социалистического реализма, которое полностью отвечает требованию этого метода — «отражения действительности в ее революционном развитии». «Но воплотить метод социалистического реализма в «Поднятой целине» Шолохову позволило отнюдь не стремление намеренно следовать заранее выработанным принципам новой эстетики, а его большая честность художника, глубокая человечность и неустанное изучение действительности. Именно поэтому,— отмечает Анрик,— в его персонажах воплощается История с большой буквы».

Роман Константина Паустовского «Дым отечества» вышел в чехословацком издательстве «Свет Совету». В том же издательстве опубликованы романы А. Коптяевой «Иван Иванович», «Дружба» и «Дерзание». Издательством выпущен также «Дневник Нины Костериной».

Государственное издательство художественной литературы и искусства в Праге выпустило сборник рассказов Юрия Нагибина под названием «Подсадная утка».

Повесть Валентина Катаева «Белеет парус одинокий» выпустило Государственное педагогическое издательство (Прага).

В варшавском издательстве «Чительник» вышла повесть Вениамина Каверина «Семь пар нечистых».

Во флорентийском драматическом театре «Стабиле ди Фиренце» (Италия) поставлена пьеса Исаака Бабеля «Мария», режиссер Беппе Менегатти.

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АВСТРАЛИЯ

«ГРЕХИ КОММЕРЧЕСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ»

Под таким заголовком еженедельник «Трибюн» опубликовал статью Дениса Кеванса, посвященную отчету специальной комиссии, которая изучала состояние австралийского телевидения. В отчете резко критиковались частные телевизионные компании, владельцев которых интересуют в первую очередь прибыли, а не использование телевидения в целях распространения культуры. Коммерческие телестудии щедро заполняют часы передач торговой рекламой, третьесортными программами американского телевидения. Они пренебрегают социальными и психологическими пьесами, произведениями молодой австралийской драматургии.

В отчете приведены факты, которые красноречиво свидетельствуют о бедственном положении национального кино и театра, сотрудничающих с телевидением. С момента начала телевизионных передач Австралия истратила на импорт заграничных фильмов 17 миллионов фунтов стерлингов. А австралийские киностудии порой не выпускают и одного художественного фильма в год... Рядовой актер, даже если он участвует в нескольких постановках подряд, зарабатывает в неделю меньше чернорабочего. Не удивительно, пишет Кеванс, что многие актеры и драматурги ищут признания, а также средств к существованию за пределами пятого континента.

ПАМЯТИ НЕТТИ ПАЛМЕР

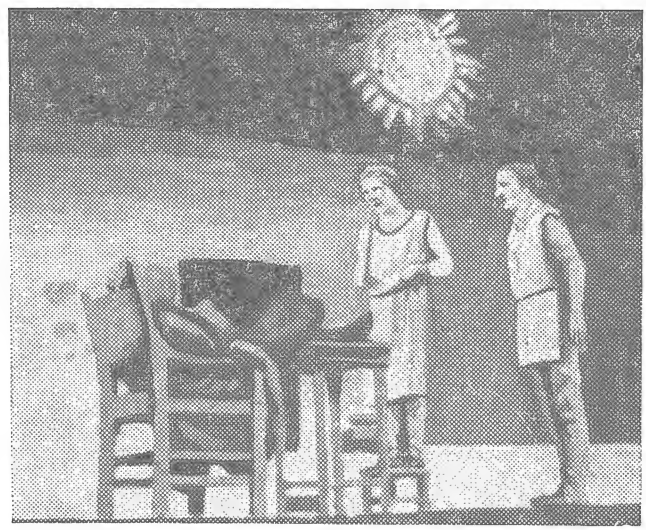
В возрасте восьмидесяти лет скончалась Нетти Палмер — признанный мастер австралийской литературы. В некрологе, помещенном в еженедельнике «Трибюн», Джуда Уотен писал о прогрессивном характере ее творчества, о ее общественной деятельности. Начиная со сборников поэзии «Южный ветер» (1914) и «Мрачные дороги» (1915) и до конца своих дней Нетти Палмер была страстным борцом за мир.

АВСТРИЯ

В ТРАДИЦИЯХ БРЕХТА

Газета «Фольксштимме» публикует отклики на выступления в Вене берлинского «Дейчес театер», прибывшего на гастроли по приглашению «Театер ан дер Вин». В частности, театральный обозреватель газеты пишет: «Комедия Аристофана «Мир», поставленная силами «Дейчес театер», в переработке Петера

Сцена из комедии Аристофана «Мир» в постановке «Дейчес театер» на сцене венского «Театер ан дер Вин».
(Газета «Фольксштимме»)



Хаска полностью соответствует духу и методу Бертольта Брехта. Но в то же время это не подражание Брехту; у спектакля свой собственный стиль... Для венцев постановка «Мира» — не только знакомство с этим театральным стилем, который от нас скрывали и который долгое время был у нас невозможен, но и доказательство того, что запретить Брехта у нас, в Вене, невозможно!»

Анджела Дуглас и Кеннет Мор в одном из эпизодов фильма «Комедиант».
(Газета «Дейли уоркер»)

АЛЖИР

КОЛЛОКВИУМ ПО ВОПРОСАМ НАЦИОНАЛЬНОЙ МУЗЫКИ

В городе Алжир, по сообщению газеты «Альже репюбликен», впервые состоялся коллоквиум музыкантов, знатоков песен бедуинов Сахары, кабильских песен, специалистов народной, классической и современной музыки.

Задача коллоквиума, организованного культурной комиссией партии Фронт национального освобождения, состояла в том, чтобы определить характер истинно алжирской национальной музыки.

АНГЛИЯ

НОВЫЙ ГЕРОЙ ДЖОНА БРЕЙНА

Выход первых романов Джона Брейна — «Путь в высшее общество» и «Жизнь наверху»—как известно, сопровождался успехом. Судя по отзывам печати, новый роман, носящий название «Ревнивый бог», удался писателю меньше прежних произведений. И, хотя взятая им тема — борьба здорового начала в сознании героя с пустившими глубокие корни догматами католической церкви — и представляется актуальной, роман, по мнению рецензентов, несколько «мелок».

«Ревнивый бог» не дает герою повествования Винсенту построить свою жизнь так, как ему хотелось бы. Вначале деспотичная мать Винсента прилагает все усилия, чтобы принудить его стать священником. Единственное спасение для себя Винсент видит в женитьбе. Однако бог становится между ним и его семьей.

Отдельные критики, например рецензент еженедельника «Обзёрвер», откровенно упрекают Брейна в том, что он «залез на чужую территорию», намекая на повторение им некоторых положений Грэхема Грина. Однако в «Ревнивом боге» Брейна нет больших обобщений, которые характерны для Грина.

По мнению критики, Винсент, кроме того, в какой-то мере своим внутренним обликом напоминает Джо Лэмптона, но лишен целеустремленности этого героя, его социальной значимости. «Джо Лэмптон — парень, с которым знакомы миллионы англичан,— писал в связи с этим рецензент «Обзёрвера».— В образе же Винсента Брейну явно не удалось добиться обобщенности и убедительности... Однако пройти мимо такого события в литературной жизни Англии, как появление нового романа Брейна, было бы неправильно. «Ревнивый бог» займет свое место на полке с книгами, вышедшими зимой 1964—1965 гг.».

СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ

На экранах английских кинотеатров демонстрируется фильм «Комедиант», рассказывающий о жизни безработных актеров. Герой фильма — актер средних лет, которому после долгих месяцев безработицы приходится поступиться своей гордостью и творческими убеждениями и ради заработка согласиться на унизительное участие в телевизионной рекламе. В одном из эпизодов фильма показаны молодые начинающие актеры, юная супружеская пара, которые предпринимают отчаянные попытки «всплыть наверх».

Рецензент газеты «Дейли уоркер» пишет, что в фильме имеется настоящий серьезный жизненный материал, но, к сожалению, фильм «Комедиант» почему-то был задуман постановщиками как... комедия, хотя смеяться тут явно не над чем. О многом говорит уже тот факт, что фильм выпустили на экран не сразу, а восемнадцать месяцев спустя после окончания работы над ним!

«При всех своих недостатках,— пишет рецензент,— этот фильм намного ценнее импортной американской дребедени, которой дельцы английского кинопроката забивают мозги соотечественников».

СМЕРТЬ ТОМАСА ЭЛИОТА

В возрасте 77 лет скончался известный английский писатель, лауреат Нобелевской премии Томас С. Элиот. Английская критика считает, что его творчество, и в частности драматургические про-

изведения, поэзия и критические работы оказали влияние на национальную культуру.

БОЛГАРИЯ

С МЫСЛЯМИ ОБ ОКТЯБРЕ

Софийский Народный театр имени Ивана Вазова отметил недавно шестидесятилетие творческой деятельности. Театр всегда был центром культурной жизни страны, его коллектив неизменно отстаивал реалистические традиции в искусстве.

В беседе с корреспондентом еженедельника «Народна култура» директор театра Славчо Васев рассказал о новых постановках и планах Народного театра. Большим успехом в нынешнем сезоне пользуется пьеса Крума Кюлявкова «Первый удар», посвященная процессу Георгия Димитрова в Лейпциге, превращенному этим стойким революционером в суд над фашизмом. В нынешнем репертуаре театра — пьесы «Депутат» Нушича, «Страницы прошлого» Хаджихристова, «День рождения» Асенова, «Ригас из Великсино» греческого писателя Ротаса, «Награжденные» Сомерсета Моэма, «Чайка» Чехова, «Ричард III» Шекспира.

«Театр приступил к разработке репертуарного плана, в котором предусматривается празднование 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции,— сказал Васев.— План включает пьесы Горького и других советских авторов, а также новую пьесу о Ленине».

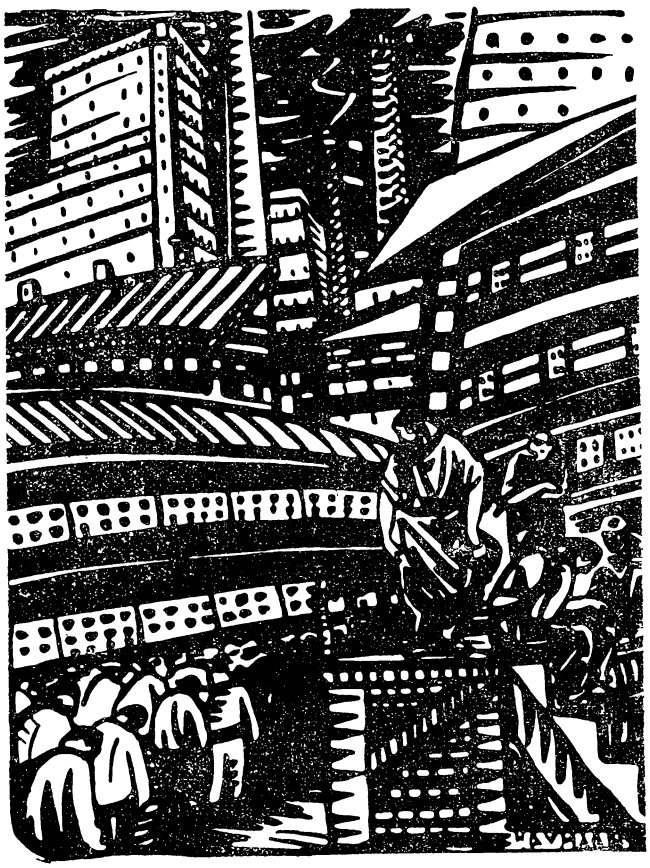
ПРЕМИЯ ИМЕНИ ДЖОНА КЕННЕДИ — БОЛГАРСКОМУ ФИЛЬМУ

На Втором «Кинофестивале за мир» в Лос-Аламосе (штат Нью-Мексико, США) болгарский художественный фильм «Солнце и тень», созданный по сценарию Валерия Петрова режиссером Рангелом Влчановым, получил премию имени Джона Ф. Кеннеди, присуждаемую впервые. Ею награждаются фильмы, которые, согласно оценке жюри, наилучшим образом выражают идеи мира.

Жюри охарактеризовало фильм как «призыв к людям доброй воли приложить все усилия и помешать атомной смерти уничтожить человеческое счастье».

Общественность Болгарии отметила 70-летие известного художника-реалиста Наума Младенова. В числе его произведений — десятки полотен на исторические, социальные и бытовые темы.
Художник известен также своими графическими работами. Здесь воспроизводится его рисунок «Смена».

(Журнал «Изкуство»)



ВЕНГРИЯ

«ЭЛЕТ ЭШ ИРОДАЛОМ» В ГОСТЯХ У ЛАЙОША МЕШТЕРХАЗИ

Корреспондент венгерского еженедельника «Элет эш иродалом» Эдит Эрки побывала в гостях у известного венгерского писателя Лайоша Мештерхази и попросила его ответить на несколько вопросов:

— Какая существует связь между политикой и вашим творчеством?

— Вся моя сознательная жизнь была связана с политикой. Еще будучи студентом, я задал себе вопрос: «С кем я?» Это было в годы хортизма... Я не сразу пришел к коммунистам. Но пришел потому, что понял: они единственные последовательные антифашисты. После освобождения началась моя настоящая молодость. Политическая и творческая работа слились воедино.

— Ваше творческое кредо?

— Для меня важно найти кратчайшее расстояние между двумя точками: идейным замыслом и доступностью произведения для читателя. Я пишу для людей нового общества, а это уже не тот читатель, каким он был двадцать лет назад. Никогда не было у нас такого высокообразованного и знающего читателя, как сейчас. Немалая часть наших «эстетов» ждет от нас литературы в стиле «модерн». Я понимаю, что для них я пишу публицистично, и то, что я «наивно» считаю поэзией, для них — журналистика. В худшем смысле слова «нелитература». Но я повторяю: для меня самое важное, чтобы меня точно поняли, а для этого я и должен найти кратчайшее расстояние между идейным замыслом и общедоступностью своих произведений.

— Над чем вы сейчас работаете?

— Пишу роман о двух людях, очень далеких друг от друга по своему мировоззрению, избегающих друг друга, но которых, однако, сближает жизнь. Основной вопрос романа: кто такие венгерские коммунисты?

ЮБИЛЕЙ АГНЕССЫ КУН

Советская общественность знает Агнессу Кун как талантливого литератора, переводчицу и редактора, активного популяризатора венгерской литературы в Советском Союзе и советской и русской классической литературы — в Венгрии.

За заслуги в области популяризации венгерской литературы в Советском Союзе и в связи с 50-летием Агнесса Кун удостоена недавно высокой правительственной награды Венгерской Народной Республики — Золотого ордена труда.

Многое сделала Агнесса Кун для популяризации советской литературы в Венгрии. При участии Агнессы Кун издана «Антология советской поэзии». Она была составителем и редактором нескольких сборников произведений советских писателей, издававшихся в переводе на венгерский язык.

В заметке, посвященной награждению Агнессы Кун, корреспондент еженедельника «Элет эш иродалом» писал: «Есть литераторы, труд которых скромно остается в тени, и только «посвященные» знают о том, насколько он значителен. К таким людям принадлежит и Агнесса Кун, которая всю свою жизнь посвятила пропаганде венгерской литературы в Советском Союзе, переводам произведений венгерских писателей на русский язык. Агнесса Кун стала настоящим полномочным представителем нашей литературы в СССР. Она донесла венгерскую литературу до миллионов советских читателей. Зазвучали по-русски стихи Петефи, Аттилы Йожефа, Верешмарти, Дюлы Юхаса; издана на русском языке антология венгерской поэзии; ей принадлежит новый, последний перевод «Трагедии человека» Имре Мадача, венгерских народных сказок, в ее переводах вышли русские издания произведений Миксата, Темеркени, Гардони, Морица — и это далеко не полный перечень ее работ.

Агнесса Кун привлекла к работе над переводами венгерской поэзии таких выдающихся советских поэтов, как Николай Заболоцкий, Борис Пастернак, Леонид Мартынов, Николай Тихонов, Семен Кирсанов, Давид Самойлов, Владимир Корнилов.»

В связи с юбилеем и высокой наградой редакция еженедельника «Элет эш иродалом» пожелала Агнессе Кун больших успехов в ее дальнейшей деятельности. К этим пожеланиям присоединяется и редакция журнала «Иностранная литература».

ИСТОРИЯ ВЕНГЕРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Издательство «Академия» выпустило в свет первый том «Истории венгерской литературы» под общей редакцией Иштвана Шётера. «После издания семитомного «Толкового словаря»,— говорится в предисловии к этому труду,— возникла настоятельная необходимость опубликования большого марксистского исследования по истории венгерской литературы в шести томах».

Работа по составлению «Истории венгерской литературы», в которой приняли участие 55 литературоведов, историков, филологов и критиков, началась еще в 1962 году. Последующие тома будут выходить один за другим, через небольшие промежутки времени.

«В «Истории венгерской литературы» содержится анализ всех существенных явлений венгерской литературы,— пишет критик газеты «Мадьяр немзет».— Этот труд сыграет важную роль не только в формировании широкого общественного мнения, но и явится полезным пособием для студентов-филологов».

ГДР

ПИСАТЕЛИ ОТВЕЧАЮТ

Почему вы пишете? Какая из прочитанных вами за последнее время книг произвела на вас наибольшее впечатление? Над чем вы работаете в настоящее время?

Анкета с этими тремя вопросами была разослана редакцией газеты «Юнге вельт» нескольким известным писателям ГДР.

Молодая поэтесса и прозаик Роза Ниланд ответила:

Обложка книги стихов Розы Ниланд.

«Валентина» — так назвал свой рисунок художник Арним Мюнх, изображающий первую в мире женщину-космонавта Валентину Николаеву-Терешкову.

(Газета «Берлинер цейтунг»)

«Я пишу потому, что я человек и, обладая голосом, хочу говорить с людьми». За последнее время писательница прочла много книг. Наибольшее впечатление на нее произвели «Оле Бинкопп» Эрвина Штриттматтера и том стихов Гейнца Калау «Ход событий». В настоящее время, после выхода в издательстве «Нейес лебен» томика ее последних лирических произведений «Пять камней в ручье», Роза Ниланд работает над прозаическим произведением, в котором, как заявила писательница, речь пойдет о морали людей, строящих новое, социалистическое общество.

Старейший рабочий-писатель, лауреат Национальной премии Ганс Мархвица прислал свой ответ в редакцию незадолго до смерти. В нем он писал, что занимался литературным трудом потому, что много пережил и многое мог сказать людям. Писатель высоко ценил роман Макса Вальтера Шульца «Мы не пыль на ветру». Достойным наследником немецких рабочих-писателей старшего поколения Мархвица считал Бернгарда Зеегера. Мархвица готовил к изданию собрание произведений, написанных им за последние четыре десятилетия.

ВАЛЬТЕР КАУФМАН РАССКАЗЫВАЕТ...

«Меня всегда удивляло и огорчало то обстоятельство, что в Германии не очень популярен жанр короткого рассказа, короткой повести. Здесь больше принята форма большого, монументального романа»,— этими словами писатель Вальтер Кауфман начал беседу с корреспондентом еженедельника «Зоннтаг».

Пятнадцатилетним юношей он эмигрировал из гитлеровской Германии в Австралию. Там освоил профессии грузчика, портового рабочего, матроса, затем начал писать рассказы и очерки. В 1955 году Вальтер Кауфман получил премию за лучший короткий рассказ на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Варшаве.

Восемь лет назад он вернулся на родину и с тех пор живет в ГДР. «Я хорошо знаю Австралию, особенно жизнь моряков,— говорит писатель.— С ними я работал много лет, и именно в их среде я стал сторонником социализма. Морякам посвящено много моих произведений». Перу Кауфмана принадлежат романы «Голоса в бурю», «Место человека», «Перекрестки».

Сейчас писатель собирает материал о жизни моряков Германской Демократической Республики. «Я хочу написать большой рассказ или даже повесть о ГДР, о ее месте в современном мире,— делится Кауфман своими планами.— В основе этого произведения — впечатления австралийского моряка, который попадает к нам. Разумеется, здесь будет много автобиографического материала».

В том же номере еженедельник «Зоннтаг» публикует рассказ Вальтера Кауфмана «Капитуляция». Это история старых друзей, соратников по партизанской борьбе, которые встретились через много лет после войны.

ФРГ

«ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ»

На сцене Штутгартского театра состоялась премьера пьесы Мартина Вальзера «Черный лебедь».

Демократическая печать оценивает пьесу «Черный лебедь» как новую попытку Мартина Вальзера реалистически показать одну из драматических сторон современной западногерманской действительности.

...Два приятеля — бывшие врачи-эсэсовцы, принимавшие непосредственное участие в массовом уничто-

жении людей в концентрационном лагере, теперь преспокойно живут в западногерманском городке. Один скрывается под личиной дельца, другой работает под чужим именем главным врачом лечебницы для душевнобольных. Оба утаили от детей свое страшное прошлое. Трехлетними детьми их Руди и Ирма вместе играли в тени печей крематория, но воспоминаний об этом не сохранили. Уже взрослым юношей Руди случайно узнает о преступном прошлом отца. Он хочет, чтобы отец откровенно признал свою вину. Но отец и его друг и сообщник молчат. Тогда Руди действует подобно Гамлету. Он ставит в лечебнице отца пьесу, повторяющую историю обоих преступников. Однако оба отца по-прежнему молчат, а Ирма, как и многие в Западной Германии, не хочет вспоминать прошлого. Устав от борьбы, потеряв веру в людей, Руди кончает жизнь самоубийством.

По мнению критиков демократической печати, Мартин Вальзер не раскрыл многих конфликтов пьесы, на которых построена глубокая по своей драматичности фабула. В пьесе не получили развития и отношения между отцом и сыном. Многое остается неясным в отношениях Руди и Ирмы. Однако пьеса производит на зрителей глубокое впечатление и представляет собой обвинение притаившимся нацистским преступникам.

В условиях, когда официальные власти ФРГ готовятся окончательно реабилитировать фашистских палачей «за давностью» совершенных ими преступлений, постановка пьесы Мартина Вальзера как нельзя более своевременна.

НЕИЗВЕСТНЫЙ РОМАН ГАНСА ФАЛЛАДЫ

В издательстве «Ульштейн» готовится к выпуску ранее не публиковавшийся роман Ганса Фаллады «Молодой человек — во весь свой рост», сообщает корреспондент гамбургского еженедельника «Ди андере цейтунг». Это социальный роман, действие которого происходит в Померании в начале XX века в помещичьей среде.

Сцена из пьесы Мартина Вальзера «Черный лебедь» в постановке Штутгартского театра. *(Газета «Нейес Дейчланд»)*

ИНДИЯ

ПОЭТИЧЕСКИЕ СБОРНИКИ ДЖАГТАРА

«Жаворонком» ласково называют читатели молодого талантливого поэта Джагтара, творчество которого — он пишет на урду — в последние годы получило большую популярность как в Индии, так и в Пакистане. Новый сборник его стихов «Млечный Путь» сразу получил широкое признание читающей публики, сообщает литературный обозреватель индийской газеты «Пэтриот» Притам Сингх.

Первый сборник стихов Джагтара носил название «Играющий красками мир». По выражению обозревателя, «окружающий мир отливал в его песнях всеми цветами радуги, поэт-романтик прославлял любовь и красоту». С годами Джагтар приобретал жизненный опыт, мужал его талант. Поэта начало возмущать несправедливое устройство общества. И второй сборник Джагтара «Шипы и розы» свидетельствует о появлении в его поэтическом мировоззрении «новых измерений». Глубокое влияние на молодого поэта оказало творчество крупнейшего представителя пакистанской поэзии Фаиза Ахмада Фаиза. В стихотворении Джагтара «Панацея», обращенном к Фаизу, содержится призыв к действию, к борьбе. Джагтар глубоко убежден, что «писатель должен быть борцом», и своим творчеством старается доказать правильность этого утверждения. Сильное впечатление, по словам обозревателя, производит поэма Джагтара «В ожидании рассвета», посвященная героическому сыну конголезского народа Патрису Лумумбе.

Межуниверситетский фестиваль молодежи в Дели стал уже традицией в культурной жизни страны. На последнем, IX, фестивале звучали народные песни и мелодии Кашмира и Пенджаба, Гималаев и Раджастхана, Кералы и Гуджерата; исполнялись групповые и сольные танцы народностей и племен, классические индийские танцы; ставились спектакли на национальных языках, было исполнено несколько композиций по произведениям Шекспира. На снимке: студенты университета Патны исполняют народный танец «Джхумер».

(Газета «Стейтсмен»)

ПРЕМИЯ СВЯТОСЛАВУ РЕРИХУ

По сообщению газеты «Хиндустан таймс», правительство штата Майсур присудило художнику Святославу Рериху две премии: одну за достижения в области искусства и национальной культуры, вторую за активную общественную деятельность.

ИРАК

НА ТЕАТРАЛЬНЫХ СЦЕНАХ СТРАНЫ

В последнее время, как сообщает корреспондент ливанского журнала «Аль-Адаб», значительно оживилась культурная жизнь Ирака. Открытие художественных выставок и постановки новых пьес в театрах стали привычными явлениями в жизни Багдада. Пьесы ставятся также и провинциальными театральными коллективами.

Основная заслуга в возрождении иракского театра, пишет корреспондент, принадлежит талантливой молодежи, которая во многом превзошла своих учителей. Свыше 20 новых пьес поставлены силами студентов выпускного курса театрального института в Багдаде. Среди них — произведения как арабских, так и иностранных драматургов. С большим интересом, в частности, зрители встретили постановку произведения А. П. Чехова «О вреде табака».

ИСПАНИЯ

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

В редакцию американской газеты «Пиплз уорлд» пришло письмо из Мадрида на имя писателя Альвы Бесси, автора известного советскому читателю романа «Антиамериканцы».

«Не часто случается, что антифашистский роман получает отклик из франкистской Испании,— говорится в редакционной заметке,— поэтому мы публикуем это письмо. Роман Альвы Бесси вышел в 1957 году и с тех пор был издан в семи странах на пяти языках. Недавно в Аргентине вышел испанский перевод этой книги, и таким путем, очевидно, она попала в руки читателя из Мадрида, который прислал письмо, по непонятным причинам пожелав остаться неизвестным».

Этот житель Мадрида просил передать письмо Альве Бесси, который в свое время воевал в Интернациональной бригаде на стороне республиканской Испании.

«Я был очень взволнован, прочитав Вашу книгу в переводе на испанский язык,— пишет читатель из Мадрида,— поверьте, я совершенно искренне утверждаю, что для меня это одна из самых волнующих книг, которые мне когда-либо встречались. Я прочел ее за три дня, буквально не отрываясь... Этот страстный документ вызвал во мне чувство живейшей благодарности, подбодрил меня.

Я хочу, чтобы все мои друзья прочли эту книгу».

ИТАЛИЯ

ИНТЕРВЬЮ МОРАВИА

Альберто Моравиа, заканчивающий свой новый роман «Внимание», довольно решительно пресекает попытки осаждающих его корреспондентов узнать подробнее о сюжете и персонажах этого произведения. На вопрос корреспондента газеты «Паэзе-сера», кто герой

романа, писатель ответил только, что на сей раз им будет мужчина (в отличие от «Римлянки» и «Чочары»).

Вот дальнейший ход этого весьма лаконичного интервью:

— До какой страницы вы дошли?

— До 221-й.

— Значит, дело близится к концу!

— Ничуть не бывало! В романе 400 страниц.

— Откуда вы это знаете?

— Я переписывал его заново уже пять раз. Сейчас работаю над шестым вариантом.

— Вы полагаете, это будет последний?

— Надеюсь, но не могу поклясться.

— Что вы могли бы сказать о герое?

— Я скажу только, что он молод и красив.

— А женщина будет отрицательным персонажем?

— В романе не будет ни отрицательных, ни положительных персонажей.

— Если уж вы не хотите говорить о сюжете, охарактеризуйте хотя бы в двух-трех словах этот роман в целом.

— Это будет роман о романе.

РИМСКИЙ РОБИНЗОН

Герой повести Марио Пикки «Городская стена» живет вне общества, уединенно и одиноко, как Робинзон, хотя жилище его находится в самом центре итальянской столицы. Он поселился в нише древней стены «Муро Торто», подножие которой утопает в буйной зелени. Это последний островок нетронутой природы в сердце современного Рима. В отличие от прочих римских бездомных, отшельника вполне устраивает такая жизнь, она соответствует его мечтательному, «несовременному характеру». Римскому Робинзону, при всей его наивности и непрактичности, не чуждо критическое отношение к окружающей действительности. Тихий и робкий человечек, он знает минуты возмущения, анархического бунта против царящих вокруг несправедливости и произвола. Потому-то он и стремится сохранить свою «свободу», избегает всяких контактов с «нормальной» жизнью и дорожит своей «независимостью» — он живет на то, что тайком изготовляет в своей нише чернила.

Однако этому современному Робинзону не удается усидеть на своем «необитаемом острове»: после случайной ссоры в нем просыпается чувство обиды на окружающих, он решает искать справедливости, найти управу на своих обидчиков и, для того чтобы заставить с собой считаться, выдает себя за племянника влиятельного прелата...

На этом повесть обрывается, и читатель не знает, сумеет ли герой сохранить свою примитивную чистоту и непосредственность после того, как прибегнул к обману и вступил в единоборство с жизнью, то есть стал таким, «как все».

Критика указывает, что в творчестве молодого писателя, известность которому принесла его вышедшая в 1960 году книга рассказов «Рим днем», ощущается влияние Кальвино, Фрассинетти и других современных итальянских сатириков и «сказочников», испытавших, в свою очередь, влияние Гоголя.

КЕНИЯ

«РЕКА МЕЖДУ НИМИ...»

Вышел новый роман «Река между ними...» Джеймса Нгуги, первая книга которого «Не плачь, дитя» при-

---

Так будет выглядеть на экране Софи Лорен в фильме «Леди Л.» (по одноименному роману Ромена Гари). В прологе этого фильма Лорен играет восьмидесятилетнюю женщину, вспоминающую свою молодость. Ставит фильм английский режиссер Питер Устинов. Он же — автор сценария и исполнитель одной из ролей.

(Газета «Пазза-сера»)

влекла внимание читателей и критики. Действие романа происходит в горном районе Кении, на землях народа кикуйю. В центре повествования — конфликт между сторонниками старых обычаев и теми, кто усвоил некоторые элементы европейской культуры. Герой романа Вайяки был воспитан в старых традициях, но затем попал в миссионерскую школу. Свое призвание Вайяки видит в том, чтобы объединить народ кикуйю. Он верит, что единство будет достигнуто, что сила народа будет расти и крепнуть, а европейские колонизаторы в конце концов будут выброшены из Кении.

Рецензент газеты «Ист африкен стандард» пишет, что роман Нгуги выражает сокровенные стремления и надежды народа кикуйю. Роман «Река между ними...», по его мнению,— более зрелое произведение, чем первая книга писатсля.

КОЛУМБИЯ

«ТЫ ПОБЕДИШЬ, МАРКЕТАЛИЯ»

В Боготе недавно вышла книга стихов «Ты победишь, Маркеталия» известного колумбийского поэта Мануэля Сепеды Варгаса. Его поэзия посвящена вооруженной борьбе крестьян гористого района Маркеталия (Центральные Кордильеры) в защиту своих прав, за землю, за демократические свободы.

Крестьяне района Маркеталия десять лет назад организовали свободное самоуправление, создали свои группы самообороны, отказались платить налоги. На подавление этого движения правительство бросило тысячи солдат, авиацию, артиллерию, танки, бронемашины...

В стихах Мануэля Сепеды Варгаса разоблачаются правительственные репрессии, осуждается вмешательство США во внутренние дела Колумбии, выражается солидарность с героической борьбой крестьян Маркеталии.

Как сообщает газета «Вос пролетариа» — орган Коммунистической партии Колумбии, эти стихи написаны поэтом в тюрьме, куда колумбийские власти бросили Мануэля Сепеду Варгаса за его революционные убеждения.

ЛИВАН

ЗАПРЕЩЕН ФИЛЬМ «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ»

По сообщению журнала «Аль-Адиб», местные власти запретили демонстрацию в Ливане американского фильма «Лоуренс Аравийский», посвященного прославлению деятельности этого небезызвестного британского разведчика и авантюриста в странах Арабского Востока.

НОРВЕГИЯ

РОМАН НИЛЬСА БРАНТЦЕГА

Вышел из печати новый роман норвежского писателя Нильса Брантцега «Среди друзей на Фарерских островах». Герои книги — рыбаки и крестьяне, потомки норвежских викингов, некогда поселившихся на этих суровых землях, затерянных в просторах северной Атлантики. Об их повседневной борьбе со стихиями, об их буднях и праздниках, о нелегком труде ради хлеба насущного рассказывает автор на страницах своей книги. По словам рецензента газеты «Фрихетен», новая книга Брантцега написана живо и интересно.

ОАР

«НОВЕЛЛА УМЕРЛА?»

Под таким заголовком египетский критик Махмуд Амин аль-Алим опубликовал очередной обзор литературной жизни в ОАР в еженедельнике «Аль-Муссавар». Аль-Алим решительно опровергает высказывания некоторых критиков, будто новелла как литературный жанр отжила свой век. Он утверждает, что современная действительность дает много интересных тем. Да и как, спрашивает критик, можно отказаться от одного из средств отображения действительности в период подъема литературы? Важная задача арабской новеллистики состоит в необходимости поисков нового подхода к жизни, с тем чтобы отражать происходящие в ней важные изменения. Аль-Алим считает, что египетская новеллистика справится с этой задачей и что новый этап в ее развитии уже начался. Об этом свидетельствуют сборники рассказов молодых писателей, появившиеся в последнее время. «Когда я читал их,— пишет критик,— то почувствовал, что их авторам принадлежит будущее нашей литературы».

НОВЫЕ СИЛЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ДРАМАТУРГИИ

Нынешний театральный сезон в стране отмечен дебютами нескольких молодых драматургов. Критик журнала «Аль-Адиб» называет этих писателей «вторым эшелоном» египетской драматургии, относя к «первому» Нуамана Ашура, Юсуфа Идриса и Альфреда Фарага. Среди дебютантов — Мустафа Мушьиль, Ахмад Осман, Набиль Фадыль и Шауки Абд аль-Хаким.

Мустафа Мушьиль дебютировал на сцене «Современного театра» пьесой «Третья бомба», действие которой происходит в Хиросиме. По словам критика, это произведение молодого египетского драматурга предостерегает мир от ядерной катастрофы. Ахмад Осман в пьесе «Дом артистов», также поставленной «Современным театром», поднимает проблему взаимоотношений художника и общества.

Пьеса Набиля Фадыля «Адхам аш-Шаркави» рассказывает о восстании египетских феллахов против феодального гнета. Свое-

образен, по мнению критики, талант четвертого дебютанта — Шауки Абд аль-Хакима, который впервые выступил на сцене театра «Масрах аль-Гейб» с двумя одноактными пьесами.

ПОЛЬША

ГОВОРЯТ ПОЛЬСКИЕ РЕЖИССЕРЫ

«Какую пьесу вы хотели бы поставить на сцене в нынешнем году?» — с таким вопросом еженедельник «Культура» обратился к нескольким ведущим польским режиссерам. Ответы Адама Ханушкевича, Владислава Красновецкого, Людвика Рене, Генрика Шлетынского, Яна Бичицкого, Брониславa Домбровского, Казимежа Деймека, Яна Свидерского и других известных режиссеров польского театра свидетельствуют о том, что больше всего их интересует современная тематика.

Ян Бичицкий, в частности, видит свою задачу в том, чтобы на сцене руководимого им театра «Комедия» были представлены такие пьесы современных польских авторов, которые могли бы конкурировать с всемирно известными произведениями, например, «Трехгрошовая опера» и «Моя прекрасная леди». Несколько польских драматургов пишут пьесы специально для театра «Комедия», и уже в нынешнем сезоне зрители увидят их на сцене. О работе над постановкой новой современной польской пьесы рассказал и Ян Свидерский, режиссер Драматического театра.

Художественный руководитель Театра имени Словацкого в Кракове Брониславa Домбровский (сообщение о присуждении ему Государственной премии см. в «Иностранной литературе» № 12, 1963) готовится поставить «Ноябрьскую ночь» Выспянского. Этот режиссер проявляет большой интерес к русской классике; он поставил «Трех сестер» Чехова, а теперь занят перера-

Творчество художницы Марии Хишпанской-Нейман началось в... концентрационном лагере Равенсбрюк. Эсэсовцы обнаружили у нее около 500 рисунков, которые уничтожили. К этому времени относится воспроизводимый здесь рисунок «Женщины, несущие кирпичи» (вверху). В первые годы народной власти художница создала циклы антивоенных рисунков, затем посвятила себя книжной графике. С большой теплотой она изображает детей. Нижний рисунок относится к циклу работ, созданных Хишпанской-Нейман во время поездки в Египет.

(Журнал «Пшияцюлка»)

боткой для сцены повести Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели», которая в сценическом варианте будет носить название «Его превосходительство Дурак». В планах Брониславa Домбровского — постановка пьесы К. Тренева «На берегу Невы».

НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ИСТОРИИ...

Событием в культурной жизни страны стала премьера нового художественного фильма «Первый день свободы» по пьесе Леона Кручковского. «Иностранная литература» уже сообщала (см. № 8, 1964) о работе над этим фильмом, которая велась под руководством режиссера Александра Форда. Сценарий для фильма был создан писателем Богданом Чешко. Авторы фильма, оставив в неприкосновенности основной замысел пьесы, как отмечает рецензент еженедельника «Культура» Збигнев Клячинский, несколько сместили в нем акценты. «Если пьесу мы можем назвать трактатом о свободе,— пишет Клячинский,— который заключает в себе право выбора, или, другими словами, трактатом о различных свободах, которые выбирают герои,— то акцент в фильме сделан уже на некоторые другие проблемы; на первом плане в нем — механизм истории, которому подчиняются делающие свой выбор герои».

Рецензент считает, что фильм Форда следует рассматривать как самостоятельное произведение. Он называет это «художественной автономией фильма, который, не отрекаясь от близкого родства с пьесой Кручковского, предлагает нам свой собственный взгляд на мир».

Все дороги пересекаются на перекрестках истории... В стенах «Магазина дамской одежды Х. и Г. Клюге» перекрещиваются жизненные пути освобожденных польских офицеров и семьи немецкого доктора. Ян и Инга (их роли исполняют известные польские артисты кино Тадеуш Ломницкий и Беата Тышкевич) — центральные персонажи кинопроизведения. Особенно значительна и от-

ветственна в фильме роль Инги. По мнению рецензента, созданный Беатой Тышкевич образ почти не имеет себе равных по мастерству в истории польского кино.

Очень выразителен, по свидетельству рецензента, заключительный эпизод фильма... Поднявшись на колокольню, Ян склоняется над трупом Инги, затем хватает свой автомат — и разбивает его о большой колокол.

«Первый день свободы» — значительное произведение киноискусства»,—пишет Клячинский.

СЛОВА, ОБРАЩЕННЫЕ К ЛЮДЯМ

В издательстве «Чительник» вышла книга стихов «Слова для людей» Леопольда Левина, известного поэта и переводчика русской классической и советской поэзии. В антологиях и отдельных изданиях опубликованы его переводы произведений Пушкина, Лермонтова, Некрасова, а также Есенина, Маяковского, Твардовского, Рыльского, Коласа, Леонидзе и других.

В недавно выпущенном томике собраны собственные стихи поэта. Поэтический мир Леопольда Левина — это мир человека, по выражению критиков, не утратившего за свой долгий и трудный путь свежести ощущения жизни.

В сборнике «Слова для людей» есть стихи лирические и гражданские. Левин чтит память павших: в стихотворении «Есть город» он вспоминает о том, как возложил цветы к подножию памятника в городе на берегу Волги. В строках «Открытого письма генералу СС Карлу Вольфу» оживает образ замученной в концлагере матери поэта.

Левин бережно относится к национальным поэтическим традициям, традициям Константы Ильдефонса Галчинского, Юлиана Тувима и Владислава Броневского. Некоторые стихи сборника навеяны творчеством этих выдающихся мастеров польской поэзии.

РУМЫНИЯ

ПОСВЯЩАЕТСЯ ИОНУ КРЯНГЭ

Общественность страны широко отметила 75-летие со дня смерти одного из крупнейших румынских писателей XIX века Иона Крянгэ. Юбилейный номер еженедельника «Газета литерарэ» был целиком посвящен памяти писателя. «Крянгэ — наш истинно национальный писатель»,— говорится в статье академика Иоргу Иордана. «Ныне, когда исполняется три четверти века со дня смерти Иона Крянгэ, он стал ближе нам и понятнее, чем когда-либо прежде»,— пишет Теодор Выргoлич. Аурел Мартин в своей статье воссоздает эпоху в румынской литературе, в которую творил Крянгэ. «Его творческое наследие невелико, но очень разнообразно»,— замечает поэт Раду Боуряну. «...Истоком творчества Крянгэ, как и Боккаччо и Рабле, служил фольклор»,— пишет Овидиу-Пападюма. «Ион Крянгэ всегда стоял на позициях народа»,— говорится в статье Ал. Пиру «Социальные типы в произведениях Крянгэ».

В связи с юбилеем в стране прошла «Неделя Иона Крянгэ», была организована документальная выставка, посвященная жизни и творчеству писателя.

НОВОСТИ ТЕАТРА

В нынешнем театральном сезоне румынские зрители увидели много интересного. Театральные обозреватели обращают внимание на то, что преобладающей темой сценических постановок является современная румынская действительность.

Проблемы дружбы, любви, семьи, отношения к труду ставятся в пьесе Дорела Дориана «Снег идет на экваторе», которую показал на своей сцене Рабочий театр железнодорожников.

Одной из самых интересных обозреватель ежене-

Рисунки Джеты Брэтеску к сказкам Иона Крянгэ.
(Еженедельник «Газета литерарэ»)

Сцена из спектакля «Приключение во сне».
(Журнал «Театрул»)

дельника называет постановку пьесы Теодора Мазилу «Приключение во сне» Театром комедии в Бухаресте. Острой критике подвергается в пьесе мораль старого общества, которая еще не совсем изжита в нынешней социалистической действительности Румынии.

США

ДИК ГРЕГОРИ: «МЫ С ЭТИМ ПОКОНЧИМ!»

«Ниггер» — эта оскорбительная кличка для негров в США дала название книге известного негритянского артиста Дика Грегори, выступающего в сатирических программах американского телевидения. Грегори — активный участник борьбы негров за гражданские права. Написанная им книга — страстное публицистическое выступление против расовой дискриминации.

«Ниггер», по сути дела,— автобиография Грегори, созданная в соавторстве с журналистом Робертом Липсайтом. По мнению большинства критиков, книга Грегори — впечатляющий человеческий документ.

Грегори описывает свое безрадостное детство, которое протекало в трущобах Сент-Луиса, в условиях жестокой нищеты. С подлинной теплотой пишет Грегори о рано умершей матери. «Мать вынуждена была как бы заключать сделки с крысами, когда уходила на работу,— рассказывает Грегори.— Она оставляла специально для них немного какой-нибудь еды, чтобы они не кусали детей».

Сам Грегори в детстве был чистильщиком обуви, мальчишкой на побегушках,

Дик Грегори
(Газета «Пиплз уорлд»)

делал все, что мог, чтобы помочь прокормить младших сестер и братьев. В школе белые учителя открыто говорили о «тупости негров». Дик своими способностями явно опровергал эту расистскую «теорию». Однако ему нарочно выставляли плохие отметки...

Как программа дальнейшей борьбы звучат слова Дика Грегори: «...Мы готовы к тому, чтобы изменить существующую систему, систéму, при которой белый человек может растоптать достоинство негра одним словом «ниггер». Мы с этим покончим, и у нас больше не будет «ниггеров»...»

Дику Грегори пришлось не раз ощутить на себе звериную злобу расистов, когда он участвовал в выступлениях негров в Чикаго, в Бирмингеме; во время поездки по южным штатам он подвергся аресту. Несмотря на это он создал смелую и правдивую книгу — ценный вклад в борьбу за человеческие и гражданские права негритянского населения в «свободной» Америке.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ГОГОЛЯ И ПУШКИНА — В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ КНИГ ГОДА

Литературные критики газеты «Нью-Йорк геральд трибюн» ежегодно составляют список лучших, на их взгляд, книг, которые обладают «особыми литературными достоинствами, имеют общественный резонанс и актуальны по содержанию». В список лучших книг 1964 года включены «Евгений Онегин» А. С. Пушкина и «Собрание рассказов и пьес Николая Гоголя». Обе книги выпущены в свет издательством «Пантеон».

«ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В ВИШИ»

Новая пьеса Артура Миллера, которую мы публикуем в этом номере «Иностранной литературы», поставлена в «Линкольн репертори тиэтр». По мнению театральных обозревателей, она является событием в нынешнем сезоне.

Театральный критик «Нью-Йорк таймс» Говард Таубмэн называет «Это

случилось в Виши» «выдающейся политической и психологической драмой».

Действие пьесы Миллера, как увидит читатель, развертывается в Виши, в камере предварительного заключения, куда согнали для «проверки» и последующей отправки в лагерь уничтожения десять человек, людей самых различных взглядов и убеждений, арестованных только за то, что они... «не арийцы».

Симптоматично, что реакционный журнал «Тайм» выражает недовольство пьесой, называя ее «лекцией Миллера на тему о виновности и ответственности тех, кто организовал массовое уничтожение евреев в Европе». Виновность военных преступников журнал считает «абстракцией» (!), а злодеяния гитлеровцев называет «событиями, которые нельзя было предотвратить, и потому никто за них не в ответе». Как нетрудно убедиться, взгляды тех, кому принадлежит журнал «Тайм», поразительно напоминают позицию официальных кругов в Бонне, намеревающихся — вопреки протестам прогрессивной мировой общественности — окончательно реабилитировать с мая 1965 года всех без исключения нацистских преступников.

БОРЕЦ ЗА ПРАВА СВОЕГО НАРОДА

После тяжелой болезни скончалась молодая негритянская писательница Лорейн Хэнсберри, автор пьес «Изюминка на солнце» (опубликована в «Иностранной литературе» № 11, 1959) и «Вывеска в окне Сидни Брустейна» (см. сообщение в «Иностранной литературе» № 10, 1963).

Газета «Уоркер» в некрологе называет писательницу «рыцарем идей справедливости и равноправия». С юных лет Хэнсберри вступила в борьбу за права своего народа, начала сотрудничать в газете Поля Робсона «Фридом».

«Талант ее расцвел рано,— говорится в статье,— из ученицы она быстро превратилась в зрелого мастера... В свои тридцать четыре года Хэнсберри успела внести большой вклад в борьбу за свободу и в американскую литературу».

ТУНИС

«ОТЕЛЛО» НА АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ

На сцене муниципального театра города Туниса с успехом идет спектакль «Отелло», постановка которого осуществлена известным актером и режиссером Али Бен Айедом, сообщает обозреватель журнала «Африк». Текст трагедии, переведенный на литературный арабский язык доктором Тахаром эль-Хемири, расценивается специалистами как один из лучших переводов Шекспира. В спектакле заняты многие популярные актеры стран Северной Африки и Ближнего Востока. Египетский актер Гамаль Ратиб великолепно сыграл Отелло. Постановщик спектакля Али Бен Айед дал новую интересную трактовку образа Яго. «Его Яго,— пишет критик газеты «Фигаро литтерер»,— ироничен и как бы не имеет никакого отношения к тем конфликтам, которые он порождает и которыми управляет... Однако от этого он не менее ужасен». Известная ливанская актриса Теа Раси сыграла в этом спектакле Дездемону, а Муна Нуреддин — одна из ведущих актрис тунисской муниципальной труппы — роль Эмилии.

По словам обозревателя журнала «Африк», Али Бен Айед сумел создать высокохудожественный спектакль.

ФИНЛЯНДИЯ

«РОМАН ЖИВЕТ!»

Известный финский писатель Вяйне Линна недавно выступил в городе Ювяскюля с лекцией, в которой говорил о различных взглядах на искусство. Касаясь часто высказываемого на Западе мнения о неизбежной гибели романа как литературной формы, писатель отметил, что «на обложках новых книг по-прежнему печатается «старое» слово «роман». Хороший роман вечно жив!» — заявил Линна, сославшись в качестве примера на роман Сервантеса «Дон Кихот».

«Старый, традиционный роман,— сказал писатель,— развивался одновременно с развитием реалистического восприятия действительности; модернистский же роман по существу иррационален. Он почти не признает объективных фактов и явлений действительности. Модернистский роман — это обостренный до предела субъективизм, хотя этот субъективизм и преподносится как нечто нейтральное...»

В заключение своей лекции Вяйне Линна сказал: «Жизнь и мир существуют объективно, и искусство не является какой-то оторванной от них автономной сферой. Искусство—одно из средств, помогающих видеть и понимать эту жизнь и этот мир».

«НУЛЕВАЯ ТОЧКА»

Осмо Ёкинен — «немой поэт», так, по крайней мере, он сам себя охарактеризовал в интервью представителям печати по случаю выхода последнего сборника его стихов. Кстати, о самом сборнике, который был преподнесен буржуазной печатью как сенсация. На обложке этой книги без единого знака препинания напечатано: «Осмо Ёкинен Нулевая Точка Стихи Академическое Издательство». Между обложками — 60 пустых страниц...

Паясничая перед журналистами, автор «Нулевой точки» сказал, что его призвание — «поэзия без слов». Тут же, не моргнув глазом, он заявил, что читателю предоставлена полная свобода «выбрать в сборнике стихи по собственному вкусу».

На вопрос журналистов, не намерен ли он создать «новую литературную школу», Ёкинен скромно ответил: «Я — лишь последователь уже существующей школы. Книги с пустыми страницами выпускались и до меня; я довел этот «метод» до «совершенства».

Желая поиздеваться над литературными критиками, «поэт» сказал в заключение: «Я питаю особую надежду, что критики вникнут в содержание сборника. Это даст им столь необходимую передышку в период книжного наводнения, и они смогут остановить бег своих мыслей, чтобы подумать...»

В издательстве «Серкль д'ар» вышел сборник «Астурия», в который включены произведения группы испанских писателей, поэтов и художников. «Эта книга — воплощение солидарности,— пишет корреспондент газеты «Юманите».— Доход от ее издания предназначен для помощи испанским шахтерам в Астурии — жертвам франкистского полицейского произвола» В сборнике запечатлена Испания сегодняшнего дня ее борьба и ее страдания. В нем приняли участие Пикассо, Альберти, Маркос Ана, Мария Тереса Леон и другие. Здесь воспроизводится рисунок Пабло Пикассо, помещенный в сборнике «Астурия». *(Газета «Юманите»)*

ФРАНЦИЯ

В ПОСТАНОВКЕ ЖАНА ВИЛАРА

Более года назад известный французский актер Жан Вилар ушел из Национального театра, поставив перед собой цель создать новый театральный жанр — «театр истории». Замысел Вилара состоит в том, чтобы показывать на сцене только реальные жизненные факты.

Недавно в парижском театре «Атенеум» была показана написанная Виларом пьеса-документ, произведение, как бы взятое из самой жизни,— «Дело Оппенгеймера».

...США 1954 года. Разгул маккартизма. Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности возбудила дело против знаменитого физика Оппенгеймера, «отца» атомной бомбы, отказавшегося работать над водородной бомбой. Оппенгеймера допрашивали 23 дня. В результате его имя было занесено в «черные списки». Ему запретили заниматься секретными областями физики. Запрет был снят только в 1963 году...

В интервью корреспонденту газеты «Фигаро литтерер» Вилар рассказал о своей работе над этой пьесой: «Дело обстояло так: Оппенгеймер разослал в ведущие театры различных стран письмо, протестуя против беллетризованного толкования его процесса, каким явилась пьеса немецкого драматурга Кипхардта.

Два месяца я работал над стенографическим отчетом допроса в комиссии, составившего 992 страницы. Моя рукопись — 200 страниц — не имела ни одного выдуманного слова. Я отослал свою работу Оппенгеймеру, и он ее одобрил, исправив лишь одно неточно переведенное слово».

По свидетельству критики, спектакль Вилара пользуется огромным успехом, театр переполнен. Большинство театральных критиков положительно оценивает пьесу. Рецензент газеты «Леттр франсез», например, считает, что спектакль, показанный Жаном Виларом,— один из двух-трех лучших спектаклей нынешнего театрального сезона в Париже. «Ни минуты скуки, превосходное исполнение, особенно интересна интерпретация Виларом роли Оппенгеймера».

СУДЬБА ИЗДАТЕЛЬСТВА «ЖЮЙАР»

Мадам Жюйар, владелица (после смерти мужа) одного из крупнейших парижских издательств «Жюйар», продала частному банку «Юньон финаньсер де Пари» контрольный пакет акций издательства. Этот банк уже контролирует два других издательства — «Плон» и «Юньон женераль д'эдисьон». Отныне «Жюйар» будет возглавлять финансист Жак дю Клозель.

Как подчеркивает корреспондент газеты «Монд», тенденция к монополизации издательского дела — явление для Франции не новое. Компания «Ашетт», например,

объединила уже «Файар» и «Грассе», тогда как «Галлимар» прибрал к рукам «Деноэль» и «Меркюр де Франс».

В связи с тем, что многие читатели выражают беспокойство по этому поводу, мадам Жюйар и новый директор «Жюйар» дю Клозель в своих публичных выступлениях подтвердили, что в работе издательства ничего не изменится. Несомненно, однако, пишет корреспондент «Монд», что новые руководители издательства постараются сделать его более «рентабельным»,— их заботит снижение доходов. Это дал понять и сам дю Клозель на страницах «Монд». Корреспондент в связи с этим выражает опасение, как бы «коммерческие» издания не взяли верх над изданиями, «имеющими подлинную ценность».

«ЖЕНЩИНЫ И ЛИТЕРАТУРА»

Один из последних номеров журнала «Эроп» посвящен женщинам. Главная тема номера — эмансипация женщины. Под этим углом зрения дается обзор французской литературы, начиная с XII века и до наших дней, а также литературы русской, классической и советской, скандинавской, итальянской, английской, американской и китайской.

«В наше время мужчина и женщина в равной мере принимают участие в борьбе за прогресс,— говорится в статье Ролана Пьера.— В борьбе против старого буржуазного общества, против социальной несправедливости их девиз — счастье на земле. ...Случалось так, что в этой борьбе женщины показывали пример мужчинам. Любовь приобретает новый смысл — она становится частью всеобщего счастья».

«Из этих новых отношений между мужчиной и женщиной рождается новая поэзия, новая и в понимании любви и по манере выражения»,— пишет Сюзанн Лабри в эссе «Женщина, любовь, поэзия в XX веке», где она рассматривает поэзию Аполлинера, Арагона, Элюара.

«Судьба мужчины и женщины, основанная на новой социальной действительности, углубление смысла, который наполняет любовную песнь,— вот ключ к пониманию советской литературы»,— говорится в статье Пьера Гамарра «Советская литература».

В журнале напечатаны статьи о женщинах — музыкантах и художниках, актрисах театра и кино.

Номер иллюстрирован репродукциями картин и рисунков Пикассо и произведений французских художниц.

Обложка специального номера журнала «Эроп», на которой воспроизведена картина немецкого живописца XVI века Кранаха «Ева».

ПОБИЛ СОБСТВЕННЫЙ РЕКОРД...

В литературных кругах Запада говорят, что Жорж Сименон пишет свои повести быстрее, чем кто бы то ни было в мире. Недавно, однако, Сименон побил свой собственный рекорд. Дело было так: когда писатель находился проездом в Италии, один итальянский журналист попросил его дать интервью. Сименон согласился, беседа состоялась.

Когда журналист прощался с Сименоном, тот сказал: «Будьте добры, перед опуб-

ликованием вашей статьи непременно покажите мне текст». «Разумеется»,—ответил журналист. Через четыре дня работа над интервью была закончена и журналист, как было условлено, принес его Сименону. Тот внимательно прочел текст, остался им очень доволен и внес только одну поправку. В сказанной за четыре дня до этого фразе «Я начал работу над новой повестью» он изменил только одно слово, и получилось: «Я закончил работу над новой повестью». Писатель признался, что на сей раз он побил даже собственный рекорд скорости, с которой создает свои произведения.

ЦЕЙЛОН

ПРЕМИИ ЗА ЛУЧШИЕ КНИГИ

Во время ежегодно отмечаемого праздника национальной литературы—Литературной недели — в стране был проведен двухдневный семинар по проблемам современного сингалезского романа, организованный Литературной академией и Департаментом по вопросам культуры.

Обсуждались такие важные для цейлонской литературы проблемы, как значение социального романа в жизни страны, влияние литературы Запада и т. д.

Работа семинара закончилась вручением ежегодных премий наиболее выдающимся работам в области литературы.

Премию за лучший роман получил К. Джаятиллаки. В области поэзии первая премия присуждена А. Ахубуду, а лучшим переводом признан перевод на сингалезский язык повести Л. Н. Толстого «Крейцерова соната», выполненный С. Г. Самарасингхе. Премии удостоено также исследование В. Б. Макулолувы «Традиции сингалезской народной поэзии».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

НОВОЕ ИЗ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ЙОЗЕФА ЧАПЕКА

В Праге состоялась выставка, посвященная известному художнику и писателю Йозефу Чапеку (брату Карела Чапека), погибшему в гитлеровском концентрационном лагере. На выставке были представлены произведения, созданные им в последние десять лет жизни. Устроители выставки поставили своей целью рассказать об этом последнем десятилетии словами и произведениями самого Йозефа Чапека, который был стойким и мужественным борцом против фашизма. Поэтому на стендах выставки посетители увидели вырезки из довоенных газет, в которых напечатаны произведения и выступления Йозефа Чапека, направленные против фашистской угрозы. Здесь же можно было прочесть путевые заметки Чапека, в которых он с восхищением рассказывал о том, что увидел во время поездки по Советскому Союзу.

Как сообщает корреспондент газеты «Руде право», на выставке были представлены неизвестные варианты рисунков Чапека из циклов «Огонь» и «Жажда», выполненных художником на дереве. Там экспонировались и обнаруженные недавно неизвестные дневники и записные книжки Чапека. В одном из его дневников есть строки, обращенные к детям: «Вы, дети, дождетесь лучших времен...»

Один из неизвестных вариантов рисунков Йозефа Чапека.

(Газета «Руде право»)

ЮГОСЛАВИЯ

ЖУРНАЛ НА ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

«Баттана» — так по названию быстрых и надежных лодок рыбаков Адриатического моря именуется новый литературно - художественный журнал, который начал выходить на итальянском языке в югославском городе Риеке на берегу Адриатики. Журнал издается проживающим в Югославии итальянским национальным меньшинством.

«Баттана» призван содействовать укреплению и расширению связей между литературами Югославии и Италии. Судя по первому номеру, есть все основания надеяться, что журнал эту задачу выполнит. В первом номере журнала «Баттана» помещены: статья Стипчевича о литературно-критическом наследии Антонио Грамши и статья Челебоновича об итальянском павильоне на последней художественной выставке в Венеции, а также статьи и произведения итальянских авторов—поэта Сальваторе Квазимодо, писателей Риккардо Баккели и Нино Палумбо, киноведа Гуидо Аристарко и других. Редактор журнала — Эрос Секуи.

Авторы этого номера

ЛОДОЙН ТУДЭВ (род. в 1936 г.).

Стихотворения видного монгольского писателя — прозаика и поэта, которыми открывается этот номер, получены редакцией от автора в рукописи; стихотворение «Песня земли» взято из «Антологии монгольской поэзии» (1961).

Его перу принадлежат сборники рассказов «Друзья» (1956), «Детвора» (1960) и др., путевые заметки «Болгарская земля» (1959), романы «Горный поток» (1960), «Кочевья» (1964).

МИГЕЛЬ ОТЕРО СИЛЬВА — MIGUEL OTERO SILVA (род. в 1908 г.).

Имя этого виднейшего венесуэльского поэта и романиста знакомо советским читателям. Еще тридцать лет назад, в 1935 г., газета «Известия» поместила стихотворение Мигеля Отеро Сильвы «Солдаты, солдаты, солдаты...». На русский язык переведены его романы «Лихорадка» («Fiebre», 1941) и «Мертвые дома» («Casas muertas», 1955), за последний автору были присуждены две национальные литературные премии Венесуэлы.

Мигель Отеро Сильва — автор ряда поэтических сборников. Он, кроме того, одаренный публицист — в течение нескольких лет был главным редактором крупнейшей в Венесуэле газеты «Насьональ», в основании которой в свое время принимал участие.

Роман «Пятеро, которые молчали» (в оригинале — «La muerte de Honorio»), вышедший в Аргентине в конце 1963 года, публикуется с небольшими сокращениями.

САША ЛУРИ — SACHA LURIE — американская журналистка. Неоднократно выступала по вопросам литературы и искусства на страницах советской печати.

Публикуемая статья написана для нашего журнала.

АРНОЛЬД КЕТТЛ — ARNOLD KETTLE — английский литературный критик-марксист, автор двухтомной истории английского романа («An Introduction to the English Novel», 1960). Публикуемая в этом номере статья «Английская интеллигенция и марксизм» представляет собой сокращенный вариант эссе, которое вошло в сборник работ нескольких авторов под названием «Проблемы, которые ставит марксизм» («The Challenge of Marxism», 1963).

МИРОСЛАВ ГОЛУБ — MIROSLAV HOLUB (род. в 1923 г.).

Этот известный чехословацкий поэт в книге «Ангел на колесиках» («Anděl na kolečkách», 1963), главы из которой публикуются в этом номере, выступает в жанре художественного репортажа. Он посвятил ее своим впечатлениям о Соединенных Штатах Америки.

Первый сборник стихотворений Мирослава Голуба «На дежурстве» («Denní služba») вышел в 1958 году. Затем вышло еще несколько поэтических книг Голуба.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР **Б. С. РЮРИКОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: **И. И. АНИСИМОВ, Б. Г. ГАФУРОВ, С. А. ГЕРАСИМОВ, С. А. ДАНГУЛОВ** (зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, И. М. КУЛАКОВСКАЯ** (отв. секретарь), **Т. Л. МОТЫЛЕВА, Л. В. НИКУЛИН, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, В. П. ТЕРЕШКИН, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

Художеств. редактор **М. М. Милославский** Технический редактор **В. Л. Шачнев**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон: В 3-51-47.

А 08293. Сдано в производство 7/I-65 г. Подписано к печати 19/III-65 г.
Бумага 70×108¹/₁₆ = 9,0 бум. л.; печ. л. 24,66. Зак. 73.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

2 раза.

ИНДЕКС 70394